

9

Н О В Ы Й  
М И Р

1951

Н О В Ы Й  
М И Р

9



1951

# НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXVII

№ 9

Сентябрь, 1951 г.

---

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АЛЕКСЕЙ СУРКОВ — Дорога на Керманшах, стихи	3
ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ — Реки горят, роман. Окончание. Авторизованный перевод с польского Е. Усиевич	5
А. ТВАРДОВСКИЙ — Из лирики, стихи	66
<b>НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ</b>	
АВАЗ-ОТАР-ОГЛЫ — Пять стихотворений. Перевод с узбекского С. Липкина	77
ТУРДЫ — Пятистишия и газелы. Перевод с узбекского Н. Гребнева	79
<b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ</b>	
С. УСТЮНГЕЛЬ — В тюрьме и на «воле». Записки турецкого коммуниста. Перевод Р. Фиша	82
<b>ПРОБЛЕМЫ НАУКИ</b>	
Академик А. В. ВИНТЕР — Стройки народа и стройки бизнесменов	134
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
А. ГУРВИЧ — Сила положительного примера. Литературно-критический очерк	151
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
Н. Онуфриев. Изучение литературного наследия Белинского. — А. Тарасенков. Судьба рабочего поэта. — Е. Городецкая. На краю земли. — С. Смирнов. «Почему?» — А. Турков. Об одной типичной ошибке. — Я. Фрид. Борцы народной Италии.	217
<i>Политика и наука</i>	
Б. Леонтьев. Могучее движение наших дней. — Полковник М. Толчёнов. Американская политика агрессии и предательства. — Вал. Зорин. Идеи, которых не упрятать за решётку. — Д. Лебедев. Русские первооткрыватели. — Доктор медицинских наук С. Касаткин. Основоположник научной анатомии.	237
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ (Июль-август 1951 года)	252

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО

„ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР“  
Москва



---

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ

★

## ДОРОГА НА КЕРМАНШАХ

Полдень.  
Ни тени, ни облаков.  
Голый знойный зенит.  
В жёлтом море шипящих песков  
Колокольчик звенит, звенит.  
Дымные смерчи.  
Барханные груды.  
Не замедлить шаг.  
Не поднять руки.  
Караванным путём шагают верблюды,  
На высоких горбах несут тюки.  
По пескам вожак ведёт караван  
Из Тавриза на Керманшах.  
От усталости в мутных глазах туман.  
Кровь звенит в висках и ушах.  
Самолёт пролетает — заморский гость.  
Колокольчик плачет, звеня.  
Сиротливо белеет верблюжья кость.  
Скалит зубы череп коня.  
Сквозь миражи пустыни,  
Сквозь знойный ад,  
Помышляя о барышах,  
Торгаши, как тысячу лет назад,  
Караваны шлют в Керманшах.  
А погонщик верблюдов, как щепка, сух,  
За тюками бредёт в тени.  
От палящей жажды язык распух.  
Нестерпимо горят ступни.  
И погонщик поёт  
Колокольчику в тон,  
На бархан взбираясь крутой.  
И звучит эта песня,  
Как вздох, как стон:  
— О-о-ой... О-о-ой... О-о-ой...

Почему кровавый туман  
Обнимает Азербайджан?  
Почему над тобой, Тавриз,  
Чёрный полог беды навис?  
Почему не шумит арык

И над пеплом шакалий крик?  
В пепле горя мой край родной..  
— О-о-ой... О-о-ой... О-о-ой...

У Селима была жена —  
От тоски умерла она.  
У Селима был сын Керим —  
Смерть навек разлучила с ним.  
Сына, радость отцовских глаз,  
Застрелил в Тавризе сарбаз.  
Холм могильный порос травой..  
— О-о-ой... О-о-ой... О-о-ой...

Почему в Тавризе тюрьма,  
Пули, нищенская сума,  
А у братьев моих в Баку —  
Детям свет, почёт старику?  
Разве гор снеговых гряда  
Заслонила свет навсегда?  
Где вы, зори, над ночью злой?  
— О-о-ой... О-о-ой... О-о-ой...

В горле едко першит тоска,  
А вокруг — океан песка.  
И, как ветер пустыни, дик  
Этой песни беззвучный крик.  
Раскалённый зенит высок.  
Под ногами шипит песок.  
По наносам зыбучих груд  
Тяжело шагает верблюд.  
Жажда сушит грудь — не вздохнуть.  
Кровь звенит в висках и ушах.  
Мечен смертью проклятый путь  
От Тавриза на Керманшах.

*Тегеран—Москва*



---

## ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ

★

### РЕКИ ГОРЯТ

Роман \*

Глава 16

**ШУ**увара старался не смотреть. Но он видел их и сквозь опущенные веки, будто чувствовал этих людей кожей, всеми обострёнными до предела чувствами. Кто они? Чего хотят? Как доискаться правды, как увидеть их подлинный облик?

Три человека. Сидят как ни в чём не бывало. Не где-нибудь, а в Москве. И сидят, будто так и надо, будто дома. Чем они это заслужили? Как сюда попали? В страданиях, муках, в борьбе, пробиваясь через сотни километров пешком, с израненными ногами? Нет. Их привёз самолёт — круглым путём, с такими удобствами, будто никакой войны и в помине нет. Безукоризненно выглаженные костюмы — им-то никогда не приходилось ходить в лохмотьях! Холеные руки — им никогда не приходилось тяжким трудом зарабатывать себе на жизнь. А между тем о чём придётся говорить с ними! О Польше, конечно о Польше. Но о какой Польше?

Бывший посол молчит. Замкнутое, гладкое, ничего не говорящее лицо. Сиятельный польский граф, с гладко прилизанными тёмными волосами, со смуглым равнодушным лицом, он сидит за этим столом холодный, замкнутый, видимо тщательно вникая в каждое слово. Нет, нё в Москве бы тебе быть! И не в такой, ох, не в такой роли... Шувара безмолвно глядит на его непроницаемое смуглое лицо. Так и хочется сказать ему: «Ведь это вы организовали шпионскую сеть в Советском Союзе. Ведь это на вашей совести десятки и сотни людей, которые за эту шпионскую деятельность сидят сейчас в тюрьмах. Они наказаны справедливо. Но вы — вы остались в стороне. Вы спокойно уехали и вот снова явились сюда разговаривать с нами, вести переговоры, как равный с равными. Ведь это вы давали приказы скупать золото и драгоценности — и часть их, безусловно, вывезли в своих чемоданах, пользуясь дипломатической неприкосновенностью... Вы отвечаете за то, что люди подыхали с голоду, в то время как ваши склады ломились от записов, за то, что польские дети ходили в лохмотьях, в то время как целые орды ваших родственниц и любовниц наряжались в шелка. Неужели вы полагаете, что с этим покончено, что всё позабыто и вам не придётся держать ответ за свои преступления? Это вы грабили советскую страну, обливающуюся кровью в героическом напряжении, вы ткали против неё паутину заговоров, вы сеяли клевету, чернили героический народ. Вы пытались разжечь ненависть против всего, что нам близко и дорого, против единственной страны, которая подала нам руку помощи в

\* Окончание. См. «Новый мир» №№ 7 и 8 с. г.

дни чёрной беды, против тех, благодаря кому мы ещё будем свободными гражданами свободной страны».

Лицо чужое, будто иностранное. И вправду, что общего у этого человека с истекающей кровью польской землёй? Что знает он о ней? Такие, как он, губили Польшу, такие привели её на край пропасти; им-то безопасно и сытно жилось в городах, переполненных безработными, в деревнях, где пухли от голода зашивленные дети. Он прав, что почти не вмешивается в разговор. Что он может сказать? Какое право имеет говорить? По-настоящему, этому человеку место не здесь за столом. По справедливости, он должен быть в тюрьме. Как шпион. Как вор. Как скупщик золота и контрабандист. В своё время его прикрыл дипломатический паспорт. Только этот дипломатический паспорт дал ему возможность выехать за границу, под крылышко английских покровителей. А сейчас у него хватило наглости приехать сюда как ни в чём не бывало, с официальной миссией.

«Ох, сказал бы я тебе,— с глухим гневом думает Шувара.— Меня ты не ослепишь своими графскими манерами. Мне прекрасно известна их подоплёка, прекрасно известно всё твоё хамство! Знаем мы, почему ты так самоуверен, почему осмелился явиться сюда... И вы ещё смеете в своих паршивых листках объявлять нас «иностранными агентами»!

Второй — просто старая песочница, на него страшно смотреть, вот-вот рассыплется. Впрочем, они и сами не принимают его всерьёз. Всё дело, конечно, в третьем. Только он и имеет значение.

Шувара внимательно всматривается в этого третьего. Круглое, добродушное на первый взгляд лицо. Охотно улыбается. «Кого он мне напоминает? Какое-то неуловимое сходство — с кем?» Но вдруг круглое лицо наклоняется к столу. Совершенно кошачье движение! Ну конечно же, он похож на кота! Спрятал когти в бархатные подушечки лап, притаился, ждёт момента, чтобы прыгнуть, вонзить когти...

«Нельзя поддаваться предубеждению,— повторяет себе Шувара.— Нельзя всех равнять под одну гребёнку...»

Но эти уговоры мало помогают. Слишком любезна улыбка круглого лица. Слишком тягучи и клейки дружелюбные слова. Так вот он каков, этот «провиденциальный человек»! Нет, не стоит обманываться. Надо ясно сказать себе, что никакого откровенного разговора не выйдет даже с этим «крестьянским деятелем». С ним, видно, надо держать ухо востро. За каждым его словом возможна ловушка, каждая улыбка может иметь второй смысл.

Нервы Шувары предельно напряжены. Надо слышать не только слова, не только интонацию, но и то неуловимое, что за ними скрывается. Не пропустить ни одного движения губ, ни одного взгляда, ни одной мимолётной тени на лице. Прочсть мысль, скрывающуюся под маскообразной улыбкой и любезными жестами. Узнать, с чем они приехали на самом деле, прощупать их тайные замыслы.

Нет, дело обстоит не так, как можно было сперва предположить. Они приехали не потому, что считают своё дело проигранным, и теперь, когда советская и польская армии уже вошли в Польшу, пытаются восстановить порванные отношения. Нет, нет, они ещё, видимо, чувствуют себя довольно уверенно. Вправду так или только притворяются?..

Разговор ведётся осторожно. Словно люди идут по вязкой почве, тщательно отыскивая ногой безопасные места, на каждом шагу опасаясь погрузиться в трясины. Шувара старается преодолеть внутреннее возбуждение, убеждая себя, что для волнения нет причин. Но доста-

точно и одной причины — уже одного существования этих трёх, одной необходимости переговоров с ними, именно таких переговоров.

И, конечно, сразу, с места в карьер, встал самый щекотливый вопрос — вопрос о границах. Бывший посол сдержанно молчит. На круглом лице адвоката, члена лондонского правительства, гаснет улыбка. Старичок горячится, долго и увлечённо ораторствует:

— Но это значило бы обкорнать Польшу, нанести ей непоправимый ущерб!.. Вы отдаёте себе отчёт, господа, о скольких километрах идёт речь? Ведь это же...

Старая песня! Шувара старается говорить тихо, спокойно.

— Это земли, населённые украинцами и белорусами. Это земли, которым Польша не сумела ничего дать и которые Польше не принесли ничего, кроме затруднений и несчастий. Это земли, которые стали да и всегда были одной из немаловажных причин слабости Польши — слабости внутренней и внешней. Это земли, которые нам не принадлежат и никогда нам не принадлежали по праву.

Старикашка вскакивает:

— Что? Никогда? Не понимаю, как можно так говорить... Вы забываете историю, сотни лет нашей истории!

— Не забываю. Наоборот. Я помню о сотнях лет борьбы украинского народа за свободу.

Старичок трясёт седой головой. Руки его дрожат, губы беспомощно кривятся, как у собирающегося заплакать ребёнка. Адвокат спокоен, лицо его лишено всякого выражения.

«О чём я им говорю? — злится на себя Шувара. — На этой платформе с ними не сговоришься».

Один за другим берут слово товарищи Шувары. Они говорят о Брестском мире, о правах Советского Союза. Нет, это ещё тоже не тот разговор, для которого они явились.

«Старикашка не в счёт, — соображает Шувара. — Но те двое — политики, торговцы. С ними и надо говорить соответствующим языком».

— Вот что, господа, — если касаться истории, то это ведь линия Керзона, не правда ли? Даже ваши англичане считали, что такая граница была бы справедлива. Так или не так?

Адвокат неохотно кивает головой.

— Допустим, что так... Но вы забываете, что то был двадцатый год, а теперь у нас...

— Ну так что же? Вы же сами, господа, любите ссылаться на историю, а уж это-то во всяком случае исторический факт... И потом, неужели вы полагаете, что англичане сейчас меньше считались бы с мощным, победоносным Советским Союзом, чем тогда со слабым, разрушенным войной государством? Да, наконец, если подойти к вопросу без романтических фраз, а по-деловому, то как вы полагаете — если Советский Союз поможет нам вернуть себе свободу, даст возможность получить наши исконные земли на западе, земли, богатые промышленностью, откроет нам широкий доступ к морю, без которого экономика Польши всегда останется слабой, взамен чего это будет сделано? Уж если сгавить вопрос трезво и реально, как вы любите выражаться, то не слишком ли мы многого требуем?

Адвокат, член лондонского правительства, барабанит пальцами по столу:

— Западные земли... Разумеется! Но кто же согласится отдать нам эти земли? Англия и Америка совершенно не заинтересованы в том, чтобы поддержать эти наши требования.

— В том-то и дело! Англия и Америка не заинтересованы. А ведь

Советский Союз, если уж вы хотите разговаривать в этой плоскости,— заинтересован. Это единственное правительство и единственная страна, которые поддержат нас в этом отношении. Вот поэтому и следует считаться с этой страной и с этим правительством, даже вопреки эмоциям некоторых политиков. Что же касается интересов Польши, то неужели вы решитесь сравнивать Гданьск со Львовом или Силезию с Полесьем?

Короткие пальцы нерешительно барабанят по столу; покрытому красным сукном. Старикашка вертится в кресле.

— К чему же сравнивать? Конечно, никакого сравнения быть не может... Но ведь для нас было бы лучше получить и то, и другое.

— Кто же это вам даст и то, и другое?

— Ну, всё же, если мы потребуем... Ведь мы имеем право...

— На что? Мы имеем право на западные земли. Их мы должны получить. На остальное мы никакого права не имеем.

«Имеем право... — враждебно думает Шувара.— Да кто вы, собственно, такие? Старый профессор, давно забывший о своих юношеских порывах и обратившийся в развалину, мозг, давно переставший работать, если вообще когда-либо работал. Чиновник, бюрократ; выдрессированный на бековской политике, на крючкотворстве и политиканстве; доведший Польшу до гибели, на вечных мечтах о великодержавной Польше, на бреднях о её мнимой мощи... И наконец этот третий, в котором всё дело, этот якобы крестьянский деятель, адвокатский крючок, мнимая величина, искусственно раздуваемая и рекламируемая иностранными державами, чтобы ещё раз обмануть польского мужика, ещё раз надуть народ, ещё раз загнать Польшу в тупик...»

Не стали бы вы со мной разговаривать, в переднюю бы меня не впустили, простого слесаря, коммуниста, сидевшего в ваших тюрьмах. Не стали бы вы говорить со мной так любезно, если бы не чувствовали за мной силу. Другое дело, что вы там говорите и пишете в ваших листовках, — но сами-то вы прекрасно знаете, что сила в наших руках, что настоящая армия, которая борется и знает, за что борется,— у нас, а не у вас... И что за нас стоит Советский Союз...»

Адвокат поднял голову.

— Всё это очень хорошо, только... Так ли вы уверены, что наши права на западные земли будут поддержаны?

— Совершенно уверены.

— Политика, знаете ли, вещь текучая, изменчивая, часто зависящая от конъюнктуры...

— Это смотря чья политика. Советский Союз поддерживает и будет поддерживать наши справедливые требования на получение нами западных земель. Если угодно, то хотя бы и потому, что он в этом заинтересован — граница Германии будет на несколько сот километров дальше от линии Буга. Это тоже имеет значение, и немаловажное.

— Допустим, что это так... — соглашается, наконец, адвокат.— Но есть ещё и другие вопросы.

О, да, их множество, этих других вопросов. С круглыми жемами, с приятной улыбкой на лице адвокат пытается «кое-что разъяснить». Он, видите ли, не совсем понимает, он читал их декларацию, читал программу... И если обойти вопрос о границах, о котором пока можно не говорить,— то в чём же разногласия? Аграрная реформа? Но он, как крестьянский деятель, лучше всего понимает необходимость её. Вот, пожалуйста, достаточно прочесть его высказывания! Он всей душой за аграрную реформу...

— Да, только мы уже даём землю, а вы, господа, говорите об этом, как о чём-то, что должно последовать в будущем...

— Не в будущем, а тотчас после восстановления независимости Польши. Вы уже даёте землю, как же, знаем — в освобождённом Люблинском воеводстве... Но разумно ли это? Нужно сперва иметь в руках всё, всё подсчитать и оценить, и тогда уже спокойно приняться за столь серьёзное мероприятие... А так, в спешке, можно наделать массу ошибок, которые впоследствии трудно будет исправлять.

— После восстановления независимости?.. Это вроде того, как было в восемнадцатом году? Тогда ведь тоже говорилось об аграрной реформе. А много ли земли получил крестьянин в течение двадцати лет независимости? Сколько помещиков экспроприировало государство за это время? Во что превратили парцелляцию, которая вконец обездолила мужика? Во что превратили всю эту аграрную реформу? Нет уж, хватит, раз навсегда — хватит! Мы будем поступать именно так, как поступаем на освобождённом уже клочке Польши. Каждую пядь освобождённой земли — сразу в руки крестьян! Довольно их обманывали. Сейчас нужны не слова, а дела. Иначе никто не поверит, что ему «потом» дадут то, что можно дать сразу.

Адвокат разводит руками.

— Я крестьянский деятель. Да и сам из крестьян. Трудно заподозрить, чтобы я недооценивал важность этого вопроса или хотел бы действовать в ущерб крестьянам. Но именно вследствие важности вопроса его нельзя разрешать легкомысленно, без подготовки.

Жилы вздуваются на лбу Шувары. Кому это говорит, кому хочет втереть очки этот «крестьянский деятель»? Мало ли он видел вот таких адвокатов, что сколачивали себе состояния на нищете, на безграмотности крестьян, и добивались депутатских мандатов, чтобы в сотый раз обмануть и продать своего избирателя? Сам-то он, этот «мужицкий» адвокат, прекрасно знает, как обстояли тогда дела, да, видно, не слишком об этом печалится. Но он, слесарь Шувара, который тогда был восемнадцатилетним мальчиком и сам разоружал немцев, он верил во все прекрасные обещания... О, как веяло тогда, как радостно полыхало на ветру красное знамя! И всё пропало, всё рассыпалось в прах. Не прошло и двух-трёх лет, как слесарь Шувара — только за то, что осмелился напомнить об обещаниях «Люблинского манифеста», — был брошен в тюрьму. И он, и многие другие. Сколько лет прошло, а в сердце всё ещё жива горечь тогдашнего разочарования, когда оказалось, что все обещания демократических свобод остались пустыми фразами, клочками бумаги. Но теперь-то вам, господа, не удастся обмануть, обокрасть, ограбить польский народ.

Пусть ему отвечают другие, этому адвокатишке. Он, Шувара, больше не в силах разговаривать с этой улыбающейся скотиной.

— Реформа вовсе не осуществляется без подготовки. Мы работали над ней с первого дня, как возникла польская организация в Советском Союзе. Это был один из лозунгов, за который отдавали жизнь польские солдаты под Ленино и на всём пути от Смоленска до Люблина. Вы утверждаете, что вы и мы стремимся к одной и той же цели. Тем лучше. Но есть и принципиальное различие. Мы хотим её осуществлять сейчас, а вы, господа, откладываете. Польский крестьянин уже слишком хорошо знает, что означают эти отсрочки. Польша, воскресающая сейчас из мёртвых, будет подлинно демократической Польшей.

— Ах, демократической... Вы всё время об этом говорите, да и в своей декларации так подчёркиваете демократичность будущей Польши... Но кто же такие мы — я, например, крестьянский сын и крестьянский деятель? Какой же мы ещё можем желать Польши, как не демократической?

— А на какую конституцию опирается ваше правительство? Почему

вы до сих пор считаете для себя обязательной незаконную конституцию тридцать пятого года, конституцию, навязанную народу силой? Почему вы защищаете конституцию Берёзы Картузской и тюрем, конституцию чёрной реакции?

Член лондонского правительства беспокойно вертится в своём кресле.

— Это верно, но мы ведь тоже не за эту конституцию... Мы только считаем, что сейчас это не так уж важно. После нашего возвращения на родину конституция будет изменена.

— Лишь после возвращения на родину? А прийти туда вы хотите именно с этой конституцией и только потом подумать, изменять ли её вообще и как именно изменять? Мне кажется, что вы всё же недооцениваете принципиальной разницы между нашей декларацией и теорией и практикой лондонского правительства...

— Мы не создавали этой конституции, а получили её в наследство.

— В наследство — после кого? После людей, которые разорили Польшу, довели её до гибели, выдали на произвол врага, а сами сбежали от опасности, оставив страну и народ без защиты, без власти, без укреплений и оружия, как лёгкую добычу для тех, кого так упорно называли своими друзьями?

— Надо же установить какую-то преемственность законной власти.

— Да о какой законной власти вы говорите? Не были ли правительство и власть, опирающиеся на эту конституцию, по самой своей сущности незаконными? Как раз незаконными?

— Ну, вы уж слишком далеко заходите!

— Слишком далеко? Мне кажется, пора бы извлечь некоторые выводы из данного нам историей горького урока, взглянуть, наконец, трезво на известные фигуры, известные вопросы.

Словно стеклянная стена перерезала стол, покрытый красным сукном. Сквозь неё всё видно и слышно, но, в сущности, слова отскакивают от её твёрдой, гладкой поверхности.

Разговор тянется вяло, медленно. Каковы шансы договориться? Что представляют собой эти люди, которые явились сюда лишь тогда, когда уже освобождён Люблин, когда советские армии стоят у стен Варшавы? Что даёт им силу и наглость вести переговоры с деятелями, часть которых боролась за Польшу здесь, в сражающемся против фашизма Советском Союзе, а часть сопротивлялась захватчикам там, в оккупированной родной стране, и прибыла сюда через линию фронта от имени высших властей сражающихся, по-настоящему сражающихся поляков?

Разговор снова обрывается. Адвокат как-то притаился, словно готовится к прыжку. Поочерёдно оглядывает собеседников. Поднимает глаза к потолку, будто что-то взвешивая. И наконец тихим, но внятным вкрадчивым голосом говорит:

— Надеюсь, господа, мы можем говорить откровенно... Вы действуете по указаниям Москвы, — я представляю английскую точку зрения...

Ну, разумеется! Последнее не стоило и подчёркивать — никто и так не сомневался.

Подавить, задушить в себе негодование! Не дать им преимущества — большего спокойствия! Можно, как этот адвокат, тоже поднять глаза к потолку. Изукрашенный, размалёванный потолок. Здесь некогда принимал гостей и плёл паучью нить шпионажа посол польского министра, агента иностранных разведок Бека. Здесь некогда сходились дипломаты разных стран поговорить между собой об интимных делах, о секретах западной политики. Ни следа не осталось ни от кого из них, ни следа от их дутого величия, от их «гениальных политических шагов». На потолке живопись — тяжёлые, пышные тела мужчин и женщин, нечто под Рубен-

са, под барокко семнадцатого века. И прямо над столом — жирный, выпяченный голый зад, удивительно похожий на любезно улыбающееся лицо члена лондонского правительства. И, как ни странно, это наблюдение успокоительно действует на нервы Шувары. Неприличное слово — не высказанное, но так открыто и ясно увиденное на потолке, — приносит облегчение. И можно уже спокойно, даже любезно ответить:

— Да? Значит и тут есть различие, но только не то, о котором вы говорите. Различие между нами в том, что мы представляем польские интересы.

На этот раз улыбка адвоката напоминает сконфуженную улыбку пойманного за руку воришки. Лёгкое покашливание. «Ох, не такой уж ты ловкач, каким хотел казаться, — ехидно всматривается в него Шувара. — Ошибся малость, принял нас за таких же каналов, как сам, и проболтался, бедняга...»

Но адвокат уже откашлялся. Лицо его снова оживляется.

Ах, он совсем не об этом! Он, разумеется, тоже всей душой за соглашение с Советским Союзом. Всегда был за него. Как же иначе — ближайший сосед, союзник, это совершенно ясно...

Не пора ли?

С самого начала разговора на столе лежит папка. Обыкновенная коричневая папка, завязанная чёрными тесёмками. Она была приготовлена на всякий случай, хотя неизвестно было, как пойдут переговоры и будет ли в ней надобность. Глаза лондонских собеседников уже не раз останавливались на папке. Они явно интересовались: что бы там могло быть? Подождите, подождите, это не совсем обычные документы. Сосед Шувары не спеша развязывает тесёмки, и Шувара видит, как глаза тех господ, будто вопреки их воле, приковываются к папке.

Наконец она открыта. Сосед Шувары перелистывает бумаги, вытаскивает одну. Воззвание, этакое маленькое воззвание о необходимости борьбы со вступающей на польские земли Советской Армией. «На польские земли» — это означает в данном случае Литву. Речь идёт о Вильнюсе. Господину министру не случилось видеть это воззвание? Его источник установлен с несомненностью.

Белый клочок бумаги слегка дрожит в руках господина министра.

Но вот и другой документ. Это уже не воззвание, а инструкция: как притаяться, как вкрасься в доверие, чтобы тем легче, тем успешнее ударить исподтишка, из-за угла.

Бесцветные глаза медленно, внимательно читают. Рука уже не дрожит. Она протягивается к следующему документу. Угодно ещё? Пожалуйста! Рапорт о том, как был вырезан партизанский отряд. Указания, как вылавливать бежавших из фашистского плена красноармейцев. Инструкции, как не допускать борьбы с фашистами. И инструкции, как бороться с коммунистами.

«Дружба с Советским Союзом»... Сквозь заграждения концентрационного лагеря, под автоматными очередями, прорвался тёмной ночью солдат. В ста битвах он сражался с врагом. В ста битвах глядел в глаза смерти. Сто раз умирал в голодной лихорадке за колючей проволокой, за каменными стенами лагерей. И вырвался, бежал. Тяжело дыша пополз к деревне. Исхудалый, как призрак, человеческая тень. Крестьянские руки накормили солдата. Крестьянские руки перевязали его раны — затем, чтобы поутру его выволокли вооружённые люди, одетые в штатское платье, и расстреляли вместе с его хозяевами, заплатившими жизнью за кружку молока, за тряпье, данное солдату Советской Армии.

В лесах и оврагах сражался бежавший из лагеря солдат Советской Армии. Он увлёк на борьбу людей, которые уже ни во что не верили,

ни на что не надеялись. За тысячу километров от своей отчизны, от своей армии, боролся он за свободу страны, которая не была его родной страной,— затем, чтобы его, вместе с его отрядом, окружили штатские в высоких сапогах и зарубили его вместе с его отрядом топорами в тёмную ночь, в ночь польской неволи.

Из когтей смерти, из ямы, куда бросают расстрелянных, вырвался чудом советский солдат, спас и лежащего рядом поляка — затем, чтобы обоих застрелили в момент, когда они уже очутились вне досягаемости для врага.

«Дружба с Советским Союзом»...

Ещё? Пожалуйста, вот ещё и ещё. Только поосторожнее берите эти листки, господин министр! Как бы не полилась по вашим рукам братская кровь. Поосторожнее берите эти листки, господин министр! Как бы не встали перед вами обвиняющие тени убитых.

Короткие пальцы сжимают бумагу так, что белеют суставы пальцев. Но благодаря этому рука не дрожит. Член лондонского правительства читает медленно, гораздо медленнее, чем этого требовало бы ознакомление с документом. Но лицо его не выражает решительно ничего. Будто это безразличные, не содержащие ничего интересного бумаги.

«И что же, что? — мысленно спрашивает его Шувара.— Ты ведь это знаешь, ты видел уже эти документы... Неужели ты думаешь, будто что-нибудь изменится, если ты немного оттянешь мгновение, когда придётся взглянуть нам в глаза?»

Тот медленно откладывает документ. И спокойным, ровным голосом, будто продолжая светский разговор, говорит:

— Это не мы. Это НСЗ<sup>1</sup>.

Ах, вот как? Возможно. Но... Что же означает вот этот ваш договор, чёрным по белому написанный договор с НСЗ? Что означает этот второй договор, заключённый с бандеровцами, договор о совместной борьбе против советских частей?

— Бумага всё терпит, — улыбаются тонкие губы. — Можно сфабриковать и более сенсационные документы...

Сфабриковать? Нет, за каждым из этих документов стоят трупы, сожжённые деревни и люди, выданные гестапо. Муки, смерть, слёзы.

«Нельзя давать волю своему гневу, — думает Шувара.— Нужно непрерывно следить за теми, нужно понять, почему вдруг возникло такое напряжение, почему, начавшись с любезных улыбок, разговор зашёл в тупик».

Улыбка куда-то исчезла с лица адвоката. Бывший посол посматривает на часы. Третий, кажется, задремал, не вмешивается в разговор.

Бумаги снова уложены в папку, завязаны тесёмками. Но в воздухе ещё стоят испарения крови и предательства, которыми повеяло от этих бумаг. Над красным сукном стола, по углам зала, под размалёванным потолком блуждают призраки. Атмосфера враждебности наполняет зал до того, что всем становится душно.

Бывший посол опять украдкой смотрит на часы. Он и его коллеги, видимо, устали, хотели бы прервать разговор, принявший столь неприятный оборот, но всё ещё тянут, спрашивают о каких-то мелочах. И вдруг представитель лондонского правительства вспоминает:

— Да, а как обстоят дела... финансовые, если не будет нескромностью спросить?

— То есть какие финансовые?

<sup>1</sup> «Народове Силы Збройне» — польская фашистская организация, связанная с гестапо и одновременно с лондонским эмигрантским правительством. (Прим. перев.)

— Ну, хотя бы вооружение, экипировка армии. Вам пришлось, конечно, дать какие-нибудь обязательства?

Зеленоватые водянистые глаза будто совершенно равнодушно смотрят сквозь светлые ресницы. Но за внешним безразличием таится напряжённое внимание.

«Вот что тебя интересует... Как тех журналистов в день присяги дивизии... Нет, ты и тут промахнёшься, этого аргумента у тебя не будет!»

И Шувара спрашивает:

— Кто же мог дать обязательства? От чьего имени? От имени польского народа? Мы служим польскому делу, но не считали возможным обременять страну какими бы то ни было долгами. Да никто и не требовал от нас этого...

— Как так?

«Ну, разумеется, ты удивлён. Ещё бы, ведь там, за Ламаншем, ваши покровители скрупулёзно подсчитывали каждую копейку. Каждая бомба, сброшенная польскими лётчиками на общего врага, была оплачена золотом, вывезенным из Польши. Каждый самолёт, каждый снаряд был куплен на это золото... Неважно, что поляки защищали Лондон от налётов, неважно, что они защищали берега Англии! Этот союзник умеет и любит считать. А вам — что? В ваших руках золото, выжатое из мрущих с голоду мужиков и рабочих, — вы умеете запускать руки в государственную казну. И не колеблетесь делать займы от имени Польши, которой ещё даже нет. Вы спокойны. Вам кажется, что стоит покрепче нажать на крестьянина, вытащить подушку из-под головы умирающей бабы, вывести из покосившегося хлева последнюю коровёнку, ещё повысить налоги, ещё урезать заработную плату — и вы расплатитесь с союзниками, если даже нехватит золота, вывезенного из Польши. Найдутся деньги на банкеты и на пышные резиденции, на весь ваш вульгарный шик, над которым смеются даже ваши покровители. Хватит их на десятки грязных листов, в которых вы ведёте свою лживую пропаганду, хватит на всё... Ведь это так просто — стоит только снова передать шахты в иностранные руки, снова предоставить концессии иностранцам».

— Мы дали людей, Советский Союз дал этим людям оружие. Сражаемся мы за одно дело. Какие же ещё обязательства?

Водянистые глаза щурятся, почти исчезают в желтоватых ресницах. Не верит. Да и как ему поверить? Он привык всё продавать и покупать и не может представить себе, что отношения между людьми, между государствами и народами могут заключаться в чём-то ином, чем торговля, чем купля-продажа.

Где адвокату понять это? Ведь мерещились же какие-то закулисные сделки, тайные договоры, тайные обязательства и тем иностранным корреспондентам. Как мог понять этот делец, что здесь другой мир, что единственным ответом на все их вопросы был ответ человека, каждое слово которого твёрдо, как клятва; прямой и ясный ответ, что Советский Союз не торгует кровью...

— Скажите, а... вся эта материальная помощь штатским, школы, детские дома, — настаивает адвокат, — это всё... тоже бесплатно?

— Ах, значит, вы, господа, всё же знаете, что здесь существуют польские школы и детские дома, и материальная помощь беженцам?

— Да... В общих чертах...

О, разумеется, в общих чертах! Жаль только, что даже в «общих чертах» — ни одного слова об этом не проникло в прессу там, за Ламаншским каналом, за океаном, в прессу орущую, плюющую, не отступающую ни перед какой клеветой, ни перед какой ложью.

— Вст, можете познакомиться: не в общих чертах, а точно, по документам.

Бывший посол на мгновение теряет каменное спокойствие, он слишком быстро, слишком стремительно протягивает руку.

«Смотри, смотри! Ведь это вопросы, которые когда-то были в твоём ведении, которые должен был разрешать ты!»

Бывший посол торопится, быстро перелистывает страницу за страницей. Школы. Детские дома. Издательства. Вагоны продовольствия. Вагоны одежды. Рубрика за рубрикой — колонны цифр.

— Любопытно, не правда ли?

— Да, любопытно,— бесцветным голосом отвечает тот и, будто спохватившись, прежним ленивым жестом отодвигает от себя бумаги.— И это также бескорыстно?

— Да, и это бескорыстно.

Но уже поздно. Гости чувствуют себя утомлёнными. Просят отложить окончание разговора на следующий день.

Тихо закрываются огромные, массивные двери бывшего посольства. Длинная чёрная машина тихо отплывает по асфальту. И теперь, когда они уехали, когда разговор отзвучал,— становится совсем ясным то, что затемнялось в переговорах. Нет, дело не в границах, не в аграрной реформе и, тем более, не во второстепенных вопросах. Стеной, на которую всякий раз натёкался разговор, был упрямо отстаиваемый лондонцами тезис о том, что правительство можно будет формировать только в Варшаве. Это выдвигалось ими, как нечто не подлежащее дискуссии. Но это была пустая болтовня. Функционировал Комитет Национального Освобождения, осуществляя полноту власти. Он, в сущности, был уже правительством на клочке отвоёванной земли и мог официально реформироваться в правительство где угодно — и в Люблине, и в Хелме, свидетельствуя, что Польша существует, что она перестала быть только территорией, оккупированной врагом, а стала государством.

Разумеется, подлинный вес будет иметь лишь правительство, пребывающее в столице. Но ведь оно может войти в неё уже сформированным хотя бы в Люблине. Откуда же это упорство? Почему только в Варшаве? Зачем ждать и чего ждать, когда каждый день требует безотлагательных решений, декретов, устройства освобождённых районов на новый лад?

Все эти доводы отскакивали, как горох от стенки, наталкиваясь на молчаливое, глухое упорство лондонцев.

Это не зря. Казалось бы, те сами заинтересованы в том, чтобы как можно скорее войти в новое польское правительство, как можно скорее принять участие во всём происходящем в Польше,— хотя бы для того, чтобы тормозить и вредить. А они откладывают, оттягивают это до освобождения Варшавы, даже не спрашивая, когда оно может быть осуществлено. А ведь это совершенно неизвестно, особенно сейчас. Ведь ясно, что огромное трёхмесячное наступление не может продолжаться до бесконечности, что надо подтянуть войска и боеприпасы. Форсирование Вислы — дело трудное. Как это ни грустно, приходится считаться с возможностью, что Варшава будет освобождена не так скоро,— быть может, позже Кракова, Силезии... Почему же они откладывают — до Варшавы?

Возникает уверенность — эти люди выжидают. Но чего? Казалось, им бы и торопиться. История идёт своим путём, и чем дольше они будут находиться вне событий, тем хуже для них. Каждый новый день даёт новые преимущества людям из Комитета Национального Освобождения. Так почему же они тянут?

В эту ночь Шувара не мог уснуть. Широко раскрытыми глазами смотрел он в темноту. Где таится западня? Что скрывают эти маски выжившего из ума профессора, отставного дипломата, адвокатского крючка? Впрочем, старикашка не в счёт, он явно не посвящён в их планы. Но те двое — почему они играют на промедление?

Шувара осязаемо чувствовал притаившуюся рядом опасность. Но какую? Любое предположение, которое приходило ему в голову, тотчас же казалось ему самому бессмысленным. Что должно произойти? Ведь тот прохвост не дрогнул, когда на брошенный как бы мимоходом вопрос, какой пост они могут предложить ему в будущем правительстве, услышал немедленный и недвусмысленный ответ: хотя бы пост премьера. Ведь он явно этого не ожидал. Явно готовился к тому, что придётся торговаться за портфели, за влияния и возможности. А тут сразу портфель премьера — и он не ухватился за него, дал вопросу утонуть в вялом, перескакивающем с предмета на предмет разговоре. В чём же дело? Откуда может обрушиться удар?

Завтра в одиннадцать новая встреча — тогда всё выяснится. Нельзя же тянуть эту болтовню до бесконечности! Ну, ладно, тот хотел прощупать почву — быть может, хотел снести с Лондоном, прежде чем принимать конкретные решения. Но следующий разговор уже пойдёт глаже, по-деловому. Хуже всего это переливание из пустого в порожнее, в которое превратился весь первый разговор.

Медленно двигались стрелки стенных часов. Мертво выпячивались голые зады на размалёванном потолке.

Телефонный звонок. Ровный, любезный голос бывшего посла. Господин министр очень просит его извинить. Господин министр плохо себя чувствует и просит отложить совещание. О, ничего серьёзного, простой грипп, простуда...

— Когда же?

Это, разумеется, трудно предвидеть. Всё зависит от того, как будет себя чувствовать господин министр. Как только ему станет лучше, они тотчас дадут знать. Очень неприятно, что так вышло, но что поделаешь?.. Господин министр очень просит извинить.

— Простудился... Ну, конечно.

Подозрения, возникшие вчера, подтверждались. Те играли на промедление и, в сущности, даже не скрывали этого, не стыдились пускать в ход самые школярские увёртки.

Простуда... Здесь люди работают день и ночь, в жару, больные, едва таская ноги. Бледный рассвет застаёт их за работой, раннее утро снова поднимает их к труду. Они сгибаются под бременем тысячи дел и не бывают простужены, не болеют, не говорят, что чувствуют себя плохо, даже тогда, когда врач считал бы нужным уложить их в постель. Но этот министр лондонского правительства — не им чета! Он должен заботиться о своём здоровье, о здоровье «провиденциального человека», даже когда совсем здоров.

Ясно, они просто выжидают. Но чего, чего они ждут?

Приходилось вооружиться терпением. Любезно разговаривать с этими людьми, считаться с тем, что за их призрачными фигурами маячат и британский лев, и звёзды и полосы. А главное — надо считаться с моральным кредитом, которым пока ещё пользуется в Польше этот «крестьянский деятель». Его невозможно просто зачеркнуть, приходится ждать, пока его зачеркнёт сама жизнь. Ведь он вошёл в «лондонское правительство», чтобы показать, будто оно «полевело», он был нужен этому «правительству», как человек не скомпрометированный, не обременённый виной за сентябрьское поражение, не замаранный явной изменой в дни

войны. Вначале и Шуваре хотелось верить, что так оно и есть, что с ним можно будет разговаривать прямо и открыто. Но уже первый разговор развеял эту иллюзию. Стало ясно, что надо торговаться, почувствовать во рту омерзительный вкус того, что те называли «политикой».

Нет, опасен этот человек не был,— можно было спокойно швырнуть ему даже премьерский пост. Ему либо придётся пойти вперёд, вместе со всеми, либо жизнь сама выбросит его за борт. Теперь уже никому не вырвать из рук крестьянина землю, данную ему июльским манифестом Комитета Национального Освобождения. Никому не согнуть распрягнувшую спину рабочего, не приковать его к каторжной тачке. Никому не преградить путь тому ветру свободы, который развеивает знамёна на освобождённом клочке польской земли. Произошли необратимые перемены, и не этому посредственному адвокату уничтожить их. Он либо поплывёт по течению, либо будет им снесён.

Но что он прячет за пазухой, чего ждёт? Никто не верил в его «простуду». Что это за болезнь, ради которой откладывались дела, не терпящие отлагательств, и которая вместе с тем протекала без врачей? А «болезнь» затягивалась. День, другой, третий, четвёртый. Любезные разговоры по телефону. Округлые, точёные фразы бывшего посла. Старческий лепет профессора.

И вдруг—звонок самого министра. Он очень просит возобновить переговоры. Когда? Ах, бог мой, как можно скорее! Лучше всего — сейчас же, немедленно.

Даже сесть, даже поздороваться как следует никто не успел.

— Господа, вы, конечно, уже знаете? — Гладкое лицо дипломата сияло. Сияло круглое лицо члена лондонского правительства.

Шувара похолодел. Что случилось? Они не знали ничего, решительно ничего, что могло бы объяснить эту с трудом сдерживаемую радость, это рвущееся наружу торжество, заставившее позабыть даже об осторожности.

— Вчера вечером восстала Варшава!

Холодная дрожь. Будто под ногами вдруг разверзлась пропасть. Но нет, не может быть, это какой-то бред!.. И чему они, собственно, радуются?

— Вчера вечером!

Круглое лицо сияет. Адвокат захлёбывается своей новостью. Видимо, он не донял, почему побледнели его собеседники, почему сдавлены их голоса и дрожат руки.

— Что же теперь будет?

— Как — что будет? Варшава свободна!

— Но ведь их в два-три дня подавят...

— Ну, что вы, почему подавят? А советские войска? Ведь советские войска могут очутиться там как раз за эти два-три дня.

Безумный политик танцует на ниточке над пропастью. Хлопает в ладошки, радуется. Он ничего не знает, ничего не хочет понимать, кроме одной цели — захватить в свои руки власть. Он хочет доказать этим людям, говорящим от имени народа, что они — ничто, что не они будут ставить условия, а он, только он! Не войти советским войскам освободителями в польскую столицу, не посыплются цветы к ногам солдат Первой польской армии! Благодаря ловкому манёвру с восстанием, советские части, вступая в Варшаву, должны будут вести переговоры с правительством, уже держащим Варшаву в своих руках.

Ох, как он счастлив, этот адвокат! Как сладко чувство удовлетворения, вознаграждающее его за неприятные часы, которые он пережил,

когда заявил, что вести переговоры — пожалуйста, но непосредственно с Советским Правительством, а не с самозванцами, именуемыми себя Комитетом Национального Освобождения, и получил твёрдый и недвусмысленный ответ, что судьбу Польши определяют сами поляки. Советское Правительство ответило, что может помочь в переговорах, но не станет вмешиваться во внутренние польские дела; и не к чему вести переговоры с Советским Правительством, раз существует представляющий Польшу Комитет Национального Освобождения.

И вот теперь посредством этого восстания удалось спутать все карты. Теперь уж Советскому Правительству волей-неволей придётся разговаривать с ними, а не с этими наглецами из люблинского Комитета Освобождения. Сюрприз, какого никто не мог ожидать...

— Три дня? — спрашивает Шуvara. — Вы, повидимому, не ориентируетесь в положении. Фашистские войска сконцентрированы вокруг Варшавы. Советская Армия, после трёхмесячного кровавого наступления, должна подготовиться. Вы знаете, что значит подтянуть тылы, пополнить вооружение, подготовиться к форсированию Вислы, захватить плацдармы?! Неужели вы думаете, что Варшаву можно взять немедленно, фронтальной атакой?

— Но ведь Советская Армия так близко!

— И что же из этого? Вы там были? Разве такие вещи измеряются только расстоянием? Три месяца наступления, три месяца наступления! Вы понимаете, что это значит? А вы говорите — три дня! Надо быть безумцем, слепым безумцем, чтобы говорить о трёх днях! Надо рассчитывать не на дни, а на недели, быть может — на месяцы!

Теперь бледнеет адвокат. Улыбка сползает с его лица. Жёлтые мешочки морщинистой кожи под глазами, побелевшие, как мел, губы.

— Но ведь в таком случае...

— Вот именно! В этом всё дело! Вы послали на смерть сотни тысяч поляков, обрекли на разрушение столицу... Вы ещё ответите когда-нибудь за это безумие, на которое толкнули людей... Как вы могли, как могли!..

Теперь всё ясно. Вот чего они ожидали. Вот какую карту припрятали в рукаве, воображая, что сыграют наверняка, что это козырный туз. Идиотское, изменническое преступление проигравшихся шулеров, заранее битая карта...

Но эта битая карта — это город, город! Воля и Охота, Мокотов и Маримонт, Повислье и Черняковский район, улицы, извилистые переулки Варшавы, любимые места, знакомые с детства площади, где каждый камень полит слезами и кровью трудящихся. Родная Варшава, обречённая сейчас, в последние недели перед освобождением, на кровавую баню, на смерть и разрушение!

Даже адвокат испуган, его руки дрожат. Но постепенно он успокаивается. Нет, он не верит, не может поверить, чтобы столь хитроумно задуманный план мог рухнуть.

— Но ведь советские войска...

— Советские войска... А вы договорились с командованием Советской Армии? Поставили его в известность о своих планах? Ознакомились с положением на фронте, выяснили возможности освобождения Варшавы?

Конечно, нет. Этого они не считали нужным:

— Вель любому ребёнку ясно...

«Любому ребёнку»!.. Если бы и вправду спросить любого ребёнка там, в Польше, он ответил бы, что не так-то скоро можно освободить Варшаву. Но эти люди и не думали никого спрашивать. Они создали свой план, ни с кем и ни с чем не считаясь, ослеплённые, заворожённые

одной целью — не допустить в столицу польскую армию, которая в их глазах была армией коммунистов, и, главное, любой ценой не допустить в Варшаву людей, которые могли претендовать на посты в правительстве, на решение судеб Польши.

Нет, они ещё не верят в катастрофу, хотя усомнились в своём успехе. Сверлят глазами, стараются понять, в чём таится мнимое коварство их противника. Пытаются спастись, закрывая глаза на действительность. Они не хотят, чтобы так было; они хотят, чтобы было иначе — и поэтому верят, что оно и есть иначе. Так им удобнее. Член лондонского правительства, снова во всеоружии своей любезной улыбки, вежливо склоняет голову, изображая внимание к словам собеседника:

— Я полагаю, господа, вы ошибаетесь. Потому что...

Какая ещё гнусность слетит сейчас с этих тонких губ? Мгновение он молчит, как бы соображая что-то.

— Потому что... ведь не можете же вы, господа, полагать, что Советская Армия, ввиду возникшей ситуации... нарочно воздержится от дальнейшего наступления?

Шувара вздрогнул от негодования.

— Мы ни с кем не разговаривали об этом. Никто не говорил нам и никто не должен был нам говорить, когда и на каком фронте ожидается следующее наступление, когда предвидится операция по освобождению Варшавы. То, что мы говорим, мы говорим на основе собственных наблюдений. После трёх месяцев непрерывного наступления, пройдя сотни километров, войска закрепились под Варшавой. Подготовка большого наступления, да ещё с форсированием такой широкой водной преграды, требует времени, это известно всякому, кто хоть немного понюхал войну.

Но эти люди и не нюхали войны. И подходят к ней не с мужеством воина, а с расчётами политических спекулянтов. Поэтому говорить с ними больше не о чем.

На столе не сукно — лужа крови. В Варшаве льётся кровь, рушатся дома. Пылают улицы. И этого уже ничто не отвратит, если... Если это не ложь, не глупая и грубая хитрость, пущенная в ход для достижения каких-то неведомых преимуществ при переговорах.

Но уже на другой день оказывается, что, к сожалению, это не ложь, а горькая, страшная истина. И переговоры сходят на нет. Становится понятным, что цель этих людей заключалась лишь в том, чтобы ошеломить представителей Комитета Национального Освобождения неожиданностью, продиктовать им свои условия, восторжествовать! Но там, за Вислой, горит Варшава, утопает в крови и пламени. Американско-английские лакеи хотели, чтобы она была главным козырем в их шулерской игре, и она стала гигантским костром, подожжённым руками преступников. Нет, уже не высадутся в неё лондонские «министры» — льётся кровь на баррикадах. Немецкие силы, находящиеся в районе Варшавы, о которых знали в Москве и в Люблине, но, по странной «случайности», не знали в Лондоне, несмотря на регулярную связь «лондонцев» с их варшавскими сторонниками, — танковая дивизия, дивизия эсэсовцев, сапёрные части — обрушились на злосчастную столицу.

Козырь перестал быть козырем. Уяснив себе это, увял член лондонского правительства. В сущности, ему не о чем говорить. Не для переговоров, не для установления отношений он приехал сюда, а лишь для того, чтобы блеснуть «гениальным» лондонским планом, поразить неожиданностью, продиктовать условия. Не удалось. И вот сонно тянется ещё один томительный, бесплодный, никому не нужный разговор. Мягкий голос, но каждое слово взвешено. Да, разумеется, все принципиальные вопросы обсуждены. Положение ясно. Но сам он не имеет полномочий

решать. Он должен вернуться в Лондон, информировать, согласовать. Ответ будет дан тотчас по возвращении в Англию. Конечно, медлить больше нельзя, медлить нет никаких причин. Если всё пойдёт хорошо — кто знает, быть может, достаточно будет нескольких дней, чтобы вернуться сюда, поехать в Люблин, включиться в работу по строительству Польши.

...Медленно, тяжело тянется день. Шувара тихо идёт по улицам Москвы.

Москва, великий, прекрасный город, столица мира, как горько итти сегодня по твоим спокойным улицам!..

Охота и Черняков, Воля и Повислье, Маримонт и Мокотов... Суровое, трудное детство варшавского ребёнка, суровая, трудная молодость варшавского рабочего... Жизнь, вся жизнь была связана с каждым камнем мостовой, с каждым деревом, каждым переулком города, овейного ветром с Вислы, полного отголосков великих и горьких исторических событий.

Стелется дым над Вислой, над прибрежным песком, над купами кудрявых ив. Красное пламя пожаров отражается ночной порой в воде. Бомбы перекапывают уже развороченные улицы. Кровь ещё и ещё льётся по мостовым...

Шувара останавливается, опершись о перила моста. Медленно струится Москва-река, отражая золотисто-алое сияние заката. Зубцы кремлёвских стен чётко выделяются в лучах заходящего солнца. У их подножья — тёмная зелень развесистых лип. Тишина и покой царят в воздухе. Фронт уже далеко. Давно миновали тяжкие дни сорок первого и сорок второго годов. Миновали и суровые, напряжённые дни сорок третьего. Но что до всего этого тем, приехавшим сюда из Лондона, чуждым, неприятным гостям, равнодушно ходившим по этим улицам? Что могли тут понять они, которые не любили ни одного города в мире, ни за один город в мире не были готовы отдать жизнь? С каким бесстыдством сказал тот польский «народный деятель», что он является представителем английских интересов и действует по указке английского правительства... Как он уверен, что все — такие же прохвосты, как он сам, и что между прохвостами можно себе позволить циничную откровенность...

Москва-река пылает золотом заката. Красные кирпичи кремлёвских стен горят, как огонь. Здесь в самые худшие, в самые трудные дни оставался на своём посту, в родной столице, руководитель страны. В ночи, красные от зарева зениток, в ночи, воюющие тревожными гудками, в ночи, грохочущие бомбовыми взрывами, — он был здесь. Он был здесь и тогда, когда гул артиллерийской пальбы доносился до стен Кремля, когда чёрные орды рвались к воротам Москвы. Он знал, что означает Москва, столица государства. Потому он знает, и что значит в жизни польского народа Варшава.

Как же посмел тот мерзавец бросить свою грязную инсинуацию?.. И как трудно стерпеть, что нельзя по-своему, по-рабочему, заткнуть эту грязную пасть! «Нет, неспособен я к политике, не гоюсь в дипломаты, — думает Шувара. — Кто я? Рабочий, слесарь. Эх, стать бы теперь к станку на своём заводе, работать, чтобы только искры летели!..»

Но искры летят сейчас от варшавского пожара. Город, выданный на произвол врага, город, выданный на гибель, милый, несчастный город...

Вечером надо бы встретиться со своими, поговорить, условиться. Но не хочется никого видеть — ведь все думают об одном и знают, что ничего невозможно сделать, ничем нельзя помочь.

Пять лет «лондонцы» не прекращали «предостерегать» поляков, пять лет лили холодную воду на головы, пылающие волей к борьбе, пять лет убеждали, что умнее всего сидеть тихо. Удерживали от активной борьбы за освобождение, называя её «легкомысленными выступлениями». А теперь, когда как раз и надо было выждать, когда необходимо было совместно обсудить и согласовать сроки — они дали сигнал к восстанию... Ах, как торжествовал тот лондонский прохвост, пока не понял, что ему нечего радоваться, что его десятиминутное торжество обойдётся Польше в потерю столицы и в сотни тысяч жизней.

Ноги, тяжело ступая, несут Шувару к дому. Шаги гулко отдаются на знакомой мостовой — воспоминанием, грустью и надеждой, вечерней песнью города героев звучит московская мостовая.

Каким страхом тогда, в сорок первом году, трепетало сердце за этот город, за город кремлёвских звёзд! Как замирало оно, когда на Урал доносился голос диктора, сообщавший, что на этот город падают бомбы. Нет, не верилось, ни на минуту не верилось, что враг может ворваться в этот город, что сапоги фашиста будут попирали улицы, по которым ходил Ленин, по которым ступают ноги Сталина, что тень свастики упадёт на столицу мира. Да, именно этот город, и только он, был столицей мира, его ясным, предвидящим мозгом, его пульсирующим сердцем, его надеждой и знаменем.

И враг не дошёл. Живым щитом встал у ворот столицы советский человек. Не допустил сюда врага народный вождь, отразили врага солдаты и рабочие. А теперь в Москве почти и не видно ран, нанесённых рукой варваров. Лишь кое-где, в каком-нибудь переулке, брешь в стене или разрушенный, но уже отстраивающийся дом говорят о том, что было.

«Но тебя, Варшава, некому было прикрыть от врага, — с мучительно сжимающимся сердцем думает Шувара. — Голыми руками защищали мы тебя тогда, в сентябре. А теперь тебя отдали на погибель, Варшава моя, Варшава! Ещё раз под удары бомб, ещё раз под артиллерийские залпы, ещё раз в жертву всеистребляющему пламени. Город моих детских лет, город юности, город зрелого возраста, город хороших и дурных дней — ты возникаешь сейчас в памяти, будто в тебе было одно хорошее. Каждый камень воплощает тоску по тебе, в каждом камне боль страстной любви к тебе».

По широкой улице одна за другой бегут машины, перекликаясь сигналами. Шувара идёт как во сне, погружённый в думы об этих двух городах, любовью к которым горит его сердце.

Но этот — уже в безопасности. А тот, другой, пылает в огне, преданный в руки врага...

Шувара ещё раз вспоминает круглое, улыбающееся лицо «министра», его водянистые глаза и чувствует такую ненависть, что она кажется ему физическим страданием.

Да, с приторными улыбками и лицемерно любезными словечками покончено.

Они спешно улетели, не сочтя даже нужным попрощаться. Им, видно, не терпелось поскорее очутиться в своём Лондоне, посоветаться там, получить указания от своих хозяев, снова крутить и вертеть — придумывать, как бы ещё поторговать жизнью и смертью нации, как бы ещё попытаться спасти свои иллюзорные «государственные посты». Провокация с варшавским восстанием дала осечку — надо выдумать что-то новое, чего бы это ни стоило стране и народу.

Теперь особенно живо и ярко вспоминается Шуваре один долгий ночной разговор в Кремле. Уже целый год прошёл с тех пор. Но события последнего времени ещё резче показали значение сказанного тогда.

Да, «лондонцы» не поведут Польшу по новым путям. Такие люди могут лишь ещё раз завести её в тупик, в пустоту и мрак.

Они, бывало, твердили о своей ненависти к России... Но к какой России? Где была она, эта ненависть, когда они нерасторжимыми узами связывали себя с генералом Деникиным, со всей белогвардейщиной, которая хотела восстановить всё то зло, что нёс Польше царизм? Деникин публично заявлял, что польские «провинции» должны вернуться в лоно Российской империи, а они нашли с ним общий язык, договорились с ним через английских и японских посредников. Принадлежность Деникина к русской нации им не мешала, потому что он был врагом новой России, врагом революции. Ненависть к России... Кто же боролся с русским жандармом, кто сопротивлялся царскому сатрапу? Польские помещики воздвигали в Вильно памятник Екатерине II. Их жёны, дамы из графских и княжеских домов ездили с визитами к генеральше Гурко, жене кровавого варшавского губернатора. Как всегда и везде, в защиту отчизны выступал лишь простой человек. Для господ отчизна не существовала, по их пути шёл и Пилсудский. Они боялись потерять власть. И чтобы не допустить этого, готовы были идти на любой торг, в котором Польша была лишь разменной монетой, а её мнимая независимость — лишь злой издевкой... Щупальцы польской разведки — ради кого они протягивались к советской стране? Каким иностранным штабам не служили эти соратники Пилсудского? Сколько серебряников они за это получали? Они всегда готовы были торговать своей родиной оптом и в розницу. И вот теперь они не поколебались пойти рука об руку с гитлеровцами, приняли геббельсовский план, всеми силами поддержали катынскую провокацию германских империалистов, и только ли германских?

За юркой фигурой колченогого Геббельса маячил человек из другой страны — тот, в чьём лице карикатуристы-соотечественники подчёркивают удивительное сходство с бульдогом. Злое пёсье лицо с коротким носом и обвисшими щеками, лицо старого мастера международных интриг, торговца чужими жизнями и чужой свободой... Зачем ему понадобилась провокация, затеянная гитлеровским министром пропаганды и услужливо подхваченная так называемым «польским правительством» в Лондоне? Уверен ли он, что опасность со стороны германского фашизма уже миновала? Или же он больше всего испуган именно тем, что она миновала? «Польское правительство»... Жалкая кучка эмигрантов! События давали возможность этим посредственным людям сыграть огромную роль в истории своей страны. Но они предпочли роль лакеев у иностранных держав...

И они осмеливаются говорить от имени польского народа... Какое право имеют они на это? Нет, довольно! Надо, наконец, разорвать грязную, липкую паутину, которой опутали эти предатели польский вопрос. Довольно самозванных посредников, не имеющих ни фактического, ни морального права представлять народ! Надо пробиться к самому народу. Надо перекинуть мост через вырытую веками пропасть. Надо раз навсегда стереть в сердце польского народа память о гнёте и несправедливости, память о раздорах и ненависти с обеих сторон. Искоренить предрешение, протянуть руку помощи. Поляки должны понять то, чего им так долго не позволяли понять их правители: что именно русский народ сверг самодержавие и уничтожил помещичье-капиталистический строй, одинаково угнетавший русских, украинцев и поляков. Надо напомнить им слова Ленина о самоопределении наций, декларацию Октябрьской революции о праве Польши на государственную независимость. Армия, которая будет освобождать страны Европы, армия, кото-

рая двинется на освобождение Польши, — это братская армия, поляки должны это понять. И надо покончить, покончить раз и навсегда с этой вечно беспокоящей, вечно кровоточащей границей, разрывающей народы на части. Ведь столько общего, столько родного — и язык, и быт, и история...

Но кто же знал её, кто слышал о ней, об истории? Шувара, простой рабочий, слесарь, учился истории в тюремной камере, узнавал из нелегальных брошюрок запрещённую, замалчиваемую истину. Но откуда же было знать её другим?

Целые поколения молодёжи росли, одурманиваемые рассказами о миссии, якобы возложенной на Польшу самим богам, о мнимом могуществе Польши; умы целых поколений усыпляли сказками о королях, об их военных и любовных подвигах. Кто и когда говорил польскому ребёнку, польской молодёжи о смоленских полках, чья мощная поддержка способствовала некогда победе при Грюнвальде? Кто напоминал полякам о русских офицерах и солдатах в польских повстанческих отрядах шестьдесят третьего года, о братстве бойцов девятсот пятого года на баррикадах Петербурга и Лодзи? Кто помнил великие слова Герцена и великие слова Ленина о польском рабочем классе, о польском праве на свободу? Кто знал об узах, соединяющих две культуры, о дружбе Мицкевича и Пушкина, о гениях, подавших друг другу руки через реки крови, через бездну гнёта и насилия?..

Царский гнёт, мрачные стены цитадели, царский жандарм на улицах Варшавы — Польша, полтора столетия лет попираемая царским сапогом. Об этом знает всякий поляк. Об этом ему твердили ещё двадцать пять лет после того, как общий угнетатель уже рухнул, поверженный рукой русского народа, и исчезли все следы его господства.

Но знает ли польский народ о другом? О том, что русский народ первым восстал на борьбу с насилием, что его кровью завоёвана и независимость поляков?

В залах с «Авроры» в восставшем Петрограде, на баррикадах Москвы рождалась свобода не только России, но и Польши.

Русский народ и созданная в России советская власть принесли Польше независимость — ту независимость, которой реакция, как украденными лаврами, увенчала чело Пилсудского...

Как мало знают в польском народе о том, что Октябрьская революция дала ему свободу, что она дала ему независимое государство! И что знает польский народ о тяжком весе крови, слёз, предательства, брошенном на чашу весов людьми, погубившими это государство?

Марш на Киев — камень под ноги молодой, неокрепшей свободе. Трупы повешенных на киевских фонарях. Украинский крестьянин, до смерти забиваемый нагайками помещиков, вернувшихся с польской армией, чтобы снова обратить клубы и библиотеки, больницы и школы в барские палаты... Банды на границе, предательские нападения на пограничные деревушки. Потайные тропинки в лесах и болотах, мятежи и смуты, разжигаемые шпионами. Бесстыжие, наглые территориальные требования, которым советская страна тогда должна была уступать, чтобы спасти революцию и советскую власть... И вот — оторванные от живого тела нации ключья украинской и белорусской земли в руках людей, которые ничего, кроме крови и слёз, не умели получить от этой земли, и ничего, кроме крови и слёз, не умели дать ей. Широко разветвлённая шпионская сеть, содействие любому врагу советской страны, засылка предателей, которые годами носили маску, годами втирались в доверие, чтобы ослаблять, подрывать, подтачивать крепнущую советскую власть; готовность служить любой иностранной державе — лишь бы против восточного соседа, лишь бы против красных кремлёвских звёзд...

Чёрное предательство по отношению к Чехословакии, которую польская реакция выдала беззащитной в руки врага и кинулась подбирать упавшие с гитлеровского стола клочья разорванной, окровавленной страны. А ведь в Советском Союзе ждали самолёты, ждали готовые дивизии — можно было поддержать чехов и словаков, не допустить их порабощения! Железной стеной стала тогда польская граница между Прагой и единственной армией, которая могла спасти не только Прагу, могла спасти весь мир от обрушившейся на него теперь беды. Кто знает, как развернулись бы события? Быть может, по сей день была бы цела Варшава и не лежала бы в руинах Европа, если бы не кичливый ответ, что Польша не нуждается ни в чьей помощи... Это Польша-то — страна без армии, без крепостей, без оружия и запасов, не нуждалась в помощи! И это заявили польские правители уже тогда, когда земля горела под их ногами!..

Теперь они сбросили маску, ещё раз доказали, что готовы пойти хотя бы даже с Геббельсом, лишь бы против советского народа...

Шуваре вспоминается карта, с тихим шелестом развёрнутая перед ним в ту памятную ночь, — одна из многих карт, собранных в той комнате. Розовым пятном выделялась посередине Польша. Вот узенькая полоска, соединяющая её с морем, — страна без выхода, страна со стеснённым дыханием, урезанная с запада.

Тёмной линией лежала на западе Польши длинная, ничем не защищённая граница. Никто не заботился об этой границе. Всё внимание было устремлено на ту, на восточную. И лежали эти земли беззащитные, широко открытые с запада, почти неиспользуемые земли. Никто не умел и не старался найти сокровища их недр, никто не стремился высвободить на благо Польше сокровища человеческих сил — талантливого и трудолюбивого польского рабочего, всем существом привязанного к своей земле польского мужика, способного и изобретательного интеллигента. Крестьянин жил в нищете и невежестве, дети рабочих мёрли с голоду, интеллигент превращался в жалкого чиновника. И солдат, польский солдат, который раньше умел героически сражаться, теперь не мог ни завоевать, ни отстоять свою собственную свободу...

Мрак шляхетских предрассудков, доживший до наших дней. Обрывки феодальных порядков, заблудившиеся в двадцатый век. Горькая юдоль человеческая. Более ста лет польский народ был жертвой гнёта и насилия. И едва начал самостоятельную государственную жизнь, как всё те же насилия и несправедливости его правительство стало совершать над другими народами. Железная рука стиснула горло украинского и белорусского крестьянина. Разве украинский, белорусский, литовский язык не оказались в том же бесправном положении, в каком был польский язык в годы разделов, под кайзеровским сапогом, под царской плетью?.. Мелкие людишки, сбежавшие в Лондон, не видят в своём ослеплении, что эти дни могут навеки определить ход истории, могут вывести Польшу на новый путь, могут из игрушки хищных политиканов превратить её в суверенное государство. Они руководствуются в своих действиях одной выигранной или проигранной битвой, хорошим или дурным настроением тех, кто их поддерживает... И забывают о величайшей силе, на которую могли бы опереться, — о народе. И ещё воображают себя хитрыми политиками!.. Но и то сказать — что общего у них с польским народом, истекающим кровью под жестоким игом гитлеровской оккупации? Что они знают об этом народе? Грязная накипь, плавающая на поверхности жизни... Но это будет недолго, недолго. Слишком много пролилось крови, слишком много было жертв и мучений, чтобы всё это пропало зря. Из огня и крови уже возникает новая Польша, новая страна. Граница, которая до сих пор была линией разрыва, может стать

линией связи. Тысячи общих дел и общих интересов объединяют Польшу именно с Советским Союзом. Его соседство даст Польше силу. При его помощи, при его сотрудничестве она на самом деле станет тем, о чём лишь кричали, строя свои замки на песке, те горлодѣры, — она станет сильным суверенным государством...

Нет, это была не радость — то, что переживал Шувара в ту ночь. Радость — это слишком слабое слово, чтобы назвать им тот вихрь, который поднялся в его душе, как внезапная вспышка пламени. Кружилась голова от чувства необъятного простора. Ему случилось собственными глазами увидеть, как поворачивается колесо истории. Он видел, как распахнулась дверь в новую, неслыханную эпоху.

...С той ночи прошёл едва лишь год. А между тем в течение этого года свершилось столько событий, что их хватило бы на целую эпоху. И все они подтверждали непоколебимую истину слов, сказанных тогда в Кремле. Вот хоть и сейчас — ещё раз оказалось, что нельзя поддаваться иллюзиям, что надо трезво оценивать действительность. Не на кого рассчитывать среди тех людей! Все они там, вдали от родины, на британском острове, снюхались между собой. Все они до одного, несмотря на внешние различия и мнимые разногласия, связаны нерасторжимыми узами — жаждой власти и твёрдым решением держать в узде народ. Они связаны защитой своих привилегий, службой иностранным интересам. Как раньше, как всегда...

О них можно было бы думать лишь с презрением и гадливостью, если бы не то, — ах, если бы не то, что там далеко пылает, рушится в развалины, истекает кровью Варшава...

Но в голову Шувары, как спасение и помощь, тотчас приходит тот ночной разговор. Звучит в ушах тихий, в самое сердце проникающий голос, звучат слова, понятные и близкие, как биение собственного сердца.

#### Глава 17

Город выглядел, как сплошной бивуак. По улицам тянулись воинские части, с грохотом катились орудия, дребезжали полевые кухни. На тротуарах было тесно от военных и штатских, лихорадочно снующих во всех направлениях. Ядвига протискивалась сквозь толпу, твердя в уме очередной адрес. Трудно было допытаться, где находится та или иная улица. Все были нездешние, все были приезжие, как она сама, все только что откуда-нибудь прибыли. И все торопились.

Лишь изредка в толпе военных мундиров с погонами, военных мундиров без погон, полувоенных курток мелькали нарядные, ярко одетые женщины в модной причёске. Эти наверняка были местными, но именно они-то и казались пришельцами, даже не из другой страны, а с другой планеты. Очень уж резко выделялись они в толпе, где каждый носил на своём лице и на одежде печать войны. Ночлеги в лесных чащах, пыль бесконечных дорог, следы дальних скитаний виднелись на их изношенных костюмах, каких-то одинаковых, несмотря на причудливое разнообразие. Ядвига сперва и не сообразила, что именно эти нарядные гости с другой планеты были здесь у себя дома.

Но заговаривать с ними ей не хотелось, и она только рассматривала их издали, удивляясь, как могли здесь жить эти прелестные цветные бабочки, цветы, сделанные из шелковистой папиросной бумаги.

Это было самое удивительное в этом городе. Не колонны передвигающихся войск; не полевые кухни на городских площадях; не группки кре-как одетых мужчин и женщин, толкающих перед собой ручные повозки, нагруженные узлами, рухлядью, какими-то горшками с пожелтевшим аспарагусом или цветущей последним розовым букетиком пеларго-

ний; не дети с лицами и взглядами взрослых, спешащие по каким-то своим делам; даже не разложенные в боковых улицах костры, на которых целые семьи готовили себе пищу в чугунках или эмалированных кастрюлях. Всё это было естественно и понятно в недавно освобождённом городе. Иначе здесь и быть не могло. Но что здесь делают эти женщины, как сохранились они во всей своей выхоленной красе, как не коснулась их рука кровавого времени?

И ещё больше удивляло множество мужчин в гражданской одежде. Столько невоенных мужчин сразу Ядвига не видела много лет. А здесь их было множество. Но это не радовало, а наполняло сердце жмурой неприязни.

«Нельзя судить с первого взгляда, — твердила себе Ядвига, карабкаясь на крутую лестницу дома, где помещалось нужное ей учреждение. — Ведь я ещё мало знаю, мало понимаю. Здесь всё совсем по-иному. Надо присмотреться, заново всё изучить».

Вот это и есть её отчизна. С города Хелм, который она проехала вчера, начинается её родная страна — Польша. А этот город — Люблин, по которому она бежит весь день с утра, — сейчас главный центр той Польши, что сейчас рождается, возникает.

Вскоре предстоит вернуться сюда польским детям, собранным Ядвигой по всему Советскому Союзу. Пока, конечно, не всем — сначала только первой группе.

— Собственно говоря, вы могли бы ещё немного обождать с этим, — сказал ей первый же чиновник, которого она здесь встретила. — У нас ещё масса трудностей.

Она внимательно взглянула на него.

— Там тоже много трудностей. В конце концов, ведь речь идёт лишь о первой группе. Сто-двести человек для начала. Но начать надо, чтобы все знали, что дети возвращаются, что они уже здесь, в Польше.

— Я понимаю, конечно. Но ведь это пока, не забывайте, не вся Польша, а всего только Люблин.

— Сегодня Люблин, а завтра будет десяток других городов! Дети ждут. Они должны знать, что в Польше их хотят видеть, что их ожидают дома.

— Да, но видите ли...

— Впрочем, — сухо сказала она, — тут не о чём говорить. Вопрос решён, речь идёт лишь о практическом выполнении.

— В том-то и дело, что в практическом. Вы себе представляете?..

— Я всё себе представляю. Ничего здесь не разрушено, всё цело, есть много свободных домов.

— Нечего сказать, не разрушено!

— Значит, вы не видели разрушенных городов. А я видела. Но это не имеет отношения к делу.

Разумеется, всё это были пустые разговоры. Вопрос в том, как сделать, чтобы первая группа детей очутилась поскорей в Польше, чтобы для них окончилось многолетнее ощущение временности их жизни. Ну да, естественно было пользоваться гостеприимством Советского Союза, когда под всем огромным небом не было ни клочка свободной польской земли, о которой поляк мог бы сказать «наша земля». Но ведь теперь уже существует Польша! Уже есть государство, министры, учреждения. Пусть же будет и детский дом.

— У нас здесь уйма местных сирот, — сказал ей кто-то. Она знала об этом. Но заботиться о тех и других надо было одновременно. Это одни и те же дети — дети, у которых война отняла близких, разрушила семейный очаг. Нельзя успокаиваться на том, что польские дети, находящиеся в Советском Союзе, сыты, одеты, что им хорошо. Ведь у совет-

ского народа тоже есть свои сироты, много сирот! И нельзя, ради облегчения собственных забот, требовать, чтобы советские люди продолжали заботиться ещё и о польских сиротах, у которых уже есть своя страна. Маленькая ещё, правда, страна, клочок земли — но всё же своя страна.

Впрочем, после нескольких часов беготни по городу Ядвига поняла, что во всём этом хаосе, в спешке, лихорадочном движении можно было добиться чего угодно, если только человек действительно хотел и знал, чего хочет. Притом Ядвиге уже знакома была эта работа. С улыбкой вспоминала она первые дни, когда госпожа Роек заставляла её делать то, чего она никогда раньше не делала. Сколько опыта она приобрела за это короткое время, как научилась разбираться в делах! Теперь ей приходилось заниматься не только «своими» детьми, а попутно устраивать массу дел и для детей, которые были здесь, на месте. И Ядвиге становилось всё яснее, что именно это и будет её постоянной работой на обретенной родине. В Люблине она не чувствовала себя чужой, как тогда, много лет назад, в Варшаве. Хозяйкой была она здесь. Одной из многих тысяч хозяек и хозяев.

Ядвига взглянула на часы. Собственно, она сделала всё, что можно было сделать сегодня. С Марцысем увиделась сразу, как обещала госпоже Роек, с самого утра, и уговорилась ещё раз встретиться после обеда, чтобы вместе пойти на вербовочный пункт к Владеку. Ей хотелось посмотреть, как записываются в армию здесь, на месте.

Боже, как недавно и вместе с тем как давно это было, когда Марцысь, Хобот и Сковронский ехали в лагерь дивизии. Какое было невыразимое, не вмещающееся в сердце счастье — Первая польская дивизия. А теперь у них уже есть и Первая и Вторая армии, и целое Польское войско. И как радостно и странно, что по улицам ходит столько незнакомых ей офицеров в польских мундирах. Ведь было время в Москве, когда она всех польских офицеров да ещё скольких солдат знала наперечёт... Ведь почти у всякого офицера были дети и, стало быть, у всякого были дела к ней, Ядвиге. Если же у самого офицера не было детей, то они были у его солдат. А теперь встречаешь офицера — и не знаешь, кто это такой. Так много их стало.

Стефека она разыскала сравнительно легко. Сейчас вся Польша умещалась на этом маленьком клочке земли. Здесь были все — и обо всех можно было в конце концов разузнать.

— Ведь мы не виделись почти год, — сказала она, с волнением глядя на брата. Он опять будто вырос. А изменился так, словно не месяцы, а годы прошли с их последней встречи. В нём меньше было перемен, когда они встретились в Москве, не видясь до того несколько лет.

Листья уже облетели, но ещё было тепло. Осеннее солнце светило, будто хотело вспомнить дни минувшего лета. Они сели на скамейке маленького сквера — единственном, пожалуй, спокойном месте в этом городе, где всюду разрешали какие-то не терпящие отлагательства вопросы и где все стремительно куда-то бежали.

С лица брата уже исчезла первая улыбка встречи, и теперь, глядя на него, Ядвига встревожилась. Он не просто повзрослел. Она заметила что-то тяжёлое в его взгляде и морщину на лбу, которой раньше не было. Всегда не по возрасту юное лицо Стефека потеряло юношескую неопределённость. Теперь уж никто не сказал бы о нём — мальчик. Это был мужчина. Было в нём и ещё что-то, чего она не могла понять, — особенно здесь, в Люблине, где столько людей и она сама были вне себя от счастья.

— А ты, конечно, по делам своих детей? — спросил Стефек.

— Конечно... Зачем же ещё? Хочу отправить сюда первую партию.

— Правильно, — сказал Стефек, и она обрадовалась, что он без всяких объяснений понял, что это нужно.

Стефек ворошил носком сапога сухой красно-жёлтый лист, снесённый на дорожку ветром.

— Но ты ещё вернёшься в Москву?

— Конечно. Я уеду отсюда с последним транспортом.

— А здесь тоже будешь заниматься детскими делами?

— Да. — Она нагнулась и, опершись подбородком на руки, засмотрелась на жёлто-красный лист, тихо шелестящий под носком сапога.

— Правда, ты никогда и не видел его... — сказала она тихо. Стефек как-то неловко взял её руку и погладил. — Ничего, ничего, я только так сказала.

Да, теперь она могла спокойно думать о сыночке, о далёком сыночке, которого уже нет.

Как изменилась с тех пор жизнь Ядвиги! Сколько детей прошло через её руки, скольких она накормила, одела, скольким помогла научиться тому, чему самое её научили люди советской земли, — любви к родине!

Смерть сына уже не была теперь раздирающим сердце воспоминанием. Мысль о ребёнке приносила покой и тишину, была как привет от него, как его улыбка, как взгляд его тёмных глаз. Она не чувствовала себя одинокой, у неё была не только поглощающая все силы работа — был и Олесь, для которого пока приходилось быть и матерью, и отцом, всем на свете. Это было её счастьем. Её не пугало и то, что мальчик растёт, что постепенно она будет становиться ему всё менее нужной, что он начнёт жить своей, отдельной от неё жизнью. Ведь это будет новая, прекрасная жизнь, радостная жизнь в новой, прекрасной, счастливой стране!

Ядвига очнулась от задумчивости и искоса глянула на Стефека. Почему он не говорит, был ли в Ольшинах или нет? Но брат будто отгадал её мысль.

— Весной я был в Ольшинах.

— Да? — Она даже удивилась, каким далёким, полузабытым прозвучало для неё это слово — Ольшины. Будто не в них провела она почти всю жизнь. Хотя, что важнее — вся та жизнь или последние несколько лет? Подлинная жизнь — та, что только и достойна называться жизнью, — началась в последние годы: в Казахстане, в Москве и здесь, в Люблине. Да и о ком, собственно, спрашивать в этих Ольшинах? О Соне? — Стефек скажет о ней сам, если захочет. Что-то мешало Ядвиге говорить о ней.

— Ну как там?

— Да что ж... Мамин дом цел, жасмин разросся ещё больше. Несколько домов сожжено, но уже начали их отстраивать. Спрашивали там о тебе.

— Кто?

— Многие... Староста, девчата. Паручиха.

— И Паручиха жива? — Вспомнились давно не виданные лица, Ядвига оживилась, заговорила о тамошних людях, о знакомых с детства местах.

— А о Петре Иванчуке не спрашиваешь? — спросил он тихо, глядя всё на тот же сухой листок, уже совсем раскрошившийся.

— О Петре? — её голос звучал совершенно спокойно. — Правда! Что с Петром?

— Был в партизанах, сейчас в армии. Прости, Ядвига, мне говорили, будто ты... Ну, с этим Забельским — это правда?

Она покраснела. Кровь, словно тёмное облачко, преплыла под смуглой кожей щёк.

— Что — с Забельским?

— Ну, боже мой, что ты выходишь за него замуж. Это правда?

Она машинально разглаживала на коленях складки синего платья.

— Не знаю... Ты имеешь что-нибудь против Забельского?

— Что ты! Наоборот... Знаешь, Ядзя, я думал как-то, что хорошо бы тебе наконец выйти замуж.

Она вдруг рассмеялась тихим, сердечным смехом.

— Ох, совсем, как мама!.. Ты забываешь, что мне стародевичество не грозит. Я успела уже и замужем побывать, и вдовой остаться.

— Ну да... Но какое это было замужество? Теперь другое дело... Может, не хочешь говорить? Тогда я не стану спрашивать.

— Да нет, почему? Только я искренне сказала, что не знаю. Столько работы, столько дел...

Теперь рассмеялся он.

— Что же, тебе замуж выйти некогда?

— Да нет, просто как-то нехватает времени на свои дела. По правде сказать, я и не думала об этом. Может потом, когда кончится весь этот хаос, когда всё как-то устроится... И знаешь, я и без того не чувствую в своей жизни пустоты...

— Ох, прямо как старушка философствуешь...

— Старушка не старушка, а всё же не так и молода. Когда тебе восемнадцать, девятнадцать лет, на эти вещи смотришь иначе...

— Влюбляются люди и постарше тебя. И знаешь, ты сейчас выглядишь моложе, чем в Ольшинах.

— Так и должно быть, — улыбнулась она.

— И вообще совсем другая стала. Ты себе представляешь, чтобы я раньше посмел заговорить с тобой об этом... ну, насчёт твоих личных дел? Да ты бы мне глаза выцарапала!

— Тогда — другое дело. Тогда я даже себя самой боялась. Знаешь, когда я думаю о себе в те времена, мне кажется, я была похожа на человека, с которого содрана кожа, ему больно, он боится всякого прикосновения. Но ты тоже изменился. Ты-то ведь раньше говорил со мной о своих так называемых личных делах?

Она испугалась, увидя, как углубилась при этих словах морщина на лбу брата.

— Так называемые личные дела... — Он не спеша поднял остатки листка и раскрыл его в пальцах, превратив в пыль. — Что ж... Союз повесили гитлеровцы весной сорок второго года, — сказал он вдруг, стараясь говорить спокойно. Но голос спотыкался, будто наталкиваясь на невидимые препятствия.

Ядвига помертвела. Как только ей ни на минуту не пришло это в голову, когда она увидела его тяжёлый взгляд и эту морщину между бровями? Будто и позабыла, что над Ольшинами прокатилась оккупация и что эта стефедова Соня была не из смиренных, не из тех, что отсиживаются в углу, думая лишь о спасении собственной жизни.

И вдруг она забыла о Стефедке, забыла обо всём. Вот стоит на мостках Соня Кальчук. Из-под жёлтого платочка выбились тёмные, пушистые волосы. Она ясно увидела смуглый Сонин румянец, тонкие брови — два ласточкиных крылышка над весёлыми карими глазами, ослепительную улыбку...

Ядвига прикусила зубами платок. Какие-то прохожие оглянулись и пошли своей дорогой. Плачет — и всё. Кого теперь может удивить женский плач, когда все кругом ищут близких и часто узнают, что некогда больше искать и ждать. Миллионы могил выросли на путях войны.

Стефек придвинулся ближе. Она чувствовала его плечо у своего плеча. Срывающимся голосом, но тихо и спокойно, он рассказал всё, что узнал от Паручихи, от старосты и Сониных сестёр.

Они помолчали. Наконец Стефек, как бы желая переменить разговор, спросил:

— А ты не хотела бы увидеть Ольшины?

Она даже удивилась. Ольшины?.. Что там у неё в этих Ольшинах? Материнский дом, где она пережила свою трудную любовь к Петру, своё несчастное замужество. Нет, ей не хотелось вновь увидеть почёрневшие балки, жерло старой печки, тёмную, источенную червями мебель. Она не хотела видеть даже разросшихся, по словам Стефека, жасминовых кустов, на которых пели соловьи, когда она была влюблена — ах, как влюблена! — в Петра. Что ещё? Озеро? Излучину реки под зелёной тенью ольх, к которой сходили прямо из дома? На всём лежала тень тех дней, когда она перестала быть Ядвигой Плонской, когда она стала женой осадника Хожиняка. У неё не было на него обиды ни тогда, ни позже. Он хотел, чтобы всё было как можно лучше, и был к ней даже добр по-своему, как умел. Его, в сущности, можно было только пожалеть за неудачную женитьбу. И всё же то, что там, над озером, она была женой Хожиняка, отнимало блеск у озера, лишало колдовского обаяния тенистые уголки у реки. Знакомые люди? Да, конечно... Но ведь теперь у неё было столько знакомых, с которыми она сблизилась общей работой, общими радостями и заботами. Это люди, с которыми она связана общим великим делом. Те, ольшинские знакомые, силой вещей отошли в прошлое. Хорошо, что они живы, но ведь она уже знает это от Стефека.

— Видишь ли... — сказал Стефек раздумывая. — Я представлял себе Ольшины совсем другими. Сколько раз их вспоминал, когда началась война... А потом, когда увидел, было так странно, что они такие маленькие, такие...

— Но красиво там всё-таки?

— Красиво? Да... Но только... Раньше мне иной раз казалось, что я мог бы прожить там всю жизнь. А это неправда. Нет, нет! Тогда казалось, что Ольшины — это целый мир...

— А какой мир мы тогда с тобой видели? — тихо спросила Ядвига. — Это и был весь наш мир, от мостков на дороге до парма во Влуки. А потом оказалось, что есть другой, великий, прекрасный мир. Подумай, сколько мы увидели за эти годы, сколько произошло событий, каких никогда не увидишь в Ольшинах. В сущности, только теперь и началась настоящая жизнь. Для меня, во всяком случае.

— Да, да...

Ядвига была права. Он и сам знал это — уплыли в далёкое прошлое Ольшины.

Но там был холмик — поросшая травой братская могила, в которой лежит Соня.

И снова, словно где-то вблизи, прозвучал тихий, спокойный Сонин голос: «Будь мужествен!»

Нет, это не Соня... На этот раз он услышал реальный и внятный голос. Это говорит Ядвига, сестрёнка Ядвига, потерянная в те давние дни и теперь вновь найденная на общем великом пути.

— Я знаю, — как-то по-детски беспомощно говорит он.

Конечно, он знает: память об этом зелёном холмике должна быть для него источником не слабости, а силы. Пусть радостный смех Сони, как при жизни, звучит в человеческих душах. Пусть люди на этой земле, по которой прошла смерть, засмеются Сониним радостным смехом. Пусть растёт, цветёт, побеждает та жизнь, за которую умерла Соня.

— Пойдём, — говорит Ядвига.

Они идут, держась за руки. До чего хорошо идти с братом по этой аллее и разговаривать с ним обо всём. Вспоминаются мелкие события детства, какие-то забавные истории давно прошедших лет. И морщинка между бровями Стефека постепенно разглаживается. Теперь Стефек такой же, каким был. Старше на несколько лет, грустнее на одну смерть. Но всё тот же, близкий, родной.

— Знаешь, — сказала Ядвига, — я всегда боялась, что Олесь будет помнить прошлое. Но он решительно ничего не помнит. Убеждён, что я его мать. Даже странно, ведь ему было уже четыре года! Я, например, помню себя в четыре года, а ты?.. А вот Олесь ничего не помнит. Иногда мне кажется, что это несправедливо...

— Что несправедливо?

— Ну, что я не говорю ему о матери. Что её как будто и не было. А ведь она его тоже любила.

— Ну и что? Неужели из-за этого он должен всю жизнь чувствовать себя сиротой? Зачем? А так он знает, что у него есть мать, есть дядя. Нет, хорошо, что самые маленькие дети не помнят. А ещё лучше было бы, если бы не помнили и те, что побольше.

— Чего чтоб не помнили?

— Войны, например. И всего, что пришлось пережить. Бомбёжек, боёв, смерти.

Тихо скрипел под ногами песок. Лёгкие, подвижные тени ложились на дорожку. Стефек замедлил шаг.

— Зато взрослые должны помнить, взрослые не смеют забывать.

Она понимала, что он думает сейчас не о боях, не о своём военном пути из глубины Советского Союза сюда, в Польшу. Он думает о братской могиле, где лежит Соня Кальчук.

Сколько же лет он любит Соню? Ведь он был тогда подростком, а Соня — совсем девчонкой. Но они нашли и полюбили друг друга, и эта любовь была простой и ясной с начала до конца. Сейчас, конечно, нельзя об этом говорить. Но такая любовь и такая смерть, как любовь и смерть Сони, не могут быть тенью, омрачающей жизнь. Это сила, которая ведёт человека вперёд.

Стефек взглянул на уличные часы.

— Ничего не поделаешь, надо бежать! Приходи, ночуй у меня. Там не слишком удобно, но как-нибудь тебя помещу.

Она долго смотрела ему вслед и думала: хорошо иметь взрослого брата, да ещё такого, как Стефек.

Знакомые, которых Ядвига встречала в Люблине, удивлялись:

— Как, ты ещё не была на Майданеке?

Но ей было страшно. Она содрогалась от одной мысли о том, что там можно увидеть. Теперь она вдруг поняла, что это просто трусость.

«Миллионам людей пришлось терпеть там нечеловеческие муки, а я боюсь даже взглянуть на место, где они умирали. Не слишком ли я стараюсь облегчить себе жизнь? Имею ли право только по рассказам знать о тех чёрных днях?»

Изысканно причёсанная, нарядная горожанка и какие-то её родственники предложили проводить Ядвигу. Нашлась даже потрёпанная машина.

— Вот здесь.

Хрустит земля под ногами. Холод пронзает Ядвигу с головы до ног. Это не земля. Они идут по полю, засыпанному толстым слоем пепла и угольков, которые непроницаемым покровом скрыли песок и глину.

Под ногами трещат мелкие угольки. Сколько же человек должны были сгореть, испепелиться, чтобы это огромное поле превратилось в страшную, хрустящую под ногами пустыню?

«Кто умирал здесь, по чьим обуглившимся костям я иду? Кто слышал их последний стон, последний предсмертный призыв, заглохший в чёрной, пустой ночи, ночи отчаяния?

Кто их пересчитает — и зачем считать, когда всё равно не встать никому из тех, что рассыпались здесь в прах и пыль, превратились в золу и уголь».

Сердце сжимается от леденящего ужаса. Маленькое, тяжёлое, как камушек, оно бьётся медленно, с болью. Может ли быть звук ужаснее, чем этот непрерывный хруст под ногами? Невольно стараешься ступать как можно легче. Но разве это поможет? Ведь идёшь по чему-то, что некогда было людьми, их любовью, счастьем, и от чего остался лишь пепел. Как поверить, что это — люди, что это совсем недавно было людьми?

Упорный, мрачный хруст под ногами. Так не хрустит никакой в мире песок, такого звука не издаёт ни одна земля. Это скрежет смерти.

Вырастут ли тут когда-нибудь цветы? Порастёт ли это поле свежей, радостной травой? Невозможно этому поверить. Поле дышит горечью и болью, смертным страхом. Под пеплом и золой задушен стон тысяч людей, несказанный ужас, неопишуемая агония. Что может вырасти на месте этих мук?

— Вот здесь печи.

Это сказано совершенно спокойно, тоном экскурсовода. На огромных решётках ещё лежат остатки обуглившихся костей.

Ядвига видела, как умирают в госпиталях раненые. Но то была иная, — о, какая иная! — смерть...

И вдруг сквозь смятение, сквозь заслонивший весь мир туман пробируются слова:

— Понимаете, окна невозможно было открыть. А уж если ветер с этой стороны — ну что-то ужасное! Не то что на занавесках, на покрывалах — даже на тарелках такой, знаете, чёрный слой, вроде пыли, но сразу видно, что не пыль и не обычная сажа. Такая жирная, жирная, прямо не отмоешь! Только горячей водой смывалась... Вы себе представить не можете, как мы мучились с закрытыми окнами летом!

Говорит хорошо одетая дама, коренная жительница Люблина.

Эти слова страшнее, чем хруст человеческих останков под ногами. Страшнее решёток в печах смерти, каменного стола, на котором людей просвечивали перед смертью рентгеном в поисках проглоченных драгоценностей.

В нескольких сотнях метров от места, где умирали миллионы, где пылали в печах мужчины, женщины и дети, — другие люди жили. Жили за окнами, на которых висели белые занавески. Смывали с тарелок жирную чёрную сажу. И чувствовали потребность в этих занавесках, тарелках, уюте, жаловались, что приходится закрывать окна в жару.

Ядвигу вдруг охватила страшная, обморочная усталость. Захотелось умереть тут же, немедленно, не видеть больше, не слышать, не знать. Кто мертвее — те, чей пепел толстым слоем покрыл большое поле, или те, кто спокойно пережил, кто в состоянии был привыкнуть к этому?

— Были дни, когда чёрная туча прямо-таки нависала над городом, дышать было нечем...

И ведь знали же, знали, откуда эта чёрная туча! И дышать не могли — но жить, как всегда жили, могли. Жить с этим сознанием...

«Но чего же я от них хочу? — задумалась Ядвига. — Что ж, неужели всем им надо было пойти в печь?»

Да, рассудок находил в их пользу вполне разумные доводы. Но вопреки рассудку люди, которые оказались в состоянии пережить и так пережить это, внушали ей страх. Женщина, годами жившая под чёрной тучей дыма от сжигаемых людей и находящая в себе желание укладывать волосы и тщательно подкрашивать губы...

«Но чего я хочу от неё? Неужели ей всю жизнь ходить нечёсаной, потому что она имела несчастье жить здесь, а не в другом месте? Если так рассуждать, здесь не должно было бы остаться ни одного нормального человека, одни помешанные. Кто знает, что я сама делала бы, если б была тут. Может, тоже отмывала бы тарелки от жирной сажи...»

Она содрогнулась. Нет. Этого она не могла себе представить. Какое счастье, что она была в это время далеко отсюда — там, где воздух чист и люди добры. Какое счастье, что её миновало нечто более страшное, чем сама смерть: видеть это всё — и остаться в живых.

Они вошли в длинный деревянный барак. Здесь был обувной склад. До самого потолка лежат груды ботинок: новых, слегка поношенных, старых, больших и маленьких. Отдельно свалены в кучу оленьи унты. Она узнала их — унты советских лётчиков. Ботинки, туфли. Фабричные марки всей Европы. Детские туфельки. И крохотные, мягкие, без подошв башмачки — фетровые, фланелевые, сшитые на ножки, ещё не умеющие ходить.

Ещё мгновение, и она упадёт в обморок. И вдруг, как спасение, как луч света во тьме: она увидела поодаль десять-двенадцать советских солдат и офицеров. Тоже глядят на эти горы ботинок, оставшихся после людей, сгоревших в печах смерти. Лица солдат бледны и сосредоточены. В их глазах ужас, боль и безграничное удивление. И Ядвиге захотелось броситься к этим незнакомым людям, почувствовать себя среди них, отчаянным криком закричать: «Дорогие мои, заберите меня отсюда, заберите меня отсюда, пробудите от этого страшного сна!»

Спасительно светлой была эта солдатская группа, было в ней что-то утверждающее, что существует сила, противостоящая смерти, ужасу, мерзости. Нет, эти люди не стали бы спокойно вытирать жирную сажу с тарелок, они умерли бы, спасая других, погибли бы в борьбе!

«Но ведь здесь совсем другая жизнь, — твердила она себе. — Там была сражающаяся армия, там была большевистская партия, там был Сталин. Там и на землях, захваченных врагом, знали, что нахлынувшие чёрные орды будут сметены, там со дня на день ждали своих. А здесь? Пять лет без правительства, без армии, без тени надежды, пять долгих, чудовищных лет... Можно ли мерить такие разные жизни одной и той же меркой?»

И всё же Ядвига содрогалась от боли и негодования, что вот рядом с ней идёт эта женщина. Вспомнились рассказы о приёмах, которые устраивал в Люблине начальник гестапо; на этих приёмах местным «дамам из общества» раздавали подарки — меха, платья, драгоценности, собранные в Майданеке, снятые с женщин, свезённых сюда со всей Европы и сожжённых в печах. Вспомнились рассказы Стефека, что после освобождения Люблина вокруг Майданека пришлось выставить караулы, потому что местные жители бродили здесь и рылись в этой золе, в этих грудках обуглившихся костей, разыскивая золото, быть может не найденное палачами.

Ей захотелось очутиться опять в Москве — сейчас же, немедленно. Поехать к детям — к тем детям, чьи лёгкие никогда не вдыхали с воздухом пыль сожжённых тел, к детям, которые никогда в жизни не глянут в лицо позора и ужаса. Побывать среди своих, среди тех, кто прошёл испытания сурового севера и палящих равнин юга, кто страдал, трудился, падал и вновь поднимался, но и среди тягчайших бедствий

всегда оставался человеком. Кто в тяжкие военные годы узнал горькую нужду и голод, но никогда не знал оподления.

Но опять, как в тот момент, когда она, наконец, решила итти сюда, Ядвига услышала укоризненный голос совести: «Какое право имею я бежать от того, что было, от того, что есть? Нужно прямо смотреть в глаза правде. Ведь жить я буду здесь, а не там. Работать, встречаться придётся мне с людьми, которые жили здесь. И воспитывать я буду не только детей, привезённых оттуда, но и детей, которые росли здесь, под тенью нависшей над городом чёрной тучи, в дыму печей смерти. Может быть, у меня будут дети, которые и сами побывали в Майданеке, чудом спаслись оттуда. Что видели их глаза? Что я отвечу им, как научу их тому, что жизнь прекрасна, если не буду знать того, что видели они? Нет, здесь необходимо было побывать. Это необходимо было увидеть».

...Обратный путь. Ещё раз перейти это поле. Хрустит, скрежещет почва под ногами. Пустота и холод в сердце, словно и в нём раскинулось страшное поле смерти.

«Мне отмщение, и аз воздам», — сказано в евангелии. Но тут смешна сама мысль о мести и воздаянии. Многие из нас говорили, много раз говорили: «мы оплатим с лихвой»... Но как оплатить за это? Обычное человеческое чувство — надежда оплатить злодеям с лихвой — отнято у нас. Мы повторяли это сотни раз, не понимая, что говорим, и это оказалось ложью. Воздаяния не может быть. Чем бы могла быть эта «лихва»?

Можно и должно одолеть врага. Можно и должно наказать поджигателей войны и военных преступников, казнить палачей, чтобы другие боялись совершать такие злодеяния. Можно и должно противостоять смерти и ужасу, превратив Польшу в счастливую страну счастливых людей. Но самая мысль о мести была мелкой перед этим полем золы, перед этими печами, перед этим складом, наполненным горами ботинок.

Вспомнились какие-то с детства навязшие в ушах притчи о мести и прощении. Но тут не могло быть ни мести, ни прощения.

Что значило бы — простить? Это значило бы примириться с морем человеческого пепла, с печами, которые несколько лет днём и ночью извергали густой, жирный дым. Примириться с фактом, что этот чёрный дым был не только смертью миллионов людей, но навсегда отравил — кто знает сколько? — миллионы живущих сердец.

Нет, не могло быть речи о прощении.

Ядвига ехала в дребезжащей машине, чувствуя на лице дуновение свежего, но ещё тёплого ветра.

В ста километрах отсюда на запад ещё дымятся печи уничтожения. Ещё бродят за колючей проволокой люди-скелеты, люди-призраки. Туда уже идут войска, несущие жизнь, воскресение из мёртвых, свободу! Но тот, кто ещё полагает, что они несут месть, — ошибается. Солдаты, которых она встретила в бараке, теперь уже знают — нет и не может быть мести. Не может быть воздаяния.

И, глядя на красные звёзды, на знакомую, милую сердцу форму, она вдруг подумала: «Именно это и хорошо, что они не армия мести, не могут быть армией мести, что это армия освободителей и несёт с собой не месть, а свободу».

«Марцысь уже наверно ждёт меня», — вдруг вспомнила Ядвига. Когда это она виделась с Марцысем? Неужели сегодня утром? Ей ка-

жется, что с тех пор прошло бог знает сколько времени. Между утром и этим часом лежал Майданек.

Она прочла на углу название улицы. Да, это здесь. Но Марцысь ещё не было в условленном месте. Она прогулялась по тротуару. Ноги её болели, во всём теле чувствовалась усталость, как после тяжкой работы. И даже не очень хотелось видеть кого-нибудь, — забиться бы в уголок и привести кое-как в порядок взбудораженные мысли. Но где в этом сумасшедшем городе найдёшь такой уголок? И потом — глупо думать, что достаточно нескольких часов спокойного размышления. Нет, нет! Этот хруст, этот скрежет угольков под ногами надо носить в себе всю жизнь. Тут нечего «приводить в ясность», не на чем «успокоиться» — она видела то, чего никогда не должны видеть человеческие глаза. И тут уж ничего не поделаешь. Это навсегда останется с нею.

Назначенное Марцысем время давно миновало, а его всё не было — зря она бсылась опоздать. Было уже не так тепло — поднявшийся ветер отдавал осенним холодом. Глупо было улавливать о встрече на улице. Ладно, она пройдёт ещё раз до угла и обратно. За это время он, конечно, явится.

Но она прошла это расстояние не меньше десяти раз, а мальчика всё не было.

Не может быть, чтобы он забыл. Что-то его задержало. Но ведь мог же он дать ей как-нибудь знать, чтоб она не топталась, как дура, на тротуаре!

Она ходила здесь уже целый час, дальше ожидать было бы глупо. Она ещё раз осмотрелась и пошла, пытаясь припомнить дорогу к дому, где жил Стефек, и вдруг увидела у тротуара открытую машину, в которую садился Марцысь.

— Марцысь!

Она вскрикнула так громко, что прохожие оглянулись.

— Ну, знаешь, нельзя сказать, чтоб ты был очень аккуратен... Целый час шатаюсь по улице...

Она оборвала, охваченная внезапным страхом, взглянув на его лицо.

— Что случилось?

— Владек погиб.

— Как? Что ты болтаешь? Ведь ещё утром...

— Убит полтора часа тому назад. Я сейчас туда еду. Раньше никак не мог достать машину.

— Я еду с тобой, — сказала она, ещё не отдавая себе отчёта в услышанном. Машина рванулась, Ядвигу отбросило на сидение.

— Кто его убил? Ведь он был здесь, в Люблине?

— Вот именно, здесь, в Люблине. Было нападение на вербовочный пункт. Убили капитана, его и ещё кого-то. Бросили гранаты в комнату.

— Кто же мог? — ошеломлённо спросила она.

— Не знаете кто? Свои, как говорится, — поляки.

Ядвига умолкла. Какой страшный, какой невыносимо страшный день... Она живо вспомнила госпожу Роек, как та провожала её из Москвы: «Только уж, пожалуйста, дитя моё, — говорила она, — сделай это для меня, повидайся с моими мальчиками, посмотри, как там и что... Марцысь пишет, что всё в порядке, но ты же знаешь, какие они... Так уж я тебя прошу, не забудь — узнай, где они. А то ты как начнёшь бегать по всем своим делам... А так, пока они в этом Люблине, я бы уж была спокойна».

И вот, в Люблине...

Марцысь сидел, наклонясь всем телом вперёд, глядя прямо перед собой, будто хотел ускорить ход машины. Молодой шофёр гнал, как на

пожар. Но они то и дело попадали на улицы, забитые проходящими частями.

— Выезжай за город, объедем стороной... — сквозь зубы бросил Марцысь.

Машина запрыгала по немощёной, ухабистой улице.

— Это далеко? — спросила Ядвига, чтобы нарушить становящееся невыносимым молчание.

— Сейчас приедем.

Это было не то предместье, не то какой-то пригородный посёлок. Милиционер с повязкой на рукаве поднял руку, останавливая машину.

— Куда?

— Поезжай, поезжай! — нетерпеливо крикнул Марцысь шофёру, сунув милиционеру пропуск. Тот махнул рукой.

Перед небольшим домиком стоял небольшой отряд милиции. В сумерках виднелись группы сбежавшихся соседей. Марцысь одним прыжком перескочил ступеньки веранды, оплетённой диким виноградом. Ядвига бежала вслед за ним. В сених кто-то снова преградил им дорогу, но отлетел к стене от толчка Марцыся.

— Какого дьявола?.. — начал было незнакомый.

— Это брат, брат того мальчика... Роека, — бросила ему на ходу Ядвига, и он молча посторонился.

На столе горела керосиновая лампа. В первый момент Ядвиге показалось, что здесь тоже полно народу. Но это плясали по стенам летучие тени, удваивая и утраивая каждого присутствующего...

Она беспомощно озиралась, не в силах ничего разглядеть. Какой-то военный высоко поднял взятую со стола керосиновую лампу.

Убитые лежали на разостланной соломе, и первый с краю был Владек. Она вздрогнула. Ран не было видно, мальчик лежал спокойно, только рот был приоткрыт точно в крике. От колеблющегося света лампы тень длинных ресниц дрогнула на щеках.

Ядвига оцепенела от ужаса, её глаза блуждали по этим трём лицам. Голова капитана слегка повернулась в сторону, видны были чёрные потеки крови на его щеке. Шапка, очевидно, была надета на него позже — из-под неё выбился ком слипшихся волос. Третий был советский солдат. Его широко раскрытые глаза глядели прямо в потолок, на лице застыла гримаса боли. Все трое были до подбородков прикрыты серым шерстяным одеялом.

— Совсем уже собирались уходить, — вполголоса рассказывал молодой солдат. Руки его дрожали. — Капитан бумаги собирал, и как раз этот советский пришёл, знакомый капитана. Только я вышел к хозяйке, стаканы отнести, а тут — как грохнет!.. Все стёкла вылетели. Бомбёжка, думаю, что ли? А это они в окно гранаты бросили. Я — сюда! Дыму полно... Да так и споткнулся о капитана, его к самым дверям отбросило... Всех трёх на месте убило. Я скорей на улицу, кричу, народ сбежался, а что толку?

— Часовых не было? — сквозь зубы спросил Марцысь.

— Как не было? Были. Всегда стоят в служебное время... А только служебное-то время уже кончилось, капитан задержался бумаги собрать, — объяснял солдат. Зубы его стучали мелкой, отчётливой дробью.

— Ну а те, что бросили?

— А кто их знает? Я когда выскочил, их и след простыл... И никто не видел. Наверно в сад побежали, а оттуда в поле или в соседний переулок. За ними уже пошли, человек двадцать пять послано, только найдут ли?

В углу тихонько всхлипывала женщина в платочке.

— А это кто? — спросил Марцысь.

— Это? Это хозяйка. Я к ней и понёс стаканы...

— Господи Иисусе, — всхлипывала та. — Такое несчастье... Как грохнуло, пан Стась сейчас сюда, а потом на улицу — и в крик! А я за ним, сюда, гляжу — мёртвые, все трое мёртвые... Боже милостивый, и этот молоденький, дитя совсем... И как у людей стыда-совести нет, и что за времена настали...

Прислонившись к стене, слегка покачиваясь, она с певучими крестьянскими причитаниями рассказывала:

— И ведь говорила мне соседка, говорила... Увидите, говорит, госпожа Слёнзак, что с этим вербовочным пунктом вы только беду наживёте... А я ей и говорю: да что ж, говорю, милая вы моя, под немцем мы теперь, что ли? Ведь в своё войско набирают, народу приходит уйма, какая может быть беда? И сегодня тоже с самого утра валом валили... А вот и пришла беда! Уж такая беда, такая беда...

Присев возле Владека, Ядвига осторожно коснулась его щеки. Щека была холодна, но ещё не ледяным трупным холодом.

— Врач был? — спросила она шёпотом. Ей показалось, что, быть может, Владек ещё не умер. Может быть, он оглушён, без сознания, но жив?

— Да что врач? — проворчал высокий военный с лампой. — Был, конечно... Не открывайте, — предостерег он, видя, что Ядвига коснулась серого одеяла.

— Да я вовсе и не... — начала было она, но сразу спросила: — А почему?

И сама испугалась, тут же догадавшись, что ей ответят.

— В ключья... — неохотно пробормотал военный и снова поставил лампу на стол. Тень упала на мёртвые тела. Марцысь присел на табуретку у стола и вдруг ни с того ни с сего стал насвистывать сквозь зубы. Старушка даже всхлипывать перестала, вытаращив на него удивлённые глаза.

— Успокойся, Марцысь, — тихо сказала Ядвига, касаясь его плеча.

— Я? Я совершенно спокоен, совершенно спокоен. — И, наклонясь к ней, ровным, обыденным голосом, как о чём-то повседневном, спросил: — Вы вот скажите, как мне уведомить об этом мать?

Да, ведь надо было уведомить мать... Ничего не поделаешь, она должна узнать, что лишилась сына. Что его не убили в десятке битв, не разорвали бомбы с неприятельских самолётов, что он пал здесь, в освобождённом городе Люблине, от руки людей, которые считают себя поляками. Вот что придётся ей узнать.

— На похороны ей всё равно не успеть, — тихо ответила Ядвига. — Так что торопиться незачем. Ведь я послезавтра еду... Сама уж как-нибудь скажу.

Марцысь мгновение молчал, поникнув головой, потом пробормотал:

— Если вы — это, разумеется, будет лучше всего... А то мама...

В дверях вполголоса разговаривали:

— Уж я тебе говорю, что это те же самые. Совсем как там, бух в окно — и след простыл! Ясно, что местные. Бросил — и пошёл домой как ни в чём не бывало, как ты его найдёшь?.. Если б это банда была, проще было бы поймать, а так...

— Что ж ты думаешь, здесь один такой? Может, это те же, а может, и другие.

— Вчера мужика застрелили, Янек рассказывал. Хлеб вёз в Люблин, для армии.

— Перестали бы вы, — поморщился высокий военный, движением головы указывая на Марцыся и Ядвигу. Они умолкли. Слышалось лишь всхлипывание хозяйки.

— И что это за люди такие, и как их святая земля носит... Мало мы при немцах натерпелись, теперь ещё свои...

— Какие они свои... — пробормотал военный, возясь с фитилём коптящей лампы.

— Всё-таки вроде свои, поляки...

— Хуже гитлеровцев такие поляки! — сказал всё ещё с дрожью в голосе молодой солдат.

— Сохрани нас боже и от тех, и от других, — боязливо воскликнула хозяйка.

В сенях послышался шум.

— Что ещё там? — обернулся военный.

— Пустите меня, пустите меня к нему! — кричал женский голос.

— Капитанша... — прошептал кто-то в сенях. Перед ней расступились. Молодая женщина с непокрытой головой, в одном платье, опрометью вбежала в комнату. Трёхлетний мальчик едва поспевал за ней, обеими руками цепляясь за её платье.

— Где он? Где он? — кричала женщина. Ядвига отодвинулась, давая ей дорогу, но та в первый момент не заметила убитых.

— Где он? — крикнула она ещё раз. Высокий военный сделал движение, чтобы снова приподнять лампу, но раздумал и только передвинул её на край стола. Женщина пошатнулась и рухнула на колени.

Ядвига прикрыла глаза. Ей снится дурной, страшный сон. Стоит проснуться — и всё окажется неправдой. Но это не сон. Всем обмершим сердцем чувствовала она, что не сон. Лежат трое убитых. Офицер Польского войска, солдат Советской Армии и Владек, мальчик в польском мундире. Все трое пришли издалека. Все трое прошли длинный, трудный путь, чтобы освободить эту землю. Там, вдали, двух поляков грызла неутолимая тоска по родине. И они шли, ведомые этой тоской, шли, веря в своё отечество. И шёл третий — вот этот советский солдат. Кто знает, что он пережил, кто знает, где проливал уже свою кровь, героем каких боёв был он в эти тяжёлые годы. И они лежат рядом на золотой соломе, товарищи по оружию, принёсшие сюда свободу.

Да, об этом забывалось на пути в Польшу, хотя всем было известно, что их ожидает ещё и эта борьба и что она может оказаться более жестокой, более трудной, чем борьба с врагами в немецком мундире. Издали казалось, что здесь их ждут лишь распостёртые объятия, открытые сердца и радость освобождения, радость встречи. О другом не хотелось думать. И вот — три мёртвых тела рядом на соломе.

— Казик, Казик, Казик! — пронзительным, прерывающимся голосом кричала женщина, припав головой к груди мужа.

Малыш с пухлыми, загорелыми ножонками стоял рядом и нетерпеливо дергал её за платье, упрямо повторяя:

— Мама, я хочу домой, домой хочу...

Ядвига ещё раз взглянула на троих убитых, на эту обезумевшую от горя женщину, на хозяйку, тихо всхлипывающую в углу, и почувствовала в сердце неистовый гнев. Руки сами сжались в кулаки. Она могла бы собственными руками убить виновников.

И только теперь она по-настоящему простила Петру. Нет, не тогда в совхозе, когда она рассудком поняла, что он был прав, а именно теперь, в этом страшном доме, где лежали тела трёх убитых, она простила Петру. Сердцем Петра она почувствовала его ненависть к этим людям, которым она — от этого не уйдёшь — давала когда-то приют. Теперь она до глубины души поняла каменное, мёртвое лицо Петра в тот вечер, когда за ней пришли.

## Глава 18

Песок скрипит, мягко осыпается под сапогами. Генерал медленно идёт вдоль берега. Вот она, наконец, Висла...

— Товарищ генерал, нельзя! Ведь с того берега видно, как на ладони...

Генерал останавливается и как-то не по-обычному, искоса, немного смущённо смотрит на адъютанта.

— Вот что, дорогой мой мальчик, не морочь ты мне голову! Ещё не родился тот, кто бы в меня здесь попал. Я не видел Вислу тридцать лет, понимаешь? Да что ты, впрочем, можешь понять! Тебя тогда и на свете не было... Так что ты уж за меня не беспокойся, хо-хо! И не такое бывало, а живы оставались...

Песок мягко подаётся под ногами. Река течёт тихо, спокойно. В воде отражается серое небо. Генерал спускается вниз — туда, где вода, омывая песок, оставляет на нём узкую, тёмную полосу. Нагибается. Осторожно, ласково погружает пальцы в воду, зачерпывает в ладонь. Вода тёплая, струится по пальцам. Что ж, вода как вода... Когда же это было?.. Он сбрасывал рваные штанишки, рубашонку — и бух в эту воду! Руки раздвигали тёплую вислинскую волну, ноги колотили по вислинской воде...

Глаза генерала не могут оторваться от мелких волн, от светлой вислинской воды. Тридцать лет прошло... Здравствуй, река детства, здравствуйте, песчаные островки, вынырнувшие из воды, мелкие броды, неожиданные глубины, мокрый песок, отбрасываемый босыми ногами сорванца с Воли... Не осталось ли где на прибрежном песке следов от тела того мальчонки? Сколько уж лет прошло? Тридцать? Вербы над водой, ветка, погружённая в воду и трепещущая на волне, тайные тропинки в кудрявой чаще ив... Всё было здесь: условный свист, полянка под тенью ветвей, скрытая от посторонних глаз, известная и доступная лишь десятилетним. Здравствуй, река детства!.. Вот я опять здесь, через целых тридцать лет, опять с тобой, река, которой никому не забыть!

— Товарищ генерал! — адъютант чуть не плачет.

— Ложись сию минуту, ложись в эту канаву!

— А вы?

— Я уже сказал, что не здесь мне суждено умереть.

Адъютант вздыхает.

Что он понимает, мальчишка... Волга, Эбро, Гвадалквивир и Ока — всё это, чтобы снова быть здесь, чтобы снова увидеть Вислу. Другие не видели её пять лет — это, конечно, тоже немало. Но тридцать?..

Серебряный генеральский околыш на шапке. Колодки орденов в три ряда. Но ты знаешь, ты меня сразу узнала, родная моя река, ты зажурчала мягкой волной, приветствуя сорванца с Воли. Ты знаешь, что все мои пути-дороги вели к тебе, чтобы ты могла стать свободной рекой свободного народа. Это ли не счастье?

— Товариш генерал!

— Ну ладно уж, ладно, пошли!

Но там, на другом берегу, днём и ночью пылает Варшава.

Смолкли повстанческие выстрелы. Погнали в плен повстанческих солдат. Длинными колоннами, под конвоем, отправились варшавяне — женщины, дети и старики — в концентрационный лагерь.

Вторично преданная, вторично проданная, вторично всё теми же людьми отданная на произвол врага — ночью и днём пылает на том берегу Варшава.

Опускается ночь. Тихо поблёскивает в темноте вода. На той стороне красное пламя лижет во тьме остатки стен...

Генерал слышит где-то в недалёком окопе тихий солдатский разговор:

— Да, вот и в тридцать девятом... Вернулись мы из-под Рембертова. Потому, прошли слухи, что так, мол, и так, — Варшава будет защищаться. Что тогда здесь, на Праге, делалось, я тебе скажу!.. Одни из Варшавы, другие в Варшаву... Разбита она была сильно, да и Прага тоже, а человек ещё тогда непривыкший был, так казалось, что уж от города ничего и не осталось... Значит так — одни в город, другие из города. А на мосту не пропускают. Какого чёрта, думаем, — то призывали воротиться, то опять не пропускают! А потом уж всё перемешалось, и часовые с моста куда-то подевались. Ну, народ и хлынул на мост... Так и идём мы по этому мосту Понятовского. А тут как налетят, аж небо почернело! Хоть в воду прыгай. Мне-то вроде и всё равно было, но так меня в толпе стиснули, что я и оглянуться не успел, как очутился пониже. Взломали дверцу в мостовом быке, набилось туда людей, как сельдей в бочку, и — хочешь не хочешь — сиди!.. А те лупят, валят бомбы в воду. Видать — ничего не видно, а только слышно, как бомбы падают... Мост просто стонет, как живой, и осколки по нему барабанят. Вот и начали бабы, их там порядочно было, литанию к божьей матери. А от этого ещё хуже, будто уж всё пропало и только смерти ждёшь... А он бьёт, он бьёт! Оконце у нас маленькое, но видно: вода всплескивает. Такая высота, а воду до самого оконца бросает... И такое от этой литании и всего этого с нами сделалось, что думалось — вот помешаются люди в этой тесноте и грохоте. Был там один старый еврей, борода седая, стоит он и только борода у него трясётся. Вдруг подскакивает к нему один, чёрт его знает, кто он был такой... Схватил старика за грудки и сумасшедшим этаким голосом: молись, говорит, молись своему богу, раз наш бог нас не слушает!.. Страшно всем стало, бабы сейчас литанию прервали, затихли, только слышно, как бомбы в реку падают... Тут этот старик запел. Не то запел, не то заговорил, а только от этого напева у нас прямо душа в пятки... Один там был такой, что ихние обряды знает, так он говорил, что это молитва в смертный час... Тьфу, думаю, ещё пять минут тут посидеть и впрямь спятишь! И стал я к выходу протискиваться, да кое-как и пролез. И как вышел на воздух, так мне прямо за счастье показалось на воле помереть, а не в этом быке, как крысе сгинуть. Так и перешёл этот мост. Вода кипела от бомб, мост весь мокрый, такие фонтаны били... Ну, всё-таки добрался... И не то чтоб я в то время думал о смерти, а просто и в голову не приходило, что я могу спастись... Тогда сдавалось, что никого уж в живых не останется, все пропадут, а вотхватило народу, чтобы и тогда гибнуть, и потом гибнуть, да ещё теперь с этим восстанием... Сколько народу на гибель послали, сукины дети! Тогда-то казалось, они все до одного в Румынию сбежали — в те дни и духом их не пахло. А как понадобилось ещё раз Варшаву под бомбы подставить, они тут как тут, нашлись, как же!

— А мы из Млавы бежали... Посадил я бабу с детишками на подводу — и айда! Лошадь усталые, чуть тянут, а за нами Млава горит. Никто и оглянуться не успел, как туда немцы насочили. Баба моя кинула в корзины что ей там под руку попало, — как раз не то, что надо, — и в Варшаву. Смотрим, справа горит и слева по ночам такое зарево! Шарик мой за подводой бежал, вдруг сел да как завоет!.. А тут уж народ валом валит от Варшавы. Спрашиваю: что это горит, люди добрые? — Всё, говорят, горит, куда ты, глупый мужик, прёшь? Домой, говорят, лучше езжай... — Что вы говорите? — это я им: — Какой дом, у нас уж немцы! — А где, говорят, их нет, всюду немцы! — Баба в крик, ребятишки режут... Ну, думаю, будь что будет — погнал лошадей даль-

ше. День и ночь ехали, и всё время из Варшавы люди, в Варшаву подводы, а горит везде... Ночи светлые, на траве роса, и по всей дороге из-под каждого телеграфного столба мужик из травы поднимается, смотрит... Крестьяне, значит, такую охрану поставили, чтобы шпионы проволоку не резали. А разве устережёшь? Этих шпионов, как муравьёв всюду. При мне бабу задержали, перепрыгивает через ров, а из-под юбки портки видать — шпион, значит... По ночам ракетами сигналы дают. А тут какие-то на велосипедах едут, кричат: «Наши в Восточной Пруссии! Наши идут на Берлин! Наши разбомбили Берлин!» И пойдёшь на Берлин, как же, когда всюду такая каша, что ничего не разобрать! Спрашиваем солдат, те только плечами пожимают, ничего не знают, сами бродят, как потерянные. Вот так мы и дотащились до этой Варшавы. Одна лошадь уже на варшавской улице пала, а на другой добрался я до какого-то двора и говорю бабе: «Посиди тут с ребятами». Народ в Варшаве хоть и под бомбами, а ничего, хороший народ. Кто-то лошади сенца кинул, а я и пошёл разузнать, что и как... Узнать ничего не узнал, воротился, гляжу: где же дом, где я жену с детишками оставил? Нет дома, только груда кирпичей, и дым идёт... Кровать железная на стене висит, на третьем этаже, а больше ничего. Грохнуло как раз в этот двор. Так там все мои и остались, и баба, и детишки. И без похорон... Бродил я, бродил по этим развалинам, да куда там! Ни лоскутка...

— Так ты из-под Млавы?

— Как же, из-под Млавы. Уехал тогда от немцев и вот до сих пор...

— А я из самой Млавы. Извозом занимался. Как загорелось, прибежали ко мне — надо, мол, ехать! Как бы не так, думаю, тут в пору свою шкуру спасать, а не то чтобы ещё кого возить! Но пришли-то от самого старосты, а что я тогда — глуп ещё был. Как же, сам староста просит!.. Подстелил это сена, как следует, плахтой накрыл, староста с женой и детьми сели на подводу. Дети у них уже не маленькие, двое. Довезёшь, говорят, озолочу! На Влодаву велел ехать — во Влодаве будто и правительство, и учреждения. Там, мол, он мне и за дорогу заплатит, и о моей судьбе позаботится. Ну, думаю, может и так. Едем, значит, а конь у меня — лев, а не конь!.. И сто раз по дороге просились там разные, чтобы их прихватить. Женщины с детьми просились. Я бы и взял, жалко, идёт этакая по дороге, ребёнок на руках, другой за юбку цепляется... А староста — ни-ни, не позволяет. Сами-то они, староста со старостихой, переоделись в простую одежду, будто бы простые люди едут. Крепко он чего-то боялся, староста. Ну вот. Так мы и досхали благополучно. Гляжу, никакого там правительства нет, учреждений никаких нет. Я и говорю старосте: платите, говорю, что следует, дальше я не поеду. А он мне: денег у меня с собой нет, когда мне заплатят, я и тебе отдам, вот тебе и весь сказ! А в этой Влодаве какой-то офицер у меня лошадь и подводу забрал, только я их и видел... Плюнул я тогда на всё да и пошёл через Буг к большевикам.

Зашуршала бумага, разговаривающие примолкли, скручивая цыгарки. Но теперь тихие голоса раздались с другой стороны. В виду пылающего города все разговоры невольно вращались вокруг сентября тридцать девятого года, когда впервые горела под бомбами Варшава.

— Остались мы вроде защищать город. Строим баррикады, бутылки с бензином, с керосином готовим — другого оружия не было. И жрать нечего. Убитые лошади на улицах валялись, так мы с них мясо сдирали. Вонять — воняло, да с голоду и дохлятину съешь. А уж потом рассказывали, что на Новом Свете бомба грохнула в кино, так оказалось, что там рису было навалено от пола до потолка. Так прямо, без мешков,

как песок лежал. Немцы потом целый день на подводы грузили. А для своих — ни жратвы, ни воды, ничего не было...

— Да что рис! Мы вот голыми руками Варшаву защищали, а когда немцы пришли — день и ночь из цитадели винтовки вывозили. Новенькие! Тысячи их там были... Только не для нас.

— А теперь что с Варшавой будет? Камня на камне не останется. А народу сколько погибло!

— И наши ребята там лежат, на Черняковской набережной...

— Как же, ведь всякому охота была помочь — мало ли у нас варшавян? Да хоть и не варшавянин...

— Помнишь, как, бывало, на Оке о Варшаве рассказывали? А теперь — вот она!

— Да, жаль только, что нет уже её.

— Как это так — нет?

— Не видишь, что ли? Разгромили всю, горит. Долго она так может гореть?

— Эх, глупый, а Сталинград видел? И то отстраняют и скоро, говорят, отстроят.

— Им легче. А вот мы-то как?

— Не бойся, я нам помогу!

— Им самим сколько отстранять надо. Кабы и хотели помочь — трудно.

— Ну, брат, если уж у них в сорок третьем году и обмундирование для нас нашлось, и оружие нашлось, и хлеб — так и на помощь Варшаве кое-что найдётся.

— Только сперва её взять надо...

— Возьмём. Если бы не эти лондонские сволочи, можно бы и раньше взять. А то начали восстание, немцы подтянули свежие силы. А мы ведь три месяца до этого наступали. Да и как её отсюда брать? В обход говорю, уж я тебе говорю...

...Тьма сгусталась. Генерал прошёл между окопами, никем не замеченный. Было тихо. В грозном молчании пылал на левом берегу город. А здесь, в окопах, в подвалах разрушенных домов, в воронках от бомб, на всём изрытом, усеянном обломками, словно мёртвом правом берегу, в ночной тишине не спали солдаты. Им не давала спать, отгоняла сон от их глаз Варшава на том берегу... Казалось, до неё рукой подать! Но все уже знали, что значат семьсот метров водной глади. Это знание было оплачено смертью смельчаков, которые попытались — и погибли. Восемь дней, зацепившись за тот берег, отрезанные от своих границей Вислы, которая вдруг стала огнедышащей, смертоносной, держался Девятый полк. Он сражался и погибал в рушащихся домах. Ключья, одни ключья остались от этого полка, вступившего первым на варшавский берег. Теперь все знали, что надо выждать, подготовить удар. И всё же она мучила, не давала спать. Слишком уж была она близка. Полоса реки, когда ещё так недавно от неё отделяли сотни и тысячи километров.

Бодрствуя в эту ночь, все на правом берегу говорили о Варшаве. И те, что сражались за неё в тридцать девятом. И те, что боролись в далёком Мадриде. Те, что покинули её тридцать лет назад. И те, что её никогда не видели, хотя она была столицей их страны, и сейчас она впервые предстала пред ними в грозном величии, с огненным венцом на челе.

Оперлись о полуразрушенную стену какой-то постройки, молодой парень смстрит на тот берег. Он монотонно напевает, бессмысленно повторяя себе под нос одни и те же слова:

А в Варшаве, в первом доме,  
 А в Варшаве, в первом доме,  
 Шьют как раз теперь мне форму,  
 Шьют как раз теперь мне форму...

Генерал прислушивается, ему хочется узнать, что же дальше. Но дальше ничего нет. Бесконечно повторяются всё те же слова: «А в Варшаве, в первом доме...»

К этим словам прислушивается из своего окопа и Стефек. Он тоже не может спать. Варшава! Как мало он знал о ней тогда, до войны. Чем была она для него? И вот стала самым важным, наполнила собой всю его жизнь. То были уже не Маршалковская и Новый Свет, Уяздовские Аллеи, здания и улицы, которые когда-то осматривал, как сказочные видения, ослеплённый столичным блеском провинциал. Улицы Варшавы заговорили иным языком. И было уже совершенно ясно, что позднее надо будет жить здесь.

«Если бы Соня была жива, я забрал бы и её сюда, — думал он под однообразный напев незнакомого солдата. — Со мной она поехала бы. Строили бы мы потом эту Варшаву, которую сейчас предстоит освободить, выкупить из рабства нашей кровью...»

Вспоминается дорога от Люблина до Пражского берега. Справа и слева, куда ни глянь — могилы. Осенённые красной звездой могилы советских солдат, которые погибли, освобождая польскую землю.

Но что это за мысли! Не об этом надо думать, не об этом... Надо думать о Варшаве на том берегу.

Не о чёрном скелете города, охваченного мрачным трепетом пламени, а о новом городе, белом и радостном, который они отстроят — о новом городе новой страны.

А в Варшаве, в первом доме,  
 Шьют как раз теперь мне форму...

«Не в Варшаве сшили форму, в которой мы воюем, — думал Стефек, — в другом городе, в городе Москве. Сшили для того, чтобы я мог прийти сюда, чтобы польский солдат с белым орлом на шапке мог здесь сражаться...»

Да, та же форма польского войска, которую в тридцать девятом изорвал в клочья вражеский снаряд. Теперь это форма победоносной армии, форма солдата, верящего в победу, форма армии, несущей народу новую жизнь. Но пришлось ещё пережить и такое горе, — когда там, на другом берегу, гремели выстрелы и гибли люди, и умирал город, и ничем нельзя было помочь. Нельзя было спасти. В этих днях был горький привкус сентябрьских воспоминаний: ведь и сейчас Варшаву предали на муки те же люди, что в сентябре тридцать девятого оставили её без защиты и бросили солдата на гибель, одинокого в безнадежном бою.

После непрерывного трёхмесячного наступления пришли сюда армии, как смертельно усталый человек. Кровавый путь войны вёл к берегу Вислы. От Люблина и до самой Праги — словно аллея огромного кладбища. Могилы справа и слева, справа и слева. Солдат из Сибири и солдат с Украины, казах и башкир, московский паренёк и девушка из Ленинграда своею кровью платили за каждую пядь освобождаемой польской земли.

Ах, если бы позже, если бы немного позже началось это восстание...

Ещё месяц-другой, и повстанцы не погибли бы напрасно — они помогли бы, как партизаны, регулярным армиям освободителей, единственной силе, способной одолеть крупные, оснащённые техникой соединения врага...

Шестьдесят три дня гремели выстрелы на том берегу, в Варшаве. Польские солдаты слышали их сквозь грохот орудий, атакуя Прагу, и долго слышали их потом, словно мучительное биение смертельно большого сердца.

Не вернулись те, что переправились на другую сторону, на черняковский плацдарм.

Не вышли сюда и те — с баррикад, из домов-крепостей, из города, охваченного огнём, безумием и отчаянием.

В который же это раз предали варшавян? Вместо приказа пробыть, переплывать на восточный берег Вислы — «лондонцы» приказали им сдать врагу. А ведь здесь всё было подготовлено, чтобы артиллерийским огнём и самолётами прикрыть переправу повстанцев. Они могли спастись, могли с оружием в руках прийти сюда, к своим...

Но на левом берегу, в Варшаве, об этом знали только в штабе восстания, а там засели агенты «лондонцев» и, совершая свое чёрное предательство, тщательно скрывали всё, что могло дать людям надежду, что могло быть путём к спасению.

Ведь пробилась же горсточка смельчаков, вопреки приказам и запретам! Пробилась и принесла на пражский берег страшную повесть о героизме города и агонии города, о том, как торжествующие победы гитлеровцы с почестями принимали командующего восставших варшавян, в то время как его солдат гнали на запад, в лагеря уничтожения.

Варшавян заставили ещё раз пережить горечь поражения, крушения всех надежд. И снова, и снова, как тогда, «вождь» уехал в лимузине, а солдаты, поникнув головой, побрели в свой крестный путь.

Но ведь теперь не тридцать девятый, а сорок четвёртый год! Ведь изменился весь облик мира! Ведь между двумя сентяблями были и Москва, и Ленинград, и Сталинград, и Орёл — великая эпопея героизма, какого не видывал свет!

Всё это прошло даром для лондонских «руководителей Польши», они вели свою преемственность от сентября тридцать девятого, не желая знать ничего нового, — и они ценой крови тысяч людей, ценой развалин и пепелищ старались связать порванные раз навсегда нити этой преемственности.

Варшава пуста и всё горит, горит, горит. И кажется, будто там, на том берегу, гибнет в пламени любимый человек.

Моросит октябрьский дождь. Горит на том берегу Варшава, как факел, окутанный чёрным дымом, втаптываемый в землю.

А в Варшаве, в первом доме..

Упрямо, однообразно звучит песенка. И в тон её бесконечно повторяющимся словам бьётся мучительная мысль, несказанная печаль, глухая тоска о городе, преданном на смерть.

Нет, не даст уснуть пылающий город на том берегу.

— Первый раз я в Варшаву с отцом приехал, — говорит какой-то солдат. — Отец работы искал. Да куда там! Как раз забастовка была. Отец-то у меня каменщик...

— А мы варшавяне. С дедов-прадедов. И всю жизнь в одном доме жили. Со двора, комната с кухней. Мать на окне пеларгонии выращивала — чудо что за пеларгонии были!

— Крышка теперь твоим пеларгониям.

— Наверно и дома-то нет. А сколько простоял! Мой прадед уже в этом доме жил, только в другой квартире. Всё равно пойду искать, хоть на то место посмотрю, где он был...

— А народу, говорят, под развалинами осталось — страсть!

— Эти девчата, что переплыли сюда, рассказывали, что людей на улицах, на скверах хоронили. А уж где дом рухнул, там ни времени, ни сил откапывать не было...

Из-под чёрной тучи дыма, окутывающей город, взвивались вдруг султаны пламени. И тогда в дыму виднелись развалины, похожие на очертания причудливых зданий. Но пламя меркло, всё снова погружалось в чёрную тучу, подсвеченную снизу мрачным, рыжим светом.

Глаза силились рассмотреть в хаосе мрака и огня какие-нибудь знакомые силуэты.

— А там, направо, что видно?

— Да это же замок!

— Тю! Замок... Замок левее. А вот справа?

— Цитадель, на самом берегу.

— Это что такое — цитадель?

— Ах ты, гужеед! И цитадели никогда не видал?

— Я и в Варшаве никогда не был. Мы из-за Седлеца. Над самым Бугом наша деревня.

— Да ведь это недалеко, сколько от вас до Варшавы?

— Не то сто двадцать, не то сто тридцать километров, говорили.

— И ты не поехал посмотреть?

— А откуда у меня деньги на билет? У нас деревня бедная, на песке. В Седлец и то, когда надо, пешком ходили, а там всего три остановки поездом. Куда уж нам было в Варшаву!

— А земли у тебя сколько было? — заинтересовался сосед.

— Земли-то? Какая у нас земля... Песок и песок... Ещё картошки, бывало, уродится немного. А так — одна польнь растёт.

— Теперь землю получишь.

— Говорят, получу... А земля у нас есть. У одного графа Руженского какое имение! Мы, бывало, на заработки к нему ходили — пятьдесят грошей в день платил.

— Крышка теперь твоему графу.

— Только бы наделили как следует... А то у меня баба там одна, недосмотрит, того и гляди дадут какой-нибудь огрызок...

— Мужик, он всегда мужиком и останется, — философски заметил худой солдат в длинной шинели. — Раньше у него ничего не было, а теперь, когда он знает, что ему дадут, — так боится, как бы его не обманули...

— Да уж оно так, всякий народ бывает. Конечно, он там, на месте сидя, лучший участок себе выберет.

— А я и гнаться не буду! Вот на западе, говорят, земли много, лучше уж я там участок возьму.

— Сперва немцев с этих западных земель выгони!

— Не беспокойся, без оглядки оттуда побегут.

— Побегут-то побегут, а пока вот Варшава горит...

Они притихли, глядя туда, где при внезапных вспышках пламени, как призрак, выступала чёрная громада цитадели.

— Ходили мы как-то с экскурсией осматривать эту цитадель. На том месте, где при царе вешали, могилки, плиты белые, каменные. А виселица под стеклом.

— Под стеклом? — изумился крестьянин из-под Седлеца.

— Ну а как же? Дерево ведь, так чтоб не сгнило, на память... И венки на могилах лежали, и мраморные доски — всё как следует.

— А по ту сторону цитадели ты был? — спросил сидящий на корточках коренастый пожилой солдат.

— Это по какую сторону?

— А вот, от Жолибожа.

— А там что?

Тот не спеша крутил цыгарку, угощая табаком остальных.

— Холодно, дождик-то всерьёз взялся... Закурить, что ли? Всё теплей будет.

Они осторожно закурили, пряча в рукава огоньки цыгарок.

— А мы вот с другой стороны побывали, только не с экскурсией, туда экскурсий не водили. Ров этакий и лужок, вроде ничего особенного и нет. И даже козы на лужке паслись. А там в двадцатом году расстреливали.

— Кого расстреливали? — удивился молодой солдат.

— Разных... Коммунистов расстреливали... И тех, что не хотели воевать против большевиков... И тех, что с большевиками на Варшаву шли.

— Наших?

— Наших, «Красный полк Варшавы». Был такой. Так вот, если из этого полка кто в плен попался, на этом лужке расстреливали у крепостного вала. Да и потом моего товарища одного — токарь был, с Воли — в двадцать пятом году тоже тут расстреляли. Трёх тогда расстреляли.

— За что?

— В провокатора стреляли. Я вот теперь смотрю на левый берег и думаю: не дождался ты, Юзек!.. С нами бы теперь был.

— Смотри-ка! Кто с большевиками шёл, тех расстреливали! А мы теперь все с большевиками... Сколько их тут погибло, боже ты мой! — вздохнул молодой солдат.

— Не бойся, попался бы ты им сейчас в руки, тоже бы расстреляли, да ещё как!..

— Это кто же?

— Да всё те же! А кто в Люблине капитана убил? Ещё не раз придётся нам с ними дело иметь. Не так-то легко они своё отдадут. Вот хоть и твой граф — легко ему имени лишиться? Небось, захочет опять тебя за пятьдесят грошей нанимать, как прежде...

— О, смотри! Слева вроде ещё что-то загорелось!.. И когда только мы туда пойдём?

— Прикажут — пойдём. Начальство лучше знает, куда и как идти.

— Это-то конечно. А только тоска... У тебя, Янек, есть кто в Варшаве?

Молодой солдат медленно, неохотно ответил:

— Откуда мне знать? Был отец, мать была, братья...

— Э, что там, не всех же убили! — искусственно оживлённым тоном отозвался кто-то из его товарищей.

— Кто знает? И как можно уцелеть в этих развалинах, в этом огне?

— Эх ты! Говорили же лётчики, сами видели, как их по дороге из города гнали.

— Куда?

— Ну, это покамест неизвестно.

Моросило. Сырость оседала на шапках, на шинелях, лица солдат были мокры. Они поглубже засовывали руки в рукава.

— Холодно.

— Что ж ты хочешь? Октябрь...

— Помню, раз в октябре такая теплынь стояла, пошли мы в Лазенки...

В разговорах, воспоминаниях, во всех мыслях то и дело возникала она — горящая на той стороне столица. Никому не хотелось спать. Взгляд, как околдованный, устремлялся туда, где виднелся во мраке

догорающий город. Он выросал перед глазами ярким светом шумных улиц, вздымался стенами домов, глядел стёклами окон. Важные события и пустячные случаи чётко рисовались на фоне именно той, а не иной улицы, того, а не иного закоулка. Варшава оживала в памяти. Казалось, что там, за едва поблескивающей во тьме Вислой, она стоит всё та же, неразрушенная, живая, цветущая зеленью парков, шумная, позванивающая трамвайными звонками.

— Бывало, подъезжаешь к ней вечером — всё небо светлое от огней..

— Да ведь и сейчас светлое... — вмешался солдат из-под Седлеца.

— Эх, парень... Сейчас сразу видно, что это от пожара. А тогда был весёлый свет, сияние такое. А уж на Маршалковской вечером — как днём. И фонари, и витрины, и рекламы, и неоны...

— Неоны?

— Правда, ты ведь и неона не видел, тёмная масса... Ну, свет такой, в стеклянных трубках, понимаешь? Красный, зелёный, всякий... аж глазам больно смотреть!

— Да, светло, ничего не скажешь. А вот как до Маримонта, бывало, дойдёшь — хоть караул кричи: у самого своего дома в такое болото залезешь, что дай бог выбраться...

— Не о том речь. Я о Маршалковской говорю, о Новом Свете...

— Теперь, брат, как отстроим, и на Маримонте светло будет.

— Ишь, какой скорый! Ты её сперва возьми!

— И возьмём. Только бы нам позволили брать!

— Как же нам могут не позволить?

— А вдруг пошлют на другой участок...

— Ну, этого быть не может. У нас половина солдат варшавяне, нам по праву полагается!

— Ну уж — это нет! Ты что? Не слышал, просветительный говорил? Сам Сталин сказал: Варшаву, мол, будут брать польские полки.

— Ну, раз сам Сталин, тогда конечно...

...Медленно, тихо, как тень, проходил генерал вдоль окопов, задерживался возле разговаривающих. Время от времени кто-нибудь замечал его и кричал: — Смирно!

— Вольно, вольно, — махал рукой генерал. — Сидите себе. Почему не спите?

— Не хочется спать. Сидим вот, о Варшаве разговариваем.

— О Варшаве...

Он медленно отошёл. Солдаты с минуту вглядывались сквозь тьму в удаляющуюся фигуру.

— Бродит старик.

— И ему не спится.

Упрямо, однообразно звучала где-то поблизости всё та же песня:

А в Варшаве, в первом доме...

Солдаты помнят Варшаву такой, какой она была двадцать восьмого августа, какой она была в сентябре тридцать девятого года. Но он её помнил другой — какой была она тридцать лет назад. Только уже не увидеть её такой... Как разыскать среди этих чёрных развалин знакомые закоулки? Как найти прежние, навеки запомнившиеся места?

Тридцать лет... Узнаешь ли ты меня, примешь ли ты меня, родной город, любимейший из всех городов?

Сквозь пламя Великой русской революции, сквозь вьюгу гражданской войны шёл я к тебе, вырастившая меня Варшава. Вислинской волной сверкала мне Волга, вислинской волной шумели мне могучие реки

советской земли. К тебе я шёл сквозь виноградники испанских холмов, сквозь грозные ущелья, так не похожие на польскую землю...

И наконец — Ока, «как Висла глубокая, как Висла широкая». Боже мой, ведь плакал, как дитя, старый, лысый дурак, когда увидел Зислу, — яркоголубую, какой она почти никогда не бывает, — на театральной декорации в дивизионном театре в лагере. Плакал, как дитя, слушая девушек в военной форме, поющих песню о Висле-реке... Это было в лагере Первой дивизии.

А теперь Висла перед ним, и исчезли тридцать лет — она узнала его.

И ты, и ты узнаешь меня, примешь меня, родная Варшава, разбитая, сожжённая, задущенная — и непокорённая.

Мрачно, красное зарево стояло на другом берегу. Генерал вздохнул. Солдаты притихли, плотнее кутаясь в шинели. Уже повело предрассветным холодом. Умолкла песенка, упорно звучавшая почти всю ночь. Напевавший её молодой солдат спал, упав головой на выщербленные кирпичи.

Из широкой расщелины — быть может это была воронка от бомбы, быть может подвал взорванного дома, — сочился слабый, красноватый свет. Там тоже напевали. Тихонько, вполголоса. Внизу тлел огонёк. В его свете дым был почти розовым, и розовый отсвет падал на лица. Их было трое. Огонёк притухал, и их лица заволакивались тенью. Кто-нибудь из сидящих поправлял дрова, помогая борющемуся с изморозью огоньку, — и три склонившиеся к нему лица снова появлялись из мрака, красные, как отлитые из меди. Вздёрнутый нос, слегка выдающиеся скулы, непослушный вихор из-под шапки. Все трое смотрели в огонь, в красные угольки и тихо напевали. Двое — глубокими, низкими голосами, третий — звучным, мягким тенором.

Они пели, словно во сне, словно зачарованные мелькающими язычками пламени.

Сердце сжала внезапная печаль.

Мягко лился чистый ласковый голос:

Эх, дорожка моя фронтовая,  
Далеко ты меня завела...

Комок земли вдруг покотился из-под ног генерала, послышался шорох осыпающегося в яму песка. Сидящий лицом к генералу советский солдат вздрогнул и поднял глаза. Тот сделал шаг вперёд.

— Ну как, ребята, холодно? Греетесь?

— Какой там холодно! Просто так, тянется ночь, приятно на огонёк посмотреть...

Он спустился к ним, скользя ногами в осыпающемся песке, который стекал на дно ямы, шелестя, как вода.

— Откуда, ребята?

Молодой солдат с вздёрнутым носом поднял голову. Звучным тенором, который генерал тотчас узнал, он ответил, разгребая угольки щепкой:

— Сибиряки. Все трое.

— А откуда?

— Издалека, из тайги. Охотники мы. Милости просим к огоньку, сейчас и сало поджарится.

— Нет, спасибо, не хочется есть.

Солдат с выбивающимся из-под шапки кудрявым чубом спросил:

— Ну, как там? Всё ещё горит?

— Горит.

— Эх, жаль города... Красивый был город, говорят! Аж сердце болит смотреть.

Они тоскливыми глазами смотрели в огонёк, в слабо мерцающие, заволакивающиеся дымом язычки пламени. Генерал тихо отошёл. А они, словно только и дожидаясь этого, снова затянули:

Эх, сторонка моя золотая...

Сибиряки. Где-то в тайге пылает ночью костёр из смолистых брёвен. Взвиается вверх красное, жёлтое, рыжее пламя. Потрескивает, шипит в огне сырое дерево. Чёрной стеной стоит вокруг лес, глухой, бескрайний, беспредельный бор. В темноте загадочно потрескивают ветви, не то от ветра, не то от крадущихся шагов хищника, кружащего вдали, сверкающими глазами высматривающего отблески огня на кустах, на мощных, косматых от листвы ветвях. У костра сидят охотники. Пахнет дымом, смолой. Высоко над головами, как море, шумит тайга, дремучий древний бор.

Генерал медленно ступал дальше, ноги его вдруг отяжелели. А за ним как шёпот, как жалоба, доверяемая сердцем сердцу, повторялись слова припева:

Эх, дорожка моя фронтовая,  
Далеко ты меня завела...

Сибиряки... Что навевает грусть на этих троих, засмотревшихся в огонь, здесь, над рекой, не похожей на мощные, грозные реки Сибири? Не этот ли город, догорающий на той стороне, — город, на тысячи километров отстоящий от их бревенчатых смолистых домов в дремучих лесах?

Как далёкое эхо, отзывается в памяти песня, услышанная в детстве песня русских солдат:

Застонала матушка Варшава,  
Заплакали, эх, да все её места,  
Да и пропала вся польская слава...

Кто сложил её, эту песню, такую простую, такую человечную? Солдат в серой шинели, которого пригнали сюда когда-то в качестве орудия царского гнёта, неведомый солдат из неведомого угла России? Он пришёл сюда, как орудие насилия, как враг к врагам, и нашёл в своём сердце сочувствие поруганной польской столице и печаль с ней, вылившуюся в простую, наивную, глубоко человечную песню.

Кто и когда пел эту песню? В каких её пели казармах? А в то время с ненавистью смотрели на них глаза польских прохожих, исподлбья косящихся на их мрачные стены.

Кто из тысяч русских крестьянских сыновей, пригнанных сюда по царскому приказу, нашёл для этой чужой ему столицы самое ласковое в мире слово «матушка»? Кто пожалел о польской славе, рассыпавшейся в прах под царским сапогом? Когда родились этот простой мотив и эти безыскусственные слова? Может быть, это было, когда окровавленный упал на поле боя польский предводитель Костюшко или когда догорало восстание тридцать первого года. А может быть, и тогда, когда закачались на виселицах тела членов «Национального Правительства» шестьдесят четвёртого года?

Застонала матушка Варшава...

И кто расслышал в этой простой солдатской песне бисние сердца простого русского человека? Кто вспоминал о ней в Польше во все эти

годы ненависти и обид? А ведь русский солдат пел эту песню на польской земле, пел ещё годы, годы назад... Кто же её услышал, кто понял, кто бережно принял, как бесценный дар народа — народу?

Мрачным пламенем догорает столица на той стороне Вислы. И не одни польские солдаты — сибиряки тоже не могут уснуть. Им тоже не даёт спать город, о красоте которого они говорят, как о давней, но не вызывающей сомнений легенде.

Быть может, завтра они погибнут в бою за этот город — певец со вздёрнутым носом, рябоватый брюнет с чубом из-под шапки, скуластый паренёк с добродушным лицом.

До боли сжимается сердце генерала во внезапном порыве любви к этим, с белыми орлами, к тем, с красной звездой на шапке. Носил и он красноармейскую форму — не один год носил её на своём долгом и трудном, тридцатилетнем пути в Польшу...

«Эх, дорожка моя фронтовая...» — с нежной улыбкой думает генерал, и глаза его увлажняются.

«Сентиментальный старый дурак», — иронизирует он над собой. Но это не помогает. Чувства не настраиваются на обыденный лад. И кажется, что жизнь не может быть полнее и осмысленнее, чем сейчас.

Только бы ещё пройти по улицам Варшавы. Только бы найти среди развалин ту улицу, по которой бегал ребёнком. Увидеть знамёна, народные знамёна на улицах Варшавы, польские и советские знамёна, колеблемые ветром свободы!

Лежит во мраке Прага, погружённая в сонную, дождливую октябрьскую ночь. Советские и польские части ждут приказа.

Кому и когда выпадало на долю такое счастье, чтобы исполнилась мечта всей жизни? На твоих глазах поворачивается колесо истории, свертывается справедливость. И тебе дано вернуться в места своего детства, неся им в дар осуществлённые стремления, которые тридцать лет жгли сердце.

Мгновение назад он мечтал об одном: взглянуть хоть раз на её свободные улицы. Но сразу же этого показалось мало. Захотелось увидеть её воскресающей из пепла, зацветающей белизной домов и зеленью парков, растущей, развивающейся.

И ещё большего захотелось. Много большего. Захотелось самому строить её с фундамента и до крыши, новую Варшаву, такую счастливую, какой она никогда не была, без покосившихся рабочих барако́в, без коморок с гниющим полом, где ютятся многочисленные семьи, без тёмных переулочков и тупиков...

— Теперь уже скоро! — тихонько поговаривают в потёмках солдаты. Но генерал знает: ещё не сейчас. Ещё выгорят дотла дома на том берегу. Дождь смоем кровь и сажу с развалин. Ещё сто раз придётся сдерживать нетерпеливые сердца.

Долог был путь от Волги к берегам Вислы. Долог путь от места, где советский солдат победил смерть в развалинах сталинградских домов.

Ни одна пядь земли не досталась даром. Ни один комок её не дался легко в руки. Реками крови была окуплена свобода каждого клочка земли.

Как бы ни был могуч героический порыв, каким быстрым вихрем ни несла бы волна энтузиазма, — существует суровая военная необходимость.

Орудия, которые необходимо подтянуть. Танки, которые днями и ночами, без отдыха, без сна производят рабочие — там, за тысячи километров отсюда. Солдат, который сейчас ещё только пришёл в армию и учится владеть винтовкой. Офицер, ещё только заканчивающий учили-

ще. Недостающие вагоны, разбитые бомбами склады, сорванные и искажённые рельсы. И вражеские дивизии, притаившиеся там, на левом берегу Вислы.

Мелкий снег сыпал с неба, дул морозный ветер, когда они, наконец, вступили в Варшаву.

Солдаты молчат.

Ты ли это, родной город, где были знакомы каждый камень, каждый бугорок на мостовой?

Куда-то вдаль открывается перспектива. Где-то далеко, будто голубоватая тучка, видны какие-то деревья. Что же это за лесок, о котором раньше никто не знал и на который теперь можно смотреть сквозь город? Глаз не натывается ни на одну стену, ни на одну крышу, ни на одну трубу, заслонявшие прежде этот вид...

Что это за улица? Её не узнаешь, глядя на груды битого кирпича и больших обломков, через которые приходится перебираться, как через горные хребты.

В мрачном молчании идут солдаты. Сапоги скользят по обледенелым камням.

В прах и пепел обратила тебя рука иноземного врага, Варшава!

В прах и пепел обратила тебя рука тех поляков, которые в сто раз хуже иноземных захватчиков.

Где ты, далёкий город, звучавший тысячами голосов, переливавшийся красками, город, как путеводная звезда светивший все эти годы скорбному сердцу? Где ты, Варшава?

Цепь каменных холмов, обрывающихся пропастями, — вот во что превратился родной город...

Но в глухих руинах уже начинают появляться люди.

Женщина толкает перед собой тележку. В тележке — ребёнок. Мужчина тащит на спине узел. Идут женщины, неся на плечах или волоча за собой жалкие пожитки.

Солдаты настораживаются: что сейчас будет! Эти слёзы, этот плач, эти горькие бабьи причитания над руинами города...

Вот уже слышатся голоса.

— Говорю тебе, Зоська, это здесь. Наверняка здесь!

— Вздор, это же восьмой номер, — ясно, что восьмой.

— Ну, смотри, решётка от ограды, не видишь?

— И правда! — радуется другая.

И повозка уже остановлена у груды опознанных развалин. Сложена кирпичная стенка, чтобы заслонить от ветра разведённый огонёк. Около него суетится женщина, закутанная в шаль.

— Смотри! — кричит в это время другая. — Вон там уцелел кусок стены. Здесь можно прекрасно устроиться!

— И даже кровельные листы валяются...

— Вот видишь! Превосходно!

Люди разыскивают места, где были когда-то их дома. Разбивают бивуак на грудах кирпича, под защитой уцелевшего куска стены. Хлопотливо устраняют, укрепляют и утепляют что-то.

— Подвал, вход в подвал, честное слово!

— Эх, если бы ещё крыша — почти готовая комната.

— Только не ошибаешься ли ты? Мне всё кажется, что наш дом должен быть немного левее.

— Ничего подобного! Ты никогда не умела ориентироваться. Вот я так с завязанными глазами узнал бы!

По дорожкам между развалинами, по просёлкам и трактам из дальних деревень стекаются обитатели Варшавы. Весело перекликаются:

— Ах, и вы уже дома?

— Разумеется. Чего же ещё ждать?

— Видишь, Генек? — толкает солдат своего товарища. — Говорил я тебе — Варшава...

— Да, такой уж народ варшавяне.

В солдатских рядах выше поднимаются поникшие было головы. Прохожих всё больше, они машут руками, приветствуют своё польское войско и русских освободителей. Весёлые возгласы с обеих сторон. Штатское пальто в объятиях грубой шинели. Морщинистое лицо старушки, прильнувшее к солдатскому лицу. И лишь теперь — слёзы. Слёзы радости.

— Люди добрые, да куда же вы идёте? Тут же ничего нет... Как будете жить?

— Как это, ничего нет? Станем мы нивесть где шататься, когда Варшава свободна!

— Много ли надо? Кирпича, того-сего наберём, уберём немного, подправим — вот тебе и квартира... На прежнем месте!

Всё нарастающим потоком спешат по всем дорогам варшавяне к себе домой.

Развалины заселяются. Всюду волокут камни, тащат доски, выкопанные из-под развалин, поломанные железные кровати.

Но наблюдать картину этого оживления солдатам некогда. Ускоренным маршем, стремительным броском — на запад, на запад! Пока враг не опомнился, пока не остановился в своём задыхающемся беге.

Навстречу нашим войскам — толпы людей, стекающихся к городу, — к городу, от которого ничего не осталось.

Сравненные с землёй кварталы. Как бритвой срезанные дома. Вырванные из недр земли фундаменты. Бездонные провалы, куда рухнули этажи. Чёрные пожарища. Засыпанные кирпичным ломом площадки на месте шестиэтажных домов.

Уцелели только Висла да бледное небо, сыплющее мелким снегом.

Мелкий снег засыпает покрытые бессмертной славой руины, бесчисленные могилы между ними. Но смеющиеся дети уже бегают по развалинам, разыскивая между горами кирпича обломки утвари, игрушки.

Вдруг радостный крик:

— Мама, мама, моя лошадка!

Краска облезла, отклеился пушистый хвост, голова куда-то пропала — но это несомненно та самая лошадка, подаренная когда-то давно к Рождеству, а потом в пренебрежении заброшенная и забытая. Сейчас она вдруг вынырнула из развалин, будто привет из прошлого.

— Помню, когда я её покупала, ты тогда...

Всё вспоминается, всё. Какие-нибудь незаметные мелочи, незначительные события, какой-нибудь рождественский вечер и ёлка, сверкающая свечами.

Некогда долго заниматься старой игрушкой. Отец семейства, сосредоточенно насупив брови, похаживает вокруг груды кирпичей, которая была когда-то домиком в саду — одним из целого ряда других таких же. Теперь все они обратились в сплошной кирпичный вал.

— Часть кирпича можно использовать, есть совсем целые штуки. Впрочем, кто знает? Когда начнём копать, может оказаться, что и фундамент цел. А если цел фундамент...

И так всякий решает судьбы столицы на свой лад, на свой образец, хотя по улицам уже бродят инженеры, измеряют, рассчитывают, а в архи-

тектурно-строительном бюро уже ведутся долгие совещания. Расчёты точны. То есть постольку, поскольку возможно установить в таких условиях. И выводы ясны. Расчистка руин, нивелировка почвы — всё это будет труднее, чем постройка города на новом месте. Лучше отступить вдоль берега Вислы на север или на юг. И тут начать строительство... Так считают инженеры... А не инженеры? Разумеется, многие не хотят согласиться, но цифры...

Да, город можно передвинуть на север или на юг, где, по мнению инженеров, будет удобнее. Но тогда нечего говорить о восстановлении — будет строиться новый город. Ни северней, ни южней по течению реки — это уже не будет Варшава.

Нет, польский народ должен дать отповедь не только тем, кто разрушил Варшаву теперь, но и всем, кому в будущем вздумалось бы её разрушить — её или другую столицу. Не на юг и не на север по реке, нет — Варшава должна быть там, где была! Как живое свидетельство, как вечное напоминание, что нельзя уничтожить того, что строилось веками, создавалось трудом, творческими усилиями народа. И его любовью. Цифры... Есть вещи посильнее цифр, счётов, расчётов!

Народ будет восстанавливать Варшаву, ту Варшаву, которую хотели уничтожить. И каковы бы ни были цифры и расчёты, станет строить — и построит. Только не на новом месте. Потому что то уже не была бы Варшава — Варшава девятьсот пятого года, Варшава тридцать девятого и сорок пятого годов. В этих местах боролись и гибли люди. И эта Варшава будет отреставрирована.

#### Глава 19

Почки на деревьях набухли и сквозь их клейкую, коричневую кору местами уже видна нежная зелень; берёзы стояли в лёгкой зеленоватой дымке. Из-под прошлогодних пожелтевших стеблей пробивались острые иглы молодой травы.

То была уже шестая весна — если считать на вёсны время, прошедшее с того года, когда небо разверзлось над головами людей чёрной бездной смерти.

Эти вёсны были похожи, как сёстры, и разнились между собой лишь силой пережитого. Всё это были вёсны отчаяния и надежд. Только шестая весна была другой, совсем непохожей на прежние.

Уже освободились от фашистов и Быдгощ, и Колобжег, — в далёком тылу воскресала, наполнялась шумом и говором Варшава. Уже дымились фабричные трубы Лодзи, и польские крестьяне работали ранними утрами на собственной, на крестьянской земле.

В тихий апрельский день полки подошли к реке.

Песни звучали над марширующими колоннами. И среди них одна, принесённая издалека, с берегов Оки:

Много рек мы прошли...

И правда — сколько их было, пройденных рек! Рек, которые сперва ложились преградой на пути, потом превращались в ленту, связывающую берег с берегом, один этап войны с другим.

И вот — ещё одна река.

Это уже не Ока — «широкая, как Висла, глубокая, как Висла», река — колыбель, река — лозунг, река — начало нового польского войска.

Это и не Буг, отражающий в светлых волнах корявые вербы — пограничная река, с правого берега которой видна была уже близкая — рукой подать! — та Польша, что все эти годы звала к себе, в долгие ночи дурманила снами о своей красе, в долгие дни давала суровый на-

как бороться. Польша, что всегда была жгучей раной, ядовитой тоской, единственной радостью сердца и неопишуемой болью сердца. Буг, откуда начинается польская земля и где хотелось, как в старых чувствительных романах, упасть на колени в песок, целовать его, почувствовать на губах единственный, неповторимый вкус этой земли...

Это и не Висла — желтовато-серая, а не голубая, как о ней поют, и всё же самая прекрасная в мире река. Это не плацдарм в Чернякове, откуда текла в вислинскую воду кровь Восьмого и Девятого полков. Не Висла под крепостью Модлином и под Варкой, где так упорно оборонялись фашисты. И не радостная, свободная Висла...

Теперь прямо перед глазами тихо катит свои воды к вольному морю Одер.

Никто из них не видел его раньше. И каждый знал о нём с детства. В памяти шелестят страницы учебника. Мешко первый? Болеслав Храбрый? Нет, ещё более древние времена. Славянские поселения в дремучих лесах, пчелиные колоды и белый пшеничный калач да изваяние Световида в дубовой роще.

Шелестят в памяти страницы школьного учебника. Возникают какие-то отрывочные факты, туманные, ничем не скреплённые. Странно, как много уже позабыто со школьных лет! Как перепутались, стёрлись даты! История осталась в памяти лишь как общее впечатление от шума непрерывных битв. Ведь где-то здесь нападали на славян маркграф Геро, жёг поселения в лесах, рубил изваяния языческих божеств, воздвигнутые в недрах таинственных пущ. Где-то здесь, над рекой Одером, было городище Ополе, гнездо силезских Пястов, где-то здесь был Глогов, с которым связывалась полузабытая легенда о неслыханном героизме. Где-то здесь было и Иесье Поле, место памятной победы. И где-то тут же неподалёку — Лигница, где поляки сражались с татарами.

Сколько важных моментов из истории Польши связано с этой землёй! И как жаль, что так мало помнишь... Чему же учили в школе, если как раз теперь, когда понадобилось, мы не знаем самого важного?

Но о чём бы ты ни думал, что бы ни старался вспомнить, в памяти всё время мелькают названия здешних городов и земель — польские названия. Имена королей и князей — польских королей и князей. Почему в школе столько говорилось о королях, о князьях, и так мало говорилось о том, как жил и работал здесь, на этих землях, польский народ? Народ в деревнях, сжигаемых соседними хищниками, народ, подпадавший под чужеземное иго и снова освобождённый. Каковы были вера и песня этого народа, каков был тяжкий труд его трудолюбивых рук?

В школе зубрили что-то об онемечившихся силезских Пястах, о князьях, которые переняли язык, обычаи и веру захватчиков. Но как жил под властью этих онемеченных князей народ? Ведь он не онемечился — даже теперь, века спустя, здесь можно дотолковаться с человеком, найти в его крестьянском диалекте основу родного польского языка. С каких же пор исчезла из официальной и школьной польской истории река Одер?

И вот эта река вновь возникла в истории в этот апрельский день тысяча девятьсот сорок пятого года.

Давно затихло эхо приказа, отданного, выслушанного и выполненного там, над Бугом, — приказа о переходе восточной польской границы.

От края до края свободна польская земля. Из конца в конец промёрзла усталыми ногами польских солдат польская земля — от Буга и до этой новой и такой древней западной границы на реке Одер.

Своими глазами видели солдаты сожжённые деревни и обращённые в прах города. Могилы на кладбищах, могилы на улицах и целые посёлки, превращённые в одну братскую могилу.

Видели и всем сердцем почуяли горькую польскую долю этих долгих годов, более чёрных, более мрачных, чем рисовалось воображению в самые худшие, самые тоскливые минуты.

Видели солдаты кровавые слёзы Польши и нищету её лохмотьев.

Но видели они также и неотразимую её красоту, её вечно юную силу. Почувствовали живую струю, которая не иссякла в царстве смерти и смывает теперь тень смерти, как смывают буйные вешние воды грязные крошащиеся льдины.

Увидели материнское, улыбающееся лицо Польши.

И собственными глазами заглянули в бездну мрака, в гноящиеся раны предательства, услышали звон серебряников, уплачиваемых наёмному убийце.

Видели лицо брата, омытое слезами радости. Но видели и предательские удары ножом, и выстрелы из-за угла.

В эти дни на пути от Буга до Одера многим пришлось проверить свою мечту. Навсегда распрощаться с созданной себе вдали верой, что от Буга до Одера будут встречаться лишь братские лица и пожатия братских рук. Пришлось убедиться, что за освобождённую от немецких фашистов землю придётся ещё тяжко бороться.

И вот теперь, на берегу Одера, можно сказать себе:

Осуществились мечты, сложившиеся и взлелеянные там, над Окой. Осуществились до конца.

Польша будет свободной, независимой, владеющей издревле польскими землями, польским морем.

Она будет новой, великой и справедливой страной, которая наделит крестьянина землёй и навеки вычеркнет из жизни позор батрацкого труда на барских землях. Она уничтожит насилие человека над человеком и будет страной трудящихся.

Осуществилось сказанное над Окой: это была правда, что именно оттуда, от Оки, вела прямая и ясная дорога в Польшу.

Не напрасно умирали поляки под Ленино и в Дарнице, за Бугом и в Праге, на Поморском Валу и под Колобжегом, запечатлевая кровью высшую правду, несокрушимую твёрдость воли, запечатлевая кровью документ, возвещающий существование новой, свободной, справедливой Польши.

Два года миновало с той поры, когда впервые тысячам поляков пришлось отбрасывать столько укоренившихся предубеждений, глядеть в лицо стольким новым истинам... Два года или два века?

Уже возникла она — новая, свободная, справедливая Польша. С её именем на устах, с её именем в сердце пробиваются они к волнам Одера, реки, которая отныне будет границей — нет, которая стала границей ещё в тот день, когда далеко, в лагере над Окой, они услышали эхо слов, произнесённых в Кремле:

«Граница Польши на Одере».

Два года они шли, пробивались к этой реке сквозь кровь и смерть.

Последний приказ прост и ясен: форсировать реку Одер и выбить неприятеля из укреплений на левом берегу. Но за этим приказом скрывается нечто, о чём не говорят, но что знает и чувствует всякий.

Стремительным шагом близится победа. Стремительным шагом близится день, когда артиллерийский салют возвестит не об освобождении города, не о взятии крепости, а об окончательной победе над врагом.

Сколько раз назначали срок победы жаждающие сердца! Сколько раз называли год, времена года, месяц, даже дни и числа! Но теперь это было последнее, решающее наступление, победоносный марш, который без передышек, без перерывов приведёт к конечной цели.

И хотя сейчас срок был непреложен, именно теперь-то и страшно было в него поверить.

Нет, лучше не думать, не говорить об этом, хотя на этот раз — это не просто надежда, которую боишься спугнуть словами, не пустая мечта, рассеивающаяся, едва её выскажешь...

И всё же лучше не говорить теперь, когда марш подобен полёту и победа несомненна, когда она приближается гигантскими шагами, когда километры тают, как снег на апрельском солнце.

Победа придёт. Не минует. Но не надо ослаблять ошеломляющую радость преждевременным предвкушением её.

Теперь они собственными руками берут победу. И знают, что от каждого, от каждого из них зависит, наступит ли этот день раньше или позже.

Никто не сомневается, что задание будет выполнено. Справа и слева глухо грохочут советские орудия, а здесь, в этой двадцатикилометровой полосе, гремит польская артиллерия. Позади уже долгий боевой путь. Уже испытаны в боях воля и мужество польских воинов, и сердца их полны уверенности и солдатской гордости. Уже нет преувеличений, нет прикрас, когда говорят высокие слова о полковых знамёнах: они покрыли себя боевой славой.

Выполнена присяга, принятая в лесах над Окой. Польские сосны зашумели в ответ своим русским сёстрам.

Тот же ветер, что в радостном упоении бил крылами тогда, овеивает лица и сейчас. Но нет сейчас слёз на солдатских глазах, пусть даже слёз радости. Окрепли, закалились сердца победителей. В них сознание своей проверенной в боях силы, гордость выполненной присяги, гордость «доблестных солдат Польши», гордость родиной, которая стала такой, какой должна быть, стала той родиной, за которую пали под Ленино первые солдаты Первой дивизии.

...Скрипели в ночном мраке колёса повозок, тяжело катились тягачи, топот и говор оглашали воздух. Лихорадочной жизнью жил в эту ночь клочок земли, ещё отделяющий польских солдат от реки. Перекликались сапёры, таща материалы для моста. Торопливо сколачивали плоты. Ночь была полна движения и огня. Артиллерия гремела с обеих сторон, красные, зелёные, белые ракеты прорезывали небо. Клубился дым, рыже-красные зарева пылали вдаль, по обе стороны реки. Но ни пожары, ни выстрелы, ни разрывы не могли победить тяжёлую, плотную тьму.

Никто не спал, как ни тяжки были последние дни, как ни устали люди от стремительного марша и упорных боёв. Казалось, враг, вопреки очевидности, не хочет признать своё поражение, ещё питает надежду на какое-то чудо; он цеплялся когтями, зубами за каждый дом, за каждый ничтожный пригорок.

В потёмках, слабо освещённых далёкими пожарами, капитан Забельский прошёл мимо группки солдат, дремлющих прямо на голой земле.

Так уж оно, видно, и будет до конца, до последнего дня. До последнего дня не придётся солдату выпускать из рук винтовки, до последнего дня придётся гореть в боевом напряжении.

Забельский всмотрелся в даль за рекой. Но в густой тьме, насколько хватал глаз, виднелись лишь вспышки выстрелов и очаги отдельных пожаров. А ещё дальше был уже сплошной мрак.

Сжималась, исчезала территория, на которой ещё держался враг. Что происходит теперь там, за двести, триста километров западнее, где

наступают «союзники»? Праздный вопрос! Забельский прекрасно знал, что там-то не кипят бои, там не приходится платить кровью за каждый сантиметр освобожденной земли. Стремительно, с лихорадочной поспешностью гитлеровская «раса господ» сдавалась западным армиям, вывешивая белые флаги прежде, чем покажутся головные колонны наступающих. Гитлеровцы выходили им навстречу, горя одним желанием: чтобы войска капиталистических государств как можно скорее, как можно дальше продвинулись на восток.

Забельский насмешливо усмехнулся. Ему вспомнилась болтовня в лагере над Окой о втором фронте. Ну, вот он и открыт, наконец, этот «второй фронт». Любопытно, двинулся ли бы он вперед, сделали бы эти «союзники» хоть один шаг, если бы не страх, который внушил им натиск Советской Армии на запад, если бы их не испугали эти сотни километров, тающие, как снег, под ногами советского солдата?

Где вы были, когда стояли насмерть герои Сталинграда? Где вы были, когда тысячи и тысячи советских солдат окупали своей смертью свободу Москвы, когда решались судьбы всего мира? Где вы были, когда чёрная пелена мрака простёрлась над Европой, когда проливались моря крови ни в чём не повинных людей?

И снова Забельскому вспомнились дурацкие радостные возгласы у западных посольств — тогда, в сентябре тридцать девятого...

Кто из них хоть пальцем пошевелил в защиту Польши, попираемой сапогом захватчика? Кто принимал всерьёз собственные обязательства и собственные договоры? Что было бы сейчас не только с нами, поляками, но и со всеми вами, если бы там, на востоке, не было страны, которую вы ненавидите, если бы не было человека, которого вы боитесь безудержным страхом своей мелкой, торгашеской душонки? Спешите же теперь, спешите, кричите о своих победах, занимайте города, где белым-бело от вывешенных флагов. Что бы вы ни делали, вам не успеть! Что бы вы ни делали, наша земля уже свободна от края и до края. Что бы вы ни делали, она стала такой, какой хотим её видеть мы. Вам уже не захватить в руки концессии, не выжимать пот и кровь из работающего на вас польского раба. Где-где, а здесь вам не придёт заводить ваши порядки! Не удастся сделать из Польши игрушку, мячик, перебрасываемый из рук в руки. И никогда не сделать вам из этой страны плацдарм для нападений на народ, который ценой своей крови вызволил нас из рук врага.

Взвилась ракета и меркнувшей дугой упала вниз, рассыпалась белыми искрами, которые тотчас, как вода в песок, впитались в мрак. И этому свету, внезапно вспыхнувшему во мраке, капитан Забельский доверил свои самые заветные мысли: «Я выполнил свою присягу».

Как сейчас, помнится и этот день, когда они присягали, и вся злоба, весь гнев, которыми горело тогда его сердце. Ведь он, в сущности, и не понимал тогда, что такое эта присяга. Не понимал, что её можно было приносить в радостном порыве, с окрыляющим счастьем в сердце, с высоким сердечным подъёмом, что уже тогда можно было чувствовать то, что чувствует он сейчас. Кому назло приносил он тогда эту присягу? Этим призракам, которые, кажется, и по сей день влачат ещё существование в Лондоне, потеряв уже малейшую краску жизни, призракам, уже только смешным и жалким в своей кичливой спеси... Кому хотел он поступить назло? Дезертирам, не стоящим плевка? Изменникам, лакеям иностранцев? Или же самим этим иностранцам, которые годами умели равнодушно смотреть, как гибнет, обливается кровью, пропадает

пропадом весь мир, и зашевелились лишь тогда, когда перепугались, как бы не ускользнула из их рук добыча.

Пришло время, когда и ему, Забельскому, можно подвести некоторые итоги. И это неплохие итоги.

«Из-за чего же я так мучился, так терзал себя тогда, в госпитале? Оказывается, есть вины, которые можно искупить кровью».

Крови вытекло из него немало, начиная с битвы под Ленино. И он теперь не глупый, как сапог, франтоватый поручик Забельский, и не призрак Новацкого, а капитан польского войска Забельский. Он получил не просто звёздочки на погопах, а нечто гораздо большее: это отметка долгого, кровавого пути до Польши, сквозь всю Польшу и сюда, на Одер, к новой польской границе, возвращённой Польше через сотни лет.

И вдруг ему стало жутко. С чего он сейчас погрузился в воспоминания? Солдаты говорят, что перед боем не надо вспоминать прошлую жизнь — это дурное предзнаменование.

Он усмехнулся. Какие дурные предзнаменования могут быть здесь, на реке Одер, в час великих свершений? Видно, суеверными бывают не одни старые бабы...

Так уж сложились обстоятельства, что за эти два года ему пришлось много раз вспоминать свою жизнь, чтобы как-то разобраться в ней. Но это — в последний раз. Всё уже ясно. Всё, что было, должно было быть. Одно лишь хотелось вычеркнуть из жизни, сделать небывшим — смерть того крестьянина в Полесье и пожары подожжённых им украинских деревень. Но больше — ничего, ничего! Именно этим путём надо было идти поручику Забельскому, чтобы прийти сюда, на берег Одера, таким человеком, каким он стал теперь.

Невыясненными в его жизни остались только отношения с Ядвигой. Минутами она была так близка, что, казалось, не о чем и говорить, не о чем спрашивать, всё понятно само собой. Но приходили другие мгновения — и она ускользала от него, далёкая, недоступная. «Это ничего, — утешал он себя. — Ведь ещё война. После войны всё выяснится и, в зависимости от этого, так или иначе сложится жизнь».

Сердце его дрогнуло. Подумать только! Он собственными глазами видит, как заканчивается война, как она умирает в жестоких предсмертных судорогах. Пусть защищаются гитлеровцы как хотят, пусть палят из всех орудий, всё равно — им конец. И вовсе не потому, что там, на западе, сдаются без выстрела дивизии и падают на колени города. Нет — потому, что отсюда, с востока, обливаясь кровью, напирает советский солдат. И бок о бок с ним, в братстве оружия, как было сказано в присяге над Окой, идёт польский солдат, пробиваясь сквозь стену врагов к новой польской границе.

И к чему ему вспомнились его личные дела? Это ещё успеется после войны. О чём это он раньше думал? Ах да, старался вспомнить какие-то факты из школьного учебника истории.

«Забельский, история — это учитель жизни, — слышатся ему слова его старого учителя, — а ты опять не приготовил урок».

Думал ли этот старый сухарь, что придёт время, когда ленивый ученик Забельский сам вместе с другими будет создавать историю, будет писать её своей кровью, завоевывать собственными руками! И это не будет история минувших веков, а новая пульсирующая как сердце, живая, близкая, не загромождённая анекдотами из жизни королей, история свободного народа. Нет, старик и не подозревал, что учителем жизни может быть лишь история, которую сам переживаешь, в которой сам принимаешь участие не как зритель, а как творец.

— Ну и палят, сволочи! — флегматично сказал Вонсик, отирая рукавом вспотевшее лицо.

— Всё равно не поможет, — пробормотал Стефек.

— И верно, что не поможет. Напоследок весь порох израсходовать хотят, что ли?

Левый берег гремел от выстрелов. По нему пробегали змейки огня. Как неприступный, грозный вал, дымились позиции на левом берегу.

— До этого ихнего Берлина — сколько ещё осталось?

— До Берлина? Сто километров.

— С гаком.

— А то и без гака... Эх, там у них уж, небось, поджилки трясутся, ох и трясутся!

— Неизвестно ещё только, кто первый туда войдёт — мы или союзники? — вмешался молодой солдат, взяв над ящиком со снарядами.

— Как бы не так! Так мы им и дали войти первыми... Пораньше надо было начинать. Всю работу советские сделали, а теперь они наготовенькое влезут в Берлин!

— А всё же, как говорится, союзники, — упирался тот.

Вонсик выпрямился:

— Плевать мне на то, как оно там говорится!.. Давно ли ты в армии, сопляк?

— Уже четыре месяца.

— Уже четыре месяца, — передразнил Вонсик. — Повоевал бы ты, как, к примеру сказать, мы с гражданином поручиком, знал бы, какие такие они союзники... Верно я говорю?

Стефек не ответил. Разговор как-то не доходил до его сознания. Кажется, уже пора бы привыкнуть, но нет, он волнуется. Всякий раз перед боем его нервы напрягались до крайности в нетерпеливом ожидании. Он торопливо проверял в уме: всё ли на батарее в порядке? Эта мысль — всё ли в порядке? — назойливо вертелась в голове. Всё уже было проверено десятки раз, но легче станет лишь тогда, когда будет получен приказ, когда первый снаряд метко накроет цель, когда следующие снаряды подавят огневые точки на той стороне, когда он ощутит, что его батарея — это чётко действующее звено в цепи других батарей, непосредственно прикрывающих переправу.

Противоположный берег извергал огонь. Нелёгкая будет переправа, что и говорить! Хотелось бы поскорей очутиться на той стороне. Но им придётся переправляться последними, когда части уже завяжут бой на захваченном плацдарме и артиллерийский огонь прекратится, чтобы не поражать своих. Артиллеристы начнут переправу, когда первые этапы боя уже будут закончены — да и то, если выдержит мост и не придётся ещё дожидаться, пока сапёры наведут новый... Стефек позавидовал пехотинцам, которым достаточно какой-нибудь доски, охапки хвороста, наскоро сколоченного плотика.

И вдруг Стефек вспомнил: на той стороне уже не Польша. Вон там, неподалёку, протекает река Одер — новая польская граница. На том берегу начинается чужая земля.

Он это знал давно, но только сейчас он почувствовал так живо. И ещё живее, чем раньше, ему подумалось: вот если бы увидеть теперь капитана Скворцова и сказать ему, что он может не стыдиться за своего бывшего солдата. Есть уже у Стефека и благодарности в приказах. И ордена. И повышения в звании. Но больше всего ему хочется, чтобы капитан Скворцов положил ему руку на плечо и со своей милой улыбкой, весело светящейся в глазах, сказал, как часто говаривал прежде: «Молодец, Стёпа..»

Но тут у самой земли раздаётся стремительный телефонный звонок.  
— Слушаю. Есть. Есть.

Вонсик уже у орудия.

Весь правый берег расцветивается огнями. Там, пониже, мчатся к реке стрелковые части; отсюда их не видно. В сознании Стефека — только батарея. В поле зрения — только цели на левом берегу. Окопы противника. Укрепления противника. Огневые позиции противника. Прикрыть, заслонить реку! Прикрыть, заслонить лодки, плоты, сапёров, с лихорадочной поспешностью заканчивающих мост!.. Вонсик что-то кричит, но ни одного слова не слышно.

Встреляться, взрыться огненным зубом смерти в левый берег, в бетонированные, будто навек укреплённые неприятельские позиции! Подавить неприятельский огонь, заткнуть смертоносные дула орудий, засыпающих переправу железным ливнем!

Смешались чёрные клубы дыма с правой и левой стороны. Оба берега изрыгают огонь и смерть.

Стефек очнулся. Прямо над собой он увидел низко нависшее, небывалое небо, рыжее, в чёрных полосах медленно ползущего дыма. С минуту он пытался собраться с мыслями, понять, что случилось.

«Попало. Прямое попадание в нашу батарею», — вдруг осознал он.

Да, так было. Как он только мог хоть на мгновение забыть об этом? Фонтаны земли, чудовищные, рваные лохмотья, летящие в воздух. Орудия подпрыгнуло и запрокинулось, устремив в небо ствол. Эта картина запечатлелась в мозгу, словно на фотографической пластинке.

«А я, видно, ранен. Опять ранен, — со злостью подумал он. — Как раз теперь»...

Он хотел шевельнуться, но тело было точно парализовано.

— Ничего, — сказал Стефек вслух. — Отдохну, потом ещё попробую.

Где-то справа слышны крики, они приближаются и быстро затихают. «Это пехота бежит к берегу, часть за частью переправляется на ту сторону. А я...»

Лихорадочный стук топоров. Сапёры сколачивают под обстрелом мост. Но над всем эгим шумом господствует гром артиллерийской пальбы, где-то неподалёку с воем проносятся снаряды.

Гитлеровцы всё ещё стреляют. Но это ничего не может изменить. Был ведь приказ — форсировать реку и прорвать линию укреплений на той стороне. А там — недалеко и до Берлина. Это знают все.

Стефек ещё раз безуспешно попробовал шевельнуться.

— Засыпало меня, что ли?

Но, глядя вниз, он видел носки собственных сапог. Значит, не засыпан. А шевельнуться не может. Стало страшно. Вспомнился взводный — где это было? Да, под Дарницей! У него был перебит позвоночник. Но тот ведь вскоре умер...

«Впрочем, может, и я умираю?»

Растрёпаннные, извилистые струи дыма блуждают по рыжему небу. Ровно год назад они были под Дарницей. Но тогда было холодно, снег, а сейчас — апрель как апрель, ясная погода...

«О чём я думаю? — удивился Стефек. — Надо же в конце концов что-то сделать с собой, нельзя же так лежать».

Куда девались санитары? Если бы кто-нибудь помог встать, он уж пошёл бы как-нибудь, наверняка пошёл бы. Санитары, вероятно, тоже кинулись на ту сторону. Конечно, всякому охота! Но ведь их обязанность быть и тут, ведь и, кроме меня, здесь есть раненые.

Справа раздался гул мотора и тотчас за ним протяжный всплеск. «Амфибии, — подумал Стефек с завистью. — Если бы можно было хоть что-нибудь увидеть...»

Но он видел только чудовищное небо. Попытавшись глянуть в сторону, он увидел у самого своего лица какие-то железные обломки, заслонявшие решительно всё. По доносящимся звукам было件нятно, что переправа идёт во-всю. Хлюпала вода, скрипели вёсла, на берегу и на реке раздавались крики, стучали топоры. И со всё нарастающей силой гремела канонада.

«Защищаются... Недоставало ещё, чтобы какой-нибудь шальной снаряд разорвал меня в клочья», — подумал он с гневом. Но снаряды, видимо, падали дальше, в воду и на переправы, или перелетали вглубь, на позиции тяжёлой артиллерии.

Невероятным усилием воли ему удалось, наконец, приподнять голову. Но тут он почувствовал такую усталость, словно выполнил непосильную работу.

«Всё-таки я приподнялся, — подумал он, — а раньше не мог».

Он уже не прислушивался к тому, что делается на берегу. Не прикидывал в уме, как идёт переправа, не завязались ли бои на той стороне. Холодно, расчётливо он собрал свои силы. Ему удалось ещё раз поднять голову. Теперь он мысленно искал пальцы рук. Есть у него руки или нет их? И вдруг почувствовал, что пальцы сжались в кулак. Которая же это рука? Правая, конечно. Он нащупал землю, какие-то жёсткие комки, почувствовал холод железа. И снова ослабел, закрыл глаза. Надо отдохнуть, набраться сил и опять попробовать — как там с ногами? Он видит носки своих сапог, — надо пошевелить стопой.

Но, несмотря на все его усилия, носок сапога не дрогнул, он мертво торчал вверх, как чужой.

«Куда я, собственно, ранен? Нигде не больно. Мозг работает нормально... И ведь дошёл до самой границы... — подумалось ему вопреки воле, как бы без его участия. — А дальше уж, видно, не пойду»...

И стало страшно жаль. Не себя, а так — просто жаль, что нельзя пойти дальше. Он снова рассердился на санитаров. Почему никого из них нет поблизости? Не могли же они не видеть, как грохнуло в батарею!

«Вонсика, верно, уже нет в живых, — вдруг осознал он. Чёрное от крови лицо как на фотографической пластинке возникло перед его глазами. — Вонсика нет в живых. А я? Может, и меня уже нет в живых?»

Он открыл глаза. Чёрные тучи дыма клубились, тянулись полосами, расплывались по мрачному, рыжему небу.

«Вздор, я жив. Но...»

Откуда-то изнутри поднималось тяжёлое, сосущее ощущение. Будто коварный, ядовитый шёлот:

«Но, может, я просто умираю? Может, это конец? Может, я уж не только за Одер, но уж вообще никогда никуда не пойду? Может, это смерть?»

И как раз сейчас, когда он и не пытался это сделать, ему нечаянно удалось слегка повернуться набок. Стефек даже вспотел от радости. Осторожно попробовал приподняться на локте. Увидел свои грязные, закопчённые, но целые пальцы и кисть руки.

— Ура! — Теперь он видел уже перед собой клочок земли, усыпанный какими-то разбитыми, ни на что не похожими предметами. Он хотел подобрать под себя ноги и сесть, но ноги были неподвижны, как деревянные.

— Значит, что-то с ногами, — сказал он и, опершись на второй

локоть, внимательно осмотрел свои неподвижные ноги. Никаких ран незаметно, всё как будто цело, а ноги словно чужие, не слушаются, не поддаются никаким усилиям. Он подтянулся на локтях и почувствовал ноги как волочащуюся тяжесть.

Приходилось мириться с этим. «Но ведь можно ползти!» Он обрадовался этой мысли как большому открытию. Отвратительнее всего было лежать здесь, на этих обломках, как в мусорной яме.

«Если уж мне суждено умереть, — ответил он голосу, нашёптывающему ему ядовитую мысль о смерти, — то я хочу умереть на границе. Над самым берегом. Раз уж так вышло, что мне не перейти на ту сторону».

Но ползти оказалось нелегко. Он повернулся на живот и даже это стоило немалых усилий. Рывок вперёд — и силы покинули его! Придя в сознание, он понял, что лежит, уткнувшись лицом в землю, весь в поту, борясь с ужасающей слабостью.

«Тут недалеко, всего несколько десятков шагов», — уговаривал он себя, с трудом удерживая на локтях своё тело, тяжёлое, как мешок.

А ведь приходилось ещё преодолевать препятствия. Через попавшееся на дороге бревно он переползал добрых десять минут. Оползти кругом? Нет, это слишком далеко. Он навалился на него животом, перевесился на другую сторону. Ноги ничего не чувствовали, и это было так мучительно, что боль в руке, пораненной о какие-то железки, показалась ему облегчением. Во рту пересохло, душил запах гари. Упав, наконец, за бревно, он долго тяжело дышал. Отдохнуть, отдохнуть немножко!

Над самой головой с протяжным воем пролетел снаряд. Стефек инстинктивно прижался к земле. Орудийный обстрел с той стороны всё усиливался. Но здесь, на правом берегу, стало как будто тише.

«Верно, большинство уже переправилось», — подумал он, лоя сухими, потрескавшимися губами воздух.

«Теперь я доползу вон до той щелки», — решил он, но, видимо, переоценил свои силы. Эти полтора метра пришлось преодолеть в три приёма. К тому же он с ужасом заметил, что мысли его уже не так ясны. Что-то путалось, забывалось, припоминалось вновь. Мысли расплывались, гасли, прежде чем удавалось додумать их до конца.

Перестрелка на том берегу слышалась всё явственнее. Переменивший направление ветер доносил отдалённый, словно волнами наплывающий шум боя.

«Дерутся на том берегу...»

Но напрасно он поднимал голову, пытаясь хоть что-нибудь увидеть. Он не видел даже реки. Каждая неровность почвы, каждый камень или доска, которых и не заметил бы идущий человек, становились непреодолимым препятствием для его глаз, заслоняли весь мир.

«Ползу, как червяк», — подумал он. И вдруг его охватил страх. Что, если он ползёт не к воде, а вдоль реки? Если все эти невероятные усилия беспредельны? Нет, надо ориентироваться, сообразить.

Но соображать тоже становилось всё труднее. В памяти вдруг снова всплыла Дарница. Рвущиеся снаряды, безумствующий на платформе подпоручик. Его подхватило тогда и бросило в воздух, этого подпоручика, как... Но мысль о нём затуманилась, расплылась. Как что? — пытался он вспомнить. Но Дарницы уже нет, он идёт с Ядвигагой по улицам Люблина и...

«Недоставало мне только потерять сознание, — подумал он со злостью. — Видно, плохо моё дело. Нет, не поддаваться, ни за что не поддаваться. Не стану я подыхать в этой мусорной яме».

Он полз наудачу, только бы вперёд! «Разбили нашу батарею, — зву-

чало в его мозгу, словно чьи-то чужие слова. — Разбили нашу батарею»... Но не в этом было сейчас дело. Главное — надо ползти, ползти, пока хватит сил. Вокруг всё горит, невыносимый жар бьёт в лицо. Тяжело тащатся сзади неподвижные ноги. Ноги у него всё же есть, хотя с ними что-то случилось. «И то ещё дешёво отделался!» — грустно подумал он. Ведь в батарею попал снаряд. Всё чёрными ключьями полетело в воздух, от людей ничего не осталось. А у него всё же есть голова на плечах, есть руки, на которые можно опереться и ползти вперёд. Почему же ему вздумалось, что это смерть?

Но в голове снова путается.

«Как я сюда попал, зачем свернул с тропинки? Трясина засасывает меня, вот она уже поглотила ноги... Соня смеётся, ветер развеивает её тёмные волосы. Лучше бы ты подала мне руку, Соня, помогла выбраться, разве ты не видишь, что случилось? А я так любил тебя, Соня»...

Порыв ветра, горячее дуновение в лицо, и он приходит в себя. «Нет, это не трясина. И не Ольшины это вовсе, и нет Сони. Соню повесили гитлеровцы в сорок втором году. Нельзя поддаваться лихорадочным видениям, а то ведь я останусь, подохну тут, на этом месте».

И снова его охватил гнев — как могли его так оставить?.. Он горько почувствовал своё одиночество. Но тут как раз откуда-то со стороны раздался стон. Стефек приподнял голову. Ясность мысли тотчас вернулась к нему.

— Кто здесь?

Стон повторился. Теперь между обломками железа он заметил перекинутое через бревно неподвижное тело. Стефек с усилием свернул в ту сторону. Видимо, тот ещё жив — если только это он стонал.

— Воды...

Стефек рванулся к нему, таща одеревеневшие, тяжёлые ноги. Голос был знакомый. И не только голос. Перед ним лежал Марцысь.

— Воды...

— Марцысь!

Веки приподнялись. В блуждающих глазах появилось сознательное выражение. Узнал.

— Вот. Ранило.

— Ничего, ничего, это пустяк... Увидишь, что пустяк, — утешал Стефек, борясь с проклятой неподвижностью ног, которые цеплялись за всё попадавшееся на пути, за железный лом, разбитое оружие, валяющееся кругом.

— Мне бы только воды...

— Подожди, поищем, будет вода.

И сразу всё стало обыденным и нормальным. Будто только того ему и было нужно, чтобы рядом очутился кто-то другой, ещё более бесшумный. Минуту назад Стефек едва тащил собственное тело. Но теперь хватало силы ещё помогать этому другому. Ведь это не только любимец Ядвиги, это брат того паренька, убитого бандитами в Люблине. Тем более необходимо спасти его.

Воды... Быть может, ему нужна не только вода. Нужен врач, санитар, перевязки, операция. Но слово «вода», со стоном повторяемое белыми, как бумага, покрытыми пеной губами, будто загипнотизировало Стефека. Ему казалось, что стоит только добраться до воды, и всё будет хорошо. Вода была спасением, счастьем. Надо во что бы то ни стало доползти до неё.

— Больше не могу, — пррстонал Марцысь.

— Как, не можешь? Должен. Слышишь? Должен! Сейчас мы найдём воду. Напьёшься и станет легче, вот увидишь, сразу станет легче!

Марцись застонал, но слегка приподнял голову, и Стефеку удалось протаскать его ещё несколько сантиметров. Теперь и его покинули силы. Тяжело дыша, он припал к земле.

Со свистом и воем пронёсся снаряд и как-то странно хлопнул, упав поблизости. Взвился фонтан, но уже не земли, не песка, — высокий султан воды поднялся к небу и как срубленное дерево рухнул вниз. Они почувствовали на лице капли влаги.

— Вода. здесь вода! — крикнул Стефек, и Марцись, опершись на локоть, поднял голову.

— Это Одер, — сказал вдруг кто-то поблизости, и только сейчас они увидели, что к ним, опираясь на расколотую винтовку, ковыляет какой-то человек в изодранной шинели.

Всего мгновение назад Забельский на чём свет стоит проклинал свою рану. Надо же было ему попасть под пулю на самой переправе! Теперь придётся проститься с надеждой повоевать на том берегу. И вот оказывается, что благодаря своей ране он набрёл на брата Ядвиги. С внезапной дрожью в сердце он узнал в этом чёрном, закопчённом лице знакомые черты. Тревожно всмотрелся в раненого. Повидимому, рана серьёзная. И ещё тащит того юнца. Надо спасать их. Спасать брата Ядвиги.

Он познакомился со Стефеком ещё в Люблине и немного побаивался этого брата. Ведь это самый близкий Ядвиге человек, а сам он чувствовал себя ещё таким ей далёким. Но сейчас он испытывал нежность к этому ползущему по дымящемуся берегу Одера пареньку. Спасти, любой ценой спасти его! Иначе с какими глазами явится он к ней, как скажет?.. Ну, что можно сказать в таком случае? Видел, мол, его, был с ним и ничем не мог ему помочь?..

Вода... в чём им принести этой воды?

Но Марцись тихонько прошептал:

— Граница...

И, будто подхлестнутый этим шепотом, Стефек снова рывком двинулся вперёд.

— Сейчас я принесу вам воды, — торопливо сказал Забельский. Но те словно и не слышали.

Забельский понял, что их не следует останавливать, и припал на одно колено рядом с ними. Он поддерживал то одного, то другого из ползущих. Правая рука его висела, как плеть, весь рукав был чёрен от крови.

Одер... Теперь уже все трое видели реку. Под низко нависшей тучей дыма струилась широкая тёмная вода. В ней сверкали отблески пламени, тонуло рыжее зарево далёких пожаров, волны отливали коричневым блеском кремня.

Одер!

Теперь осталось только перебраться через последние препятствия — и перед ними будет песчаная кромка берега. Протянуть руку и почувствовать прохладу этой реки, к которой вёл их кровавый путь.

Одер...

Спёкшиеся губы Марцыся шепчут какие-то полузабытые слова. «Вот где суждено мне было погибнуть, — думает Марцись — На отвоеванной кровью древней польской границе, на реке, где свершается справедливость...»

Поблёскивают волны, шумит вода. «Словно озеро в Ольшинах», — мерещится Стефеку. Долгий путь пришлось ему пройти из Ольшин на восток, в глубь великой страны, чтобы с оружием в руках вернуться на родину и дойти сюда, до самого Одера. «Только дойду ли, дойду ли я?»

«Замыкается круг, — думает Забельский, — от того страшного сен-

тября, когда отчаяние слепило глаза и голова пылала безумием, — до нынешнего дня. И если уж умирать, то пусть это будет именно здесь, над Одером, когда выполнена вся твоя задача, когда кровью зачёркнуты все пустые и чёрные дни твоей жизни».

Шумит, неудержимо несётся, катит мощные волны к польскому морю река Одер.

Уже не мучит жажда, не чувствуется боль в раненой руке, в перебитых ногах, в простреленном лёгком. Только бы проползти эти несколько метров, дойти до самой воды.

Когда умолкнут выстрелы, когда придут сюда мирные люди и когла здесь, где теперь высятся стволы разбитых орудий, зазеленеют хлеба, зацветут яблони, деревья, зазвенит своя, родная девичья лесня, — пусть тогда скажут о них, что они отдали жизнь на новой польской границе.

Вот она! Совсем рядом, у самого лица. В чёрном дыму. В сверканье красных огней, в свете этого рыжего зарева, всё шире охватывающего небо. Бодрящей свежестью веет река в их лица.

Из тьмы веков плывёт, катит свои волны древняя река славян, река дремучих лесов, пчелиных колод, пшеницы, посеянной на лесных полянах, река, сотни раз обогрязавшая кровью, сотни раз наполнявшаяся слезами — древняя славянская река.

— Орла, орла... — шепчет окровавленными губами Марцьёсь. Стефек снимает с шапки орла, с трудом разрывая прикрепляющие его зеленоватые нитки, полуистлевшие от дождей. Серебряный, ширококрылый орёл с древней гробницы Пястов — эмблема новой Польши!

— Сейчас, сейчас!

Они без слов понимают друг друга, но руки не слушаются, кружится голова, — нет сил ещё приподняться, чтобы прикрепить орла на расколотое дерево винтовки Забельского. Пальцы их дрожат, винтовка выскользывает из рук. Никто из них уже не думает о том, чтобы утолить жажду, о том, чтобы выпить хоть глоток этой воды, хотя ещё минуту назад они готовы были отдать всё на свете за одну каплю. Лишь бы успеть водрузить этого орла.

Наконец-то! Маленький серебряный значок прикреплён. Теперь надо только вкопать винтовку в землю. Но руки всё слабеют, а земля жёсткая, суха, неуступчива...

— Что это вы, ребята? — спрашивает по-русски невероятный своей обыденностью голос.

Они повернулись к нему. Из-под шапки с красной звездой смотрят утомлённые серые глаза. В светлых волосах застыли сгустки крови, свежая кровь сочится по щеке.

Забельский неясно бормочет что-то. Кровь то и дело набегаёт ему в рот и мешаёт говорить.

Но тот понимает с одного взгляда.

— А ну давайте!

И, обливаясь кровью, они — три солдата польской армии и советский солдат — водружают на берегу тёмной от дыма, кровавой от зарева пожаров реки новый пограничный столб. Маленький серебристый орёл на расколотой в бою винтовке.

Лишь теперь они склоняются к воде и долго плещут себе в лицо эту прохладную, ласковую воду, и видят отражающиеся в ней клубы дыма, и отблеск серебристого орла — пограничного столба над Одером. Над всем, над всем — над свистом простреленных лёгких, над острой болью в мёртвой повисшей руке — сверкает серебристыми перьями белый орёл. Не того, маленького, снятого с солдатской шапки видят они.

Нет, — белого орла, свободным, победным лётom поднимающегося к небу.

Глухой рёв отдаляется. Утихает гул орудий. На запад, на запад идут полки. И откуда-то издали доносится польская песня:

Вперёд, вперёд, первый корпус наш,  
Салют на восток, на запад — марш!

И сразу же звучным хором в неё вливается другая — русская песня.

Весь в чёрном дыму сражения, плавно несёт свои волны Одер. Сверкает серебряный орёл на пограничном столбе. Гремят над водой две песни.

— Держитесь, держитесь, ребята, вон уже идут санитары, — говорит советский солдат.

Где-то поблизости слышатся голоса. Это помощь, перевязка, отдых и, может быть, — жизнь.

Но не об этом они сейчас думают. Сейчас эти приближающиеся голоса не могут даже отвлечь их внимания от другого. От Польши, окупленной кровью, отвоёванной с оружием в руках, от новой границы родной страны.

Мощно гремит свободная песня. Славянская песня над Одером — впервые за сотни лет.

Вперёд, вперёд, первый корпус наш,  
Салют на восток, на запад — марш!

Всё дальше и дальше на запад уходят полки. В зареве пожаров огнём и кровью течёт к морю река Одер.

*Авторизованный перевод с польского Е. Усневич.*



---

А. ТВАРДОВСКИЙ  
★  
ИЗ ЛИРИКИ

О СТАЛИНЕ

1

Когда своё он произносит слово,  
Нам всякий раз сдаётся, что оно  
И нашей мыслью было рождено,  
И вот уж было вылиться готово.

Нам в ту минуту как бы невдомёк  
В невиннейшем из наших заблуждений,  
Что только он, при нас живущий гений,  
Открыть и молвить это слово мог.

Но заблужденье ль это в самом деле:  
Ведь слово нашей правды без прикрас  
Мы высказать поистине хотели,  
Мы вместе с ним. А он — один из нас.

И в том твоё доподлинное счастье,  
Что, может, рядовой из рядовых,  
Ты сталинскому гению причастен,  
И ты в веках — живой среди живых.

2

Таких, как я, на свете большинство,  
Что не встречались с ним в Кремлёвском зале,  
В глаза вблизи не видели его  
И голоса в натуре не слыхали.

Но всем, наверно, так же, как и мне,  
Он близок равной близостью душевной,  
Как будто он с тобой наедине  
Беседует о жизни ежедневно,  
О будущем, о мире, о войне...

И всё тебе, как у родного, в нём  
До мелочи привычно и знакомо.  
И та беседа длится день за днём —  
Он у тебя, ты у него — как дома.  
Что б ни было, а вы всегда вдвсём.

И так любой иной из большинства  
Себя в высоком видит том совете.  
У нас у всех на то равны права, —  
Он и живёт для нас на этом свете.

## 3

Черты портрета дорогого,  
Такие близкие для нас:  
Лицо солдата пожилого  
С улыбкой доброй строгих глаз.

Из тех солдат, что приходили  
В огонь войны из запасных,  
Что сыновей в бои водили  
И в горький час теряли их.

Нелёгкой службы отпечаток —  
Морщинок памятная речь  
И очерк плеч слегка покатых,  
Родных, отцовских этих плеч.

Но те, смягчённые печалью,  
Глаза всегда озарены  
И ближним днём, и дальней далью,  
Что лучше всех ему видны.

## НОВАЯ ЗЕМЛЯ

На новых землях, в стороне открытой  
Для счастья людям, долго жизнь трудна:  
И кажется она им необжитой,  
И помнится иная сторона.  
И нужен срок, чтоб здесь окорениться,  
Чтоб жизнь иною памятью облечь.  
И новым детям нужно здесь родиться,  
И должно дедам в эту землю лечь...

Из глубины глухих годов, столетий,  
От горькой, скудной дедовской земли  
Мы первыми на всей Земле-планете  
На Землю нашу Новую пришли.  
Мы на себя по доброй воле взяли  
Тот самый трудный новоселья срок,  
Что все вмещает беды и печали,  
Все тяготы нехоженных дорог.

Земле своей мы посвятили голы  
Труда, терпенья — и давным-давно  
Её сады, поля, дворцы, заводы,  
И всё, что нами здесь возведено,

И всё, чему мы отдавали силы,  
 Чтоб устоять и победить на ней,  
 И наших братьев и отцов могилы,  
 И юность здесь родившихся детей, —

Навек сроднили нас с землёю нашей.  
 И мы ей служим, чтоб и после нас  
 Ей всё цвести зазывнее и краше,  
 Чтоб свет её для мира не погас.  
 Чтоб добытый в борьбе, в труде суровом,  
 Тот свет светил вперёд на много лет.  
 И чтоб за нами поселенцам новым  
 Не всё сначала повторять вослед.

### ИХ ПАМЯТИ

Живым — живое в этой жизни краткой,  
 Но каждый в вечность уходящий час,  
 Но каждый камень нашей мирной кладки,  
 Но каждый колос, что растёт для нас  
 И зреет на полях необозримых,  
 Но каждый отзвук радиоволны —  
 Всё — память о товарищах родимых,  
 Когда-то не вернувшихся с войны.  
 Расставшись, мы не стали им чужими  
 Среди забот и новых дел своих.  
 Но если б мы одной лишь скорбью жили,  
 Мы были б нынче недостойны их.

### СЫНУ ПОГИБШЕГО ВОИНА

Солдатский сын, что вырос без отца  
 И раньше срока возмужал заметно,  
 Ты памятью героя и отца  
 Не отлучён от радостей заветных.

Запрета он тебе не положил  
 Своим посмертным образом суровым  
 На то, чем сам живой с отрадой жил,  
 Что всех живых зовёт влекущим зовом.

Ведь он и жизнь свою отдал затем,  
 Чтоб нас с тобой сохранить для счастья,  
 Чтоб нашим детям, чтобы людям всем  
 Оно, как двери, растворилось настежь...

Но если ты, случится как-нибудь,  
 По глупости, по молодости ранней,  
 Решишь податься на постыдный путь,  
 Забыв о чести, долге и призванье:

Товарища в беде не поддерживать.  
 Во чём-то горе обратить забаву.  
 В труде смирить. Солгать. Обидеть мать.  
 С недобрым другом поравняться славой,—

То прежде ты — завет тебе один:  
 Ты только вспомни, мальчик, чей ты сын.

## ИЮНЬ

Повеет в лицо, как бывало,  
 Соснового леса жарой,  
 Травую, в прокосах обвялой,  
 Землёй из-под луга сырой.

А снизу, от сонной речушки,  
 Из зарослей — вдруг в тишине ---  
 Послышится голос кукушки,  
 Грустящей уже о весне.

Июньское свежее лето,  
 Любимая с детства пора.  
 Как будто я встал до рассвета,  
 Скотину погнал со двора.

Я всё это явственно помню:  
 Росы ключевой холодок,  
 И утро, и ранние полдни —  
 Пастушеской радости срок,

И солнце, пекущее спину,  
 Клонящее в сон до беды,  
 И оводов звон, что скотину  
 Вгоняют, как в воду, в кусты.

И вкус горьковато-медовый, —  
 Забава ребячьей поры, —  
 С облупленной палки лозовой  
 Душистой, прохладной мездры.

И всё это юное лето,  
 Как след на росистом лугу,  
 Я вижу. Но памятью этой  
 Одною вздохнуть не могу.

Мне память иная подробно  
 Свои предъявляет права.  
 Опять маскировкой окопной  
 Обвялая пахнет трава.

И запах томительно тонок,  
 Как в детстве далёком моём,  
 Но с дымом горячих воронок  
 Он был перемешан потом;

С угарною пылью похода  
И солью солдатской спины.  
Июнь сорок первого года,  
Кипящее лето войны.

От самой черты пограничной —  
Сражений грохочущий вал...  
Там детство и юность вторично  
Я в жизни моей потерял.

Утратил я память июня,  
Заветную память мою.  
А сверстник — и детство, и юность,  
И всё остальное — в бою...

Тружусь, и живу, и старею,  
И жизнь до конца дорога,  
Но с радостью прежней не смею  
Смотреть на поля и луга,

Росу обивать молодую  
На стёжке, заметной едва.  
Куда ни взгляну, ни пойду я —  
Жестокая память жива.

И памятью этой тревожной  
Душа моя будет больна,  
Покамест бедой невозможной  
Не станет для мира война.

### В ТЕ ДНИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

В те дни за границей,  
в исходе последних сражений,  
В пыли разрушений,  
в обвиснувших дымах пожаров,  
С невиданной силой  
в цвету бушевали сирени,  
Каких у себя  
мы нигде не видали, пожалуй.  
Султаны их были  
крупней и как будто мясистей,  
Породистей были  
округлые, пышные купы,  
Хотя и казалось,  
что наши нежней и душистей  
На родине нашей —  
к востоку от речки Шешупы.  
Но эти  
ломались, из зимнего вырвавшись плена,  
По всем городам, деревням,  
по садам, магистралям,

То красной, то белой  
    клубились могучею пеной  
У целых домов  
    и задымленных чёрных развалин.  
Казалось, они  
    не цвели уже годы и годы,  
И голые ветви свои  
    простирая уныло,  
Стояли и нашего именно  
    ждали прихода,  
Чтоб сразу раскрыться  
    со всей затаённою силой.  
Иные кусты  
    у какой-нибудь кирхи иль дачи,  
По бровкам дорог,  
    у садовых оград сотрясённых —  
Хватило огнём,  
    привалило шебёнкой горячей,  
Отбросило в пыль,  
    под колёса машин многотонных.  
И тёплый, густой,  
    опьяняющий запах сиреней,  
Живых и посохших,  
    завяленных жаром жестоким,  
Стоял и стоял  
    надо всею Европой весенней  
И с запахом трупов мешался,  
    не менее стойким...  
В те дни за границей  
    нам думать и верить хотелось,  
Что грохот войны  
    отгремит над землёю усталой —  
И годы вернут  
    её мирную свежесть и целость,  
А бомбы и пушки  
    громить её больше не станут...  
И мы, победители,  
    с нашею воинскою славой,  
С бесстрашьем солдатским,  
    с отвагой, как служба, привычной, —  
Кто-кто, а уж мы-то  
    имели особое право  
О мире мечтать  
    в ту весну на земле заграничной.  
То право за нами  
    на всё предстоящее время,  
То право нетленной  
    доверено нами странице,  
Затем, что весной  
    на земле расцветают сирени,  
Затем, что войной  
    нас пугать никому не годится.

### ЗА ОЗЕРОМ

За озером долго играла гармонь,  
Как будто бы жалуясь кротко  
На то, что ещё неохота домой,  
Что рано уснула слободка.

Там юность грустила, собрую полна,  
Своей непочатою силой,  
Зелёная юность, чьё детство война  
Огнём на корню опалила.

Та юность, которой, казалось, не быть,  
А вот она к сроку настала,  
Чтоб жить и желать, и дерзать, и любить,  
И всё — начиная сначала.

Та самая юность грустила. И — пусть.  
Завидная в сущности доля,  
Когда эта сладкая, краткая грусть  
За сердце берёт молодое.

Завидная доля — на том берегу,  
С улыбкой ко всем благодарной,  
Устав танцевать на дощатом кругу,  
Сидеть на скамейках попарно.

Попарно бродить в предрассветном дыму  
За озером в парке старинном.  
А грустно, по правде, лишь мне одному,  
И то — по особым причинам.

### ПРИЗНАНИЕ

Я не пишу давно ни строчки  
Про малый срок весны любой;  
Про тот листок из зимней почки,  
Что вдруг — живёт, полуслепой;

Про дым и пух цветенья краткий,  
Про тот всегда неожиданный день,  
Когда отметишь без оглядки,  
Что отошла уже сирень.

Не говорю в стихах ни слова  
Про беглый век земных красот,  
Про запах сена молодого,  
Что дождик мимо пронесёт,

Пройдьясь по скошенному лугу;  
Про пенье петушков-цыплят,  
Про журавлей, что скоро к югу  
Над нашим летом пролетят;

Про цвет рябиновый заката,  
 Про то, что мир мне всё больней,  
 Прекрасный и невиноватый  
 В утрате собственно моей,

Что доля мне теперь иная,  
 Иной, чем юности, удел,—  
 Не говорю, не сочиняю.—  
 Должно быть, что ж? Помолодел.

Недаром чьими-то устами  
 Уж было сказано давно  
 О том, что молодость с годами  
 Приходит. То-то и оно.

### НА УЛИЦЕ

Весенний, утренний, тоненький  
 Ледок натянуло сеткой,  
 Но каплет с каждой соломинки,  
 С каждой ветки.

Поёт по-зимнему улица,  
 Но свету — что летним днём.  
 И, как говорится, курица  
 Уже напилась под окном.

И звонкую, хрупкую,  
 Набравшись силы в ночи,  
 Чуть солнце — уже скорлупку  
 Проклюнули ручьи.

Весна сугробы подвинула,  
 Плотнее к земле примяв.  
 И зелень коры осиновою —  
 Предвестье зелени трав.

Апрельским ветром подунуло,  
 Запахли водой снега.  
 И дело своё задумала  
 Река, упершись в берега.  
 Ей грезится даль раздольная,  
 Её минута близка...

Грохочет крылечко школьное,  
 Едва дождавшись звонка.

Давай начинай, разламывай  
 Натоптанный лёд рябой...

А что, если снова заново,  
 С начала самого  
 Начать нам жить с тобой?..

### О ПРОПИСКЕ

По всему Советскому Союзу,  
Только б та задача по плечу,  
Я мою уживчивую Музу  
Прописать на жительство хочу.

Чтобы мне не вѣдать той печали,  
Как ответят у любых ворот:  
— Нет, не проживает. Не слышали.  
Номер дома, может быть, не тот.

Чтоб везде по сѣлам и столицам  
Отвечали на вопрос о ней:  
— Как же, есть. Давнишняя жилища. —  
И улыбки были б у людей.

Чтоб глаза у стариков яснели,  
Чтобы к слову вставил не один:  
— Мы ещё на фронте были с нею,  
Вместе помним Вязьму и Берлин.

Чтоб детишки из любого дома,  
Если к ним случайно обращусь,  
Говорили б:  
— Как же, мы знакомы  
И немножко знаем наизусть.

Чтобы не с почтеньем, а с любовью  
Отзывалось каждое жильѐ:  
— Здесь она. На доброе здоровье  
Здесь живѐт. А как же без неё?

Вот тогда, как отзыв тот желанный  
Прозвучит о ней, моей родной,  
Я и сам пропиской постоянной  
Обеспечен буду под луной.

### ПЕРЕД ДОРОГОЙ

Что-то я начал болеть о порядке  
В пыльном лежалом хозяйстве стола:  
Лишнее рву, а иное в тетрадки  
Переношу, подшиваю в «дела».

Что ж, или всё уж подходит к итогу  
И затруднять я друзей не хочу?  
Или опять я собрался в дорогу,  
Выбрал маршрут, но покамест молчу?

Или гадаю, вступив на развилку:  
Где меня ждѐт озаренье и свет  
Радости той, что, быть может, я в силах  
Вам принести, а быть может, и нет?..

Все я приму поученья, внушенья,  
Все наставленья в дорогу возьму.  
Только за мной остаётся решенье,  
Что не принять за меня никому.

Я его принял с волненьем безвестным  
И на себя, что ни будет, беру.  
Дайте расчистить рабочее место  
С толком, с любовью — и сразу к перу.

Но за работой упорной, бессрочной  
Я моей главной нужды не таю:  
Будьте со мною хотя бы заочно,  
Верьте со мною в удачу мою.

### О ЮНОСТИ

Мы знаем грядущему цену  
И знаем, что юность права  
Не как молодая трава,  
Что старой приходит на смену,  
Чтоб так же отжить до зимы.

Нет, юность с другою задачей  
В наш след заступает горячий,  
В то дело, что начали мы,  
К заветной направившись цели.

Дано ей на том же пути  
За нами, но дальше идти,  
Исполнить, что мы не успели,  
И вспомнить, возможно, о нас  
С вершины иных пятилеток —  
О наших героях, поэтах,  
Учёных, — с улыбкой подчас.

Но пусть она, юность родная,  
Поднявшись стремительно ввысь,  
Не вздумает там занестись,  
Отметки отцам выставляя.

Нет, пусть она в душу возьмёт,  
Что в славе её безграничной  
Мы всё же повинны частично  
И знали о ней наперёд.

И знали о ней и мечтали,  
Когда ещё были юнцы,  
А ранее — наши отцы  
Смотрели в те самые дали.

И подвиг свершая один,  
За времени навесью дымной,  
Без нас они брали свой Зимний,  
А мы ещё с ними — Берлин.

Ей, юности, также известно,  
Что мы без неё для Земли  
Урало-Кузбасс возвели,  
А Водгу впрягаем совместно.

И пусть ещё юность учтёт,  
Что следом за нею — иная,  
Грядущая юность идёт,  
Её на работе сменяя,  
Неся назначенье своё.

А нам — так и той не завидно,  
А нам и её уже видно —  
И мы не старше её.

*1947—1951.*



---

# НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

АВАЗ-ОТАР-ОГЛЫ

★

## ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

*С узбекского*

*Перевод С. Липкина*

*Аваз-Отар-оглы, классик узбекской литературы, родился в 1884 году в Хиве, в семье бедного ремесленника. С малых лет он увлекался поэзией, изучал узбекских, азербайджанских и таджикских классиков. При помощи своих русских друзей он знакомится с русским языком, с творчеством поэтов-демократов. Он пишет стихи-газеты, направленные против ханских чиновников, мулл, богачей. Хивинский хан приговорил его к двумстам ударам плетью. Аваз остался жив, но тяжкий недуг приковал его к постели. Поэт умер в 1919 году, накануне революции в Хиве.*

### О ЯЗЫКЕ

Не ошибаемся, язык душою мира называя:  
Для человечества всего — он связь великая, живая.  
Старайся, юность, изучить язык чужой, язык соседа,  
Искусством — лучшим из даров — и знаньями овладевая.  
Язык друзей должны мы знать, как свой родной, как  
материнский,  
В нём кладезь мудрости найдём и пользу для родного края.  
Отправьте вы своих детей к действительно учёным людям,  
В их школах яркий свет горит, все школы мира затмевая,  
Пусть ваши дети проживут счастливей тёмного Аваза:  
По-русски я не говорю, скорбит моя душа немая.

### КОГДА НАРОД ПОЗНАЕТ СЧАСТЬЕ?

Когда народ познает счастье, избавясь от невзгод?  
Когда он обретёт свободу и двинется вперёд.  
Пока служению народу себя не посвятим,  
Душа народа будет мёртвой, вовек не расцветёт.  
Для блага своего народа пожертвуем собой,  
И подобающее место он в мире обретёт.

Повсюду школы открывая, умножим их число,  
 Народ заслужить поможем и славу, и почёт.  
 Аваз, не отставай от лучших, от истинных борцов,  
 Иди путём борьбы — и станет счастливым твой народ

### ФАНАТИКАМ

О вы, что тёмный фанатизм своим законом сделали!  
 Народ сравнивали вы с землёй, испепелённым сделали!  
 Стал кáзием один из вас, как мўфтий славится другой, —  
 И тот, и этот столько зла под небосклоном сделали!  
 Людей боитесь вы учить, боитесь школы открывать,  
 Во тьму повергли вы народ, скотом клеймённым сделали.  
 Мы истину хотим найти — с пути сбиваете вы нас,  
 Мой край родной слепым рабом, в тюрьме пленённым,  
сделали.  
 Когда-нибудь проснётся мир, и люди спросят, как Аваз:  
 «О подлые, зачем народ вы угнетённым сделали?»

### ЧЕТВЕРОСТИШИЕ

Чиновникам взятки нужны,  
 Святошам достатки нужны,  
 Но разве нам, беднякам,  
 Такие порядки нужны?

### ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДА!

Да здравствует свобода, прекрасная, вожделенная!  
 Соединитесь, люди, чтоб раем стала вселенная!  
 Развеян мрак насилья, вошла звезда справедливости  
 И над моим народом она сияет, нетленная!  
 Единым телом станем, народы разноязыкие,  
 Светла труда и знания дорога благословенная.  
 Как братья, вы мне близки, о шара земного жителя,  
 И жаждет дружбы с вами душа моя драгоценная.  
 Друзья, благоустроим теперь своё отечество,  
 Пусть явью светлой станет мечта людей сокровенная.  
 Да здравствует свобода, твои борцы и защитники,  
 Их преданность народу, отвага их незабвенная!  
 Аваз, благослови же год девятьсот семнадцатый:  
 В нём будущего песня и радость в нём вдохновенная!

## ТУРДЫ

★

## ПЯТИСТИШИЯ И ГАЗЕЛЫ

С узбекского

Перевод Н. Гребнева

*Турды — классик узбекской литературы. Дата его рождения неизвестна. Он жил во второй половине XVII века и принадлежал к узбекскому роду Юз.*

*В 1690 году он принимает участие в восстании против Субханкули-хана. Когда повстанцы были разбиты, Турды бежал в Хожент (ныне Ленинабад, Таджикской ССР), где и умер. До нас дошёл только один сборник (диван) стихотворений Турды.*

Печален, и тернист, и труден путь земной,  
Здесь никого не ждут ни радость, ни покой.  
Любовь ушла от нас, наверно, в мир иной.  
Возвысило теперь злодейство голос свой,  
И стало воровство слыть доблестью большой.

Здесь задыхаюсь я! Я сердце надорвал!  
Наш бранный мир давно каким-то странным стал.  
Где лев когда-то жил, теперь живёт шакал,  
А где орёл сидел, где сокол обитал,—  
Теперь кричит сова, довольная собой.

В распутстве и пирах проводит время шах.  
И выскочки-рабы в почёте на пирах.  
Богатство в их руках и власть у них в руках.  
О, родина моя, тебя повергли в прах.  
Невежда и подлец глумятся над тобой!

Не вижу честных я, не вижу мудрецов,  
Теперь в чести глупец, он весел и здоров,  
Сородичи мои — рабы в руках рабов,  
Рабы в руках двоих вельможных дураков:  
Один дурак — Токмак, Идрис — дурак другой.

Все блага богачам — и власть им и почёт.  
До коих пор ещё терпеть нам этот гнёт?  
Потоком льётся пот, потоком кровь течёт,  
И пьёт людскую кровь жестоких беков сброд.  
Свобода, уничтожь его своей рукой!

Эмир — правитель наш — невежда и дурак.  
Самим им вертит плут — кровавый бек Байлак.  
Какой же правде быть, когда у власти враг,  
Чьё прошлое темно, чьё будущее — мрак?  
Откуда он пришёл? Он здесь совсем чужой!

С правдивостью лисы и с мудростью осла  
Он носит сан чужой, он — воплощение зла.  
Черно его лицо, черны его дела.

Не о таких ли встарь пословица была:  
«Пройдоха даже с луж снимает жир густой!».

Побором, воровством и тысячами бед  
Он разорил страну, затмил в ней солнца свет.  
Есть деньги или нет, одет ты иль раздет,—  
Плати ему налог вперёд за много лет...  
Средь подлецов-вельмож один подлец такой.

Где справедливый шах? Где шах такой живёт?  
Скажите, я дойду до золотых ворот.  
Пусть он развеет дым печалей и невзгод,  
От горя и нужды освободит народ,—  
Чтоб мог воскликнуть я: «О, благодетель мой!».

О, беки, что для вас народ и отчий край?  
Нет родины у вас, есть караван-сарай,  
Куда пришли поесть вы по дороге в рай.  
Ну что же, бек пришёл и в путь ушёл: «Прощай!»  
Но вечно будет жить народ в стране родной.

Один чиновник — вор, другой чиновник — лжец,  
Один визирь — глупец, другой визирь — подлец.  
Ужель такими их создать хотел творец?  
О, господи, когда ж наступит им конец,  
Чтоб над родной землёй повеяло весной!

Вы обобрали вдов, печаль оставив им,  
До срока сироту вы сделали седым,—  
Да подавиться вам его куском сухим!  
Волк мог бы среди вас прослыть хаджи святым.  
Уйти бы! Но куда, дорогою какой?

Мы смели сжидать, великий наш эмир,  
Что сердце у тебя не превратится в жир:  
Что ты взойдёшь на трон и установишь мир,  
Оденешь тех, кто гол, согреешь тех, кто сир,  
Что мудрых позовёшь ты управлять страной.

Не внемлет здесь никто моим глухим мольбам!  
И я не подхожу к затворенным дверям:  
Там надо взятку дать, я — нищий, что я дам?  
Там стражники стоят, сидят вельможи там,  
Лишь думая о том, как рот набить едой.

Взять деньги с бедняка всегда вельможа рад.  
А денег нет — снимай рубаху иль халат.  
Мольбы жестокости его не укротят,  
Теперь мздоимцев тьма, они везде сидят,  
Я беден и для них я лишь помёт сухой.

О, друг мой, ничего для близких не жалей.  
Будь дальше от дворцов, уйди от них скорей.  
Съешь чёрствый честный хлеб, водой его запей,  
А если дети есть, то научи детей  
Есть чёрствый чёрный хлеб, но честный — трудовой

Хоть будь царём царей, хоть всей землёй владей,  
 Ты всё равно уйдёшь в сажень земли своей.  
 И за спиной царей и за спиной моей  
 Стоит на страже смерть и говорит: «Скорей!»  
 Жизнь коротка, а цель за дальнею горой.

Пройди же весь свой путь и власти не желай,  
 Награбленных богатств и части не желай,  
 Неправедных людей участия не желай,  
 Но другу от души ты счастья пожелай.  
 Угрюм наш древний мир, в нём не живёт покой!

## 1

Где же ваша совесть, беки: хоть народ наш разобщён,  
 Но ведь это всё узбеки девяноста двух племён.

Называемся мы разнo — кровь у всех у нас одна,—  
 Мы один народ, и должен быть у нас один закон.

Полы, рукава и ворот — это всё — один халат.  
 Так един народ узбекский, да пребудет в мире он.

Беки, вы не превышайте вашей власти над людьми,  
 Мы хотим, чтоб наши судьбы не решал оружия звон.

Прекратите ваши распри, в них не ваша льётся кровь,  
 Вместо ран на вас румяна. Беки, облик ваш смешон.

## 2

Чёрной злобой обуяно это царство!  
 Место гнёта и обмана — это царство.

Здесь правителей не сыщешь справедливых.  
 Не ведите каравана в это царство.

Здесь правители коварны и жестоки,  
 Радость только для шайтана — это царство.

В чёрном царстве этом радости уснули.  
 Только горе неустанно в этом царстве.

Не ищите здесь приюта и покоя —  
 Злого Субханкули-хана это царство.

## 3

Лишь капля ты, но состоит из капель океан, Турды,  
 В пучину волн унёс тебя событий ураган, Турды.

Друзья покинули тебя, средь волн оставив одного,  
 Звездой счастья золотой твой путь не осиян, Турды.

И всё же ты не одинок: народ твой смотрит на тебя.  
 И светит взор его тебе сквозь ночь и сквозь туман, Турды.



# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

С. УСТЮНГЕЛЬ

★

## В ТЮРЬМЕ И НА „ВОЛЕ“

Записки турецкого коммуниста

*«...Тюрьмы, застенки, кровь и огонь не остановят борьбы народа за национальное освобождение, за демократию. Пусть те, кто сегодня несёт народу Турции слёзы и страдания, не забывают позорного конца кровавых султанов».*

Мустафа Субхи.

10 сентября 1920 года.

### В море

**М**оре синее-синее, солнце огненно-красное. Море пламенеет на солнце, полыхает огнём. Пламенеет палуба парохода, пламенеют наши руки, закованные в кандалы. Ветер развеивает рыжие волосы моего товарища, и они то и дело спадают ему на голубые глаза. Горят на солнце штыки жандармов. Под их конвоем мы проходим по палубе. Нас везут из одной тюрьмы — в другую.

Из люков машинного отделения вырывается поток удушливого раскалённого воздуха. Глухо шумят внизу машины. Заглядываем в люк. Бледные, потные лица машинистов, со следами масляных пятен, кажутся мутным отражением в потускневшем зеркале. Один из смазчиков оторвался от дела и засмотрелся на нас. Ещё мгновение — и его рука попадёт в эксцентрический вал, но он успевает её отдёргнуть. Только маслёнку его вырвало из руки, захватило, унесло. Какие большие глаза у этого рабочего, какие резкие, заострившиеся чёрты лица...

В котельной, на самом днище парохода, в красноватом свете пламени шурют обнажённые до пояса кочегары. Алский жар.

А море искрится, играет бликами. Солнце заливает красноватыми лучами палубу. Пассажиры распластались на ней, как овечьи шкуры, растянутые для просушки.

Из салона первого класса доносятся сумбурные звуки фокстрота. Шипение пластинки сливается с шумом вентиляторов.

Спускаемся в трюм парохода. Он до краёв набит овцами. Тут же, как овцы, жмутся друг к другу крестьяне. Двое из них, лёжа на спине, напевают эгинскую песню. Печальная мелодия то ширится, то теряется в бляении овец.

Терпкий запах давно нечищенной овчарни бьёт в нос. Духота. Железные наручники жгут нам кисти...

Показался берег. Нас выводят на палубу. Перед глазами густая зелень апельсиновых садов, извивающаяся среди гор река. На склонах — кукурузные поля величиной с ладонь. Впереди, на мысу, прямо по курсу корабля уже хорошо видна белая башня маяка, «Девичья башня», древние крепостные валы. Город раскинулся полумесяцем. Строения громоздятся друг на друга по склонам гор.

Корабль входит в порт. Мы спускаемся по мосткам.

### По этим улицам несли Сандыкчи

На пристани жандармы окружают нас кольцом штыков. Команда итти. Идём по разбитым камням мостовой, мимо лавчонок с узкими ставнями и нависшими крышами. Рынок ремесленников. Кузнецы, котельники, ткачи, шорники улыбаются нам, приветливо машут рукой. Идущий впереди нас сержант жандармерии раскалывает толпу надвое. Люди тянутся за нами хвостом. Подкованные сапоги жандармов звонко цокают по камням.

— Кто такие? — слышится чей-то голос.  
 — Политические... — отвечают в толпе.  
 — Коммунисты, что ли?  
 — Они самые. Поймали недавно. Разве не слышали, что их везут сюда?

Слова ударяются о стены домов, эхом разносятся по городу. Эти улицы, эта толпа будят во мне воспоминания, и перед глазами оживает страшная сцена, свидетелем которой я был в детстве.

Было мне тогда, наверное, лет шесть, но я очень хорошо всё запомнил... Тогда как из ведра лил дождь, и народ, так же вот как сейчас, высыпал на улицы. Султанские жандармы в фесках прикладами расталкивали толпу, прокладывая себе путь. На одном из штыков покачивалась человеческая голова. Позади несли привязанное к длинному шесту обезглавленное тело. Это были останки народного героя — крестьянина Сандыкчи Шюкрю. В течение долгих лет держал он в страхе окрестных помещиков и городских богачей. При виде этого страшного шествия люди останавливались и плакали, а некоторые разражались проклятиями.

Наша семья была родом из другого города. Я жил здесь у родственников. Вскоре после расправы над Сандыкчи меня отсюда забрал к себе дядя и увёз в Стамбул. Это был хороший, добрый человек. Он любил простых людей. Часто по вечерам садился он на скамейку у окна и, глядя на стены стамбульской крепости, на Мраморное море, на далёкие вершины гор, пел дестан<sup>1</sup> о Сандыкчи. Сандыкчи был подлинным героем. В последнем бою он с кучкой крестьянских парней сражался против целого полка солдат и был убит. Над телом героя надругались султанские сатрапы. На всю жизнь сохранилось во мне глубокое уважение к этому мужественному человеку, простому крестьянину, который с оружием в руках бесстрашно боролся против насилия и гнёта.

### Тюремное начальство

Мы снова выходим к берегу моря. Высокая, поросшая мохом массивная стена окружает каменное здание. Вверху по ней протянута колючая проволока, на углах стоят часовые. Вмурованные в стену маленькие железные ворота выходят на небольшую площадь. Над воротами огромная надпись: «Главная городская тюрьма». Седоусый надзиратель с палкой в руке отворяет маленькую квадратную дверь. Через неё, словно через горлышко бидона, нас проталкивают внутрь тюрьмы. Мы проваливаемся в полумрак, ощупью идём по коридору, похожему на катакомбы. Надзиратель останавливает нас у одной из дверей. На ней табличка: «Дирекция». Надзиратель оглаживает усы, проводит рукой по пуговицам мундира, откашливается и, постучав, толкает дверь.

Перед нами комната с низким потолком. Всё в ней как будто плывёт в дыму. Курят разом несколько человек. За одним из столов, заваленном бумагами, остроносый с крысиным лицом человек перелисты-

<sup>1</sup> Дестан — народный сказ, былина.

аает дела. На другом столе, напротив, стоит кальян, слышится его глухое урчание. Темнолицый толстяк с отвисшим животом держит в руках толстую кожаную трубку кальяна. Из рта и из носа у него валит дым. По бокам от него в креслах развалились два жандармских офицера. Один из них похлопывает себя стёком по голенищу. Мутными глазками осматривает нас с ног до головы. Говорит он так, словно жуёт смолу. С явным намерением поиздеваться ехидно спрашивает:

— Коммунисты?

— Да, — отвечаю спокойно.

Физиономия офицера краснеет, как от пощёчины.

— Ого, какие храбрцы! Им, видно, всё нипочём... Только коммунизм ваш в кемалистской Турции не пройдёт, с этим товаром сюда лучше не соваться!

— Коммунизм — не картошка, на базаре не продаётся...

Мой ответ подбрасывает офицера с кресла:

— Эта шутка вам дорого обойдётся, — шипит он. — Надзиратель, отведи-ка их в предварилку! Наручников не снимай, пусть научатся как следует разговаривать!

Грохнув дверь, офицер выходит.

— Хлопот с ними у тебя, господин начальник, будет много, — говорит второй офицер, обращаясь к толстяку, курящему кальян. — Не знаю, понимают ли они, что такое кнут и что такое пряник? Надзиратель, сними-ка с них наручники!

Здоровенный детина чуть не выворачивает нам кисти, но наручников не снимает.

— Тебе сказали, снимай наручники! Чего руки ломаешь?! — строго говорит мой товарищ.

Толстяк, которого называют начальником, поясничает:

— Господин старший надзиратель! Будьте повнимательней.

Тут только я замечаю, как странно одет этот «начальник». Котелок, засаленный смокинг, рубашка в горошек без галстука заправлена не то в шаровары, не то в брюки, на ногах узкие галоши с загнутым сверху носком.

Котелок вместо фески, смокинг вместо халата да нечто среднее между старыми восточными шароварами и европейскими брюками — вот и вся перемена, которая произошла за годы республики в облике начальника тюрьмы, служащего здесь со времён султана Абдул-Хамида.

Тяжело переводя дыхание, начальник тюрьмы изрекает:

— Тридцать лет я здесь сижу; посидел на этом деле. Кого только ни видел, каких только буйных в чувство ни приводил... Надзиратель, веди-ка этих в карантин. Обыщи как следует. Бумаги, карандашей — чтоб не было!

### «Вечный камень»

Проходим через одни железные двери, через другие. За второй дверью — маленький узкий дворик. Разношерстная толпа встречает нас гулом голосов, окружает плотным кольцом. Надзиратель кричит:

— Прочь с дороги!

Никто не обращает на него внимания.

Высокий арестант загораживает надзирателю дорогу. «Стой», — говорит его тяжёлый взгляд.

Потом он обращается к нам:

— По обычаю каждый переступивший порог этой ямы должен в честь святого — покровителя острожников — посидеть на вечном камне. — И указывает на серый камень в углу двора.

Перебивая шум голосов, кто-то кричит:

— Большевик! Большевик! Где ты? Привели твоих!

Перед нами появляется юноша лет 18—19. Он пожимает нам руки.

— Желая поскорей выбраться отсюда! — произносит он вместо приветствия.

— Спасибо, земляк!

Кругом только и слышится:

— Поскорее выбраться... Пошли Аллах здоровья!

— Молодые ещё...

— Откуда родом? Кто они, турки?

— За что их взяли?

— Тьфу! Да не слыхал ты, что ли?! Они землю крестьянам хотели дать.

— Какую землю? Кому дают? Пойдите, дайте и мне посмотреть.

— Да погодите вы!.. Они устали...

— Большевик, посади-ка своих на вечный камень! Иди сюда, земляк!

— Эй, тащите кофе.

Мы усаживаемся на «вечный камень».

Затянутый в талии крестьянский паренёк в национальной одежде лавов<sup>1</sup> протягивает нам свою табакерку:

— Попробуйте моего табачку, земляки.

И со всех сторон к нам тянутся табакерки, кисеты, портсигары:

— Моего заверните... Моего закурите.

Все глаза устремлены на нас.

Пожилой седобородый крестьянин подходит к моему товарищу, кладёт ему на плечо руку:

— Сынок, я ведь тоже из-за земли попал сюда. Послушай, как было дело...

— Брось, Кыро! Дай им кофе выпить! Столько ты болтаешь, столько душу отводишь, старина...

Неожиданно толпа вокруг нас расступается, появляется старший надзиратель:

— Что за собрание? Разойтись! А вы поднимайтесь-ка на второй этаж. Живо, там ваша камера. Мы вас посадим в карантин...

Не успевает надзиратель договорить, как начинается что-то непонятное.

— Хав... хав... авв... авв... — несётся со всех сторон. Тюрёмный двор тонет в собачьем лае. Затем слышится сдвоенный смех, улюлюкание. Физиономия старшего надзирателя становится похожей на обваренное кипятком свиное рыло. Из гнилого рта брызжет слюна.

— Коммунисты, марш в камеру! А вам я покажу, как лаять. Вызову жандармов, тогда поговорим!

Он вталкивает нас в камеру, задвигает железные засовы. Снова поднимается собачий лай. Потом всё утихает.

Не проходит и получаса, как у зарешеченного окошка нашей камеры показывается юноша, которого заключённые называют «Большевиком». В руках у него жестяная кружка и медная тарелка с едой.

— Не обессудьте, земляки... Чем богаты...

— Мы сыты, паренёк. Не беспокойся!

Но Большевик не слушает нас и просовывает еду через решётку.

— Скажи, что это был за лай?

— Ничего особенного. Так всегда встречают старшего. Мы его псом прозвали. Если этот пёс будет щерить на вас зубы, не обращайтесь внимания, не укусит... Курить у вас есть что? Может, вам ещё чего надо?

<sup>1</sup> Лазы — пружинская народность, живущая на северо-западе Турции.

Во дворе снова показывается старший надзиратель. Его длинное лицо с ввалившимися щеками действительно напоминает пёсью морду. Ходит он тоже, как состарившийся пёс.

### Тюремный двор

В тюрьме два этажа. Ночью из окошек камер на первом этаже можно увидеть звёзды на небе. С верхнего этажа видишь только безбрежное, свободное море. От этого бескрайнего простора нас отделяет лишь высокая стена, опоясанная колючей проволокой. Между стеной и зданием тюрьмы небольшое мощёное пространство шириной в 7 и длиной в 40 метров. Это — тюремный двор, место для прогулок заключённых.

Сколько дней уже видим мы этот дворик через решётку узкого окошка нашей камеры? По утрам, когда открывают двери общих камер, арестанты, как свцы, выпущенные из загёна, высыпают сюда. Они ходят из угла в угол, взад и вперёд, навстречу друг другу. Стук кованых ботинок доносится то справа, то слева. Из угла в угол мечутся голоса. Доносятся короткие обрывки фраз:

— ...какой тут, уплатить! Псгубили нас налоги...

— ...а у тебя есть что отдать-то им?..

— ...сборщик налогов...

— ...он стрелял в сторожа...

— ...разве я знаю, куда пуля гаду угодит...

— ...он наше поле силой отобрал. Какие свидетели? У него денег много, у него — сила!

— ...он господин, а ты бедняк...

— ...до корня не добрался я... Вот если выйду...

— ...разве дождёшься ты этого?

Голоса сливаются в сплошной гул, шаги расходятся в разные стороны. Потом снова звучат ясные, короткие фразы:

— Ни быков нет, ни земли. Развалилось хозяйство.

— Он и ага и ростовщик. За один куруш<sup>1</sup> — пять берёт.

— И староста, и жандармы, и судья — всё у них в руках!..

Среди заключённых много лазов. Они держатся прямо, ходят с гордо поднятой головой, говорят быстро. Что они говорят — мы не понимаем. Лазы не спускают глаз с нашего окошка. Каждое утро, едва успев ступить на дворик, они приветствуют нас:

— Коммунист!.. Большевик! Селям!

Угнетённые национальности питают к нам, турецким коммунистам, особую симпатию. Мне пришлось несколько лет сидеть в крепости вместе с курдами. Несмотря на строгий режим, они находили способ связаться с нами. Если бы не они, мы наверняка погибли бы тогда от жажды и голода — ведь в турецких тюрьмах коммунистам обычно не дают полагающегося всем заключённым пайка. Если нет у тебя никого на воле — плохи твои дела.

### Борьба за воздух

Дни проходят, а «карантину» нет конца. Видно, нас боятся даже когда мы в тюрьме. Классовый враг всячески стремится вырвать нас из жизни, но мы поклялись до последнего дыхания быть вместе с народом, бороться вместе с ним.

Наша камера — крошечная коробка. Клетка льва в зоопарке куда просторней. Но на нас это не действует. Поём песни, шутим. Мой това-

<sup>1</sup> Мелкая турецкая монета.



товарища. Но и сержант, получив пинок ногой, никак не может подняться с пола. Начальник тюрьмы, зеленея от злости, рычит:

— Бросить их в подвал! Посадить в карцер! Пусть знают, как нарушать порядок в тюрьме!

Две ночи в сыром тёмном карцере и 48 часов голодовки ещё больше закалили нашу ненависть.

Голодовка подействовала: в тюрьму прибыл помощник прокурора. Нас вытащили из подвала, сняли наручники.

— Вам разрешается прогулка на террасе второго этажа. Два часа в день,— с ехидной улыбкой объявляет помощник прокурора и удаляется вместе с начальником тюрьмы.

Так закончилась наша первая схватка в этой тюрьме.

В полдень старший надзиратель выводит нас на террасу. Терраса раскалена — целый день она открыта палящим лучам солнца. Видно, нас хотят просто зажарить. Никого, кроме нас, сюда не пускают. Пот грязными ручьями катится по обросшему бородой лицу. Но зато мы дышим свежим воздухом...

### Корзинка с фруктами

Уже много дней непрерывно льёт дождь. Если хочется бесплатно принять душ, можно посидеть на террасе часок-другой — теперь это нам разрешено.

Распахнув вдруг дверь камеры, надзиратель объявляет:

— Приготовьтесь, поедете в суд!

Вот уже несколько месяцев тянется суд над нами. Сначала заседания происходили в одном из крупных городов. Несмотря на все усилия полиции и прокуратуры, суд не смог доказать, что мы являемся авторами листовок, нелегально распространявшихся в этой местности организациями коммунистической партии. Но выпустить нас, конечно, не пустили. Ведь мы ещё до ареста были осуждены заочно. Полиция и прокуратура уже несколько лет охотилась за нами. Здешний прокурор требует теперь для нас смертной казни.

Окружённые жандармами, входим во «Дворец правосудия». Коридоры полны народа. Большинство — крестьяне. Кто в постолах, кто босиком. Весь их вид говорит о беспросветной нищете турецкой деревни. Жандармский офицер грубо покрикивает на толпу:

— Осади назад! Осади!

Входим в большой зал. Толпа следует за нами.

Начинается заседание. Мы стоим перед столом судейской коллегии. По бокам — часовые с прижатыми штыками, за спиной — народ! Один из судей ковыряет в носу. Другой нацепил чёрные очки: дремлет он или бодрствует — не поймёшь. Председательствует жирный судья с апоплексическим затылком. Серые прищуренные глаза прокурора всё время следят за нами.

Согласно процедуре сначала «устанавливают» наши личности.

— Имя, фамилия, родители? — спрашивает председатель.

Затем поднимается прокурор. Непрестанно оглядываясь на публику, он говорит, скорчив недовольную мину:

— Ввиду того, что разбираемое дело имеет отношение к внутренней и внешней политике правительства... в интересах сохранения спокойствия и порядка... требую, чтобы дело рассматривалось в закрытом заседании.

Мы с товарищем одновременно вскакиваем со скамьи. Говорим разом:

— Прокурор хочет скрыть от народа правду... Пусть народ знает, чего мы хотим и что мы сделали. Очевидно, прокурор боится этого. Мы заявляем, что если наше дело будет рассматриваться за закрытой дверью, то в ответ на этот произвол мы откажемся отвечать на вопросы суда!.. Мы требуем, чтобы наше заявление было занесено в протокол!

Из публики раздаются голоса:

— Господин председатель! Мы тоже хотим послушать!

— В чём их вина?

— Это несправедливо!

Председатель что-то шепчет на ухо сначала одному члену суда, потом другому. Оба утвердительно кивают головами.

— Рассмотрение дела переносится, — объявляет он.

Нас выводят из здания суда. Толпа следует за нами до ворот тюрьмы. Какой-то пожилой крестьянин протягивает нам корзиночку с фруктами. Жандармский офицер бросает на него свирепый взгляд. До сих пор ещё помню я вкус свежих фруктов, которыми тогда от чистого сердца угостил нас простой, незнакомый нам турецкий крестьянин.

### Народ предъявит свой счёт

Полночь. На стене мигает тусклый светильник. Тюрма затихла: Заключённые спят. Мы охотимся на клопов.

Но вот до нашего слуха доносятся нечеловеческие крики. Это «снимают показания» в подвале жандармского участка, находящегося рядом с тюрьмой. Постепенно крик переходит в стон, становится всё глуше и глуше. Слышатся удары палок и ругательства. Перед рассветом всё стихает. Звучат только резкие свистки. Это часовые охраны переключаются между собой.

Крики истязуемых и отборную ругань жандармов мы слышим постоянно. Почти все, кто попадает в тюрьму из полицейских или жандармских участков, покрыты ранами и кровоподтёками.

Зверская политика насилия над народом продолжается в Турции уже сотни лет. Кемалисты, придя к власти, перещеголяли в этом даже кровавых султанов — террор в стране всё усиливается. Они выступают как самые оголтелые шовинисты, подвергают национальные меньшинства насильственной туркизации. Кемалисты выселяют из родных мест лезов, организуют массовые убийства курдов, вырезают армян. Уже уничтожено много сотен тысяч курдов. Тысячи курдских деревень сожжены и разрушены. Чтобы скрыть следы своих преступлений, анкарские правители объявили запретными районы, где расположены эти срезанные с землёй деревни.

Разделив страну на семь «генеральных инспекций» — «гау», — они назначили гаулейгером Курдистана Ибрагима Талига. Долгое время он был там полным хозяином. Его карательные отряды рыскали по всему краю. Я, в числе других коммунистов, был заключён тогда в одну из крепостей, входивших во владения Талига. Ежедневно оттуда партиями увозили арестованных курдов и расстреливали на обрывистом берегу Тигра. Потом жандармы торговали в тюрьме шелковыми расшитыми поясами расстрелянных курдских юношей.

Помню, однажды в соседнюю камеру принесли молодого курда. Ему было лет двадцать. Рассказывали, что в боях с карательными отрядами он убил нескольких офицеров. Жандармы пытали его много дней, жгли раскалёнными шомполами, но не добились от него ни слова. Тело юноши было сплошной раной, оно гнило, по нему ползали черви. Несколько

дней, крепко стиснув зубы, молодой курд боролся со смертью. Он беспрерывно повторял лишь одно слово:

— Мечь... Мечь... Мечь!

Пытки, которым подвергают коммунистов в застенках охраны, в жандармских участках и тюрьмах, приводят в содрогание даже видавших виды людей. Турецкая полиция сочетает зверства янычар с изощрёнными истязаниями гестаповцев. Людей на долгие месяцы сажают в тёмные сырые подвалы, пытаются жаждой и бессонницей, бьют палками по пяткам, вырывают щипцами куски мяса, гасят в ранах сигареты, кладут подмышки горячие яйца, подвешивают за волосы к потолку, выламывают суставы, вырывают ногти, распинают на крестах, подвешивают за руки в камерах-гробах и ставят перед глазами 500-свечёвую лампу, в зимние морозы обливают холодной водой. Иногда эти пытки продолжаются месяцами. Об убитых и замученных во время пыток коммунистах полиция сообщает:

— Убит при попытке к бегству.

— Выбросился из окна.

— Покончил с собой.

— Сошёл с ума.

Так именно полиция пыталась скрыть убийство замученного в стамбульской охране члена Центрального комитета коммунистической партии Турции Аббаса, комсомольца Хасана, студента Басры, задушенного в аданской тюрьме учителя Хайдара, измирского моряка Юсуфа, зонгулдакского шахтёра Зия и скольких, скольких ещё?!

Анкарские палачи могут врать сколько угодно, но турецкий народ знает, кто утопил в Чёрном море основателя коммунистической партии Турции Мустафу Субхи. Он знает, кто повесил крестьянина-коммуниста Месуда, кто убил рабочего Аббаса. Пробеёт час исторического возмездия, и народ предъявит свой счёт палачам.

### «Большевик»

Через несколько дней после судебного заседания, во время утреннего обхода в нашей камере вдруг появляются начальник тюрьмы и старший жандармский офицер. Они объявляют, что мы можем выходить на прогулку во двор вместе с другими арестантами, велят открыть дверь камеры и, не глядя на нас, выходят. Мы решаем, что это неспроста — тут какая-то ловушка. Нас, коммунистов, всегда содержат в строгой изоляции от других арестантов. Не удивительно поэтому, что у нас появляется насторожённость.

Позже мы узнали, какую западню нам готовила охранка: она хотела прикончить нас руками уголовников.

...Дует лёгкий морской ветерок. Лодки под открытыми парусами выходят в море. Временами нам кажется, что мы только встали на якорь в этой тюрьме. Мы дышим свежим воздухом. Я лежу на террасе, свесив ноги. Мой товарищ растянулся рядом со мной. Из камеры, продирая глаза, выходит Большевик. Расчёсывая пятернёй чёрные волосы, он неспеша подходит к нам.

— Ну что, Большевик, выспался?

— Разве согласишься тут, когда эти кофейнички орут, как ишаки! Чай пили?

— Садись. Сегодня вместе чай пьём, Большевик?

— Ладно.

— Однако тебе умыться не мешало бы!

— Потом умоюсь. Только посижу немножко. К вам ведь никого не подпускали всё время — карантин!

Он садится между нами и тоже свешивает ноги с террасы. Берёт протянутую моим товарищем сигарету и глубоко затягивается.

— Почему тебя Большевиком прозвали?

— Здесь сидел один. Он своего соседа за вершок земли на поле задушил. Я его звал Душитель бедняка, а он меня Большевиком прозвал.

— За что же ты сидишь? Сколько тебе дали?

— За убийство. Присуждён к смертной казни, но по молодости помилован<sup>1</sup>.

— Кого же ты убил?

— Одного проклятого агу с нашего берега. Лодки, виноградники, апельсиновые рощи — всё в округе принадлежит ему.

— Ого! За что ж убил?

— Долгая история. Убил, и чёрт с ним! Погодите, я сейчас чай принесу.

Большевик вскакивает и, спускаясь по лестнице, кричит:

— Карачалы! Три чашки чаю!

На мощённом камнем дворике шуршат шаги: туда — обратно, туда — обратно. Глухо раздаются голоса в этом каменном колодце.

Мы пьём чай и беседуем с Большевиком.

— У тебя есть кто-нибудь на воле, Большевик?

— Брат, старший.

— Чем занимается?

— Кочегар. На пароходах работает.

— А ты что делал?

— Рыбак я. За долю улова работал.

— Давно сидишь?

— Уже два с половиной года.

— За что же ты всё-таки убил своего агу?

— Поспорили из-за моей доли. Не отдал мне, что причиталось. Он и отца моего погубил.

— Отец-то кто был?

— Тоже рыбак. На свою голову!

— А почему же тогда ты рыбаком стал?

— Расскажу потом. Смотрите! Видите окошко, камера рядом с вашей. Тот вон, к решётке прислонился, на нас уставился... При нём держите язык за зубами. Это стукач начальника тюрьмы. Сейчас же донесёт.

— Что у нас с ним может быть? Мы и «здравствуй» друг другу ещё не сказали.

— Вы его не знаете. На днях он с Карачалы всё шептался о вас. Я ведь сегодня нарочно чай у Карачалы заказал. Ещё узнаете нашу кутузку! Пойдёмте пройдемся!

Большевик встаёт и, насвистывая, спускается во двор. Человек, которого он нам показал, шуря гноящиеся глаза, смотрит через решётку во двор.

Заключённые, как маятники, ходят взад и вперёд, взад и вперёд. Солнце всё сильнее накаляет камни. Дежурный надзиратель, распахнув дверь во двор, кричит с порога:

— Айда на су-у-у-д! Кому на суд, собирайтесь! За умыкание — Чамлы Хюсейн. За кражу курицы — Пич Нури. Братья Джаноглу — по делу о земле. За убийство — Куру Али, Орманкыран Мустафа. За не-

<sup>1</sup> По турецкому уголовному кодексу — недостижшим совершеннолетия смертная казнь заменяется долгосрочным тюремным заключением.

уплату налогов — механик Хасан, ткач Келеш. За убийство сторожа — кузнец Мемед. На су-у-д!

Арестанты, чьи дела сегодня рассматриваются в суде, собираются у дверей. Жандармы надевают на них наручники.

### Чёрная доска

Дни проходят. Мы понемногу знакомимся с тюрьмой, заходим в соседние камеры. В тюрьме пять больших камер, несколько изоляторов и несколько маленьких клетушек. Общие камеры сильно отличаются друг от друга. В нижнем этаже, куда почти не проникают солнце и свежий воздух, расположены так называемые «камеры голых». В стамбульской тюрьме их называют «камерами папаши Адама». Вся одежда заключённых в них арестантов нередко состоит из одного старого мешка. Обитатели «камер голых» находятся обычно в услужении у более состоятельных арестантов. Поэтому их называют ещё «аякчи», что значит «находящийся на ногах». На втором этаже живёт тюремная «аристократия» — заключённые, у которых есть деньги или влиятельная родня на воле. Койки в камерах также распределяются в зависимости от платежеспособности заключённых: худшие — у дверей, около параши, лучшие — у окна, поближе к свету и воздуху. В отдельных комнатухах сидят «беи». В изоляторах сейчас, кроме нас, находятся ещё двое смертников.

В комнате старшего надзирателя висит большая чёрная доска. Сверху написано: «Наличие заключённых». Цифры внизу показывают число арестантов. В нашей тюрьме их около трёхсот. Более двухсот арестантов — крестьяне. Рабочих мало. Ремесленников, кустарей больше. Политических тоже немного — процентов десять. Около половины сидят за убийство, кровную месть. Причина большинства этих преступлений — споры из-за межи, из-за земли, пастбищ, воды, лесных угодий, наследства, долгов. Процентов двадцать пять сидят за неуплату налогов и долгов. Остальные — за бандитизм, грабёж, контрабанду. Многие заключённые, примерно каждый третий, при аресте оказывали сопротивление жандармам, полицейским или сборщикам налогов.

Большинство заключённых — местные жители. Обычно осуждённых на большие сроки пересылают отсюда в Синопскую крепость.

### Это не свидание, а разлука!

С моря снова дует ветер. Хлопьями ваты покрыта его синяя гладь. Равномерно шумят волны, ударяясь о берег. Море облегчает и скрашивает нашу тюремную жизнь.

На дворе громкие разговоры, резкие порывистые шаги. Сегодня — день свиданий. В этот день заключённые всегда как-то мечутся по двору. Они с нетерпением ждут его, и нервы у всех напряжены.

Как только приходит посетитель, арестанта вызывают в предварилку. Здесь происходит свидание. Правда, между посетителем и заключённым — железная решётка. И всё же это уже кусочек другого мира.

В помещении надзирателя прямо против открытой двери в предварилку меня брешет парикмахер. За спиной стоит надзиратель с палкой. Через открытую дверь мне видны посетители.

У решётки сидит на корточках молодой арестант лет двадцати пяти. По другую сторону решётки — женщина, закутанная в вышитые полосатые платки. Она вся съжилась, сжалась в комоч. Видны только глаза и щёки.

Женщина крепко прижалась к парню. Кажется, если бы не решётка, они сидели бы обнявшись. Но ржавые железные прутья разделяют два сердца.

— Эй, Ферикоглу, хватит! Твоё время кончилось!

Грубый голос дежурного надзирателя отрывает их друг от друга — так топор раскалывает надвое сосновое полено. Женщина встаёт, она смотрит на парня полными слёз глазами. Тот шатается, как пьяный, и, кажется, еле держится на ногах.

Бреющий меня тюремный парикмахер на воле был мотористом. Он избил в порту полицейского комиссара, когда тот пытался силой заставить работать бастовавших грузчиков, и сидит теперь за «сопротивление полиции». Его большие, как лопаты, руки кажутся грубыми, неуклюжими. Но какие ловкие у него пальцы, как легко проводят они по щекам большим лазским ножом!

Каждый раз, когда надзиратель отрывает заключённого от посетителя, «парикмахер» скрипит зубами, его ноздри раздуваются, как у загнанной лошади. Осколки фраз, как пули, вырываются сквозь сжатые зубы.

— Изверги... ни любви, ни горя не понимают... — Затем следует увесистая ругань.

Время свиданий кончается. На дворе слышится не то смех, не то рыдания. Какое это свидание? Ведь это разлука...

### Не под рваными парусами выходим мы в море!

Правящие реакционные классы Турции пытаются удержать свою власть над народом с помощью штыков, тюрем, виселиц. Они подавляют, физически уничтожают каждого, кто выражает свой протест, свою волю к справедливым порядкам. Нас, коммунистов, они ненавидят с особой силой и преследуют особенно жестоко.

Мы знаем — они хотят раздавить наше мужество. Но за нами во весь свой рост встаёт рабочий класс. Буржуазия приходит в бешенство, видя, что силы её могильщика — пролетариата — растут день ото дня. Кемалисты, если бы это было в их силах, живьём зарыли бы нас в могилу. Они хотят оторвать нас от народа, разорвать наши стальные связи с массами, так как видят, что в них мы черпаем нашу силу. Но коммунисты — люди особого склада, люди особой закалки. Эту закалку они приобрели в огне классовых боёв во многих странах. Её передали нам отцы и деды, десятилетиями боровшиеся против насилия и гнёта.

Не под рваными парусами и не на дырявом судёнышке выходим мы в море! У нас есть крепкая организация — наша коммунистическая партия. В руках у нас верный компас — марксистско-ленинское учение. В освободительной борьбе нам указывает путь великий кормчий — Сталин. Этот путь нам освещает всемирный маяк — Советский Союз.

Во всех странах капитала не проходит и дня, чтобы народ не боролся за свои права, не сражался с фашистскими бандами.

А у нас в Турции?

И у нас борьба обостряется с каждым днём. Растут ряды борцов, растёт авторитет нашей партии среди народа. Но есть у нас слабости и ошибки. Необходимо энергичнее, лучше организовывать массы. Источников силы у нас немало. У нашего народа есть традиции национально-освободительной борьбы против колониального порабощения, против империалистов. Вспомните 1919—23 годы, когда великая Октябрьская буря в России донесла до Турции ветер свободы и подняла наш народ на борьбу. Тогда красной от крови героев национально-освободительной войны стала река Сакарья. Тогда рабочие, забывая об отдыхе, днём и

ночью готовили оружие фронту. Тогда простые крестьянки — Кезибан, Фатьма и множество других доставляли на своих плечах снаряды в окопы. Много горя испытал тогда народ: были сожжены деревни, разрушены города, мёртвые младенцы валялись среди развалин. Американские и английские разбойники разговаривали с нашим народом языком пушек и тридцатипятипятисотных линкоров. Одним глотком грозились они проглотить Анатолию. Они натравили на турецкий народ наёмные армии греческого короля Константина, монархические банды Анзавора, «армию Халифа». Наши отцы и братья бесстрашно сражались с этой семиголовой гидрой.

Не будь Советского Союза, мы, как нация и государство, уже тогда были бы уничтожены английскими и американскими империалистами. Кемалисты всячески хотят скрыть это от народа. Но этого нельзя забывать никому. И мы никогда не забудем ни наших боевых традиций, ни «нашего друга чёрных дней» — так турецкий народ называет Советский Союз...

### «Хорошо... Тавариш... Барба...»

Шум волн постепенно стихает. Солнце заволакивается тучами. Приближается вечер. То там, то тут на дворике зажигаются крохотные дымные жаровни. Они напоминают затуманенные горем человеческие глаза. На жаровенках в маленьких кастрюльках арестанты варят себе суп. Изпод крышек кастрюлек вырываются струйки пара. Босоногий арестант-крестьянин, остановившись у одной из них, пожирает её взглядом. У него жёлтое, без кровинки лицо. Такие лица бывают только у долго голодающих людей. Он щурит глаза, облизывает губы, потирает руками ввалившийся живот.

Но вот начинается раздача пайка. Из «камер голых» стремглав выскакивают арестанты. Крестьянин, с такой тоской смотревший на жаровню, уже бежит в свою камеру, грызя на ходу полученный кусок чёрного хлеба величиной с кулак.

Вечерняя поверка. Надзиратели загоняют арестантов в камеры, и те, словно овцы, разбредаются по своим загонам.

По соседству с нами сидят два закованных в кандалы смертника. Вечером мы засыпаем под звон их кандалов, утром просыпаемся от их брани — в ней они изливают свою душу.

Каждый вечер надзиратели и жандармы обшаривают камеры. У нас они ищут «зловредные» бумагу и карандаши. У смертников проверяют кандалы, роются в кроватях — нет ли ножей и бритвенных лезвий. Эти двое вместе с другими арестантами, решившими бежать, однажды уже разобрали стену в камере на первом этаже, где сидели тогда, и убили ночью часового. Но побег им не удался, тогда они были ранены и их схватили. А остальные бежали, ушли в горы и организовали там «чете» — повстанческий отряд. Во главе отряда встал крестьянин по имени Нусрет. Отряд этот непрерывно сражается с жандармскими карательными частями.

Приговор по делу этих двух заключённых прошёл уже через все инстанции, но не был ещё утверждён меджлисом. Хотя суд не располагал никакими доказательствами, тем не менее их обвинили в убийстве феодала Хордолуши и приговорили к смерти. Удивляться не приходится — родня убитого имеет огромные связи. Его племянник — Фахри Куртулуш — главарь турецких фашистов, один из заправил так называемой народно-республиканской партии. Но и за наших смертников есть теперь тоже кому постоять. Их ушедшие в горы товарищи держат Хордолушей в постоянном страхе. Всего несколько дней назад они сожгли

поместье одного из местных дреббеев (феодалов). Крестьяне всячески помогают им.

Один из смертников — плотный седой человек, смотрит угрюмо. Зовут его Капитан Осман. Его товарищ — высокий, статный, с орлиным профилем был на воле шорником, работал на ремесленном рынке. Его зовут Эксиюглу. У него мягкий приятный голос, и он нередко поёт по ночам.

...На Одемиш налетели,  
Из кустов пули полетели,  
Айда! Вперёд!  
От партизанских пуль враги побежали.  
Эх, на горы туманы набежали... —

выводит Эксиюглу залихватскую партизанскую песню. Когда мы слушаем его пение, перед нашими глазами встают образы крестьянских и рабочих парней, беззаветно и мужественно сражавшихся с врагами в годы национально-освободительной войны. И сам шорник Эксиюглу — один из безмянных героев этой освободительной борьбы.

Со смертниками у нас скоро завязывается большая дружба. Почти каждое утро, как только открывают двери камер, они заходят к нам, заводят разговор о тяжкой крестьянской доле, о бедах ремесленников, спрашивают нас о международных событиях. Газет нам не дают, и ничего нового мы им рассказать не можем. Мы лишь комментируем новости, которые им удаётся услышать краем уха.

Смертник Эксиюглу — весёлый, общительный человек. Он всё время подтрунивает над Капитаном Османом. А тот никогда не смеётся, говорит отрывисто, но на своего товарища шорника смотрит с нежностью. Капитан Осман в самые тяжёлые дни национально-освободительной войны привозил из советских портов оружие и боеприпасы. Рассказывая нам об этом, Капитан Осман говорит:

— Тогда русским тоже туго приходилось. Все гяуры набросились на Советы. Но каждый раз, когда мы туда приезжали, русские встречали нас как родных. Быстро грузили наше судно и отправляли домой. Верите ли, то, что они нам отдавали, было им самим тогда ещё нужнее. Если б не это великодушие русских, что могли бы мы поделаться с иностранными собаками, которые набросились на нашу землю? Советы нам помогли, и мы смогли выбросить англичан и американцев из Стамбула, а греков из Анатолии. Поганцы, что сидят в Анкаре, хотят, чтобы мы забыли это. Собакой выкормлены они, а не женщиной! Скажите-ка, разве могут те, кто со своим народом не считается, жить в добре с соседями?! А я до сих пор помню того русского моряка, который отправлял нас из Анапы в последний рейс.

— Хорошо... Тавариш... Барба... — задумчиво, после небольшой паузы произносит по-русски Осман.

Этими тремя русскими словами закованный в кандалы седой Капитан высказывает чувство глубокой благодарности, которое питает весь турецкий народ к своему великому соседу — советскому народу.

### Ташчи Хасан завещал это своим сыновьям

На окраине города расположены рудники. Они принадлежат акционерному обществу с иностранным и местным капиталом. Там добывают свинцовую руду. На эти рудники гоняют наших арестантов, осуждённых на каторжные работы. Говорят, что акционерное общество «договорилось» об этом с прокуратурой. Губернатор и председатель уголовного суда «не возражают» — им тоже охота получить на «карманные расходы». Подкупают прокуратуру и подрядчики по строительству дорог.

По утрам жандармы отделяют тех, кого отправляют разбивать камни на дорогах, и тех, кто работает в рудниках, надевают на них кандалы. Потом сковывают одной длинной цепью, выстраивают по два в ряд и увозят. Заключённые рассказывают, что работать в рудниках невероятно тяжело. Кроме кирки, лопаты, кувалды и лома, никаких других орудий нет. Руду рабочие выносят наверх в заплечных корзинах. Нередко люди гибнут под обвалившейся породой, а для предотвращения несчастных случаев ничего не делается.

Положение рабочих на всех других рудниках и шахтах Турции мало чем отличается от положения арестантов, осуждённых на принудительные работы в здешних свинцовых рудниках. Везде добыча производится ветхозаветскими методами с помощью допотопного оборудования. Об охране труда нечего и говорить. Никакой медицинской помощи для рабочих нет. Непосильный труд, постоянное недоедание, ужасающие жилищные условия и болезни, особенно чахотка, каждый год уносят в могилу тысячи жизней. «Социальное страхование» существует только на бумаге. Семьям рабочих, погибших от несчастных случаев или ставших инвалидами, достаются лишь брань и оскорбление чиновников.

Хотя по конституции в Турции принудительный труд запрещён, фактически он всегда применялся. Во время второй мировой войны специальным законом была открыто введена принудительная трудовая повинность. Ведь Анкарское правительство питало военную машину гитлеровской Германии хромом, медью, свинцом, хлопком, продовольствием! На своей торговле с Германией «Экспортные союзы», пайщиками которых состояли Иненю, Сараджоглу и Джелаль Баяр, нажили миллионы. Но война давно окончилась, а закон о принудительной трудовой повинности продолжает действовать и поныне. И теперь в Зонгулдак и прилежащие районы со всех концов страны сгоняют насильно крестьян на работы в шахтах.

Вчера одному из работающих в шахте заключённых размозжило голову. Товарищи принесли его труп. Но начальник тюрьмы приказал труп в тюрьму не принимать. Жандармский офицер утверждает, что его дело — сдать заключённого живым или мёртвым. А «Акционерное общество по добыче свинца» решает вообще умыть руки. После долгих препирательств вопрос передаётся на разрешение в высшие инстанции. Всю ночь труп заключённого лежит под дождём у ворот тюрьмы. Наконец сегодня около полудня с разрешения прокуратуры его хоронят.

Городское кладбище расположено сразу за тюрьмой. Мы смотрим на кладбище из окошка одной из «камер голых». Несколько арестантов под охраной жандармов роют могилу. Человека, которому вчера размозжило в шахте голову, тело которого всю ночь омывал дождь, предадут земле без гроба и без савана. А этот человек был землепашцем и звали его Венекли Ташчи Хасан. Из-за вершка земли совершил он убийство и получил пятнадцать лет тюрьмы. Он поклялся головой своей жены вернуть похищенную землю, если выйдет через пятнадцать лет на волю, а если нет — он завещал добыть её своим сыновьям. Венекли Ташчи Хасан лежит теперь под кипарисом в могиле. За землю будут бороться его сыновья.

А это ведь не шутка, когда шесть миллионов безземельных крестьян требуют: земли! земли! Когда шесть с половиной тысяч крупных помещиков и феодалов сидят на шее у тринадцати миллионов турецких крестьян и выжимают из них семь потов. Крестьянская проблема, нерешённый земельный вопрос приводят к постоянным столкновениям, причиняют неисчислимые горести миллионам людей. Эти проблемы стоят перед народом во всей своей остроте, во всей своей грандиозности.

И коммунистическая партия одна указывает правильный путь для их решения. Только она и поможет крестьянам получить землю.

Из деревни пришла вдова Венекли Ташчи Хасана. Она плачет, припав к кипарису у могилы мужа. Надзиратель вручает ей оставшееся «наследство», потом суёт ей в руку какую-то бумажку и уходит. У ног плачущей женщины — всё имущество покойного: жестяная кружка, глиняная миска, рваное покрывало. В руках у неё свидетельство судебного врача, оправдывающее «Акционерное общество по добыче свинца».

### «Чете»

Большевик привёл нас в свою камеру. Мой товарищ взялся обучить его грамоте, и он от нас не отходит ни на шаг. В школе ему никогда не приходилось учиться, но схватывает он всё очень быстро. Это живой, смыслённый парень с упрямым характером, большой любитель поспорить. При случае может и подражаться. Арестанты любят его. Он вовсе неиспорчен, хотя в тюрьму попал ещё совсем мальчишкой. Только разве что научился курить да появились залихватские замашки беспризорника.

Вместе с Большевиком в камере сидит мальчик. Ему лет двенадцать. Он был связным сражающегося в горах крестьянского отряда Нусрета. Его схватили и жестоко избили жандармы. Он бежал и вскоре в городской мечети застрелил из револьвера одного из самых жестоких здешних ростовщиков Перили. В тюрьме его прозвали «Чете» — Партизан. Большевик заботится о Чете как старший брат. Чете тоже хочет учиться грамоте. Он раздобыл тетрадь, карандаш, выучил с нашей помощью алфавит. Первое слово, написанное им, было — Чете.

### Ворон ворону глаз не выклюет

Большевик и мой товарищ растянулись на обрывках старой циновки. Они лежат так близко друг к другу, что кажется — светлые волосы моего товарища переплелись с чёрными волосами Большевика. Между ними разгорелся спор. Чете слушает их, раскрыв рот.

— Ты говоришь, что правительство наше — правительство богатых помещиков, толстопузых ага. Суды, жандармы у них в руках. Так?

— А разве нет, Большевик? Кто в этой тюрьме сидит? Всё бедняки — крестьяне, рыбаки, ремесленники...

— Нет, постой! Ты говоришь, бедняки. А Калафатчи? Он ведь торговец! Да ещё член народно-республиканской партии. А ты мне говорил, что эта партия — партия богатых.

— Прежде всего богатых в тюрьме — два-три человека. И сидят они за то, что других богачей ограбить хотели. Один из них, сын фабриканта, ограбил своего отца. А ведь власть богатых держится на частной собственности. И если кто-нибудь поднимет руку на капитал, на собственность — будь то внук, сын или отец, — тут у них жалости нет.

Большевик удивлённо смотрит моему товарищу в лицо. «Частная собственность»? «Капитал»? — этих слов он не понимает. У него-то нет ни кола, ни двора.

— А что до народно-республиканской партии, так ты на название не смотри. Эта партия — враг народа. Кто в ней состоит? Банкиры, помещики, фабриканты, крупные торговцы, феодалы, кулаки, продажные журналисты, чиновники, адвокаты... Заправляют же всем крупные богачи, помещики, купцы. Правда, и между ними бывает прызня.

— Пёс с ними, пусть грызутся!

— Верно. Ведь спор-то у них из-за нашей шкуры — кто больше урвёт. Посмотри, вот хотя бы на этом побережье — Матараджи, Балта,

Курдоглу, Кефели и другие деребеи как будто друг друга терпеть не могут. А против крестьян, против бедняков все они заодно.

— Ворон ворону глаз не выклюет.

— Эти птицы похуже ворон. Возьми хоть Калафатчи. Был ростовщиком. Потом захотел, мерзавец, у крестьян деревни Халдоз отобрать апельсиновые роши. Но у Матараджи рука оказалась покрепче. Роши он себе отхватил. Тогда Калафатчи исподтишка крестьян на Матараджи натравливать стал. Сейчас они в «камере голых» от голода сохнут. А Бестыжий Глаз Калафатчи и в тюрьме, как бей, живёт. Матараджи давно уже перестал его преследовать!

— Это верно. Я эту свинью Калафатчи знаю. Второй начальник тюрьмы! Его часто домой пускают по ночам. Из-за него здесь два убийства уже было. А сейчас он на вас натравливает. «Коммунисты — неверные, москали. Они, говорит, ни народа, ни отца, ни жены не признают».

Незаметно разговор меняет направление. Большевик начинает рассказывать о рыбной ловле.

### «Депутат» меджлиса

Проходит несколько дней. Снова идёт дождь. Низко стелются тучи. Тюрьма погружается в полумрак. В такие дни арестанты не выходят из камер. Всё словно вымирает. Неожиданно тишина нарушается неистовой бранью. Шум, крики.

— Сводник... Душепродавец... Развратник... Зачем к мальчикам пристаёшь!

Красивый, стройный юноша вместе с Большевиком вытаскивает на террасу Калафатчи. Они пинают его ногами, тычут кулаками под бок.

Из всех камер выскакивают заключённые. Сутолока. Ругань стоит двенадцатиэтажная. Седобородый высокий арестант кричит:

— Не убивайте его, не пачкайте рук! Лучше опозорьте его!

Коричневая, бесстыжая рожа Калафатчи становится белой, как саван. Заключённые снимают с него штаны и вешают ему на шею. Днищем кастрюли мажут физиономию, вытаскивают во двор. Все плюют ему в лицо. Идёт дождь. Но Калафатчи несколько не стыдно — он рад, что остался жив.

Мы даже не предполагали, что Большевик такой сообразительный, ловкий парень. Сказывается, он давно знал о грязных пороках Калафатчи и выжидал удобного случая, чтобы расправиться с ним. Он договорился об этом с молодым лазом Типуки. Когда Калафатчи стал приставать к бедному крестьянскому парнишке, которого он взял себе в «услужение», Большевик и Типуки поймали «господина ростовщика» на месте преступления и опозорили его перед всей тюрьмой.

Этот манёвр Большевика расстроил планы охранки и прокурора, которые хотели натравить на нас наиболее забитых и озлоблённых арестантов. Теперь они уже не так легко верили клевете, на которую не скупился Бестыжий Глаз, чтобы очернить нас.

Через несколько лет мне пришлось ещё раз натолкнуться на имя Калафатчи.

Когда в последние годы почва стала уходить из-под ног народно-республиканской партии, а от авторитета Иненю не осталось и следа, в Турции стали сколачиваться новые партии, одна реакционнее другой. Это делалось для того, чтобы предотвратить окончательно банкротство реакционных правящих кругов и облегчить им маневрирование. Баяр и К° создали тогда так называемую демократическую партию.

И что бы вы думали?! Калафатчи стал одним из самых рьяных зазывал этой партии. Он выступает на площадях с громовыми речами, превозносит до небес американскую «помощь», рассуждает о «нравственности» и «чести». Баяру он настолько пришёлся по вкусу, что, как сообщали газеты, его прочили в директоры анкарского радио. Но недавно он получил ещё более высокий пост — он стал с помощью американских поджигателей войны депутатом в турецком меджлисе.

### Поём песни

По требованию прокурора слушание нашего дела всё откладывается. Теперь нас водят в суд по ночам. В зал заседаний никого не пускают. Решено вести наш процесс при закрытых дверях. Но это не судебное разбирательство, а полупантомима. Судьи задают вопросы — мы молчим. Прокурор попрежнему настаивает на смертной казни.

В тюрьме нам пока ещё разрешают быть вместе со всеми арестантами. Но, кажется, это продлится недолго.

Два месяца мы спали на голых досках. Потом заключённые лазы подарили нам мохнатую бурку. И сейчас мой товарищ спит, завернувшись в неё.

Задумавшись, я стою у железной решётки окошка. Как быстро меняется погода здесь, на побережье! Только что лил дождь, а сейчас солнце играет лучами, сверкает бликами на морской волне...

Тихо насвистываю Будённовский марш.

Звон цепей выводит меня из задумчивости. На пороге камеры стоят наши соседи-смертники. Проснулся и мой товарищ.

— Заходите, Капитан! Что вы стоите на пороге?

— Вы бы спели песню коммунистов, которую вчера вечером мы слышали. Только через стену слова не могли разобрать.

— Да садитесь же, друзья! Споём, если хотите, и песню коммунистов.

Голосом меня природа не наградила. Товарищ любит посмеяться над моим пением. Но чтобы отвести душу, то он, то я будим среди ночи друг друга и, забывая обо всём, поём, поём наши песни. Сейчас, чтобы исполнить желание Капитана, мы затягиваем вполголоса:

Зная, ведущее нас, — Ленинизм!  
Под сенью знамени,  
Вперёд со знаменем —  
Оно ведёт в священный бой!  
Разрушив этот мир,  
Построим новый мир,  
Всех угнетённых поведём за собой!

Мы поём всё громче и громче. Песня рвётся сквозь решётку на волю. Арестанты из других камер набиваются в нашу тесную клетку. Замирают шаги на дворике. Тюрьма замирает. Мы запеваем песню забастовщиков Измира, но во дворе уже раздаются резкие свистки жандармов.

— Прекратить пение! Марш по камерам... по камерам!

Начинается вечерняя переключка. Надзиратели пересчитывают арестантов. Но в этот вечер творится что-то необычное. На переключку пришли прокурор, начальник тюрьмы и начальник жандармерии. Сначала распикивают всех арестантов по камерам, потом вызывают по одному и обыскивают. После обыска выстраивают во дворе.

Несколько жандармов и надзирателей обходят камеры. Вдруг один из жандармов орёт:

— В постели Большевика найден нож.

— Взять Большевика и Типуки! — приказывает жандармский офицер. — Бросить их в карцер!

Офицер постукивает хлыстом по голенищу. Начальник тюрьмы шёлкает табакеркой и отправляет в нос огромную понюшку табаку. Калафатчи — Бесстыжий Глаз, ослабившись, смотрит на прокурора. Мерзавец мстит.

Арестантов снова загоняют в камеры. Закрывают двери, задвигают засовы. Темнеет. Мой товарищ широкими шагами меряет камеру. Ершит свои рыжие кудри — кажется, что они встали дыбом; бормочет что-то про себя, несколько раз повторяет сложенные им строки:

Среди безмолвия —

молчим...

Но патрон, лежащий в стволе, и в молчании страшен.

И не слышится голос другой на земле.

Сильней, чем молчание наше!

Во дворе раздаётся звон кандалов. Мы бросаемся к решётке. Свет тусклых фонарей отбрасывает на стену две качающиеся тени. По теням, по походке узнаём Большевика и Типуки. Их ведут в карцер.

### Удав и гиена

Медленно тянутся дни в тюрьме. Прожить до вечера день — один из многих бесконечных дней долголетнего заключения — бывает так же трудно, как растопить смолу теплом своего дыхания. Как тяжёлые паруса в безветренную погоду, повисло время на часовых стрелках.

На первый взгляд все дни похожи один на другой. Но неверно думать, что в четырёх стенах тюрьмы жизнь не идёт вперёд. Нет, и среди этих сырых камней продолжается борьба.

Тусклый мигающий свет ночника режет глаза. Неожиданно дверь камеры распахивается. Входят жандармский офицер и старший надзиратель. Обращаясь ко мне, офицер говорит:

— Одевайся! Господин вали<sup>1</sup> требует!

Собственно говоря, мне не нужно одеваться, только натянуть туфли. Товарищ молча смотрит на меня. Наверняка у него в голове, так же как и у меня в тот миг, мелькают одни и те же тревожные мысли.

Под конвоем выхожу из тюрьмы. Особняк вали стоит на берегу моря. Каменное здание увито плющом. Вокруг — дикие вишни, магнолии. В порту сверкают огни пассажирского парохода. Если бы не эти огоньки, можно было подумать, что находишься в лесу. Свежий воздух ударяет мне в голову.

Жандармы останавливаются у ворот особняка вали. Офицер пропускает меня вперёд. Поднимаемся по лестнице.

У высоких дверей стоит полицейский комиссар. На каждой створке — резные вензеля султана Хаида. Входим в просторный кабинет. Большие окна выходят на море, на полу — ковры. Старинные письмены и роспись на потолке и стенах. Старое кресло султанского губернатора. Кемалисты — эта кучка политических спекулянтов, представляющих интересы крупной буржуазии и помещиков, оставили в неприкосновенности государственную машину султанов. Они только навели на ней республи-

<sup>1</sup> Вали — губернатор.

ликанский глянec, наклеили на этот аппарат насилия и произвола лишь этикетку «Т. С.» (Türkiye Cumhuriyeti — Турецкая республика). Губернаторы, генералы, судьи, чиновники, офицеры, полиция и жандармерия — всё это осталось от старой монархической Турции.

Темнолицый старик с жирной, в несколько этажей шеей и обвисшими щеками развалился в глубоком кресле. Сразу узнаю в нём вали. Его прозвали Толстопузый Араб. Рядом с ним прямо, словно проглотив палку, сидит сухопарый блондин с сигаретой в зубах. У него взгляд голодной гиены. За спиной у меня стоит офицер.

Вали с шумом пьёт кофе, вертит чашку на кончиках пальцев, словно собирает показывать фокусы. Этот мешок мяса давно уже снискал себе репутацию жестокого палача. В Артвине и Арданоше по его приказу тысячи армян — женщин, стариков, детей — были сброшены с обрыва и утоплены в реке Чорух. Он злейший враг лазов. Сколько лазских деревень он сжёг! До сих пор стоят развалины села Джано. Этот вали — один из кровавых насильников, чьими руками анкарские правители осуществляют свою политику тюркизации национальных меньшинств.

Я стою перед столом. Вали и сухопарый разглядывают меня с ног до головы. Я же смотрю им прямо в глаза. Не знаю, с какой стороны они набросятся на меня.

Туша вали пошевелилась и голова его выдвинулась вперёд. В этот момент он чем-то напоминает удава. Но я перед ним не кролик. Наконец губы вали задвигались:

— Кто такой коммунистическая партия? — хрипит он.

«До старости дожил, а ума не нашёл», — чуть не вырывается у меня. Но я сдерживаю себя. Отвечаю спокойно:

— Судя по вашему вопросу, это должен быть какой-то человек.

В разговор вмешивается сухопарый. Тычет мне в нос бумажку величиной с ладонь:

— Смотри, это ваши, твои товарищи писали!

И быстро убирает листок. Я успеваю разобрать только жирные буквы в конце и в начале: «К трудовому народу»... «Коммунистическая партия». Прокламация!

Сухопарый уставился мне прямо в глаза. Потом берёт со стола фотографии, показывает одну за другой и не переставая спрашивает фамилии, имена.

— Не знаю, не узнаю, — отвечаю я.

— Они признались, что знают тебя. Смотри, вот их показания.

— Неправда. Всё это ложь!

— Ладно, отрицай, отрицай. Всё равно свою шкуру не спасёшь.

Ясно, что, вызвав меня на допрос среди ночи, они хотят просто взять меня на пушку. Если бы у них в руках действительно были козыри, они бы не так разговаривали.

Листовка радует меня — значит работа не ослабевает. Но имена, которые мне называют, и фотографии заставляют больно сжаться моё сердце. Значит снова были аресты.

Вали ещё больше откидывается в кресле. Смотрит то на меня, то на фотографии. Потом на прокламации. Корчит гримасу и, обращаясь к стоящему позади меня офицеру, хриплым голосом цедит:

— Убрать!

Когда мы выходим из кабинета, сухопарый бросает мне вслед поговорку:

— Путник не минует караван-сарая!

### «Англичанин Зия»

И действительно, мне пришлось ещё раз с ним встретиться, и я, забега вперёд, расскажу, как это было. Но прежде всего несколько слов о нём самом. Он оказался начальником отдела по борьбе с коммунизмом управления безопасности — турецкой охранки — и был известен под кличкой «Англичанин Зия». Ещё во время оккупации Стамбула войсками Антанты в 1919—1922 гг. он был активным членом «Общества друзей Англии». Работал на Интеллидженс сервис под началом полковника Максвелла, руководившего тогда английской разведкой в Стамбуле. Сколько патриотов было замучено в то время в подвалах Арапьянхана, где размещалась английская разведка! Их всех предал Англичанин Зия.

Когда я второй раз встретился с Англичанином Зия, меня привёл к нему Беспалый Хамди. На одном из процессов над коммунистами в Стамбуле Беспалый Хамди показал под присягой, что он работает в охране уже 36 лет и является одним из руководителей отдела по борьбе с коммунизмом. Во время оккупации Стамбула он работал в американской военной полиции. Стамбульская охранка тогда, так же как и сейчас, помещалась в здании Санасарьянхана. Тогда эти продажные шкуры, эти английские и американские холуи пытали патриотов в подвалах Санасарьянхана так же, как они пытаются сейчас коммунистов в камерах верхних этажей. Англичанин Зия, Беспалый Хамди, Рыжий Кемаль, Чёрный Кемаль и другие выродки, садисты, иуды — вот столпы «Безопасности» Турецкой республики.

Моя вторая встреча с Англичанином Зия была совсем не похожа на первую. Она произошла в Стамбуле. На этот раз и «декорации» были другие. По стенам мрачной комнаты выстроились полицейские в штатском с длинными дубинками в руках. На полу в луже крови человек — сразу не поймёшь, живой или мёртвый. Его спрашивают, узнаёт ли он меня, обливают холодной водой, но привести в сознание не могут. Поднимают за руки, за ноги, уносят.

Англичанин Зия накидывается на меня, но первым же ударом я сбиваю его с ног. Тогда на меня набрасываются со всех сторон, чем-то тяжёлым ударяют по затылку...

Когда я прихожу в себя, вижу, что один глаз у Англичанина Зия распух. Он щипцами рвёт моё тело и гасит горящие сигареты в моих ранах. Руки у меня связаны.

Каждый день он выдумывает новые пытки. Так продолжается неделями.

Однажды ночью Англичанин Зия устроил мне очную ставку с текстильщицей Зийнет.

— Знаешь его? — спрашивает он женщину.

— Нет, не знаю, — спокойно отвечает она.

Англичанин Зия приходит в бешенство. Обернувшись к стоящему рядом Беспалому Хамди, говорит:

— У этой потаскухи грудной ребёнок. А ну-ка!

Кемаль Рыжий и Кемаль Чёрный набрасываются на Зийнет, рвут на ней одежду. Обнажается грудь женщины. Беспалый Хамди длинными булавами прокалывает Зийнет груди. Кровь брызжет на пол. Но губы работницы выговаривают только два слова:

— Не знаю.

Англичанин Зия садится на стол, поднимает трубку телефона, звонит домой в Кадикей. Любезничает с женой.

Работница Зийнет теряет сознание, падает. Я изранен, не могу подняться на ноги. Ругаюсь от бессилия. Зийнет стонет.

Эту женщину я вспоминаю с глубоким уважением, как свою мать.

Она меня знала так же хорошо, как своего новорождённого сына. В её доме собирался комитет, руководивший совместной стачкой текстильщиков и табачников Стамбула.

Через несколько лет ранним утром у одной из литейных мастерских в Стамбуле на крутом подъёме из Юксекалдырыма в Куледиби столпились прохожие. На ступенях мостовой головой вниз лежал труп. Чёрная кровь стекала по камням. Казалось, труп был подвешен вверх ногами. Оскаленный рот блестел фальшивыми зубами. Прямо в сердце был воткнут большой брусский нож. Это был труп матёрого провокатора, выдавшего Зийнет и многих других революционеров Англичанину Зия.

### Наше единственное оружие

Под охраной жандармов возвращаюсь от вали в тюрьму. Начинает светать. Мы входим во двор. Товарищ стоит у окна, прислонившись лицом к решётке. Как только я переступаю порог, он бросается ко мне. Мы обнимаемся. Рассказываю, что было у вали. Ложимся, и я забываюсь в беспробудном сне.

У этой тюрьмы были свои странные особенности: хотя каждый день здесь производят обыски, у арестантов имеются ножи и даже револьверы. Гашиш продают как будто из-под полы, но курят его открыто. Поставщиков контрабандных товаров много. Все замешаны в торговле, вплоть до начальника тюрьмы и начальника жандармерии. Но книги и газеты в тюрьму не проникают. Во-первых, среди арестантов почти нет грамотных. А во-вторых, для властей куда прибыльней да и сподручней дать арестанту в руки нож и одурманить его опиумом. Попад в тюрьму, крестьяне до суда непрерывно молятся, а после приговора запоем курят гашиш. Постепенно они опускаются морально и физически.

В этой тюрьме на берегу моря мы сидим уже три месяца и пользуемся сравнительной «свободой». Днём нас даже выпускают во двор вместе с другими заключёнными. Но нам до сих пор не удаётся получить газеты или книги. Мы ничего не знаем о том, что происходит в мире. Мы не можем пока использовать для этой цели симпатизирующих нам арестантов, потому что нам стали известны коварные планы врага.

А бывало и по-другому. Вспоминаю своё заключение в старинной крепости на скалистом берегу Тигра. Вот уж место, куда поистине, как говорят, птица не долетит, караван не дойдёт. Это — Курдистан, который кемалисты покрыли развалинами и залили кровью.

Вокруг каземата, в котором мы сидели, — четыре стены двухметровой толщины. Даже в самой тюрьме мы были совершенно изолированы от остальных заключённых. За пять лет нас ни разу не выпускали на прогулку во внутренний двор. Управление безопасности установило за нами специальный надзор. Начальник охраны Тывковоловый Осман любил хвастать, что в эту крепость даже муха без его ведома не пролетит. Среди политических заключённых было полно провокаторов. Мы не прекращали борьбу с ними ни на минуту в течение долгих лет. Строжайшая партийная дисциплина, нерушимое сознание высокого звания коммуниста — вот что было нашим единственным оружием.

И в этих условиях мы нашли способ связаться не только с заключёнными курдами, но и с курдскими крестьянами на воле. Представьте себе, мы сумели, несмотря на толстые стены и семь кованых железных дверей, отделявших нас от воли, пронести в крепость «Вопросы ленинизма» и «Об основах ленинизма». Мы не только сами читали и

изучали книги товарища Сталина, но даже сумели передать их нашим товарищам, заключённым в анкарской тюрьме...

А здесь? Тюрьма — у причалов порта. Из-за решётки мы видим, как прибывают и отходят почтовые пароходы. Только видим. Но мы не только ничего не знаем о том, что происходит в мире, мы не знаем даже того, что происходит у нас под боком, на побережье. А в это время в Самсуне бастовали рабочие, были столкновения с полицией и жандармами. В Эрегли забастовщики бросили в море провокатора, который подговаривал их выйти на работу.

Из стамбульской тюрьмы к нам перевели сапожника Нури. Смешливый парень. Держится ухарем. Говорит на невероятном жаргоне грузчиков Галаты и ремесленников Аксарая<sup>1</sup>. От него мы узнали, что в стамбульской тюрьме около ста коммунистов объявили пятнадцатидневную голодовку. Среди них были и женщины. Сообщения о причинах голодовки и требования заключённых попали в газеты. Товарищей заковали в кандалы. Однажды при выходе из суда у них завязалась схватка с жандармами. Многие были ранены. Нури называл нам знакомые фамилии.

Теперь стал понятен ночной вызов к Толстопузому Арабу.

От Нури мы узнали также, что наши фотографии появились в газетах с подписью: «Коммунисты, которым грозит смертная казнь». Это ещё больше расстраивало планы прикончить нас в тюрьме. Народ узнал, что мы арестованы. Стало ясно, почему прокуратура всё откладывает наш процесс.

Но мы тоже не сидим здесь сложа руки. Мы собираем вокруг себя людей. За долгие годы пребывания в тюрьмах мы кое-чему научились.

### 7 ноября

В нашей тюрьме сидит арестант, которого зовут «Кузнец Али». Это степенный, уважаемый всеми человек. Высокого роста, темноволосый, с изрытым оспой лицом, он носит островерхую папаху, напоминающую головной убор дервишей Мевлеви и длинную чёрную энтари — рубашку, служащую одновременно и халатом. Али не выпускает трубки изо рта. В тюрьму он попал за неуплату налогов.

Кузнец Али очень привязан к Капитану Осману и весельчаку Экшиоглу. Целыми днями он не отходит от них. Сегодня Али зазвал нас к себе в камеру. Заказал всем своим товарищам и нам кофе. Покручивая мозолистыми пальцами длинные, словно заиндевевшие седые усы, он мягко говорит:

— Наше ремесло трудное, грязное. Выделка кож тоже. Зато славные, весёлые вещи мы делаем. Нагрев и закалка стали ведь это одно удовольствие! Кто ещё сможет выделать такой кисет с узором на коже, как наш Экши?! А работа ткача? Вот это искусники! Мы любим свой труд, своё ремесло, но в нашей богом проклятой стране оно даже семью прокормить не может. А ведь могло бы быть иначе...

Кузнец задумывается, медленно выбивает трубку и вдруг, повеселев, продолжает:

— Чтобы не соврать, было это... в ноябре девятнадцатого года. Англичане и американцы давно уже вошли в Стамбул. Появились они и у нас на побережье. Возвращались пленные. Помню, тогда живы-здоровы вернулись седельник Мехмед, котельник Хамид, мастер по парусам Дурмуш. Каждый вечер собирались мы у кого-нибудь в доме. Они рас-

<sup>1</sup> Районы Стамбула.

сказывали нам без конца: в России свалили царя, поднялся народ. Впереди пошли рабочие. Во главе стали коммунисты. Главного зовут Ленин. Рассказывали люди — он очень справедлив. Беев прогнали, землю роздали крестьянам. Устроили Советы и сказали: «Пусть все народы, сколько их ни есть на свете, живут по-братски».

В это время стали объявлять по городу — скоро будут выборы в муниципалитет. Как только эта весть разнеслась по рынку, бывшие пленные решили — сделаем Советы у себя, и весь сказ! Заохотили они и нас к этому.

— Хватит, нaтерпелись! Не хотим над собой ни кулаков, ни беев!

Не успели мы подумать, что к чему, как однажды утром, только я стал открывать ставни своей мастерской, глядь — является котельник Хамид.

— Закрывай ставни, Али!

— Что случилось?

— Будем делать Советы!

Собрались все наши ремесленники. Достали красное знамя. Такое же, как наш турецкий флаг, только без полумесяца и звезды. Вместо них были огромные серп и молот. Знамя это дали мне в руки и сказали, чтобы я не снимал фартука. Все нацепили красные ленты — кто в петлицу, кто на башлык. И отправились на Узунчарши через Шейтанпазар. Шли и кричали: «Да здравствуют Советы!»

Не успели мы подойти к дому вали, как на площади у крепости загрешили выстрелы. Я несу знамя высоко над головой, как покрывало невесты... Завидев нас, купцы позакрывали лавки — и удирать...

Тогда в нашей округе действовал небольшой повстанческий отряд. Его возглавлял один дезертир по имени Кечели. Был он так зол на Энвера-пашу, что если б тот попался ему в руки, разорвал бы его на куски. Крестьяне очень любили Кечели. А многие из нас знали его — он доводился родственником нашему седельнику Мехмеду.

Оказывается, наш тайком от всех дали весть Кечели, и он спустился с гор со своим отрядом. Первым делом отряд напал на тюрьму. Распахнули настежь ворота этой вот самой тюрьмы, где мы с вами сидим сейчас, всех выпустили. Мы же ворвались в дом вали. Но его уже и след простыл.

Знамя я всё время нес на плече. Освобождённые из тюрьмы просят: «Дай мы понесём!» Но я не отдал. Смотрю — в толпе всё больше и больше с оружием.

Ворвался народ и в суд, прямо в зал заседаний. Как раз в это время судья говорит крестьянину:

— Приведи свидетелей!

Кечели вскочил на место судьи и заорал во весь голос:

— Вот они свидетели, пришли!

Суд разогнали, а крестьянину говорят:

— Иди, дядя, бери свою землю.

А он всё стоит и растерянно оглядывается по сторонам.

В тот день до вечера улицы были полны народа.

— Собирайтесь все, устроим Советы! — сказали мы людям.

Жандармов и властей след простыл. Никто из богачей на улице не показывался. На следующий день начал валить народ из соседних деревень. Голод тогда был. Для бедняков открыли мы склады, стали раздавать кукурузу, соль. Составили списки в Советы. И меня кандидатом записали. Обязательно выберем, говорят.

Весь наш ремесленный рынок поднялся. Но мы ничего не знали, что

делается даже в соседней деревне Фетекоз. Тюрьму открыли, а поместья дереебеев не тронули...

Прошло три дня. В этот день мы должны были выбирать Советы. Но из Трабзона против нас выслали войска. Они вошли в город, началась стрельба, аресты. Мы ушли в горы, на Демирдаг. Долго мы ещё носили оружие. Правительство не больно гонялось за нами. Началась война за независимость, и мы ушли на фронт...

Так и не выбрали мы Советов. Правду говорят: куй железо, пока горячо. Но кто берётся за дело, как мы, без всякой подготовки, у того всегда по усам течёт, а в рот не попадает. Конечно, никто в материнской утробе не научится Советы делать. Но как бы там ни было, хоть один день, а были мы сами себе хозяева!

Я передаю рассказ Кузнеца Али так, как он запечатлелся в моей памяти.

А старик недаром собрал нас и рассказал обо всём. Сегодня — 7 ноября. Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Мы с товарищем встречаем её на этот раз в приморской тюрьме с Кузнецом Али. А было время, когда этот день мы отмечали в бетонных подземельях Мардинской крепости. Мы были под землёй, но на ногах! Из казематов далёкого Диарбакыра мы рапортовали нашему народу: «Мы в пути, мы готовы к борьбе».

### Верность долгу

Октябрьская революция в России землетрясением прошла по всему миру, всколыхнула колониальные и зависимые народы. Поднялся на борьбу против гнёта англо-американских империалистов, разделивших тогда между собой Анатолию, и турецкий народ. Слабый, ещё не успевший созреть, турецкий капитализм, испугавшись народного движения, разродился кемализмом — верхушечной буржуазно-националистической «революцией». Обстановка сложилась так, что народные массы — рабочие, крестьяне — сражались с интервентами и умирали, а власть захватили капиталисты и помещики.

Нечего скрывать, во время нациснально-освободительной войны 1919—23 гг. рабочий класс Турции был малочислен, неорганизован, неопытен. Компартия делала ещё только первые шаги. Главные промышленные центры страны были оккупированы Антантой. Всё это привело к тому, что народные массы вышли из войны с пустыми руками.

Кемалисты только под давлением взявшихся за оружие народных масс были вынуждены тогда принять участие в национально-освободительной войне. Но уже с самого начала они исподтишка вступили в торг с империалистами и никогда не отказывались от сговора с ними.

Придя к власти, кемалисты обрушили беспощадный террор на рабочий класс, на коммунистическую партию, на патриотов. Их террор усиливался каждый раз, как только они вступали в новый сговор с какой-нибудь из империалистических группировок. В самые тяжёлые дни национально-освободительной войны кемалисты всадили нож в спину турецкому народу — они зверски убили вождей коммунистической партии, подлинных защитников национальных интересов Турции. Не случайно эта кровавая драма на Чёрном море разыгралась в те дни, когда прибывший из Вашингтона американский генерал Харборд вёл «частные переговоры» в Анкаре.

С первых дней своего прихода к власти и донныне торгуют кемалисты национальной независимостью и суверенными правами народа.

Всё это для них давно стало лишь разменной монетой для сделок на империалистическом рынке.

Теперь анкарские политики готовятся к новым военным авантюрам. Отдав страну на откуп американским империалистам, кемалисты мечтают о «Великой Турции!» Расстелив перед собой карты авантюриста Энвера, они бредят: «Мы перейдём Кавказские горы. Мы выйдем к берегам Дуная!». Главари турецких фашистов — пантюркистов на каждом перекрёстке кричат, что они готовы к войне против Советского Союза и стран народной демократии. Но обнаглевшие янычары американского империализма в своих планах не учитывают самого главного — волю трудящихся масс.

Мы, коммунисты, будем до конца верны пролетарскому интернационализму. Мы будем разоблачать врагов, будем беспощадно бороться против всех, кто готовится напасть на «друга чёрных дней турецкого народа» — Советский Союз.

Свой долг мы сможем выполнить лишь при условии нашей нерушимой связи с массами, если мы сумеем организовать массы, непрестанно разоблачая предательскую роль антинародной клики, засевшей в Чанкая (резиденция президента. — *Прим. перев.*), и её авантюристические военные планы.

### Орёл, закованный в цепи

Уже много дней мы с товарищем подробно обсуждаем национальную и крестьянскую проблемы Турции. Очевидно, под впечатлением этих разговоров меня гложет сегодня необоримое желание — послушать мою любимую оперу «Иван Сусанин». Я говорю об этом товарищу. Он вздыхает, улыбается:

— Многого же ты хочешь! Я, например, согласен даже на вальс Штрауса...

Снова идёт дождь. Низко нависли чёрные тучи. Кажется, будто наступили сумерки. На дворике никого нет. Я спускаюсь вниз в камеру горцев. Сюда почти никогда не проникает солнечный свет. Сегодня же здесь темно, как в колодеце. Дежурный зажигает висащие на стенах жестяные светильники. Их красные язычки едва освещают камеру. Арестанты сидят на корточках на самом краю длинных нар. Горцы почти всегда сидят так. Сейчас они напоминают больших птиц, усевшихся на скале. Гордый орлиный взгляд... Когда они шевелятся, на потолке, на стенах в красноватом свете коптилок колышутся неясные тени, и кажется, будто эти огромные птицы расправляют крылья.

Я подхожу к крестьянину Шабану, присаживаюсь рядом с ним на циновку из грубой овечьей шерсти. Этот крестьянин любит нас не меньше, чем Большевик. Он сидит на корточках в самом углу нар. У него резкие, заострившиеся черты лица. Глаза неподвижно устремлены на решётку узкого окошка, скорее похожего на щель бойницы. Монотонно и плавно он поёт дестан:

У мечети я руки в крови обагрил,  
У стены крепостной я врага сторожил,  
По жандармам немало пуль я пустил...

Дестан длинный, и я его почти забыл.

— Скажи, Шабан, кто сложил этот дестан?

— Девушки нашей деревни про меня так пели.

Я слушаю его рассказ:

— Наша деревня на речке Фыртына стоит. От моря очень далеко. Когда там мой дед поселился, не знаю. В нашей деревне дворов шесть-

десять, а разбросана так, что пяти домов рядом не увидишь. Земли у нас мало. Поля — на отвесных скалах. Наш клочок тоже в горах. Кроме ячменя да кукурузы, ничего не родится. Все заливные поля по речке у богатеев.

Было это два года назад. Весна начиналась. Эх!.. Я тогда только из армии пришёл. Забрали меня подорожный налог отработать — камень разбивать. Вернулся. В поле мы с женой работали. Солнце уже спускалось. Вдруг слышу голос отца. Потом он и сам показался. Рвёт свою бороду, глаза налились кровью.

— Нурикоглу, это только кровью смывают, кровью! — кричит.

Мы остолебнели.

— Что случилось? Говори скорей!

— Пришёл сборщик налогов, а денег нет. Забрал котёла, а штаны твоей жены на дверях мечети повесил... Шабан! Такой позор кровью смывают, кровью!

В голове у меня зазвенело, земля ушла из-под ног. Что потом было? Толком не знаю. Помню только, как у дяди в доме я набивал патроны за пазуху.

Погода вдруг изменилась. У нас здесь всегда такая погода. За один час дождь пройдёт, ветер поднимется, потом снова солнце откроется.

Мечеть стоит далеко от нашего дома. Темнеть уж начало, вот как сейчас. Шёл я — ничего не видел. Когда подошёл к мечети, дождь бил как палками. Из комнаты под модельней доносились голоса. Я подошёл к окну. Первое, что увидел, — развешанные на палке у очага штаны моей жены. Сборщик продавал их, а ага набивал цену. В комнате было полно народу. Все шумели. Ага смеялся. Помню, кто-то сказал:

— Срам какой!

Потом все поднялись. Первым вышел сборщик. Я отступил назад, за камень, на который гробы ставят. За сборщиком показался ага. Он держал в руках штаны и громко смеялся. Помню как сейчас только две вспышки из дула моей винтовки — и всё...

Глаза у Шабана расширились, горят.

— Обоих прикончил? — спрашиваю.

— Сборщик ещё жил немного. С его слов суд и присудил меня к смерти. А ага даже ахнуть не успел.

— Тебя сразу поймали?

— Не-е-т. Я в горах долго ходил. Дрался с жандармами. Карательный отряд наш дом сжёг. А своего отряда я не собрал. Не было у меня тогда товарищей. Вот если бы мне встретить того курда, который спас меня от жандармов, когда я из армии дезертировал и ранен был на реке Сахо! А один — не воин... Сын аги с жандармами засел на дороге. Я на их засаду напоролся, и не смог вырваться — ранен был.

Шабан вздыхает. На ногах у него кандалы. Он сидит на нарах, как горный орёл, закованный в цепи.

Красные язычки свечильников вытягиваются, растут. В камере тяжёлый, спёртый воздух — запах грязных тел, тряпья смешался с табачным дымом. Чахоточные арестанты то и дело раздражаются мучительным кашлем, харкают кровью.

День прошёл. Надзиратель уводит меня наверх. Запирают двери камер. На дворе свистки часовых разрезают темноту ночи. Шум волн бьётся о железные решётки.

### В девяносто девятый раз

Делиться пережитым — единственное развлечение заключённых. В ночной тишине под шум дождя товарищ рассказывает мне о бунте

курсантов военно-морской школы. Однажды утром, когда на учебном судне сыграли подъём, курсанты не поднялись с люлек. Они отказались от завтрака, не вышли на занятия, а дежурного офицера заперли в каюте. Дело стало принимать серьёзный оборот. Явился капитан и приказал выстроиться всем на палубе. Когда он спросил, чего они хотят, курсанты растерялись. Кто говорит — люльки обрываются, кто говорит — вилок, ложек нет. Только один не растерялся. Сделал шаг вперёд, отдал честь:

— Англичане и американцы, — говорит, — без спроса пришли в нашу страну. Так больше жить нельзя. Почему же вы даёте нам учебные винтовки без затворов?

Бунт закончился тем, что во время обеда каждому рядом с тарелкой положили сразу по паре ложек, ножей и вилок, а с тех, кто требовал оружия для борьбы с англо-американскими интервентами, сорвали жёлтые пуговицы с якорями и сняли мундиры (оставили только тельняшки). Под звуки горна им выдали свидетельства об увольнении с действительной службы и списали с корабля. Одним из этих изгнанных из флота был и мой товарищ.

— У меня тогда ещё молоко на губах не обсохло. Мне было всего семнадцать лет, — говорит он.

Эту историю я слышу уж не знаю в который раз! В тюрьме даже неразговорчивые люди по несколько раз рассказывают друг другу о своей жизни. Некоторые так часто повторяют свои рассказы, что они запоминаются наизусть. Не успеет кто-нибудь раскрыть рта, чтобы рассказать «интересный случай», как остальные перебивают его:

— Запишите: девяносто девятый раз! — и все разражаются дружным смехом.

Газет попрежнему не видим. О книгах нечего и говорить. Иногда начинаем мечтать — и вдруг самые далёкие звёзды кажутся совсем под носом. Будущее рисуется в солнечном свете. Жизнь становится ещё дороже. Мы ещё поборемся, мы ещё увидим свободную Турцию!

Разрушить эти стены, вырваться из каменного мешка, бежать из тюрьмы, снова бороться на воле — эти мысли беспрерывно сверлят мозг.

### Рассказы заключённых

Много интересных историй услышали мы в тюрьме от своих товарищей-коммунистов. Это целая воспитательная литература! По ним знакомишься с образцами смелости, находчивости, хладнокровия, дисциплинированности, отваги, инициативы — качеств, столь необходимых каждому коммунисту. Перескажу несколько запомнившихся мне историй.

#### «Белый поезд»

...В день Первого мая на улицах турецких городов запрещено появляться вместе даже трём рабочим. Полиция, жандармерия, воинские части приводятся в боевую готовность. В пригородах, на полях, пустырях, там, где могут проходить собрания рабочих, устраиваются военные манёвры.

Однажды в Адане утром Первого мая, в час, когда меняются смены, на фабриках зазвонили телефоны.

— Прибывает «Белый поезд»! Президент едет! Давайте гудок!

Загудели фабричные гудки. С криками «Кончай работу!» рабочие стали расходиться. Остановились станки. Народ высыпал на улицу.

Когда полицейские, услышав гудки, примчались в фабричный район Чарчабук — Курукепрю, на другом конце города — в Папазынбахчеси был устроен летучий митинг. Пока полиция, поняв в чём дело, прибыла

туда, митинг закончился, все разошлись, а красный флаг, который был водружён на одном из тополей, висел много часов.

#### «Громкоговоритель»

...По профессии этот парень — токарь. У него красивый высокий голос. Рабочие прозвали его «Громкоговоритель». Как-то в один и тот же вечер, в часы, когда меняются смены, он умудрился выступить на семи летучих митингах у ворот фабрик в разных районах Стамбула.

Когда начинает темнеть, его можно увидеть и в районе Касым-паша, и в Айвансараяе, и в Кызылчешме. В крестьянской одежде с ведром в руке бродит он по улицам рабочих предместий и с азиатским акцентом звонко кричит:

— Соленья... Соленья-я-я... Кому соленья?!

Ходит он очень быстро. Однажды преследовавший его пожилой сыщик свалился замертво от разрыва сердца. Не успеешь оглянуться, как Громкоговоритель со своими «соленьями» уже исчез. А на углах улиц, где он только что побывал, собираются прохожие, читают расклеенные на стенах листовки коммунистической партии.

#### «Бумажный Змей»

...За ним так и осталось прозвище «Бумажный Змей». Он шофёр. У него раскосые, как у китайца, глаза.

Произошёл этот случай во время крупных арестов и облав. В охранках тогда пытали, избивали, увечили тысячи рабочих. Министерство внутренних дел хвастало: «В Турции больше нет коммунистов». Но организации коммунистической партии назло врагу буквально через день выпускали прокламации.

В главном управлении безопасности «работал» тогда некий Мюджиб — типичный янычар. Во время пыток он приказывал класть людей на спину и приставлял им нож к горлу. Особенно издевался он над коммунистами из национальных меньшинств. Вообще в полиции коммунисты — греки, курды, армяне, лазы — подвергаются самым страшным пыткам и унижениям — и как коммунисты и как представители угнетённых национальностей.

Мюджиб ходил повсюду с огромной палкой. В кофейнях, на улицах, в лавках он хвалился, что может узнать коммуниста за сто метров.

Однажды, когда этот здоровенный охранник проходил по анкарскому рынку Караоглан, все прохожие оглядывались ему вслед: за ним на тонкой нитке, прицепленной к спине, летел, как бумажный змей, небольшой листок бумаги. Это была листовка, призывавшая к протесту против фашистского террора в стране... Её прикрепил к спине Мюджиба смельчак шофёр.

С тех пор его и прозвали Бумажным Змеем.

#### Комсомольцы

...Все трое они комсомольцы. Им по 18—20 лет. Один из них был арестован в Измире. В полиции, чтобы вырвать у него признание, его заставляли ступать босым по раскалённым углям. До сих пор он хромотает. Сажённого роста, здоровый, боевой парень.

— Ходить по горячим углям это тебе не по васильковому полю гулять! — говорит он.

Второй — хрупкого, нежного сложения. Был арестован во время стачки табачников в Самсуне. В полиции его сначала пытали голодом, потом стали кормить солёным хлебом и несколько дней не давали

воды. Этот хрупкий юноша смастерил из глинистого хлеба пятиконечную звезду, окрасил её кровью, сочившейся из ран, и наклеил себе на грудь.

Третий комсомолец — среднего роста крепыш. Однажды ночью в Стамбуле, в тот самый момент, когда он наклеивал в районе Бешикташ листовку на стену, перед ним вырос полицейский.

— А, попался, голубчик!

Комсомолец, нимало не смутившись, сунул в руку полицейского банку с клейстером, кисть и листовку.

— На, держи!

И пустился бежать. Только когда он завернул за угол, «фараон» пришёл в себя. Изо всех сил засвистел он в свою дудку, но находчивый парень был уже далеко.

### Тюрьмы не сломят воли к борьбе

Большинство турецких тюрем было построено ещё в средневековье. Это зловонные, заражённые паразитами склепы. С потолка нашей камеры дождём сыплются клопы. Мой товарищ ведёт с ними непрерывную войну. Гошнотворный запах раздавленных насекомых щиплет в носу.

В тюрьме Афьонкарахисара заключённые при свете ночников наваливали блох и нанизывали их на нитку, как бусы. В застенках Диарбакырской крепости нам причиняли много хлопот огромные скорпионы в 15—20 сантиметров длиной.

В Анкаре новая городская тюрьма построена рядом с кладбищем Джебеджи. Одиночки — это гробы из железобетона. Рядом с изголовьем привинченной к стене койки — параша. Сырость пронизывает до костей. Крысы до того нахальны, что вырывают из рук хлеб. Кемалисты хвастают, что турецкая столичная тюрьма не уступает американскому застенку «Синг-синг».

Город Мардин стоит на горе. Тюрьма там на сорок ступеней уходит под землю. Когда-то здесь была войсковая конюшня. Одиночки здесь — это железные клетки, под ними течёт вода. Мы видели, как в этих клетках угасают курдские и арабские юноши.

Измирская тюрьма находится в одном из оживлённых районов на пути к рабочим кварталам города. Камеры в ней располагаются одна против другой. Между ними длинный коридор без крыши. Мне пришлось сидеть в камере № 12. Голый цементный пол. В середине железной двери «глазок» величиной с кулак. Только через него и попадает в камеру дневной свет. Из щели под порогом стаями выползают муравьи. Вместе со мной в этих камерах сидело 55 закованных в кандалы коммунистов. Каждый вечер, когда по дороге за тюрьмой возвращались с заводов рабочие, мы, припав к отверстиям «глазков», пели Интернационал. Наши голоса, поднимаясь над тюремными корпусами, летели на волю. Сержант жандармерии, тряся толстым, как винная бочка, брюхом, кричал, заикаясь от злости:

— Перестать! Вот я вам покажу!

Часовые рассказывали, что прохожие останавливаются и слушают наше пение.

Кемалистам мало 460 тюрем. Они строят ещё и ещё. Турецкие фашисты похваляются, что новая тюрьма в Зонгулдаке — в одном из крупнейших рабочих центров страны — по своей «эффективности» превзойдёт даже крепость Бодрума, расположенную на скалистом полуострове, где в окна камер хлещут морские валы.

Почти в каждом селе кемалисты построили жандармский участок, в то время как в 23 тысячах из 38 тысяч турецких деревень нет даже начальной школы.

После начала второй мировой войны и по сей день коммунистов, патриотов судят только в закрытых гарнизонных судах и специальных военных трибуналах. Напуганная народным движением турецкая буржуазия провела через меджлис фашистский закон «о борьбе с коммунизмом».

Многие турецкие коммунисты были брошены в тюрьмы безусыми юношами, а выходили седобородыми стариками. Имена коммунистов, просидевших в тюрьме 15—20 лет, составили бы огромный список. Сотни коммунистов провели долгие годы жизни, скитаясь по этапам из тюрьмы в тюрьму, из ссылки в ссылку.

И тридцать лет коммунисты Турции перед лицом врага в судах и военных трибуналах, в тюрьмах и застенках полиции как клятву повторяют последние слова своего товарища Месуда, сказанные им перед казнью в 1920 году:

— Да здравствует коммунистическая партия Турции!

### Итти во главе!

В тюрьме появился новый заключённый. Он стоит на дворике и пугливо оглядывается по сторонам. У него такой вид, словно каждую секунду он ждёт нападения. По-турецки не понимает ни слова. Это лаз из Ардишена. Он совершил убийство на поле из-за связки риса.

Рисовые поля Турции... Они обильно политы кровью и потом, удобрены трупами батраков. В долине Марицы на плантациях помещика Карабекира и других батраки, как мухи, мрут от голода и малярии. Сельскохозяйственные рабочие не раз поднимались вместе с крестьянами против помещиков, жгли их усадьбы. Так было в уезде Кадирли. С восставшими жестоко расправляются карательные отряды. Но число стихийных крестьянских восстаний растёт из года в год. Особо знаменательным в этом отношении был 1949 год. По сообщениям газет за 6 месяцев этого года только в 22 губерниях страны произошло 323 вооружённых столкновения крестьян с жандармами, полицией и войсками. Крестьяне сжигали помещичьи усадьбы, амбары, хлева, угоняли скот, делили между собой землю. События, происходившие в районе Аданы в деревне Абдиоглу, в районе Караджабей в деревне Бакыркей убедительно показали, что чаша терпения крестьян переполнилась, что они стали на путь насильственного захвата помещичьих земель.

Помещиков обуял страх. Даже купленные ими борзописцы с улицы Анкары завывали: «Страну охватил пожар крестьянских волнений».

Миллионные массы крестьян за долгие столетия стосковались по земле. Ногтями, зубами, оружием будут добывать себе крестьяне землю. Но добудут они её при одном условии: если пойдут за коммунистической партией, если мы, коммунисты, встанем во главе движения, организуем и сплотим его.

Мы не можем стоять в стороне, в позе наблюдателей. Решение крестьянского вопроса в Турции — кровное дело турецкого рабочего класса и его авангарда — компартии. С какими только врагами в рядах партии нам не приходилось бороться! Сколько «течений» пришлось нам разбить. И со сколькими ещё предстоит беспощадно бороться! Кто только не выступал против нас: сектанты, хвостисты, ликвидаторы, антикрестьянские уклонисты, бонапартисты, авантюристы, болтуны, «салонные коммунисты». Однако все они сходились на одном: они хотели, чтобы коммунистическая партия плелась в хвосте у стихийного движения. Но Сталин учит, что идеология «хвостизма» — логическая основа всякого оппортунизма. Этого мы не должны забывать никогда.

### Пуговка на сердце

Сегодня у нас хорошее настроение: с Большевика и Типуки сняты кандалы. Оба парня очень ослабели, но дух их, кажется, только закалился. Мы завтракаем вместе.

Кузнец Али передал нам сегодня от не известного нам Мамоша Абдуллы судки, полные еды. Рассказывают, что Мамош — благообразный седобородый человек богатырского сложения. Прекрасный стрелок. В годы первой мировой войны он дезертировал из армии. Однажды, когда отряд жандармов под командой известного пантюркиста полковника Хамида вёл на расстрел группу армян из Ходуджура, Мамош с кучкой дезертиров напал на жандармов и спас армянских крестьян от смерти. Долго он водил их по горам, пока не переправил за границу. Теперь, говорят, ему уже перевалило за шестьдесят. Мамош увидел нас в суде в день первого заседания. Мы просили Кузнеца Али засвидетельствовать наше уважение этому благородному и храброму человеку и передать, чтобы он не доставлял себе больше хлопот заботами о нас. Однако присланную им еду мы съели с большим аппетитом.

Типуки всё смеётся:

— Начальник сделал вид, что помиловал нас. Но всё время выспрашивал, о чём вы говорите с арестантами. Ишь чего захотел, жирный мешок. Так мы ему и скажем! Ха!

Большевик смотрит на всё это серьёзно:

— Пока здесь будет Бесстыжий Глаз Калафатчи, нам с тобой ещё не раз придётся посидеть в кандалах.

После еды выходим на террасу. Арестанты лениво слоняются по двору. На мне темносиняя рубашка с короткими рукавами. Такие рубашки с карманчиком были одно время модны среди рабочей молодёжи. На кармашке маленькая пуговица с рисунком. Её мне подарил один болгарский коммунист. Сколько обысков мы прошли, сколько раз нас обшаривали с ног до головы, но пуговица эта сохранилась, хотя и не была заколдованной. Её оставляли без внимания потому, что не знали, чей портрет выгравирован на ней. Полиции и в голову не приходило, что я открыто ношу на своей груди портрет Ленина. Он был без привычной бородки клинышком, не стоял на трибуне, подняв руку в энергичном жесте. Они видели только круглое детское лицо, обрамлённое вьющимися волосами. Но ленинский высокий лоб, глаза с характерным ленинским разрезом смотрят на меня из-под летящих бровей.

Большевик, смущаясь, спрашивает:

— Кто это?

Я объясняю турецкому юноше понятным ему языком, чей портрет ношу на сердце.

### Хлеб, врач и золотая лира

Дневной паёк арестанта — кусок хлеба величиной с кулак. Но чтобы назвать этот «хлеб» хлебом, нужно, как говорят в Турции, семьдесят свидетелей. Поставщик без стеснения подкупает прокурора и начальника тюрьмы, сбывая эту смесь глины с песком и отрубями. Да кого, собственно, может волновать, что заключённому выдают комок глины вместо хлеба? Нам, коммунистам, вообще ничего не дают.

Уже много дней мы без конца говорим с арестантами об этом хлебе. Даже обитатели «камер голых» склоняются к бойкоту. Необходимо выступить всем сообща. Мы устанавливаем контакт между турками и лазями. Теперь, когда происходит раздача хлеба, каждый раз слышится ругань по адресу поставщика и прокурора. Только камера Карачалы портит всё дело. Он в камере полный хозяин — «пахан». У него своя

шайка. Все его люди — агентура начальника тюрьмы. Но мы силой большинства начинаем прижимать их. Карачалы и компания стали побаиваться нас. А ведь охранка и валі хотят покончить с нами именно руками этого сброда.

В скором времени в нашей тюремной жизни происходят события, которые приносят много неожиданного.

В камере горцев двое заключённых заболели дизентерией. Вся тюрьма поднялась на ноги. Прибыл муниципальный врач. Больных отправили в казённую больницу. Такого ещё не знала здешняя тюрьма — до сих пор из неё выносили только трупы.

Местный муниципальный врач и судебный врач—одно лицо. Трудно сказать, действительно он врач, или, может быть, коновал — кто его знает! Смотрит поверх очков. Взятки берёт налево и направо. Бумажные деньги «не уважает», зато при виде золота весь загорается. Убьют кого-нибудь в окрестности — он является, пишет заключение. За каждую строчку берёт по лире — с той и с другой стороны. Этот продувной «доктор» изредка появляется и в тюрьме. Здесь есть пустая комнатка, называемая «амбулаторией». Пока он сидит в этой комнатке, надзиратели приводят ему больных; происходит «врачебный осмотр».

Доктор тычет больного палкой:

— Что у тебя?

Едва тот успеет произнести «живот», как доктор кричит:

— У меня тоже живот болит! — и прогоняет больного.

Приводят другого.

— Что болит?

— Зубы...

— Убирайся вон! У меня тоже зубы.

Так продолжается минут 30—40, потом доктор поднимается и уходит. Но в последний раз всё было иначе. Как только он показался в тюрьме, арестанты дружно стали кричать:

— Больной доктор пришёл! Давайте осмотрим больного.

Доктор решил отступить от своих «правил» — признал больных больными и отправил в больницу.

Даже самый маленький успех придаёт людям смелость. Теперь заключённые стали всерьёз поговаривать о бойкоте хлеба.

На верхнем этаже тюрьмы помещается камера Карачалы. Утром двери этой камеры открываются раньше всех, вечером запираются позже всех. В одном из тёмных углов этой камеры несколько арестантов, поджав ноги, сидят на койке. Из рук в руки они передают толстую сигарету — курят гашиш.

Средь бела дня в камере Карачалы режутся в карты. Четверо арестантов уселись вокруг железной банки, слышатся только их короткие реплики и ругань.

Один всё время проигрывает. Своё одеяло, матрац он уже спустил.

— Что у тебя ещё осталось?

— Рубашка.

— На неё не играю, дерьмом воняет.

Проигравшийся в кальсонах и рубашке отходит в сторону, укладывается на голых досках, приговаривая:

— Ох, трещат мои косточки!

Из четверых игроков остались двое. Рядом с ними стоит поджарый, смуглый арестант. Это—сам «пахан» Карачалы. Длинными пальцами он перебирает янтарные чётки, напряжённо следит за игрой. Он-то и затевает игру, а с выигрыша берёт проценты.

Первый раз Карачалы попал в тюрьму за драку из-за межи. Не успев отсидеть свой срок, убил арестанта. Стали его пересылать из тюрьмы в тюрьму. В нашей он отравил другого арестанта за деньги, полученные от его врага. Карачалы — это бич всей тюрьмы. Дёргающийся, злой, навязчиво-вызывающий, всегда в движении, он как куст терновника на ветру. Его поэтому и прозвали Карачалы — «Терновник».

Игроки говорят мало, быстро бросают карты. Один из них — весь рыжий, даже ресницы рыжие. Зовут его Бекташ Рыжая Бровь. Он кладёт на жестянку золотую лиру. К ней жадно устремляются все взоры. Карачалы смотрит сверху.

— Смешай колоду... Как следует мешай... Не подглядывай... Давай туз... — говорит Бекташ.

— Тебе, мне... тебе, мне... мне, тебе...

Рыжая Бровь протягивает руку к лире. Партнёр хватает его за кисть. Лица у обоих бледнеют. Жестянка опрокидывается.

— Отдай, сволочь!

— Нет, морда, не возьмёшь!

Из всех углов выскакивают арестанты.

— Что такое?

Мы наблюдаем через порог. Поднимается крик, возня.

— Бей!.. Держи его...

— Разойдись... Стыдно...

— Стойте! Я его убью, как собаку!

— Руки прочь, Бекташ!

Карачалы встаёт между ними.

— Бекташ, ты подавишься этой лирой. Меня зовут Карачалы, помни.

Дерущихся разняли. Крики стихают.

У Бекташа со лба капает кровь. Карачалы кладёт кусочек золота к себе в карман.

— Это тебе так не пройдёт, Карачалы.

— Не таких видели... Ты ещё щенок, Бекташ.

Карачалы разваливается на матраце. Прислуживающий ему арестант массирует ему ноги.

### Кровь между нами и теми, кто на стене

Сегодня ясный, погожий день. На небе ни пятнышка. Море синее-синее. О берег бьются такие тонкие волны, что кажется, будто море слегка скалит зубы, улыбаясь. А порой оно будто всхлипывает, и белая галька, как зубы, закусывает тонкие губы моря.

На дворе прохладно. Арестанты бродят туда и обратно. Шаги тяжёлые, большие, широкие... Шаги короткие, частые.

Источник, из которого арестанты берут воду, совсем пересох. Вода в нём уже не журчит и льётся в каменное корыто совсем тоненькой струйкой. Стучат о корыто пустые кувшины, жестяные кружки. Люди столпились возле источника, гомонят. В толпе вертится Большевик.

Приносят паёк. Арестанты не берут хлеба. Бойкот! Начался бойкот!

— Мы не собираемся продирать себе кишки песком! — кричат они.

Кузнец Али, Капитан Осман и Экшиглу идут к старшему надзирателю, настаивают на том, чтобы он сообщил начальнику тюрьмы и прокурору требования заключённых. Только Карачалы посылает дежурного по камере за хлебом. Он нарочно говорит громко:

— Мы за порядок. Бесплатно хлеб дают, а они не берут... Чёрный, глина, песок... Подумайте! Как будто дома они жрут белые булки.

Пока идёт перебранка, лазские парни сгановятся вокруг корзины с хлебом и никого к ней не подпускают. Надзиратель сбежал. Карачалы

в окружении своей шайки выходит из камеры, наступает на лазов. Бросает грубые ругательства. Тут всё смешивается. Арестанты набрасываются друг на друга. Летят в головы кувшины, кружки. Пущенный с силой огромный глиняный кувшин вдребезги разносит кофейную «лавочку» Карачалы.

Заблестели кинжалы, ножи. Шайка Карачалы оказалась прижатой к «банному» углу. Шабан, Большевик, Чете подбегают и становятся перед нами. Крики и шум во дворе усиливаются. Карачалы с мангалом (жаровней) в одной и с ножом в другой руке угрём вьётся по крошечному дворику. Его преследует Бекташ с огромным тесаком в руках. Карачалы отколот от своей шайки. Крики летят со всех сторон.

- Постой!..
- Держи!..
- Ох, смерть моя..
- Убью, как собаку...

По стенам мечутся тени. Уже не разобрать кто где. Вот Карачалы удирает от Бекташа. Он быстро взбегают по ступеням на террасу. Бекташ настигает его. Он весь в крови. На мгновение они останавливаются лицом к лицу, вперив друг в друга взгляд: пара чёрных и пара карих глаз. Неожиданно из двери соседней камеры вылетает мангал и выбивает нож из рук Карачалы. И в тот же миг Бекташ вонзает тесак в грудь своему противнику. Пронзительный крик перекрывает шум:

— Ох! Умираю!

Карачалы, как метла, падает с террасы головой вниз. Мозги разлетаются по камням. На дворе всё перевёрнуто вверх дном. Сплошной клубок человеческих тел. Калафатчи из окошка своей камеры кричит во всё горло:

— Жандармы!.. На помощь... Убивают!

Типуки, остановившись середине двора, оглядывается на крик. Нагибается, вытаскивает тесак из груди Карачалы и резким броском пускает его на голос в окошко камеры:

— На-а! Вот тебе помощь!

Калафатчи издаёт страшный вопль:

— Спасите! Это дело рук коммунистов!

По стене бегут жандармы. Офицер командует:

— Заряжай!

Зашёлкали затворы. Сцепившиеся во дворе арестанты отпускают друг друга. Дула винтовок смотрят вниз.

На стене начальник местной жандармерии, прокурор, вали и «хозяин» вилайета помещик Матараджи.

Офицер приказывает:

— Всем бросить ножи. Буду стрелять!

Часть арестантов, пятясь и пряча ножи за спиной, выстраивается у стены. Дула винтовок нацелены прямо нам в лоб. На дворе стонут раненые, валяются тела убитых. По камням течёт кровь. Кровь между нами и теми, кто стоит на стене! Кровь отделяет нас от свободы.

Арестантов загнали в камеры. Нас заперли. С этого дня нас никогда уже не пускали к другим арестантам, никогда не выводили на прогулку во двор — ни здесь, ни в других тюрьмах.

Трупы убрали, раненых бросили в камеру горцев. Бекташа и многих других заковали в кандалы. Все усилия прокуратуры найти «зачинщиков» оказались тщетными. На допросах арестанты все как один отвечали:

— Виноват сам Карачалы.

Но Карачалы был слепым орудием начальника тюрьмы и стал жертвой тактики своих хозяев. Набросившись с руганью на лазов, он полагал, что турки, как обычно, поддержат его и нападут на них, но всё оказалось иначе.

— Это первый случай в здешней тюрьме, когда турки выступили вместе с лазами против тюремного распорядка,— признался сам начальник тюрьмы.

### Здравствуй, Стамбул!

Из Анкары пришла телеграмма — снова переводят. На нас надевают наручники, сажают под охраной трёх жандармов на пароход — и вот мы в Стамбуле! В наручниках идём пешком с Галатской пристани к мечети Айя-София. Когда вступаем на мост через Золотой Рог, на мгновение нам кажется, что мы никогда не видели этот город, словно впервые спустились с гор. Но я в нём знаю на память каждый переулок, каждый камень. Как свои пять пальцев я знаю его рабочие районы, спуски и подъёмы в кварталах бедняков, разбитые булыжные мостовые, тёмные, грязные, узенькие улочки и тупики. Я знаю районы, где кутят и прожигают жизнь обожравшиеся богачи. Я люблю этот город с его красотой и безобразием. Я люблю его трудовой люд. Я люблю Стамбул — сердце политической жизни Турции, колыбель её рабочего класса.

Нас бросают в предварилку — один из подвалов бывшего султанского министерства жандармерии. Во времена Византии этот застенок был конюшней. Ни воздух, ни дневной свет сюда не проникают. Тускло светит электрическая лампочка. Большая часть пола покрыта испражнениями. В одном углу лежит израненный крестьянин. В гноящихся ранах у него копошатся черви. Он умирает. Стоит тяжёлый трупный запах.

В тот же день нас вызывают к старшему прокурору. Едва переступаем порог, как слышим вопрос:

— Члены коммунистической партии?

Вместо ответа мы сообщаем, что в жандармской предварилке умирает тяжело раненый крестьянин. Прокурор пропускает это мимо ушей. Продолжает своё. Перелистывает кипу лежащих перед ним бумаг, засыпает нас вопросами. Тогда мы заявляем, что отказываемся отвечать на вопросы до тех пор, пока не прекратятся издевательства над крестьянином Шерифом из деревни Чаталджи, который умирает в двух шагах от прокуратуры. Прокурор продолжает свои вопросы. Мы молчим. Видя, что дело не движется, он приказывает жандарму увести нас.

До вечера нас держат в здании суда. Стены камеры пестрят рисунками, ругательствами, именами, написанными карандашом или просто выцарапанными каким-нибудь твёрдым предметом. В одном из углов выцарапаны серп и молот и пятиконечная звёздочка. Мы находим фамилии многих знакомых нам коммунистов, даты суда над ними. Никелевым курушем мы тоже выцарапываем свои имена, внизу ставим число.

Вечером нас сажают в поезд и под конвоем отправляют в Анкару. Очевидно, в министерстве юстиции и управлении безопасности решили измотать нас бесконечными пересылками из тюрьмы в тюрьму, из города в город. Но эта тактика принесит совсем нежелательные результаты для тех, кто её придумал. Наш процесс затянулся на долгие месяцы и хотя он ведётся в тайне, однако в каждом городе, где мы побывали, народ так или иначе узнавал о деятельности компартии, о целях её борьбы. Разговоры об этом велись повсюду.

Мы сумели отвести выдвинутые против нас прокуратурой и охранкой тяжёлые обвинения. Наконец процесс закончился. Судебный секретарь зачитал приговор: «Осуждаются за распространение среди народа, устно

и письменно, пропаганды объявленной вне закона коммунистической партии Турции»...

Мы отсидели свой срок, и вот новогодней ночью нас выпускают из анкарской тюрьмы. Начальник тюрьмы, лысый как колено, с неизменной сигаретой в вывороченных губах, выдаёт нам «удостоверение» с огромными, как подковы, печатями. Читаем: «Осуждены за коммунистическую пропаганду. Освобождены по отбытии срока наказания». Паспортов у нас нет. С таким «документом» полиция не только из столицы, а даже из горной деревушки выгонит. Так и происходит. Через два дня полиция высылает нас из Анкары. Мы снова в Стамбуле.

### Рассказ Дербедер Хасана

Как-то на пристани Феер я нанимал лодку, чтобы переехать в Азапкапы. Взгляд упал на одного из лодочников. Лицо его кажется знакомым. Он тоже испытующе смотрит на меня. Потом подчаливает лодку к деревянным мосткам и говорит:

— Перевезём на ту сторону, земляк?

Узнаю его. Это Дербедер Хасан из «камеры голых». И хотя мне нужно в Азапкапы, мы едем в обратную сторону — қ Халичоглу.

Хасан рассказывает:

— Смертный приговор Шабану меджлис утвердил. В ночь, когда его должны были повесить, он прикрутил кандалными цепями изнутри дверь камеры, и надзиратели, несмотря на все старания, не смогли открыть её. Шабан заявил, что не выйдет до тех пор, пока к нему не придёт с поклоном сам Толстопузый Араб. В тюрьму прибыли прокурор и начальник жандармерии. Они сказали Шабану, что валі уехал в Анкару. Шабан не сдавался. Тогда стали выламывать железную дверь. Увидев, что скоро всё будет кончено, Шабан крикнул: «Стойте, сейчас открою!»

Едва дверь приоткрылась, Шабан выстрелил из парабеллума. Первым выстрелом он уложил начальника жандармерии, вторым — прокурора и тяжело ранил начальника тюрьмы. Потом выскочил во двор и прикончил сержанта жандармерии, но часовые на стенах открыли залповый огонь, и Шабан замертво упал на «вечный камень». Как Шабан пронёс пистолет в камеру, где прятал его, — это так и осталось для всех тайной. Отчаянный был храбрец. Огонь-человек!

После смерти Шабана Большевика и Типуки отправили пешком по этапу в Эрзрумскую крепость. Но по дороге, недоходя до Эрзрума, они бежали. Говорят, что Большевик жив, работает, но где и как — никто толком не знает.

Лодочник вздыхает и сильнее налегает на вёсла.

Воды Золотого Рога постепенно темнеют. Со стороны Ункапы вздымается целый лес мачт. Дымят фабрики, дым пароводных труб стелется по воде.

### Золотой Рог — колыбель рабочего движения Турции

Район Золотого Рога — один из старейших рабочих центров Стамбула. Когда-то здесь на холмистых, извилистых берегах шумели кипарисовые роши, красовались старинные виллы с закрытыми балконами, с резными деревянными решётками на окнах. От тех времён осталось здесь лишь кладбище Эюб.

Промышленные предприятия стали здесь строить ещё с начала прошлого века. Старые рабочие говорят, что первая в Турции паровая машина была установлена не в Арсенале, а именно здесь, на верфях Золо-

того Рога. И первый уголь, найденный в Зонгулдаке турецким крестьянином Узун Мехмедом, горел в топках паровых машин на этих верфях.

В 1927 году я познакомился с грузчиком Заро-ага. Ему тогда уже перевалило за сто. Его внук был уже стариком, но сам Заро ещё крепко стоял на ногах. В молодости он был настоящий великан. Говорили, что в двадцать лет он один поднимал на спине корабельную мачту.

Этот долголетний, как чинар, человек рассказывал:

— Когда я в первый раз на пристани Ягкапаны надел ляжку грузчика, там, где сейчас Бейоглу<sup>1</sup>, была кипарисовая роща. Сушая правда... Я выгружал из лайбы первый привезённый в Турцию паровой котёл и даже чуть-чуть не надорвался.

Во время стачки стамбульских трамвайщиков Заро-ага нёс красное знамя. Когда на забастовщиков напала полиция, он одним ударом уложил полицейского комиссара. Рассказывая об этом, Заро улыбался, показывая ряд мелких, как рисовые зёрна, зубов; глубокие морщины на его лице становились ещё резче.

За годы оккупации Стамбула Заро-ага смертельно возненавидел американских колонизаторов. Он однажды схватился с группой американских моряков. Несмотря на свой возраст, он в те же годы таскал по ночам на спине ящики с боеприпасами и грузил их в Кабаташе на парусные лодки. Вёл на бичеве против течения по Босфору лайбы с оружием для патриотов, которые сражались с захватчиками в Анатолии.

Золотой Рог с его доками, фабриками, мастерскими, протянувшимися от Ункапы до Хаскея,— это мрачное и величественное зрелище. И на противоположной стороне залива, всегда мутного, непрерывно гудят моторы, скрежещут станки фабрик и мастерских, расположенных вперемежку с горбатыми деревянными домишками на узких извилистых улочках с бесчисленными спусками и подъёмами.

Сколько рабочих в Турции — ещё точно не подсчитано. Кемалисты интересуются главным образом тем, как бы побольше из них выжать. Однако, если к фабричным рабочим, рабочим горнодобывающей промышленности, морского и наземного транспорта прибавить рабочих, занятых в сельском хозяйстве, то можно с уверенностью сказать, что рабочий класс Турции насчитывает около полутора миллионов человек. На крохотном «пяточке», занимающем пространство от Галатского моста до Сютлюдже, число рабочих превышает пятьдесят тысяч.

Кто видел, как по улицам кварталов Айвансарая-Балата в предрачевых сумерках идут на заводы рабочие? Словно не на работу, а на каторгу бредут они. Обратил ли кто внимание, как вечером из Касымпаша, по дороге Зинданаркасы, по крутому подъёму возвращаются домой рабочие? Они плетутся так, словно их избili палками в полицейском участке. Видели ли вы когда-нибудь, как на табачных фабриках и складах, в текстильных и резиновых цехах в Джибали и Дефтердаре харкают кровью чернобровые, голубоглазые, но уже ставшие жёлтыми, как солома, четырнадцатилетние девушки? Знаете ли вы, что семивосьмилетние дети работают здесь по двенадцать часов в день за пятнадцать курушей, на которые можно купить лишь полкило чёрного хлеба? Видели ли вы, как работница-мать суёт в рот плачущему от голода ребёнку пустую грудь, чтобы его крик не беспокоил соседей? Слышали ли вы, о чём говорят в этом районе безработные?

Ночной стражник с палкой в руках здесь уже султан. Полицейский в рабочем районе — это кровавый янычар. Агенты охранки без стука

<sup>1</sup> Бейоглу (Перá) — один из фешенебельных кварталов европейской части Стамбула.

заходят в дома наших рабочих кварталов. Каждый сборщик налогов здесь — ангел смерти Азраил.

В рабочих районах Стамбула не ищи клубов и читален, зато на каждом углу — кабак или кофейня. Каждое такое заведение — притон. Я знаю, вы скажете, что «новый» рабочий квартал Кызылчешме с его хибарками из жести, картона и фанеры почище наших старых трущоб! И если уж начать перечислять рабочие центры и кварталы Турции, то в Измире есть Халкапынар, в Адане — Чарчабук. В Анкаре — «жестяной город» Алтындаг, под боком у столицы — Кыркале. Есть Эртели, есть Зонгулдак, есть Козлу, есть Карабюк и есть Измид. Есть всё это, есть!

Но дома, выстроенные для рабочих текстильных комбинатов в Кайсе-ри и Назили, прекрасны. Они построены с помощью советского государства, руками советских специалистов, руками друзей. Дома эти и фабрики — одно из многих проявлений добрососедской политики и уважения советского народа, великой страны Ленина и Сталина к народу Турции, к национальной независимости Турции, символ заботы о счастье её трудящихся.

Я бывал во многих рабочих районах страны. На многих фабриках искал работы, на некоторых работал. Если вы спросите, какое моё основное занятие, я отвечу — давно уже я профессиональный революционер. Но когда речь заходит о нашем Золотом Роге, я не могу быть спокойным. Здесь я второй раз родился. Ворота верфей открыли мне путь в коммунистическую партию Турции. Впервые я познал здесь, что такое непримиримая классовая борьба. Впервые я узнал здесь страдания и надежды, любовь и ненависть тех, кто стоит у станков и машин, кто варит сталь, ткёт шёлк, тех, кто создаёт жизнь и кто в капиталистическом мире лишён всех средств производства, тех, без чьих ловких пальцев, сильных рук и светлого разума безжизненны и мертвы эти средства производства.

### «Морской клуб»

На верфях у меня было несколько товарищей, таких же безусых и зелёных, как я сам. Прямо перед верфями было кладбище старых кораблей. Один из них, изъеденный ржавчиной торпедный катёр «Ташоз», служил нам местом сборищ. Мы называли его «Морским клубом» и часто обедали там. Какие у нас могли быть обеды? Хлеб с маслинами или же купленные за пять курушей у лотошника-албанца кусочки холодной печёнки. В «Морском клубе» мы вели горячие беседы. Перемывали косточки начальнику цеха, мастерам, ругали директора. Потом пристрастились к чтению газет.

У меня был товарищ, который работал в морской типографии. Попадавшиеся ему в руки газеты он передавал мне. Мы не пропускали ни одно сообщение о коммунистическом движении в стране, о Советском Союзе. Однако очень часто мы многого из прочитанного не понимали, и у нас подымались бесконечные споры.

Однажды мой товарищ из морской типографии, подойдя ко мне, незаметно вложил мне в руку какую-то книгу:

— Это тебе понравится, — сказал он. — «Мать»... Горького.

Я тогда ещё и не слышал о Горьком. Но не желая ударить лицом в грязь перед товарищем, ответил:

— Спасибо! Я давно хотел прочитать эту книгу.

Я принёс книгу в наш «клуб», и мы в обеденный перерыв начали читать её вслух. Книга захватила нас. Гудок отрывал нас от неё на самом интересном месте, и мы, ругаясь, бежали в цех.

Однажды, придя на работу, мы увидели расклеенные на стене у главного входа листовки. На каждой красными чернилами было написано: «Товарищ, стой!» Рабочие останавливались и читали. Внизу каждой отпечатанной на гектографе прокламации крупными буквами стояло: «Коммунистическая партия Турции». И пониже: «Комитет Золотого Рога». На фабриках в Джибали, говорилось в листовке, началась забастовка. Организация компартии призывает рабочих Золотого Рога поддерживать бастующих.

Сбежались начальники цехов, охрана, директор. Сорвали прокламации:

— За работу! — орал директор.

Потом в цехи заявили шпики и полицейские. Расследования и допросы не дали никаких результатов. Несколько дней на верфях только и говорили, что об этих листовках. Много толковали о них и мы в своём «клубе». Слова «коммунист», «комитет» заинтересовали нас страшно.

Мастер литейного цеха Хайри был моим соседом. Это был честный, славный человек. Говорил он мало и был старше меня лет на двадцать, а то и на все двадцать пять. Однажды, когда мы возвращались с работы, он подошёл ко мне:

— Если идёшь прямо домой, пошли вместе.

По дороге мы болтали о том, о сём. Под конец он сказал:

— Молодые вы, горячие. Смотрите не оступитесь. Добрый вы выбрали путь. Послушай, сынок, что я тебе скажу. Этот паршивец директор велел следить за вами. Расспрашивает о вас, интересуется, что вы делаете в обеденные перерывы на «Ташозе». Смотрите же, будьте осторожней.

Я ничего не ответил мастеру Хайри. Но после этого разговора мы уже каждый день так открыто в «клубе» не собирались. Тот же мастер Хайри познакомил меня однажды с рабочим из токарного цеха. Ему было лет около тридцати.

— Вот Ахмед-уста. Это как раз тот парень, который вам нужен, хотя и немного горяч.

### Возвращаясь с работы

Однажды вечером, когда мы выходили из ворот верфи, Ахмед предложил мне идти домой через Окмейданы. Окмейданы — это малолюдный район с зелёными лужайками, рошицами, любимое место прогулок рабочего люда Стамбула. Мы шли и беседовали.

— Во время первой мировой войны, — говорил Ахмед-уста, — ты был ещё мальчишкой. Я тогда уже был взрослым парнем, таким, как ты сейчас, и тоже работал на этих верфях. В Стамбуле хозяйничали немцы. Английские самолёты часто бомбили наш район. На земле — немцы, в небе — англичане, а на шее у нас — энверовская шайка. Народ умирал от голода. Миллионы наших солдат проливали свою кровь и гибли за иностранцев. Военные спекулянты зашибали деньги. Национальным позором закончилась кровавая авантюра Энвера. Предатели вместе с немецкими хозяевами удрали из страны, бросили народ на произвол судьбы. Тогда в Стамбул хлынули англичане, американцы, французы, итальянцы, греки.

Годы оккупации ты уже помнишь. Что это был за срам! Английские и американские военные корабли вошли в самый Золотой Рог, бросили якоря прямо против нашей верфи. Англичане и американцы всё прибрали к рукам. Американцы требовали мандата над проливами, над Стамбулом, над всей Турцией. Большинство тех, кто сидит сейчас у власти в Анкаре, приняли тогда условия американского президента, решили

отдать Турцию в кабалу. Что им до нашей национальной гордости! Зато выгодно делать «дела» с американцами.

Стемнело. Зажглись огни фешенебельных кварталов Бейоглу. На противоположном берегу, в Фатихе, взвился дымный столб.

— Смотри,— показал мне на него Ахмед-уста,— опять пожар. Говорят, что Стамбул несколько раз дотла сгорал. Во время оккупации, правда, пожар в Касымпаша был нам на руку. Англичане здорово растерялись, а рабочие наши воспользовались этим и разобрали ночью много станков и машин, погрузили их на лайбы и переправили в Анатолию. Тогда туда бежало много рабочих с верфей. Всё это организовали коммунисты.

Ахмед-уста умолк. Мы пришли в Кулаксыз и распрощались.

С фрезеровщиком Ахмедом-уста у нас с тех пор установились дружеские отношения. Я привязался к этому умному, серьёзному человеку. Мы работали в разных цехах: я был тогда механиком в машинном отделении. Ахмед-уста придавал большое значение нашему отделению.

— Если вы бросите работу,— все цехи встанут,— говаривал он.

Каждый раз, когда мы с ним встречались, он рассказывал мне что-нибудь новое. Он же разъяснил мне потом программу и устав партии, научил основным принципам работы в подполье.

С тех пор прошло много лет, а я и по сей день с уважением и признательностью вспоминаю Ахмеда-уста. Такие люди, как он, были крепким цементом в рядах нашей партии и вписали немало ярких страниц в историю рабочего класса Турции. А сколько таких страниц в этой не написанной ещё истории! Вспомните хотя бы стачку стамбульских лодочников и портовых рабочих в 1927 году. В рабочих районах были построены тогда баррикады. Тысячи рабочих Стамбула стойко сражались с войсками, которые правительство послало для подавления забастовки.

Как только после второй мировой войны фашистское правительство Турции пошло на сговор с американскими империалистами, самый тяжёлый удар был снова нанесён по рабочему классу и его организациям. В 1946 году были закрыты и разгромлены рабоче-крестьянская партия, свободные профсоюзы, прогрессивные газеты и журналы. Тысячи рабочих были брошены в тюрьмы. Сотни коммунистов, руководителей свободных профсоюзов, рабоче-крестьянской партии были осуждены военными трибуналами. Но и в эти дни свирепого фашистского террора рабочие снова вышли на улицы.

В 1950 году, когда правительство Мендереса — марионетка в руках Вашингтона — отправляло в Корею турецких солдат, профсоюз докеров и портовых рабочих Стамбула от имени народа Турции, от имени всего рабочего класса страны заявил протест против этого нового преступления кемалистов. За это профсоюз был закрыт, а его руководители преданы суду военного трибунала...

Но Золотой Рог живёт. В доках, на верфях, фабриках и заводах рабочие продолжают борьбу. Во главе их стоит коммунистическая партия Турции. Я горжусь тем, что вместе с нею иду дорогой борьбы, на которую вступил много лет назад в Золотом Рого...

### Первое испытание

Как-то во время обеденного перерыва ко мне подошёл Ахмед-уста.

— Вечером встретимся в кипарисовой роще, в Касымпаша.

Что там будет, я не спросил.

— Ладно.

Когда мы встретились вечером, подмышкой у Ахмеда-уста была буханка хлеба, в руках — маленькая корзинка с овощами. Хлеб он купил для себя, но корзинку овощей — вряд ли, ведь мастер Ахмед был холостяк.

Предположение оправдалось.

— Отнесёшь овощи домой, — сказал Ахмед-уста, передавая мне корзинку. — Там прокламации. Завтра рано утром в Айвансарае раздашь их рабочим, когда они будут итти на работу. Только смотри сам не опоздай!

Мы расстались, не сказав друг другу больше ни слова. Из сада в Тепебаши доносились звуки оркестра. Я шагал не оглядываясь. Страх я не испытывал, но непонятное волнение охватило меня. Это было моё первое партийное поручение. Как будто я снова сдавал экзамен в школе. Но если провалишься на экзамене в школе — останешься на второй год или получишь плохую отметку. Здесь не то. Этот экзамен надо было во что бы то ни стало выдержать с честью.

На следующий день вечерние газеты сообщили, что во многих рабочих районах, в том числе и в Айвансарае, были распространены коммунистические прокламации. Как я был счастлив!

Я рапортовал Ахмеду-уста об успешном выполнении поручения. Он пожал мне руку, но ещё раз предупредил, чтобы я никому не говорил ни слова.

— Этого требует партийная дисциплина.

С нетерпением ждал я каждого нового поручения.

— Когда же, наконец, вы возьмёте меня в партию? — спросил я однажды Ахмеда-уста.

— Коммунистом может быть лишь тот, кто не только свободные вечера, но всю свою жизнь посвящает партии. Ты уверен в себе? Ко всему готов? Если да — я дам тебе рекомендацию.

От радости я готов был расцеловать его.

### День рождения

Однажды мастер Ахмед назначил мне свидание после работы на пристани в Хаскейе. Это был день моего рождения. Мы встретились, сели в шлюпку, отчалили от берега. Человека, сидевшего на вёслах, я не знал, а тот, который сидел за рулём, был рабочим с нашей верфи.

— Не будем зря терять времени, — вдруг сказал Ахмед-уста. — Товарищи, собрание ячейки считаю открытым. На повестке один вопрос: приём нового товарища в партию. Есть другие предложения?

— Нет.

Не было ни бумаги, ни карандаша, ни протоколов. Говорили вполголоса. Человек на вёслах медленно грёб. Я рассказывал свою биографию:

— Родителей не помню. Они умерли, когда я был совсем маленький. Растила меня тётка. Если б не она, я не кончил бы школу. Меня с детства приучили к труду. «Ремесло, — любила говорить тётка, — это золотой браслет на руке». Она не понимала, что в том мире, где мы живём, этот золотой браслет — кандалы на руках рабочего. С детства я любил машины. По вечерам я ходил на курсы механиков при Высшей школе инженеров. Потом стал сам зарабатывать на хлеб. Сколько лет я работаю на верфи, вы знаете.

Свежий ветерок дул мне в лицо, но я был весь мокрый от пота.

— Что ты делал до сих пор для партии, можешь не рассказывать. Мне как секретарю ячейки это хорошо известно, — сказал Ахмед-уста. — Есть ещё вопросы, предложения?

— На верфи много молодёжи, среди них есть горячие ребята. Надо, товарищ, заняться ими, — заметил «гребец».

Другой сказал, что ему всё ясно.

— Если всем всё ясно, то тогда я спрашиваю тебя, товарищ, — сказал мастер Ахмед, глядя мне прямо в глаза. — Клянёшься ли ты, что никогда не сойдёшь с боевого пути, указанного великим Лениным?

— Клянусь всю жизнь не сходить с боевого пути, указанного нашим великим Лениным. Честью рабочего клянусь!

— Я предлагаю принять товарища Устюнгеля в коммунистическую партию Турции, — сказал человек у руля.

Три мозолистые руки поднялись разом. Потом все по очереди поздравили меня, пожали мне руку.

В тот день мне исполнилось двадцать лет. Этот день — день моего второго рождения.

Я сёл за вёсла. Вполголоса мы запели Интернационал. Вода плескалась о борта. На душе у меня светло. Сердце летит, как на крыльях.

### Выбирай, что хочешь!..

Как радостно после долгих лет заключения снова окунуться в работу, в борьбу, видеть вокруг знакомые места и лица! Недаром Стамбул разбудил во мне столько воспоминаний, о которых я рассказал на предыдущих страницах.

Но «свобода» моя была недолгой. Как-то весной под вечер в узеньком переулке одного из рабочих кварталов Стамбула я попал в облаву.

В это время бастовали табачники и текстильщики Стамбула. В районах Ортакей, Ахыркапы, Балат у ворот фабрик происходили стычки забастовщиков с полицией. Когда тысячи бастующих рабочих собрались перед полицейскими казармами в Джибали, полицейские бежали в нижнем белье. Вилайетский комитет компартии выпустил специальное воззвание к народу с призывом оказывать помощь бастующим. Люди откликнулись на этот призыв.

Приближалось Первое мая. Усилились массовые аресты. Полиция тщательно вылавливала коммунистов. В рабочих кварталах шли повальные обыски. С фабрик и заводов рабочих пачками увозили под конвоем жандармов в полицейские участки, в управление безопасности.

Полицейские сразу же доставили меня в управление безопасности. Лишь только я переступил порог, как сразу же остался в чём мать родила. С меня стащили одежду и унесли её. Когда потом мне возвратили её, поясной ремень, галстук, запонки отсутствовали. Все швы на костюме были вспороты, подкладка оторвана, стельки в башмаках содраны.

Меня вталкивают в одну из комнат. Первое, что я слышу:

— Здесь закона нет, понятно?

Показывая на резиновые плётки, палки, набор щипцов, пинцетов и револьвер, охранник изрекает:

— Смотри! Вот тебе конституция, вот тебе статьи законов. Вот тебе свобода, вот тебе демократия. Выбирай, что хочешь!

На допросах и пытках коммунистов нередко присутствуют губернатор и прокурор. Жестокость этих человекоподобных поразительна. Они наслаждаются страданиями истязуемых, смеются, ругаются, отпускают циничные шутки:

— Вот вам турецкая демократия...

На этот раз нас судят по статье, требующей смертной казни. Но «ввиду того, что подсудимые не применяли насилия и оружия, — говорится в приговоре, — смертная казнь заменяется каторгой».

Как истуканы сидят перед нами старые султанские судьи в чёрных мантиях — теперь они цепные псы капитала. Мы стоим с высоко поднятой головой. Позади — полицейские с пистолетами в руках. По два жандарма — с обеих сторон. Читают приговор.

«Отклонив утверждения подсудимых о различного рода пытках, которым их якобы подвергали в полиции... несмотря на то, что большинство обвиняемых как в полиции, так и во время следствия и в судебных заседаниях отрицали предъявленные им обвинения, суд, заслушав распространявшиеся обвиняемыми прскламации и подпольные газеты, убеждённый своей совестью в принадлежности обвиняемых к незаконной коммунистической партии Турции, за попытку свержения существующего строя приговаривает...» Следуют сроки ссылки и каторги.

Нас осуждают на каторгу за то, что мы проводили собрания рабочих, за то, что мы писали о страданиях и требованиях народа, за то, что мы создали организацию, которая защищает интересы не только рабочего класса, но и всей нации.

В турецкой конституции говорится: «Судьи — независимы». Но народ наш на многочисленных примерах видит, что это обман, ложь, пустой звук. В процессуальном кодексе есть статья, по которой подсудимый после вынесения приговора может его обжаловать в Верховный суд в течение недели. Раньше этого срока Верховный суд не может утвердить приговора. Так записано.

На следующий день после того, как нам был объявлен приговор, газеты сообщили, что президент республики вызвал к себе председателя и членов Верховного суда и заявил:

— Я размозжу головы коммунистам!

На третий день прокуратура сообщила нам, что приговор утверждён. На четвёртый день нас подняли на рассвете, выстроили в коридоре тюрьмы, сковали по двое наручниками и под конвоем жандармов отправили по этапу за 1 300 километров в далёкую средневековую крепость.

Тогда председателем Верховного суда был фашист Халил Озюрюк. Тот самый, который в 1950 году получил поргфель министра юстиции. Выступая в меджлисе, он громогласно заявляет: «В Турции суды и судьи независимы!»

Да, независимы — от справедливости, от воли народа...

### За ними стоит Америка...

Фашистские правительства Турции в течение долгих лет держат многие районы страны на осадном положении. Турция разделена ими на три военных зоны с тремя главными военными трибуналами. Эти трибуналы судят коммунистов, сторонников мира, всех честных патриотов. Военный трибунал Анкарского гарнизона не так давно, не задумываясь, осудил членов турецкого Общества сторонников мира к 15 годам тюрьмы за то, что они от имени народа протестовали против отправки турецких солдат в Корею. Но миллионы людей связывают свои надежды с миром. Широкие слои турецкой молодёжи активно взялись за великое дело защиты мира, потому что именно их в первую очередь продажные правители Турции хотят превратить в пушечное мясо американских королей смерти.

Кемалисты провозглашают: «Мир в стране!», а на деле усиливают беспощадный террор против всего честного и передового Турции. Анкарские правители заявляют: «Мир во всём мире!», а на деле готовят военные авантюры по указке американских агрессоров, совершают преступления против дела мира, осуждают на каторгу сторонников мира.

Лицемерия и лжи всегда были полны слова и дела тех, кто толкает нашу родину в пропасть. Но теперь они не хотят утруждать себя даже ложью. Газета «Ени Сабах» пишет: «Кого стесняться? За нами стоит Америка... В течение четверти века у нас существует тоталитарная диктатура, рядящаяся в демократические одежды. Этот режим ни на волос не отличается от фашистской диктатуры Франко в Испании». А «Джумхуриет» требует: «Мы должны отбросить демократические одежды, это несчастье господне».

Кемалистам уже стал обременителен даже псевдодемократический халат.

### Записки Бельгетоплара

В годы второй мировой войны кемалисты называли Турцию «Страной нового порядка». Тогда они строили свои авантюристические расчёты на пушках Круппа. Теперь они называют Турцию «Маленькой Америкой» и строят свои планы на атомной бомбе.

Народ не забывает ничего. Всё берёт на заметку. Если он не может чего-либо сказать открыто — он прибегает к иносказанию. Папаша Бельгетоплар («Собиратель фактов») — один из таких народных образов. Он — символ долгой памяти народа, его исторической мудрости. В народе с этим прозвищем связывают многих живых людей. Говорят, один из них живёт в Стамбуле.

Изо дня в день ведёт Бельгетоплар свои записи. Вот некоторые из них.

«...май 1941 года. Фон Папен обводит Чанкая вокруг пальца... Инею заискивает перед своим старым другом. Вчера они снова беседовали целый час...».

«18 июня 1941 года. Анкара заключила с Гитлером пакт о дружбе... Лондон этим вовсе не обеспокоен...».

«22 июня 1941 года нацистская Германия под покровом ночной темноты предательски напала на Советский Союз. 170 фашистских дивизий перешли границу... Всего через три дня после заключения пакта Берлин—Анкара!.. «Дранг нах Остен» начался... Действительно, не мало потрудились американские миллиардеры над тем, чтобы подвести экономический и военный базис под этот старый прусский план... Англо-французские империалисты всё время натравливали фашистских главарей на восток... План закабаления Турции — тоже часть «Дранг нах Остен»...».

«5 октября 1941 года. Официоз «Улус» пишет: «Немцы поступили абсолютно правильно, совершив превентивное нападение на Советы». Анкара наконец проболталась. Кемалисты открыто лжут сапог Гитлеру».

«1942 г. У стен Сталинграда идут невиданные бои. Даже оголтелый фашист Атай вынужден признать, что «Советский строй оказался намного крепче немецких танков и пушек». Поздно спохватились! Героизм советских воинов показал, на что способен свободный человек социалистической страны. История ещё не знала такого полководца, как Сталин... На берегах Волги решается судьба человечества...».

«31 августа 1942 года. Турецкие фашисты спешат. Сегодня газеты печатают речь Сараджоглу в Сивасе. «Мы не собираемся упустить удобный случай одним ударом вернуть то, что мы потеряли в годы поражения», — заявил премьер-министр. Кемалисты выжидают удобного случая, как вороны падаль. Они мечтают о грабежах и наживе...».

«5 сентября 1942 года. Сараджоглу в Эрзруме. Выехал в инспекционную поездку по русской границе...».

«19 сентября 1942 года турецкая армия концентрируется на восточной границе. Приказ «Боевая готовность № 1» в конвертах с сургучными печатями спущен всем командирам рот...».

«23 сентября 1942 года. «Германская армия должна в Сталинграде уничтожить Советскую армию до последнего солдата», — пишет «Улус». Говорят, если бы была услышана собачья молитва, вместо дождя с неба падали бы кости... Но как кемалисты ненавидят Советский Союз!»

«12 октября 1942 года. Сегодняшние газеты цитируют слова Геринга: «Немцы воспользуются захваченным прежде других». И тут же газеты спрашивают: «А какова будет доля союзников фюрера?»

«27 ноября 1942 года. «Необходимо лишить Россию богатых промышленных и сельскохозяйственных районов от Каспийского до Чёрного моря. Нужно уничтожить русский флот в Чёрном море» — требует «Улус». Вот уж — что у кого болит, тот о том и говорит! Кемалистские главари открыто заявляют, что надеются получить жирный мосол с разбойничьего стола нацистов»...

Ещё несколько строк из записок папаша Бельгетоплара:

«1942 год... Тяжёлые дни Сталинграда. Газеты сообщают: «Коммунисты распространяют воззвания. Между минаретами мечети Сулеймание они повесили тридцатиметровый красный транспарант с огромным лозунгом: «Долой фашистское правительство Анкары!».

«1943 год. Большие группы коммунистов осуждены военными трибуналами... В Карсе расстреляны два унтер-офицера и пять офицеров-коммунистов. Одного из них звали Омар Йылмаз...»

«1944 год... 55 молодых антифашистов преданы суду военного трибунала... В охранке их подвергали страшным пыткам...»

### Чего они боятся?

Фашистская диктатура в стране не позволяет нашей партии вести работу легально. Буржуазия — ведь это её диктатура — объявила компартию «незаконной» и каждого из нас поставила «вне закона».

Всякий раз, когда газета и листовки компартии получают широкое распространение в народе, американизированные депутаты в меджлисе, купленные за доллары министры и журналисты вопят: «Левые неистовствуют», «Красная пятая колонна», «Агенты Коминформа». Но турецкие реакционеры боятся даже назвать по имени коммунистическую партию Турции. Они не говорят, чего требует компартия, о чём она пишет в своих газетах и листовках — они только чернят её. Но можно ли ждать чего-либо другого от наших врагов?!

Зато как только попадаешь в лапы полиции или предстаёшь перед судом, всё оборачивается по-иному. В подвалах охранки, за закрытыми дверями военных трибуналов, допрашивая и пытая коммунистов, они называют партию её полным именем и требуют: «Назови, кто входит в Центральный комитет? Где вилайетские, где районные комитеты партии? Где ячейки? Где типографии?»

Нам говорят в трибуналах:

— Вы пишете: «Нынешний меджлис — это акционерное общество! Оно куплено американцами!» Так вот — за попытку разгона меджлиса получайте пятнадцать лет тюрьмы!

В охранке нам не только говорят, но и подкрепляют слова действием.

— Вы заявляете: «Чтобы спасти страну от страшной катастрофы, народ Турции должен подняться на борьбу. Все патриоты должны объединиться в национальном фронте». Так вот вам, получайте... И нам ломают кости, сажают в камеры-гробы.

— Вы расклеиваете на стенах листовки: «Вон из Турции американских генералов и офицеров!» Вы утверждаете, что советские предложения о проливах — это справедливые и равноправные предложения, обеспечивающие национальную независимость Турции и добрососедские отношения между черноморскими державами? Вот что вы говорите народу! И нас избивают до полусмерти, а прокурор даёт нам, смотря по настроению, 15—20 лет каторги за «измену родине».

Вот как гнусно выглядит сегодня у нас в Турции «демократия», «законы» и «свобода мысли»!

В полиции и военных трибуналах арестованным коммунистам тычут в нос, как вещественные доказательства их деятельности, газеты, издаваемые в подполье, распространяемые в народе прокламации. Газеты и журналы компартии — «Пламя», «Большевик», «Коммунист», «Единство», «Батрак», «Труд», — подшитые в сотни дел, путешествуют вместе с закованными в кандалы коммунистами из охраны в прокуратуру, из прокуратуры — в полицию, из полиции — в военные трибуналы.

«Красный Стамбул», «Красный Эскишехир», «Красный Измир», «Красный Самсун», «Шахтёр», «Рудокоп»! На сколько тысяч лет тюрьмы и каторги были осуждены эти газеты вместе с членами нашей партии?!

Сыщики, полицейские, провокаторы уже двадцать лет охотятся за центральным органом партии — газетой «Орак-чекич» («Серп и молот»). Сколько наших товарищей, героев, таких как моряк Мухаррем, отдали жизнь, защищая «Орак-чекич»!

После каждой облаты на коммунистов министерство внутренних дел Турции передаёт для печати штампованные сообщения: «От коммунистических организаций в Турции не осталось и следа». Но проходит немного времени, и писаки с улицы Анкары снова поднимают вой: «Коммунисты... Красные...». В меджлисе маршаллизованные депутаты образуют «Комиссию по борьбе с коммунизмом», издаётся закон «о борьбе с левыми течениями». Поощряются фашистские хулиганские банды пан-тюркистов, устраивающих погромные манифестации.

Но шила в мешке не утаишь. Время от времени волей-неволей антинародным правящим кругам приходится делать вынужденные признания. «Коммунистическая партия пустила в Турции глубокие корни... Во главе тех, кто требует свободы и демократии, вы видите коммунистов!», — пишет газета «Улус».

Даже кемалисты, которые клеветают на нас, называя нас «импортным товаром», вынуждены признать, что коммунистическая партия Турции стоит во главе борьбы народа за мир, демократию и национальную независимость. Именно это и пугает их больше всего.

Есть такой генерал Тыназтепе. Это типичный фашист по своим убеждениям и делам. Вот что писал он в одном из своих донесений, когда был генерал-губернатором Стамбула:

«Происходившие в течение долгих лет в турецких военных судах и трибуналах политические процессы — это, по существу, процессы над коммунистической партией Турции и её Центральным комитетом... Теперь эта партия зовёт народ на борьбу против американцев. В своих листовках, распространяемых в народе, она заявляет: «Анкарское правительство продало независимость страны за долларовую подачку».

Враги турецкого народа в своих секретных рапортах и донесениях признают то, о чём боятся сказать открыто. Они признают, что вынуждены считаться с деятельностью партии, которую они хотят задавить своими фашистскими законами. Солнце глиной не замажешь!

### «Сорок разбойников»

Так народ называет главарей турецкой буржуазии — заправил фашистских партий и связанных с Вашингтоном реакционных турецких правителей. Главным их делом стало набивать свой карман.

«Сорок разбойников» не желают выпускать из лап свои доходные вотчины. Но будущее внушает им большие опасения. Такие тузы, как Иненю, на всякий случай купили себе имение в Калифорнии. Многие из них предпочитают хранить своё золото в сейфах швейцарских, лондонских и нью-йоркских банков. Бия себя кулаками в грудь, они кричат: «Мы националисты». Но доллар для них выше лиры. «Мы турки!» — уверяют «сорок разбойников». Но для вящей предосторожности, вместо того, чтобы строить заводы в Турции, они держат огромный капитал, выжатый из народа, — двести миллионов долларов — замороженным в нью-йоркских банках.

Продажные писаки и политики называют Сараджоглу и Баяра, Урана и Мендереса, Коралтана и Инана, Сака и Караосманоглу, разбогатевших одним махом на коррупциях, крупном казнокрадстве и ограблении угнетённых национальностей, «избранными», «высокопоставленными деятелями».

Один из этих лакействующих перед Уолл-стритом разбойников заявил: «Бумага и радио, типографии и кинотеатры, газеты и полиция, суды и казармы, казна, тюрьмы и банки, меджлис и армия — всё это, вся государственная машина в наших руках... За нами стоит Америка... Пусть наши внутренние враги знают это».

Действительно, в руках у эксплуататорских классов мощный аппарат. Но народ против них, он с нами! Вот почему они называют народ «внутренним врагом».

Реакция, её газеты, радио, платные ораторы каждый день обливают нас грязью. Чтобы дезориентировать, оглушить, отвлечь народ, они используют пропагандистские трюки Геббельса, фальсификаторские методы американского фашиста Херста. Фашистские партии разжигают военную истерию. Они прививают молодёжи самые низменные инстинкты. «Сорок разбойников» хотят обманом и силой погнать турецкий народ на американскую войну. Вот почему реакционные правящие круги обрушили на прогрессивные силы Турции и прежде всего на рабочий класс и его партию жестокий террор.

### Вчера и сегодня

Годы идут. Мы снова скитаемся по тюрьмам и этапам. В этот раз под конвоем жандармов в наручниках нас ведут с Востока на Запад...

Мы идём по южным волостям. Чукурова. Хлопковые поля. Сюда стекаются тысячи крестьян, у которых в родной деревне не осталось ни кола, ни двора. Оборванные, полуголые люди. Нищета и голод бредут по дорогам.

Адана. На площади у моста — рынок батраков. Это страшнее, чем старые рынки рабов. 50 тысяч безработных на этом рынке.

Идёт дождь. Нас не принимают ни в местной тюрьме, ни в жандармском управлении: «Ваши бумаги выправлены в Сизап».

Мы стоим на площади у здания вилаетского управления. Вымокли до костей. У меня начался приступ малярии, всего трясёт. Чтобы не свалиться на мостовую, опираюсь на плечо товарища. Конвоирующие нас жандармы растерялись, не знают, что делать с нами. А мы кричим во весь голос: «Долой фашизм!» Я дрожу от холода, горю. Поём революционные песни. Прохожие останавливаются. Несмотря на дождь, собирается

толпа. Наконец являются прокурор и начальник жандармерии. Полицейские разгоняют народ.

Нас вталкивают в какой-то подвал в здании вилайетского управления. Здесь мы пробыли два дня. Кажется, что нас бросили в мусорную корзину... Кругом — пожелтевшие, истлевшие старые газеты, бумаги, книги.

Мы роемся в газетах. Мой товарищ ищет что-нибудь «новое», «свежее», хотя бы — пяти-восьмилетней давности. Забыв обо всём, мы копаемся в пожелтевшем, истлевшем бумажном хламе. Страстное желание читать овладевает нами! Но здесь самые «свежие» газеты — начала тридцатых годов. 1932 год. На первой странице фотографии американского генерала! Макартур. Он прибыл, чтобы поближе познакомиться с турецкой армией. «Я считал бы честью для себя командовать турецкой дивизией... Сжав зубы, Турция может выставить миллионную армию», — заявил он корреспондентам.

С одной дивизии начинали представители американских милитаристов торг с Анкарой. Но уже тогда Пентагон зарился на миллионы меметчиков.

Другая газета. 1933 год. «Министр экономики Джелаль-бей (Баяр) пригласил специалистов из Америки... Американцы обследуют богатые месторождения турецкой нефти и полезных ископаемых... Они уделяют особое внимание залежам меди и хрома... Они обследуют также дела турецких банков».

Американские короли доллара и нефти давно уже засылали в Турцию своих разведчиков, понемногу укрепляли свои позиции. Анкара исподволь торговалась с ними. А годы шли... И вот в один прекрасный день американские генералы, офицеры, так называемые деловые люди, банкиры, дипломаты, «специалисты», сенаторы, предьявляя «доктрину Трумэна» вместо паспорта, валом повалили в Турцию.

Возродился режим капитуляций. Наместники Уолл-стрита стали подлинными хозяевами Анкары. Чанкая, резиденция премьер-министра и председателя меджлиса, генеральный штаб и все министерства специальными телефонными линиями, специальными курьерами связаны прямо с американским посольством, с американской военной миссией, с «Управлением по осуществлению плана Маршалла». Встречая этих специальных курьеров, подымая трубки прямых телефонов, «сорок разбойников» сгибают спины в три погибели...

Стоило Макартуру послать телеграмму, как ему из Турции в Корею присылают батальоны турецких солдат. Он расходовал меметчиков, как пушечное мясо, а на родину возвращал их личные номера и похоронные свидетельства.

### За что мы боремся

Фашистские трибуналы выносят приговоры коммунистам по одной стандартной формуле: «За попытку низвержения существующего государственного и политического строя, разгона меджлиса и свержения правительства»...

Военный трибунал № 2 в Анкаре. Крохотный зал заседаний. Закрытые двери. По стенам, словно проглотив шомпола, стоят часовые в американской форме, с американскими винтовками в руках.

Судейская коллегия. Широкий стол. Жирный турецкий генерал в американском мундире. Слева и справа от него не менее американизированные члены коллегии. Рядом — прокурор...

Посреди зала — место для подсудимых, обнесённое с четырёх сторон высокой, по грудь, железной решёткой. В этой железной клетке, плечом

к плечу стоит группа коммунистов. Один из них, невысокий, с седой головой, говорит внятно и громко:

— Мы отклоняем предъявленное нам прокурором обвинение. Мы готовы отчитаться перед народом. Вот почему мы требуем, чтобы ваши заседания проводились при открытых дверях. Народ должен знать правду.

Мы, коммунисты, заявляем, что «существующий политический строй» никогда не обеспечивал и не может обеспечить угнетённому большинству турецкого народа никаких прав и никаких свобод.

Тридцать лет прошло с тех пор, как под натиском народных масс был окончательно свергнут султанский режим и образован меджлис — Великое национальное собрание Турции. За это время не было случая, чтобы его порог переступил хоть один представитель рабочих и крестьян-бедняков.

Компартия с самого начала боролась и борется сейчас за то, чтобы была гарантирована свобода выборов для народа. С самого начала компартия требовала и требует установления справедливого государственного строя. Нынешний социальный строй несёт народным массам лишь страдания, голод и нищету. Правительства, сменяющиеся одно за другим, и не помышляют отменять антидемократические законы. Эти законы не признают за народом права свободно избирать своих депутатов, не допускают представителей народа в меджлис, не дают возможности создать такое правительство, которое будет защищать интересы народа. Те, кто правит страной, силой отстранив массы от участия в политической жизни, с лёгкостью продают интересы нации империалистам. А раз всё это так, нужно всё начать сначала, но с другого конца. И в первую очередь сломать этот антинародный режим. Вот к каким справедливым выводам приходят всё более широкие слои турецкого народа, убеждённые собственным горьким опытом.

Правители Турции кричат о «единстве нации». Никогда не было и не будет единства между народом и теми, кто продал за доллары национальные интересы страны, кровь её сыновей. Но созревают условия для объединения различных слоёв населения Турции в едином национальном фронте против американского рабства, против предателей, против реакции...

Председатель трибунала делает попытку прервать оратора, но тот продолжает своё гневное обличение:

— Вы предъявляете нам лживые обвинения, чтобы оправдать эксплуататорские классы, их фашистские правительства, оправдать нищету и несправедливость народа. Вы устраиваете закрытые процессы, вы хотите расправиться с коммунистами потому, что они от имени всего турецкого народа протестуют против антинациональной политики проамериканских партий...

Генерал выходит из себя, стучит кулаком по столу, кричит так, что, кажется, сейчас лопнет его толстый живот:

— Молча-а-атть! Забрать их! Заковать в кандалы — пусть знают перед кем они говорят... Я не позволю издеваться над честью нашего мундира...

Из группы коммунистов раздаётся спокойный и насмешливый голос:

— Ваш мундир — американский, а сами вы — фашисты.

Солдаты и офицеры вмиг окружают коммунистов и, подталкивая прикладами, выводят их из зала заседаний.

Тупоголовый американизированный генерал никогда и не слышал. вероятно, правдивых слов народного турецкого поэта: «Разве можно

повесить замок на текущие воды реки!». Продолжение речи седого коммуниста, прерванной даже за закрытыми дверями военного трибунала в Анкаре, народ читал в нелегальных газетах компартии:

«...Коммунистическая партия Турции положила в основу своей боевой программы чаяния народных масс. Мы боремся за действительно демократическую республику. За равнсправие национальных меньшинств. За коренное решение земельного вопроса. Нужно окончательно уничтожить остатки феодализма, бесплатно раздать землю миллионам безземельных крестьян, обеспечить их сельскохозяйственными орудиями, семенами. Нужно ликвидировать нынешнюю налоговую систему, которая является не чем иным, как узаконенным грабежом. В то время, как рабочие отдают на налоги 30 процентов своего нищенского заработка, миллионеры платят меньше одного процента своих барышей. Бедный крестьянин платит налогов в семь раз больше, чем крупный помещик. Феодалы, деревей, которые владеют десятками и сотнями деревень, вообще не платят налогов.

Вместо сахара — американские танки, вместо масла — американские пушки — вот что предлагают фашистские правительства турецкому народу.

Вырвать Турцию из лап империалистических хищников! Ликвидировать контроль американо-английских монополий над экономикой, политикой, армией и культурой страны!

Чтобы спасти народ от империалистического порабощения и жестокой эксплуатации, есть только один путь — расторгнуть «американо-турецкие соглашения»! Порвать эти рабские цепи.

Богатства земля, вод и недр страны необходимо использовать на благо народа. Нужно создать мощную, постоянно крепнущую независимую национальную экономику — основу национальной независимости.

Провести коренные социальные преобразования! Навсегда покончить с безработицей, голодом, нищетой — неизбежными спутниками нынешнего режима! Повысить благосостояние народа, организовать для него здравоохранение! Широко распахнуть для детей рабочих и крестьян двери школ, университетов.

Необходимо обеспечить участие широких народных масс в коренных преобразованиях нашей национальной жизни. Дать возможность рабочему классу активно участвовать в создании нового государственного аппарата. Очистить государственную машину от реакционеров, мракбесов, агентов империализма. Разогнать фашистские пантюркистские организации. Очистить армию от врагов народа, от реакционных генералов и офицеров — выкорышей германского, английского и американского милитаризма.

Трудящиеся должны получить возможность свободно создавать свои организации. Турецкий народ должен занять своё место в рядах всемирного фронта мира и демократии!».

Эти горячие слова справедливости и правды тайком читали тысячи людей и одобряли их.

...Был канун Первого мая 1950 года. На Черноморском побережье, особенно в районах Бафры и Чаршанбы, свирепствовал голод. Американцы и их анкарские слуги разорили турецких крестьян — шелководов и табаководов. Голодающие крестьяне организованной колонной направились в Самсун.

В яркий солнечный день рабочие, выброшенные за ворота табачных и текстильных фабрик Самсуна, вышли на улицу, чтобы защитить свои права, чтобы заявить о своих требованиях. Безработные, вместе с голо-

дающими крестьянами, заполнили площадь перед зданием вилайетского управления.

— Требуем хлеба! Требуем работы!

Этот поход голодных, эта демонстрация безработных была организована коммунистической партией.

— Те, кто обрёл вас на голод и безработицу,— говорил один из ораторов,— кутят сейчас вместе с американцами в Анкаре. Главарям фашистских партий нет дела до страданий народа, до интересов страны. Турецкие богачи вместе с американцами грабят народ...

— Заткните ему рот! Это коммунист! — раздался чей-то одинокий возглас.

— Не сможете!.. Он будет говорить!.. Говори, земляк!.. Он правду говорит,— раздалось в ответ десятки голосов.

Народ шумел. Толпа на площади всё росла. В центре площади демонстранты встали кольцом, как будто построили крепость из тел. Нового оратора подняли на плечи. Этого высокого белобрысого рабочего-табачника знали все.

— Да, это говорил коммунист. Только коммунисты понимают страдания и горе народа... Да, народ с вами, товарищи коммунисты!..

Коммунистическая партия Турции стоит во главе национально-освободительного движения, охватывающего всё более широкие слои народа. Но это национально-освободительное движение развивается в совершенно иной обстановке, чем в 1919—1922 годах. И хотя наши враги — это старые враги, но расстановка и соотношение сил теперь иные. Следуя старым боевым традициям нашего народа, мы не зовём, однако, народные массы бороться старым оружием, старыми методами. Прежде всего эти массы нужно организовать, объединить их в организациях для борьбы за мир и национальную независимость!

Наша партия до конца решительно и последовательно отстаивала, отстаивает и будет отстаивать интересы всей нации, всё теснее сплетающиеся с интересами пролетариата.

Коммунистическая партия Турции пережила тяжёлые годы, и много тяжёлых дней у неё ещё впереди. Но компартия стала знаменосцем в борьбе народа против американского рабства и предательства реакции. Турецкий рабочий класс гордится своей коммунистической партией. Ряды коммунистической партии непрерывно пополняются новыми борцами.

«Сидеть в тюрьме — это не искусство, искусство — в том, чтобы всюду бороться», — говорят у нас в партии.

Многие товарищи по несколько раз бежали из тюрем, из ссылок. Скрывались, уходили в подполье. В тяжелейших условиях они с честью выполняют порученное им партией дело, непоколебимо и мужественно они выполняют свой долг коммуниста и человека.

Я — рядовой боец Коммунистической партии Турции. Мне тоже удалось бежать, вырваться из лап тюремщиков, полиции, жандармов. Я снова в гуще народа, в море народном! Я снова на поле боя.

*Стамбул. Кулаксыз. 1950 г.*

*Перевод с турецкого Р. Фиша.*



# ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

Академик А. В. ВИНТЕР

★

## СТРОЙКИ НАРОДА И СТРОЙКИ БИЗНЕСМЕНОВ

1

**С**оциалистический общественный строй открыл небывалые просторы творческому труду народа — полновластного хозяина своей страны и всех её природных богатств. Тридцать с лишним лет слово «стройка» произносится в повседневном обиходе советских людей, отражая многогранную и насыщенную кипучей деятельностью жизнь нашей Родины.

До неузнаваемости преобразилось, став поистине прекрасным, лицо нашей земли, выросла и окрепла под великим знаменем партии Ленина—Сталина первая в истории человечества народная армия строителей коммунистического общества.

Успехи народного хозяйства Советского Союза — блестящее неопровержимое доказательство всемирно-исторической победы, которую социализм одержал над капитализмом в соревновании двух систем, разделивших мир в Октябре 1917 года.

В этой победе огромную роль играет электрификация — могучее сердце, пульсирующее в организме народного хозяйства страны.

Электричество — на службу народу. В этих немногих словах заключён великий смысл энергетического строительства, развёрнутого в советской стране по предназначениям светлых гениев человечества Ленина и Сталина.

Без обилия электрической энергии был бы немислим тот невиданный подъём производительных сил, который превратил нищую и технически отсталую Россию в могучую непобедимую державу.

Электрификация, то есть строительство электростанций разных типов и снабжение электрической энергией всех отраслей народного хозяйства, в том числе и земледелия, осуществляется в Советском Союзе по законам социалистического планирования.

Производство электрической энергии сосредоточено в крупных централизованных тепловых и гидроэлектрических станциях, использующих для этого местные дешёвые виды топлива (торф, многозольные угли, отходы угледобычи, газы и пр.) и водный поток многочисленных больших, средних и малых рек. Строительство каждой электростанции проектируется комплексно, то есть таким образом, чтобы она не только могла удовлетворить потребности в электроэнергии промышленности, сельского хозяйства и быта населения значительных районов в радиусе её действия, но способствовала их преобразованию, решая другие хозяйственные проблемы, например, водоснабжения, орошения, обводнения, судоходства, теплофикации и газификации городов, электрификации транспорта, размещения новых промышленных предприятий и т. д. Принципы такого комплексного использования природных энергетических ресурсов для электрификации возможны только в условиях социализма, в которых нет непреодолимых барьеров, воздвигаемых частной собственностью и страстью к наживе.

Крупные электростанции связаны между собой линиями электропередач и образуют в совокупности так называемые районные энергосистемы. Энергосистема создаёт наилучшие условия эксплуатации электростанций, позволяя более полно использовать

машинное, котельное и прочее оборудование, значительно экономить топливо и сокращать необходимые в работе каждой электростанции резервы машин.

Необходимость такого резерва на современных электростанциях обусловливается неравномерностью рабочей нагрузки в течение дней, суток, месяцев и сезонов года, а также текущим или аварийным ремонтом. Резервные машины всегда должны быть готовы к пуску в любую минуту, что сопряжено с большими затратами топлива, рабочей силы и других материальных средств. Взаимодействие мощных энергосистем, сокращая необходимые резервы, приводит к тому, что эксплуатация электростанций делается более простой и дешёвой.

Каждая крупная советская энергосистема рассматривается как звено будущей Единой высоковольтной сети Советского Союза с генеральными пультами управления.

Разветвлённая и растущая государственная система крупных электростанций Советского Союза заменила единичные маломощные электростанции, оставшиеся в наследство от царской России. Это явилось результатом гигантской энергетической стройки, такого размаха и таких стремительных темпов, каких не знает история техники капиталистических стран.

Вторжение немецко-фашистских захватчиков на территорию Советского Союза нанесло, как известно, колоссальный ущерб нашему народному хозяйству и его энергетической базе. «Цивилизованные» варвары взорвали и уничтожили шестьдесят одну крупную электростанцию и сотни мелких, разрушили двенадцать тысяч станционных зданий, вывели из строя около десяти тысяч километров магистральных высоковольтных линий электропередач. В груды развалин превратилась самая большая в Европе Днепровская гидроэлектростанция, которую товарищ Сталин назвал творением и гордостью советского народа.

Но уже к концу 1950 года советский народ закончил все восстановительные работы на разрушенных электростанциях, умножив их бывшие мощности. Одновременно строились и были пущены в эксплуатацию новые электростанции, что в совокупности увеличило выработку электрической энергии по всей стране на восемьдесят семь процентов против довоенной.

Технический уровень, на котором осуществляется социалистическая электрификация нашей страны, из года в год повышается как в смысле организации работ на строительных площадках, так и в смысле непрерывного совершенствования конструкций всевозможного машинного оборудования.

В послевоенной сталинской пятилетке советская техника достигла новых, ещё не виданных высот, что сейчас же сказалось на темпах и качестве выполнения плановых заданий во всех без исключения отраслях народного хозяйства.

Труд учёных, инженеров и конструкторов советской страны не опутан мёртвой паутиной капиталистических махинаций, но протекает в свободном научном и производственном соревновании, в решении сложных и многообразных технических проблем, возникающих в практике народнохозяйственного строительства. Ценнейшие изобретения и множество новаторских улучшений нашли за последние годы своё применение и в строительстве энергетики.

На наших электростанциях устанавливаются промадные паровые турбины и котлы высокого давления пара, гидрогенераторы уникальных мощностей со сложной автоматической аппаратурой и телеуправлением...

Эти великолепные машины с высоким коэффициентом полезного действия призваны сыграть огромную преобразующую роль в процессах производства электрической энергии. Кстати сказать, в текущем году крупные паровые турбины высокого давления составят уже семьдесят процентов всех вводимых на тепловых электростанциях мощностей. Расход топлива на производство одного киловатт-часа электроэнергии за последние десять лет сократился почти на десять процентов. Это — огромное достижение советской энергетики. Ни одно энергетическое хозяйство капиталистического Запада не может похвастаться такими показателями. Бизнесмены отлично понимают, что означает такая, на первый взгляд «скромная» цифра экономии в топливном и денежном балансе даже отдельного предприятия. Однако ожесточённая конку-

ренция, хищническое хозяйничанье, частнособственнические интересы не позволяют им добиться сколько-нибудь значительных результатов в этой области. В нашей же стране каждый новый процент экономии топлива равноценен экономии миллионов тонн угля, миллионов рублей, драгоценного времени и труда советских людей.

Для крупных тепловых электростанций у нас технически решена проблема комплексной автоматизации котлов. В ближайшие четыре-пять лет будет закончена автоматизация всех тепловых станций Советского Союза.

Многие гидроэлектростанции переведены на телеуправление. Они не нуждаются в обслуживающем персонале и «подчиняются» рычагу дежурного на диспетчерском пункте, расположенном на расстоянии многих десятков километров.

Свыше ста двадцати городов Советского Союза имеют теплоэлектроцентрали, в которых одни и те же турбины производят электрическую энергию и тепло для нужд бытового и промышленного отопления. В этом смысле советская энергетика опередила все капиталистические страны, в том числе и США.

Ещё накануне Великой Отечественной войны агрегаты советских электростанций были более эффективными в эксплуатации, более совершенными по конструкции, чем на электростанциях капиталистических стран. Нужно ли говорить, что к концу первой послевоенной пятилетки положение ещё более изменилось в пользу электрохозяйства нашей страны... По выработке электроэнергии Советский Союз вышел на первое место в Европе и на второе в мире.

Советское энергетическое строительство самое передовое не только потому, что оборудование наших электростанций соответствует новейшим достижениям современной электротехнической науки, а его эксплуатация даёт непревзойдённые результаты. В понятие передовой энергетике мы прежде всего вкладываем направленность электрической энергии.

Электрическая энергия советских электростанций могучим потоком идёт на производство изобилия материальных и культурных ценностей, повышая благосостояние советского народа. Электрическая энергия советских электростанций определяет технический прогресс всех отраслей народного хозяйства, способствуя широкой механизации производственных процессов и, следовательно, неуклонному подъёму производительных сил страны.

Это значит, что в Советском Союзе электрическая энергия поставлена на службу строительству коммунистического общества.

## 2

В системе народного хозяйства СССР огромное место занимает гидроэлектростроительство, история которого в нашей стране насчитывает всего три с небольшим десятка лет.

Капиталистическая система буржуазно-помещичьей России отличалась тупым варварством, бескультурьем в самом широком смысле слова. Все проекты использования могучего водного потока многочисленных рек страны для производства электрической энергии встречали в правящих кругах глухую стену равнодушия и прямого сопротивления.

Правда, ещё со времён Петра Первого русские техники-самородки на некоторых уральских заводах заставляли реку вертеть колёса и передавали полученную таким образом механическую энергию в цехи к рабочим машинам.

В конце прошлого века на реке Подкумок под Пятигорском была построена маломощная гидроэлектростанция, известная ныне под названием «Белый уголь». Практически эта станция не имела никакого промышленного значения. И, наконец, в 1895 году русский инженер Р. Э. Классон осуществил полную электрификацию Охтенского порохового завода в Петербурге на базе гидроэлектрической установки, затратив много времени и сил на уговоры заводской администрации.

Конечно, ни пятигорский, ни охтенский опыты не могли иметь никакого, даже познавательного, значения к тому времени, когда советская власть влилась первую

страницу в опромную книгу гидроэлектростроительства нашей страны, начав в 1918 году сооружение Волховской гидроэлектростанции.

За годы предвоенных сталинских пятилеток советский народ построил и пустил в эксплуатацию десятки крупных гидроэлектростанций, сотни средних и мелких, преимущественно для нужд сельского хозяйства. Во время Великой Отечественной войны это строительство продолжалось в тыловых районах страны, а по окончании войны широко развернулось в каждой из союзных республик нашей многонациональной Родины, неизменно проектируемое на основе принципов социалистического комплексного планирования. Любая из многочисленных гидроэлектростанций Советского Союза оказывает решающее влияние на общий экономический и культурный подъём районов в радиусе её действия.

В настоящее время советские гидростроители занимают ведущее место в мировой гидротехнической науке, неустанно внося в неё новые, смелые и простые решения наиболее важных научных проблем. Широкая общественность должна знать о той углублённой творческой разработке сложнейших проблем гидротехнических сооружений, о том огромном практическом опыте, которые составляют неспаримый приоритет советских учёных и инженеров.

Социалистический общественный строй, определив направленность гидроэлектростроительства, тем самым вызвал принципиальное изменение содержания изыскательских работ и их методологии.

Общепринятое содержание проектно-изыскательских работ в капиталистической гидротехнике состоит в подсчётах потенциальных ресурсов данной реки с последующим техническим проектом самого гидросооружения и определением его стоимости, дополняемым соображениями о прибылях тех или иных хозяев строительства.

Содержание изыскательских работ и технических проектов советских гидростроителей определяется общегосударственными народными интересами и поэтому включает в себя великое множество разнообразных вопросов, связанных с экономикой огромных районов и бытом населения бассейна каждой данной реки.

Коллективы советских изыскателей изучают и силу водного потока, и русло реки, и местонахождение полезных ископаемых, и плодородные почвы, и перспективы переселения людей с затопляемых площадей, судоходства, водоснабжения, орошения и обводнения, лесного и рыбного хозяйства и т. д. — с единой целью создания максимума благ для людей.

На пути советского гидроэлектростроительства встают огромные технические трудности, обусловленные разнообразным характером рек нашей страны и подчас суровыми климатическими условиями. Эти трудности преодолевались и преодолеваются нашей научной и технической мыслью по-новаторски смело и самостоятельно. Даже на первом этапе нашего гидростроительства старый опыт гидротехнических сооружений в капиталистических странах был далеко не достаточным для наших условий.

Дело в том, что зарубежные проектировщики и инженеры умеют возводить эти сооружения на твёрдых основаниях русла рек преимущественно на гранитах или на плотном известняке. Зарубежная гидротехническая наука до сих пор придерживается мнения о ненадёжности мягких — песчаных, иловых или глинистых — оснований под долговечными и ответственными гидросооружениями.

На равнинных реках, которых в СССР большинство, редко можно найти створ с каменистым основанием. Следовательно, нужно было либо найти инженерное решение для возведения гидротехнических сооружений на мягких грунтах, либо отказаться от использования поистине неисчерпаемых водных ресурсов наших рек для производства электрической энергии.

Однако советским людям органически несвойственно идти по линии наименьшего сопротивления. Труднейшая проблема мягких грунтов была блестяще решена уже при возведении одного из первенцев советского гидростроительства — Нижне-Свирьской гидроэлектростанции на глинистом основании. Вопреки зловещим предсказаниям американского инженера Купера, эта гидроэлектростанция отлично работает уже много лет, не внушая никаких опасений в её надёжности.

Зарубежная теория непригодности песчаных или глинистых оснований разоблачена и сдана в архив техники советской гидротехнической наукой, выводы и расчёты которой многократно подтверждены практикой возведения мощных сооружений в руслах равнинных рек нашей страны.

Длинные суровые зимы, быстрое таяние снегов, весенние паводки отражаются на режиме речных стоков, вызывают его колебания, которые, в свою очередь, мешают работе машин на гидростанциях. Советские гидростроители нашли интересные и новаторские методы сопротивления этим явлениям стихии, изменяя и совершенствуя конструкции плотин, турбин, шлюзов, общую компоновку гидроузла в целом.

Широкое распространение в Советском Союзе имеют так называемые каскады, то есть последовательное сооружение нескольких гидростанций на протяжении одной реки. Экономическое значение каскада чрезвычайно велико, потому что он позволяет использовать весь напор данной реки, зачастую очень длинной. Наш богатый опыт технического проектирования и экономического планирования каскадных систем не имеет себе равного в практике гидростроительства капиталистических стран.

Проблема удешевления стоимости гидротехнических сооружений необычайно сложна. Некоторые крупные американские и шведские строительные фирмы искали её решения, отказавшись от возведения наземной части самого здания гидростанции, то есть самого дешёвого объекта всего комплекса гидроузла. Естественно, что сколько-нибудь ощутимых результатов этот опыт не дал.

В нашей стране изыскиваются разные способы сокращения расходов на каждом отдельном строительстве. В частности, значительно дешевле обходится строительство нового и оригинального типа так называемых «совмещённых» гидростанций, созданных советскими гидростроителями. На этих станциях всё машинное и вспомогательное оборудование располагается в «теле» самой плотины, а не в специальном здании, обычно особенно дорого стоящем в его подводной части.

Что касается эксплуатации гидростанций, то огромную роль для их экономической эффективности играет перевод этих станций на телеуправление.

Круг проблем, составляющих содержание советской гидротехнической и гидроэнергетической науки, далеко не исчерпывается вышесказанным. В практике изыскательских и проектировочных работ, строительства и эксплуатации гидросооружений постоянно возникает множество самых разнообразных вопросов общего и местного значения. Для своего разрешения они требуют умелых и опытных специалистов, огромной творческой работы учёных и практиков-гидростроителей, смелости новаторской мысли, точности расчётов, любви к делу... Великая социалистическая стройка вырастила кадры людей, обладающих всеми этими качествами, людей, до конца преданных интересам народа и отдающих ему все силы на фронтах гидроэлектростроительства.

### 3

Высокий патриотизм советских людей, воспитанных партией Ленина—Сталина, в сочетании с могучей техникой социализма — это такая созидательная сила, которая опрокидывает все установившиеся за многовековую историю развития человеческого общества представления о возможном и невозможном в труде и борьбе.

Гигантский опыт гидроэлектростроительства и успешное выполнение планов послевоенной сталинской пятилетки позволили советскому народу приступить к решению величайших комплексных проблем гидротехнического и ирригационного строительства.

Советские люди с гордостью встречают годовщину исторических постановлений советского правительства о великих стройках коммунизма широким фронтом подготовительных работ на Волге под Куйбышевом и Сталинградом, на Днестре и Аму-Дарье, в пустыне Кара-Кумы. Уже близится к завершению строительство Волго-Донского канала в комплексе с Цимлянским гидроузлом.

Через пять-шесть лет эти новые гидростанции обогатят неуклонно растущий энергетический баланс Советского Союза мощностью в 4 миллиона 220 тысяч киловатт, которая обеспечит годовую выработку свыше двадцати двух миллиардов киловатт-часов дешёвой электрической энергии.

Такое увеличение электробаланса будет иметь огромное решающее значение в системе народного хозяйства, и это становится совершенно очевидным, если взять хотя бы несколько цифр расходования электроэнергии в различных производствах.

Так, например, на добычу одной тонны угля нужно 15 киловатт-часов, нефти — 28, на производство одной тонны цемента — 100, чугуна или стали — 150, каучука — 17 000, алюминия — 25 000, магнезия — 50 000 киловатт-часов.

На производство одной легковой машины требуется 1 500—1 800 киловатт-часов, мощного трактора — 5 000, мощного паровоза серии «ФД» — 60 000, четырёхмоторного самолёта — 150 000 киловатт-часов электрической энергии.

Электротрактор расходует около 40 киловатт-часов для вспашки одного гектара, и одного киловатт-часа достаточно, чтобы выдоить 45 коров, подстричь электромашиной 15 овец, вывести 30 цыплят в инкубаторе, испечь 88 килограммов хлеба, сварить и расфасовать 42 килограмма сахара, четыре раза продемонстрировать большой кинофильм и т. п.

Новые гидростанции, в первую очередь волжские гиганты, сыграют огромную роль в дальнейшем подъёме самых разнообразных отраслей промышленности Советского Союза, в которых все производственные процессы будут электрифицированы.

Это имеет значение не только в смысле увеличения количества и улучшения качества выпускаемой продукции. Электричество заменит мускульную силу рабочего у станка или машины, создавая тем самым существенные предпосылки для уничтожения разрыва между трудом физическим и умственным.

Дешёвая энергия новых гидростанций откроет широкие перспективы для сложных технологических процессов, в которых используется тепловое и химическое действие электрического тока. В частности, массовое применение получают высокопроизводительные методы обработки металлов при помощи электричества. Многие другие изменения и улучшения в промышленном производстве, которые трудно перечислить, последуют за обилием электрической энергии и обеспечат массовый выпуск продукции для нужд советских людей.

Великие стройки коммунизма являются ведущим звеном в огромной цепи работ по осуществлению величественного Сталинского плана преобразования природы на огромных пространствах нашей Родины. Борьба с засухой и освоение пустыни составляют основное содержание этого плана. Эта борьба гребует обилия электрической энергии и воды.

Огромные посевные площади расположены в засушливых, но плодородных степях Поволжья и Средней Азии. Засухи и суховеи регулярно поражают центрально-чернозёмные, ростовские и ставропольские степи, районы южной Украины, северного Крыма и Приаралья. Пустыня властвует на седьмой части территории Советского Союза.

Великие руководители нашего государства ещё на первом этапе социалистического строительства остро ставили вопрос о необходимости покорить злую стихию природы. В апреле 1921 года В. И. Ленин призывал коммунистов Кавказа: «...начать крупные работы электрификации, орошения. Орошение больше всего нужно и больше всего пересоздаст край, возродит его, похоронит прошлое, укрепит переход к социализму»<sup>1</sup>. В 1924 году И. В. Сталин выдвинул орошение как одно из основных мероприятий для получения высоких и устойчивых урожаев в неблагоприятные по климатическим условиям годы. Он писал: «Думаем на ч а т ь дело с образования минимально необходимого мелиоративного клина по зоне Самара — Саратов — Царицын — Астрахань — Ставрополь»<sup>2</sup>.

В 1934 году товарищ Сталин в отчётном докладе XVII съезду партии особо подчеркнул, что «Мы не можем обойтись без серьёзной и совершенно стабильной, свободной от случайностей погоды, базы хлебного производства на Волге»<sup>3</sup>.

Завершение строительства новых гидроузлов, магистральных каналов и ороситель-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 32, стр. 297.

<sup>2</sup> И. В. Сталин. Сочинения, т. 6, стр. 275.

<sup>3</sup> И. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 456.

ных систем через шесть-семь лет даст советскому народу более двадцати восьми миллионов гектаров орошённой и обводнённой земли, которая стоицей воздаст за потраченный труд. Эта площадь превышает территорию Англии, Бельгии, Голландии, Дании и Швейцарии, вместе взятых. Новый массив плодородных земель почти в девять раз превысит всю орошаемую долину Нила, в три с половиной раза — орошаемую и обводнённую землю в Соединённых Штатах... (Кстати, ирригация в долине Нила имеет многовековую давность, а американцы трудились над своими оросительными системами около ста лет).

Трудно подсчитать в точных цифрах, какое количество, скажем, пшеницы получит советская страна, освоив миллионы гектаров новых плодородных площадей. Однако несколько сравнительных данных могут помочь составить об этом некоторое представление. Из официальных материалов Римского аграрного института следует, что урожай пшеницы в Канаде — этой разрекламированной «мировой житнице» — достигал 12,2 центнера с гектара, во Франции — 12, в Соединённых Штатах — уже 9,9 центнера с гектара, в Испании и того меньше — всего 9,1 центнера...

Во многих районах Советского Союза благодаря колхозному строю урожай пшеницы достигает 25 центнеров с гектара. На поливных землях в южной Украине зарегистрированы многократные случаи урожаев в 45—50 центнеров с гектара.

Нет никакого сомнения в том, что, повышая агротехнику новых орошаемых земель, колхозники добьются баснословных урожаев пшеницы, ржи, риса и других зерновых культур, изобилия овощей, фруктов, ягод, продуктов животноводства, изобилия, какого ещё не видело человечество.

Большое развитие получит посев технических культур для обеспечения сельскохозяйственным сырьём разнообразных отраслей промышленности: текстильной, масляной, сахарной, винокуренной, кондитерской, табачной, резиновой, лакокрасочной и других.

Электроэнергия новых гидростанций позволит электрифицировать многие процессы сельскохозяйственного труда в огромных районах страны. Электротракторы и электрокомбайны вспашут, посеют и уборут сотни тысяч гектаров колхозных полей, десятки типов разнообразных машин выполнят трудоёмкие работы по прополке полей и огородов, уходу за скотом и т.д.

Возможность широкой электрификации массового сельскохозяйственного производства — одна из наиболее красочных иллюстраций преимуществ социалистического общественного строя над капиталистическим. В Соединённых Штатах Америки, например, применение электроэнергии в земледелии выражается ничтожной цифрой. Сотни тысяч владельцев ферм, расположенных вблизи линий электропередач, не пользуются электричеством, потому что не имеют средств обзавестись нужными машинами.

Оросительные и обводнительные системы не исчерпывают мероприятий по борьбе с засухой. В нашей стране повсеместно производятся лесонасаждения с целью защиты полей от губительного действия суховея и удержания влаги в почве. Через несколько лет эти лесозащитные полосы окажут благотворное влияние на климатические условия больших просторов страны, и, в первую очередь, в радиусе действия новых гидроузлов.

Никогда ещё мировая история не знала таких грандиозных масштабов использования природных богатств страны во имя жизненных интересов народа.

Прогрессивное человечество справедливо оценивает великие стройки коммунизма как свидетельство могущества и миролюбивых устремлений Советского Союза.

## 4

Непревзойдённый образец продуманности использования крупнейшей в Европе реки представляет собой так называемая проблема Большой Волги. Чтобы со всей полнотой понять огромное значение великих строек под Куйбышевом и Сталинградом, следует коснуться этой проблемы.

Волга, начинаясь значительно севернее Москвы, проходит огромный путь до Кас-

пийского моря, вбирая в себя воды бесчисленных притоков. С незапамятных времён она служит важнейшей водной магистралью, по которой перевозятся несметные количества самых разнообразных грузов, сплавляется лес, движутся пассажирские пароходы...

В дореволюционной России шло повсеместное хищническое истощение лесных массивов, в частности и в бассейне Волги. В результате начался процесс обмеления реки, в жаркие летние месяцы образовывались перекаты, что сильно затрудняло прохождение товарных и пассажирских судов.

Темпы великой стройки социализма в годы первых сталинских пятилеток требовали быстрых оперативных перевозок угля, нефти, стали, железа, чугуна, стекла, различного машинного оборудования. В этих условиях нельзя было терпеть «инвалидность» реки — грузы направлялись по железным дорогам, запрягая их до отказа.

По берегам Волги в среднем и нижнем течении на многих миллионах гектаров расположены засушливые, пустынные и полупустынные земли, а российские помещики и купцы так и не додумались, что эти земли можно вызвать к жизни, забрав воду из красавицы-реки. Только русский крестьянин Заволжья надрывался в непосильной одинокой борьбе против страшных засуховеев, дотла сжигавших и без того убогий урожай.

Успешная борьба с засухой стала возможной в условиях колхозного строя, но об окончательной победе нельзя и думать без применения электрической энергии на подаче воды полям.

В годы советской власти неизмеримо возросли водные потребности столицы Советского Союза — Москвы, которым уже не могли отвечать ресурсы Москвы-реки. Нужно было искать новые пути расширения московского водного хозяйства.

Итак, необходимость улучшения условий судоходства, орошения и обводнения засушливых земель, водный «голод Москвы» и, наконец, растущая потребность страны в дешёвой электрической энергии — таковы в основном были неотложные нужды народного хозяйства, продиктовавшие проблему Большой Волги — плана всемерного использования могучего водного потока реки для удовлетворения всех этих нужд.

В 1931 году по инициативе товарища Сталина началось строительство канала, соединяющего верховья Волги с Москвой-рекой. По трассе канала Москва—Волга, завершённого в 1937 году, образовались большие водохранилища, самое крупное из которых — Иваньковское — широко известно под названием «Московское море».

Таким образом за счёт Волги были перекрыты потребности Москвы в воде и наибольшая обмелевшая Москва-река превращена в большую судоходную реку.

В начале Великой Отечественной войны закончилось строительство двух крупных гидростанций в верховьях Волги — Угличской и Щербаковской, первых звеньев волжского каскада.

Плотины и шлюзы этих гидростанций сделали верхнее течение Волги многоводным и пригодным для прохода крупных речных судов.

В годы войны большевистское упорство советских людей дало возможность начать строительство двух гидростанций на крупнейших притоках Волги: в устье Оки у города Горького и на реке Кама у города Молотова, причём обе эти гидростанции входят составной частью в Большую Волгу.

И, наконец, в среднем и нижнем течении началось строительство Куйбышевской и Сталинградской гидростанций общей мощностью в 3700 тысяч киловатт, которое в основном завершает решение проблемы Большой Волги.

Волею советского народа могучая река отдаст силу своего водного потока на производство огромных количеств электрической энергии, а самую воду — на орошение и обводнение колхозных и совхозных полей, садов, огородов и пастбищ.

Плотина Куйбышевской гидростанции поднимет уровень воды в среднем течении Волги настолько, что находящийся в десяти километрах от реки город Казань превратится в речной порт.

Сталинградская плотина, подняв уровень воды в нижнем течении на двадцать шесть метров, образует колоссальное водохранилище, из которого волжская вода пойдёт на нужды орошения и обводнения по магистральному самотёчному каналу длиной в 650 километров в направлении к реке Уралу.

Электрическая энергия Куйбышевской гидроэлектростанции подаст волжскую воду на орошение одного миллиона гектаров засушливых полей Заволжья.

Сталинградский гидроэнергетический узел призван обеспечить орошение и обводнение тринадцати с половиной миллионов гектаров пустынных и полупустынных земель Прикаспия и Заволжья.

Обводнение пустынь и полупустынь северной части Прикаспийской низменности открывает широкие перспективы для высокопродуктивного животноводства, посево зерновых и технических культур, для плодовых насаждений и огородов. Особое значение будет иметь плодороднейшая Волго-Ахтубинская пойма, которую обнесут валом, чтобы регулировать подачу туда необходимого количества воды в нужное время.

Уже сейчас на поливных землях Ахтубы колхозники собирают рекордные урожаи — до пятидесяти и выше центнеров с гектара — пшеницы и риса. Здесь же получило широкое развитие тонкорунное овцеводство.

Чёрные земли, Ногайская степь и Сарпинская низменность — унылые бесплодные пространства — превратятся под воздействием волжской воды в тучные зелёные луга.

Обе эти плотины завершат превращение Волги в крупнейшую в мире многоводную магистраль, значение которой для нашего народного хозяйства трудно передать в каком-либо цифровом выражении. Достаточно сказать, что уже сейчас Волга обслуживает почти одну треть территории европейской части нашей страны, то есть площадь, большую, чем Германия, Англия и Франция, вместе взятые.

В бассейне Волги сосредоточены крупнейшие промышленные предприятия Советского Союза, расположены 65 миллионов гектаров посевных площадей и 67 миллионов гектаров леса. На протяжении реки имеется более полутора тысяч пристаней.

Волга объединяет в настоящее время три моря: Белое, Балтийское и Каспийское. Важнейшее звено Большой Волги — Волго-Донской канал — соединит её ещё с двумя морями — Азовским и Чёрным, и таким образом единой водной транспортной системой будут связаны нефтяной и рыбный Каспий, угольный Донбасс, лесной Север, металлургический Урал, хлебное Поволжье, промышленный центр во главе с Москвой и т. д.

Следовательно, Большая Волга не только улучшает условия судоходства непосредственно на реке, но создаёт колоссальный единый водный путь, охватывающий основные промышленные и сельскохозяйственные районы европейской части Советского Союза.

В Украинской ССР, где нижнее звено днепровского каскада — Каховская гидроэлектростанция — строится в комплексе с Южно-Украинским и Северо-Крымским каналами, решается проблема Большого Днепра. Через шесть лет вода этой могучей реки навечно обеспечит высокие и устойчивые урожаи в плодороднейших районах южной Украины и северного Крыма.

Освоение пустыни в Туркмении — величественная программа преобразования огромного бесплодного края, которая также определяется общественным строем нашей страны, задачами строительства коммунистического общества.

Нет и не может быть капиталистической страны, где могли бы найти своё решение подобные проблемы.

## 5

Что же представляет собой гидроэнергостроительство в странах империализма и наиболее «развитой» из них — в США?

Со страницы «Электрикал Уорлд» — одного из крупных американских энергетических журналов — улыбается обнажённая женщина... Читатель, не посвящённый в тайну механики президентских выборов, не сразу сообразит, почему эта красавица называется «мисс государственная система гидроэлектростанций».

А дело заключается в том, что каждый кандидат в президенты США даёт своим избирателям самые широковещательные и благонамеренные обещания и обязательно сулит заняться развитием государственного гидроэлектротехнического строительства.

Эта давняя традиция нашла своё выражение в музыкальном «ревю» театра Марк-Хэллингер, на сцене которого кандидат в президенты 1960 года (кстати сказать, актёр — двойник Трумэна) занимается предвыборной агитацией в свою пользу го телевизионному центру и иллюстрирует свои неперменные обещания живыми картинками. И вот солидный технический журнал в № 4 за 1951 год с восхищением помещает портрет актрисы, изображающей гидроэлектрические устремления будущего президента.

Рассматривая «мисс государственную систему гидроэлектростанций», я невольно вспомнил эпизод из истории государственной гидростанции Масл Шоалс, построенной известным американским инженером Купером, бывшим консультантом Днепро-строя.

Купер рассказал нам, что эта гидростанция строилась правительством Соединённых Штатов во время первой мировой войны и к её концу была готова к эксплуатации. Очевидно, необходимость в электрической энергии диктовалась военными нуждами, чем объяснялись и форсированные темпы строительства, производившегося на высоком по тому времени техническом уровне.

Во время моего пребывания в Америке по делам, связанным с оборудованием Днепрогэса, я получил приглашение Купера на месте посмотреть результат его проектировочных изысканий и строительного опыта. Каково же было моё несказанное удивление, когда я обнаружил, что на гидростанции Масл Шоалс было выключено всё оборудование за исключением единственной турбины, работавшей почти вхолостую...

На мой вопрос инженер Купер смущённо и невятно объяснил, что потребители электрической энергии не имеют возможности воспользоваться услугами государственной гидростанции. Во-первых, правительство назначило слишком высокий тариф и, во-вторых, как я понял со слов моего собеседника, оговорило в договорах своё право прекращать подачу электрической энергии по собственному произволу и на неопределённое время, даже не предупреждая об этом потребителей.

Ларчик открывался просто: государственная гидростанция, построенная для военных нужд, в период мирного времени мешала прибылям частных электрических компаний. Это обстоятельство было подлинной причиной вышеупомянутых договоров, в которых трудно определить точные пропорции преступления и идиотизма, хотя наличие обоих этих элементов налицо.

Таким образом одним росчерком пера сравнительно мощная и хорошо оборудованная гидростанция (в американских условиях Купер был знающим инженером) превратилась в дорогостоящую безделушку и вызвала чувство неодолимого отвращения к обычаям капиталистической конкуренции, которым неизбежно подчиняется правящая клика.

Я позволил себе рассказать эту небольшую, взятую из прошлого двадцатилетней давности историю, потому что она характерна для законов монополистического капитализма.

Эти законы остаются незабываемыми и в ещё большей степени определяют современную экономику Америки, Англии и других капиталистических стран. Подобным законам подчиняется и энергетическое хозяйство. Поэтому постоянные посулы создать систему государственных гидроэлектростанций есть сознательная ложь, бесстыдная попытка обмануть трудящихся, чтобы выкачивать огромные средства путём всё новых и новых налогов, чтобы собрать необходимое количество голосов на выборах.

## 6

В современный послевоенный период экономика капиталистических стран подчинена задаче подготовки новой войны во имя интересов крупнейших американских монополий, стремящихся к мировому господству.

В беседе с корреспондентом «Правды» товарищ Сталин сказал, что «...в Соединённых Штатах Америки, в Англии, так же как и во Франции, имеются агрессивные силы, жаждущие новой войны. Им нужна война для получения сверхприбылей, для ограбления других стран. Это — миллиардеры и миллионеры, рассматривающие войну

как доходную статью, дающую колоссальные прибыли. Они, эти агрессивные силы, держат в своих руках реакционные правительства и направляют их»<sup>1</sup>.

Известно, что правительство США намерено в ближайшие два года израсходовать на военные цели более 140 миллиардов долларов, правительство Англии ассигнует на вооружение в ближайшие три года 4 миллиарда 700 миллионов фунтов стерлингов и, наконец, придавленная американским сапогом Франция строит свой военный бюджет в сотнях миллиардов обесцененных франков.

Бешеная милитаризация даже не прикрывается фиговым листком миролюбивых деклараций.

В январе 1951 года Трумэн обратился к Конгрессу с очередным посланием, в котором писал: «Мы развёртываем производство новых типов реактивных самолётов и новых мощных танков. Мы концентрируем все силы на производство новейших типов оружия и производим их так интенсивно, как только можем. Эта продукция более высокого качества чем то, что мы имели во время второй мировой войны. Это большая и дорогостоящая программа».

А через месяц, 20 февраля, американский журнал «Нэйшен», комментируя выступление президента, указывает, что предложенная им программа вооружения может быть выполнена, если американцы «подтянут пояса, из забоясь о хлебе насущном». Далее в той же статье сказано, что экономическая жизнь Америки будет проходить под лозунгом «пушки вместо масла».

Журнал «Нэйшен» не блещет здесь ни оригинальностью, ни новизной. Помнится, в своё время этот лозунг на все лады повторялся в фашистской Германии...

«Америка сегодня» с омерзительным цинизмом изображена на страницах официальной газеты «Нью-Йорк таймс» за 22 февраля текущего года.

Могучее дерево неопределённой породы символизирует Соединённые Штаты, с чём на стволе предусмотрительно сделана соответствующая надпись. На корнях масляный холуй-рисовальщик пристроил заводы, фабрики, плотины гидростанций, сельскохозяйственные машины: смотрите, мол, на какой питательной почве произрастает и плодоносит сей «фруктовый дуб»... А самые плоды подвешены, как полагается, на ветках — атомные бомбы, линкоры, летающие крепости и пр. — словом; весь арсенал для истребления непокорного человечества. Для полноты символа к стволу крестообразно приделаны ножны, меч из которых вытянут наполовину...

Не вдаваясь в подробную оценку художественных качеств этого знаменательного произведения, отображающего «Америку сегодня», следует, однако, заметить, что одна существенная деталь выпала из поля зрения рисовальщика. Эта «деталь» — миллионы трудящихся людей... Это за счёт их лишений произрастают страшные плоды милитаризации.

Американская периодическая печать не может за средними статистическими данными скрыть растущее понижение жизненного уровня рабочих, фермеров, разного необеспеченного люда, составляющего абсолютное большинство населения страны. Давно уже перестали быть секретом все трюки и ухищрения, применяемые официальной статистикой капитализма с целью искажения истинного положения вещей.

Задача подлинно научной статистики состоит не только в том, чтобы учитывать, какую продукцию и в каком количестве производит та или иная отрасль промышленности и сельского хозяйства. Научная статистическая работа неизбежно окажется обескровленной, если не сумеет ответить на вопрос, кто же пользуется изобилием материальных благ, каким целям они служат.

Поэтому нас несколько, например, не впечатляют многие миллионы метров тканей и пар обуви, гниющих на складах из-за низкой покупательной способности трудящихся, обусловленной вздутым цен американскими монополиями в погоне за сверхприбылью. Мы не можем восторгаться обильными урожаями пшеницы, если знаем, что миллионы бушелей зерна сжигаются в топках котлов, выкидываются в море или поливаются отравляющими веществами во имя хищнической и преступной наживы крупного американского монополиста...

<sup>1</sup> И. В. Сталин. Беседа с корреспондентом «Правды». Госполитиздат, 1951, стр. 13

Полное представление о пресловутом «американском образе жизни», так бесстыдно рекламируемом журналом «Америка», можно составить, даже бегло просмотрев некоторые статьи в буржуазных экономических журналах, издаваемых в США:

Эти журналы уже не в состоянии не только скрыть, но сколько-нибудь пристойно отлакировать действительность — угрожающие размеры безработицы и из дня в день усиливающееся снижение жизненного уровня широких масс трудящихся.

Так, например, «Джернал оф коммерс» ещё в апреле прошлого года признал, что «настоячивое возрастание безработицы является неизбежным в самом широком понимании этого слова, так как она растёт даже в том случае, когда деловая активность находится в состоянии подъёма».

Надо, разумеется, понимать, что речь идёт о том временном подъёме, который в настоящее время обусловлен переводом американской экономики на военные рельсы.

Что же касается данных о снижении жизненного уровня трудящихся, то, пожалуй, на эту тему можно ограничиться ссылкой на заявление Раттенберга, одного из профсоюзных «боссов», подвизающихся в реакционном Конгрессе производственных профсоюзов.

В ноябрьском номере журнала за 1950 год, издаваемого Чэйз Нэйшепел банком, Раттенберг пишет: «После корейских событий вспыхнула горячка спекулятивных махинаций на товарной бирже. Цены двадцати восьми основных видов товаров, которые в период с января 1950 года по 25 июня поднимались в среднем на 1,4 процента, подскочили на 10 процентов после начала корейских событий. За шестнадцать недель с начала войны в Корее цены на каучук возросли на 154, ткани — на 62, шерсть — на 55, жиры — на 45, хлопок — на 22 процента... По сравнению с 1944 годом, самым тяжёлым годом войны, покупательная способность промышленных рабочих упала на семь процентов».

К этому можно добавить, что Торговая палата Соединённых Штатов рекомендует распределить дополнительные ассигнования, истребованные Трумэном на военные нужды, следующим образом: «около 60 процентов должно быть получено путём повышения косвенных налогов, 30 процентов — путём прямых налогов с населения и около 10 процентов должен быть налог на корпорации».

Эти цифры — повесть о нищете и лишениях миллионов простых людей. Они не требуют никаких комментариев.

За счёт трудящихся нависает монополистический капитал, загребая колоссальные прибыли в условиях военной экономики. Однако всеобщая милитаризация не может спасти его от неизбежного экономического кризиса. Она лишь играет роль кислородной подушки, которую подают умирающему для продления его последних минут.

Гибельные следствия милитаризации экономики страны вскрыты товарищем Сталиным: «Ибо что значит перевести хозяйство страны на рельсы военной экономики? Это значит дать промышленности одностороннее, военное направление, всемерно расширить производство необходимых для войны предметов, не связанное с потреблением населения, всемерно сузить производство и особенно выпуск на рынок предметов потребления населения, — следовательно, сократить потребление населения и поставить страну перед экономическим кризисом»<sup>1</sup>.

Этот процесс и происходит сейчас в агрессивных капиталистических странах — в первую очередь в Америке и в Англии.

Гибель монополистического капитализма неизбежна, её предпосылки заложены в самой природе монополий, вскрытой Лениным в гениальном труде «Империализм, как высшая стадия капитализма».

## 7

Владимир Ильич писал, что всякая монополия «...порождает неизбежно стремление к застою и загниванию. Поскольку устанавливаются, хотя бы на время, монопольные цены, постольку исчезают до известной степени побудительные причины к

<sup>1</sup> И. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е. стр. 567.

техническому, а следовательно и ко всякому другому прогрессу, движению вперед; постольку является, далее, экономическая возможность искусственно задерживать технический прогресс»<sup>1</sup>.

Реакционная сущность монополий в уродливой и очевидной форме сказывается в том техническом застое, который характерен для современного состояния и перспектив развития энергетического хозяйства капиталистических стран.

Американские энергетические журналы с достаточной откровенностью говорят о дальнейшем энергетическом строительстве, как о необходимом условии гонки вооружений и подготовки новой мировой войны.

Таким образом милитаризация энергетики — этого решающего звена хозяйства страны — также призвана сыграть роль спасительницы крупных монополий, обуреваемых животным страхом потерять огромные и устойчивые прибыли в условиях назревающего экономического кризиса.

Однако энергетическому хозяйству Америки, Англии и других стран свойственны противоречия, общие для экономики капитализма. Обострение этих противоречий обуславливает нарастание кризиса на самых решающих участках энергетики, в том числе в работе действующих электростанций и в строительстве новых.

В Соединённых Штатах сращивание правительственного аппарата и крупных монополий привело к тому, что крупные энергетические компании не только являются фактическими хозяевами энергоресурсов страны, но имеют полную возможность тормозить всяческими способами развитие новой техники, которая, как правило, требует крупных капиталовложений. А капиталистические тузы отнюдь не заинтересованы в новых затратах тогда, когда гонка вооружений и без того обеспечивает небывалые по размерам прибыли на старые капиталовложения.

Разбойничья политика крупных электрических компаний объясняет, например, тот неоспоримый факт, что в Америке искусственно задерживается применение пара высоких параметров, развитие теплофикации и энергохимического использования топлива, автоматическое телеуправление, электрификация транспорта и сельского хозяйства — словом, применение всех новейших достижений научной мысли в области использования электричества.

Использование атомной энергии в мирных целях грозит сверхприбылям королей угля, электричества, транспорта. Величайшее открытие науки превращено в орудие политического шантажа и производство средств истребления людей.

Милитаризация энергетики Соединённых Штатов привела к тому, что электрическая энергия становится... подлинным несчастьем для трудящихся слоёв населения.

Загребая огромные деньги на военных заказах, электрические компании нисколько не заинтересованы в гражданских потребителях и поэтому устанавливают непомерно высокие тарифы на электрическую энергию. В результате целые рабочие посёлки погружаются в мрак керосиновых коптилок, разоряются мелкие предприятия и фермерские хозяйства, которые не в состоянии оплачивать громадные счета, сидит на голодном электрическом пайке промышленность предметов массового потребления. Таким образом, энергетика Америки носит явно паразитический характер, существуя за счёт гонки вооружений и лишений трудящихся.

Паразитизм и политика «прибылей сегодня» сказываются и на эксплуатации электростанций, которая ведётся хищническим и технически позорным образом.

Чтобы бесперебойность работы электростанций была надёжным образом обеспечена, необходимо иметь на них резервные машины. Нагрузка на машины действующих электростанций возрастает. Соответственно ей должен увеличиваться ввод новых мощностей на каждой электростанции в тех случаях, когда электростанции работают вне крупной энергосистемы, что характерно для капиталистических условий. Ввод резервных мощностей отстает, и это обстоятельство создаёт реальную угрозу для нормальной бесперебойной работы электростанций. Таким образом электрические магнаты США и особенно Англии рубят сук, на котором сидят.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 22, стр. 262—263.

Губительные последствия хищнической эксплуатации оборудования, разумеется, очевидны для электрических компаний, но, одержимые бешеным наживы, они уже не в состоянии ничего исправить.

И, наконец, современное состояние энергетического оборудования в Америке и в Англии может служить прекрасной иллюстрацией к положению товарища Сталина о том, что в капиталистических странах «...старое оборудование висит на ногах у производства и тормозит дело внедрения новой техники»<sup>1</sup>.

Под старым оборудованием мы подразумеваем не только изношенное временем в работе, но устаревшее по конструкциям. Его высокий удельный вес значительно снижает технико-экономические показатели энергетического хозяйства США и Англии. Например, в Манхэттене (район Нью-Йорка) две электростанции общей мощностью в 360 тысяч киловатт имеют 146 старых котлов. За немногими исключениями в виде отдельных современных электростанций электроэнергетическое хозяйство Нью-Йорка, Лондона и Парижа поражает своей технической отсталостью. Достаточно сказать, что во всех трёх столицах нет теплоэлектроцентралей! На окраинах крупнейших городов ещё можно видеть газовые осветительные рожки, в пригородах — керосиновые лампы... Дело, конечно, не в том, что нехватает электрической энергии — на освещение её надо немного. Население страдает из-за драки электрических компаний между собой, из-за их жестокой борьбы по законам капиталистической конкуренции — с компаниями газовыми.

Поэтому и вызывают усмешку утверждения американской и английской печати о росте электропотребления в быту, основанные на трюках официальной статистики. За средними цифрами благополучия ловко спрятаны «электрическая роскошь» богатей и крайне низкая доля потребления электричества большинством населения.

## 8

Противоречия капиталистической системы с предельной полнотой находят своё выражение в истории гидротехнических сооружений.

Гидротехническое строительство с ирригационными целями было известно ещё в древности и осуществлялось руками рабов, способствуя баснословному обогащению правящих классов.

В капиталистическом обществе это строительство приобрело широкое развитие лишь несколько десятков лет тому назад и являет собой ярчайший пример преступлений и безудержного хищничества.

Гидротехнические сооружения в Египте, строительство Панамского и Суэцкого каналов, Северо-Германского канала и т. п. — таков далеко не полный перечень гигантских жульнических афер капиталистических дельцов.

Эти строительные работы справедливо сравниваются с опустошительными войнами — такое количество человеческих жизней унесла смерть, на службу которой волею хозяев были поставлены голод и эпидемии.

Начало гидроэлектростроительства, получившего в первые десятилетия нашего века значительный размах главным образом в Соединённых Штатах, Италии и Швеции, было эрой новых возможностей для получения сверхприбылей. Дешёвая электрическая энергия открывала широкие перспективы новым производствам и массовому выпуску продукции.

Но одновременно наличие этой энергии крайне обострило противоречия между отдельными группами крупных монополий. Угольные и транспортные компании, электрические компании — владельцы тепловых электростанций — всеми силами и способами противились гидростроительству по той простой причине, что гидростанции не нуждаются в угле и его перевозках, гидроэлектроэнергия дешевле энергии, вырабатываемой на тепловых электростанциях, и поэтому представляет собой опасного конкурента. Кроме того, гидростроительство требует отчуждения значительных земельных участков, зачастую в населённых промышленных районах, для затопления. Земля

<sup>1</sup> И. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 575.

составляет частную собственность, и, следовательно, владельцы земельных участков, нужных строительству, вольны заламывать любую цену или вовсе отказываться от продажи. К земельным сделкам немедленно примазываются спекулянты — специалисты по вздутию цен — и обычно успевают крепко «нагреть себе руки»...

Словом, начало строительных работ неизбежно затягивается на долгие годы, пока тянется канитель, связанная с приобретением земельных участков, с работами всевозможных согласительных комиссий, подкупам чиновников государственного аппарата и т. д.

Разумеется, в условиях капитализма комплексное использование водного потока данной реки совершенно исключено. Гидротехнические сооружения, как правило, преследуют одну цель — либо энергетику, либо ирригацию, либо судоходство...

Асуанская плотина в Египте — разительный пример преступного «расхищения» реки. Огромная потенциальная мощность Нила используется только в целях орошения, а электрическую энергию на плотину подают тепловые электростанции, работающие на привозном и дорогостоящем угле.

В Западной Европе использование некоторых крупных водных артерий невозможно ещё и потому, что они разделены государственными границами. Например, Рейн течёт в пяти государствах, горные реки Альп — в шести и т. п. Там же, где не мешают границы, мешает капитализм.

История крупного гидроэлектростроительства в Соединённых Штатах представляет собой классический образец капиталистического разгула во имя прибылей и бесчеловечного попирания самых насущных нужд трудящегося населения.

Крупнейшая гидростанция Гранд-Кули на реке Колумбии строилась тридцать лет, причём это строительство сопровождалось широкой беззастенчивой рекламой о грядущих золотых днях промышленности и особенно сельского хозяйства штата Вашингтон.

Присутствуя на открытии одной из очередей гидроэлектростанции, Гарри Трумэн — этот «строитель новой деловой Америки», каким он пытается изобразить себя в глазах современников и потомства, — разразился трескучей речью на тему об энергий мощного потока, которая становится национальной силой и оплотом «растущей динамической демократии»... Напыщенные слова американского президента расшифрованы действительностью: Гранд-Кули отдаёт полностью свою электрическую энергию заводам военной промышленности и, в частности, производству атомных бомб.

Но многолетняя реклама сделала своё дело. Поверив грандиозности обещанной оросительной системы и зная мощность реки Колумбии, фермеры бросились на сотни тысяч засушливых гектаров штата Вашингтон и на последние проши расхватывали земельные участки.

Шли годы. Изнывали от зноя посеы, и разорившиеся фермеры, проклиная собственную доверчивость, бросили купленную землю, так и не увидевшую орошений.

Гидроэлектростроительство в бассейне реки Теннесси продолжается почти полвека. И здесь царствует дутая американская реклама, обманывая трудящихся всевозможными обещаниями различных благ.

В 1933 году покойный президент Рузвельт провел через Конгресс решение о реорганизации долины реки Теннесси, то есть о строительстве каскада гидроэлектростанций для нужд судоходства и оросительной системы. Сам Рузвельт, выступая в печати, неоднократно подчёркивал благую направленность программы этого государственного строительства. Но её осуществление встретило ожесточённое сопротивление владельцев гидроэлектростанций на реке Теннесси.

В единый клубок сплелись хищническая конкуренция капиталистов и агрессивные устремления правительства Трумэна: ныне теннессийская энергосистема, строительство которой до сих пор не закончено, снабжает заводы атомных бомб, и в радиусе её действия расположен один из центров милитаризованной промышленности Америки.

Масштабы теннессийского строительства легко себе представить, если учесть, что мощность одной гидростанции, строящейся в СССР на Волге под Куйбышевом, превосходит общую мощность всех сорока пяти гидростанций в долине Теннесси.

Строительство гидроэлектростанций в Соединённых Штатах тянется десятилетиями. Можно указать, например, ещё, что Булдер-Дэм — крупная гидроэлектростанция и гидротехнические сооружения на реке Колорадо — строились в общей сложности около сорока лет, гидроэлектростанция Вильсон — более тридцати пяти лет и т. п.

Для нас, советских строителей, остаётся совершенно неясным, какие основания имеет американская печать для постоянных хвалебных дифирамбов собственному, американскому уменью строить «быстро и хорошо»...

Нельзя обойти молчанием ещё одно обстоятельство, характерное для американского гидростроительства. Известно, что любые гидротехнические сооружения требуют весьма крупных капиталовложений, которые сравнительно медленно амортизируются. Американские монополии, заинтересованные в быстрой наживе, предпочитают перекладывать расходы такого рода на государство, то есть выкачивать нужные для строительства средства из кармана трудящихся путём налогов и прямого обмана. Когда же главная и наиболее дорогостоящая часть гидросооружения закончена, правительство передаёт его эксплуатацию крупным компаниям, которые дерут с потребителей совершенно произвольную плату за электрическую энергию и воду в оросительных каналах, обеспечивая себе колоссальные сверхприбыли.

В настоящее время гонка вооружений и подготовка новой мировой войны составляют самую доходную статью в деятельности монополий; поэтому электрическая энергия направляется преимущественно на нужды всех видов военной промышленности, а следовательно, в ущерб интересам рабочих и фермеров.

Американские гидроэлектростанции работают на производство орудий истребления миллионов людей, новое строительство ведётся во имя войны...

Когда-то бывший президент Гувер, матёрый враг Советского Союза, публично высказался о «великих электрических компаниях США», чем вызвал ответные слова сенатора Норриса: «Как можно называть их великими электрическими компаниями? Многие годы они обманывали и грабили американский народ. Они с головы до пят погружены в грязное, бессовестное политиканство, которое должно было бы вызвать краску стыда у каждого. Они никогда не делали ничего, кроме обмана тех людей, которые своими грошами создавали им богатство»...

В наши дни говорить о «краске стыда у каждого» было бы уже смешно. Мы говорим о чувстве священного гнева человечества, которое — близок этот день — сметёт со своего пути капитал со всеми его «великими» и малыми присными...

А пока хищническая политика монополий привела к тому, что сорок процентов всей территории Соединённых Штатов до сих пор составляют пустынные и полупустынные земли, жаждущие воды и электрической энергии. По американским дорогам кочуют миллионы бездомных и нищих фермеров в поисках клочка плодородной земли.

Хищничество крупных монополий при использовании водных ресурсов и земель привело к тому, что из ста шестидесяти миллионов гектаров посевных площадей, зарегистрированных в 1939 году, к настоящему времени двадцать пять миллионов гектаров истощённой земли вышли из строя, а следующие двадцать пять миллионов — на грани истощения. Единичными усилиями фермеры не в состоянии удержать плодородность почвы, а сомкнувшееся с крупными монополиями правительство Уэлл-стрита несколько не заинтересовано в благосостоянии населения сельскохозяйственных районов и не оказывает ему никакой помощи.

Сокращение гражданского производства, то есть производства предметов массового потребления, налоги на трудящихся, вздутые цены, почти полное прекращение жилищного строительства и резкое уменьшение ассигнований на социальные и культурные нужды — вот система «мероприятий» американского правительства, обусловившая возможность расходования колоссальных средств на подготовку новой мировой войны.

Этих средств, преступно расточаемых империалистическими поджигателями войны, хватило бы на осуществление грандиозных технических проектов во имя величайших благ для всего человечества.

Ещё в 1913 году Владимир Ильич Ленин писал: «Куда ни кинь — на каждом шагу встречаешь задачи, которые человечество вполне в состоянии разрешить немедленно. Мешает капитализм»<sup>1</sup>.

Современная техника достигла опромной высоты и позволяет перестраивать природу смелее, чем об этом мечтали утописты и сказочники.

Но в странах капитала существует и расширяется «кладбище неосуществлённых проектов», на котором империалисты хоронят результаты бескорыстного научного труда прогрессивных и гуманных умов.

Гибралтар — этот замок английского империализма на Средиземном море — ежесекундно пропускает восемьдесят восемь тысяч кубометров воды из Атлантического океана в Средиземное море. Технически вполне возможно понизить уровень Средиземного моря на десять метров, перегородить пролив плотиной и построить гидростанцию мощностью в сто шестьдесят миллионов киловатт... Гибралтар превратился бы в могучий источник электрической энергии, а Средиземное море открыло бы новые гигантские массивы плодоносящих земель.

«Яблоко» многолетних раздоров империалистической своры — Дарданелльский пролив... Сила его водного потока может быть использована для получения семи миллионов киловатт мощности, нужной миллионам людей. Орошение и обводнение Сахары также принесло бы промадное изобилие сельскохозяйственных благ...

Много места на земном шаре для огромных гидроэлектростратель, транспортных магистралей, тоннелей, каналов, атомных электростратель и т. п. Человечество могло бы забыть о засухах и пустынях, о голоде, холоде и бескультуре, если б не мешал капитализм...

Не удивительно поэтому, что великое строительство, развзрнувшееся в нашей стране, вызывает многочисленные восторженные отклики со стороны прогрессивных деятелей за рубежами Советского Союза.

\* \*  
\*

Обуреваемая безудержной жадной нажизы, кучка финансовых воротил с Уолл-стрита в купе с правящей кликой из Белого дома готовит новую мировую войну в надежде создать империю доллара.

Милитаризация Соединённых Штатов и их сателлитов стала основным источником, питающим насквозь прогнившую капиталистическую систему, основным средством набивания карманов бизнесменов за счёт трудящихся.

Поэтому нельзя говорить о строительстве в Америке. Нельзя осквернять великое движущее слово «строительство», называя им вакханалию вооружений, даже когда она и принимает форму новой гидростанции...

Строительство в Советском Союзе — мирное строительство. Советский народ создаёт изобилие материальных и культурных благ, которого требует осуществление основного принципа коммунистического общества — от каждого по способностям, каждому — по потребностям. Советский народ строит величественные сооружения Сталинской эпохи на Волге и Днепре, на Дону и Аму-Дарье с полным сознанием, что этим самым он наносит сокрушительный удар по лагерю империализма.

Всё передовое человечество приветствует трудовой героизм советских людей, видя в нём спасение от кровавого ужаса новой мировой войны.

Отстаивая дело мира, советский народ уверенно идёт вперёд к коммунизму по пути, начертанному Лениным и Сталиным.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 19, стр. 349.

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ГУРВИЧ

★

## СИЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПРИМЕРА

*Литературно-критический очерк\**

1  
„**Ч**орт побори все пороки человека вместе с его добродетелями, — не этим он значителен и дорог мне. — Дорог он своей волей к жизни, своим чудовищным упрямством быть чем-то больше себя самого, вырваться из петель тугой сети исторического прошлого, подскочить выше своей головы, выбраться из хитростей разума, который, стремясь якобы к полной гармонии, в сущности-то стремится к созданию спокойной клетки для человека...» — в этих словах Горького выразилась бурная реакция основоположника социалистического реализма на бесконечный изнурительный самодопрос, характерный для литературного героя прошлого, перед лицом «добра» и «зла», на многообразные формы пассивного миросозерцания, пессимизма, на заунывный мотив жалости, сострадания и утешительства, на поклонение образу «маленького человека», — на все изощрения «искусства быть несчастным». Но ещё сильнее сказалась здесь радостная горьковская мысль о Человеке, имя которого звучит гордо.

Так уже более двадцати лет назад,ествуя молодую советскую литературу, Горький внушал писателям веру в чудотворную силу человека, учил их видеть в простом смертном обновителя жизни, считая такой взгляд на человека решающим фактором для того, чтобы новое слово поэзии прозвучало во весь голос.

Не в первый раз в нашей вековой литературной борьбе раздаётся призыв к человеку действия.

Один за другим звали русское общество к борьбе, к делу его самые сильные и яс-

ные умы — Белинский, Добролюбов, Чернышевский, Герцен, Салтыков-Шедрин. Но мысль и воля их опережали историю, которая долго ещё толкала отдельных, даже гениальных художников в «душеспасительные» дебри отвлечённой нравственности, соединяя у них в одно целое беспощадно резкую критику капитализма с мечтательными расплывчатыми бессильными воздыханиями.

Горький воскликнул «довольно!» голосом освобождённого человека. Впервые мы услышали в этом призыве не печаль, сетование или негодование, а победное торжество. Теперь эта мысль обрела практическую силу, потому что её продиктовала история.

Путь, на который звал Горький советских писателей, ведёт, конечно, не к игнорированию нравственной сущности человека и не к изъятию из ведения литературы пороков и добродетелей наших. Полемическое «чорт побори...» не может закрыть того факта, что сам Горький, воспевая безумство храбрых и гордость сильных, в течение всей своей жизни травил в человеке хищника, ханжу, обывателя, беспощадно преследовал все виды нравственного уродства.

Воспитание чувств человека образует самый предмет поэзии, и социалистическая литература не отстает от него ни на шаг.

«На почве высокой оценки труда и уважения к трудящимся нам дана возможность создать свою, новую мораль», — эти слова принадлежат тоже Горькому.

Но существенно новым является сам взгляд на мораль, которая, оставаясь «нор-

\* Печатается в сокращённом виде.

мой» поведения, рассматривается не как сдерживающий центр, а как мощный усилитель жизнедеятельных сил свободного человека.

Разве в словах Горького о человеке неукротимой воли и мысли, бросающем дерзкий вызов всем силам природы и неустанно рвущемся вперёд и выше, не выражен дух нашей жизни, её энергия и экспрессия, её неутомимая созидательная страсть, научная трезвость и головокружительный размах её реальной фантазии!

Мы плохо представляли бы себе стремительное движение советского человека к своему будущему, если бы не художественная литература. Как бы очевидно ни богатели изо дня в день материальная культура советского государства, как бы ни хорошела в любом своём уголке земля наша — без зеркала, в котором мы могли бы разглядеть свои черты, мы не знали бы себя.

Вглядываясь в этот отражённый мир советской действительности, мы замечаем одну исторически новую и уже ставшую характерной особенностью социалистической литературы, которая как в фокусе концентрирует в себе все её новые возможности: впервые литература включает в число своих главных действующих героев самых передовых людей своего времени.

Проблема положительного героя в литературе прошлого и в советской литературе до сих пор волнует наших писателей, стремящихся теоретически обосновать свой творческий метод.

Борьба за образ героя, который своим примером ответил бы порядочным людям на вопрос, как жить достойной, общественно полезной жизнью, не прекращалась в русской литературе XIX века почти на всём его протяжении, а в периоды революционного подъёма народных масс обострялась до крайности. Каждое появление героя, выражавшего новые веяния, потребности, убеждения, вызывало ожесточённые споры.

Были в классической русской литературе и бесспорные положительные образы. Но знаменательно, что эти признанные и до сих пор сохранившие свою огромную привлекательную силу образы — почти исключительно женские. Никакая другая литература в мире не дала таких за-

мечательных, сильных и цельных женских натур, как русская. И почти все они оказывались выше мужчин. Почти все стилизовались — к своей гибели — либо с хищниками, либо с людьми, которым суждены благие порывы, но свершить ничего не дано.

Правда, неожиданное соотношение достоинств мужчин и женщин обнаруживалось только в одной области отношений, где они могли быть испытаны друг другом, — в любви. Но вторгаясь в частную жизнь человека, большая литература в конечном счёте неизменно испытывала своего героя, как лицо гражданское. Вспомним, как беспощадно разоблачил Чернышевский либеральное прекраснородушие благородных «людей сороковых годов», на основе того только, как ведёт себя «лишний человек» на *gen-de-vous*; как объяснил первопричину безвольного характера этого героя, пасующего перед сильным порывом любви чистого девичьего сердца.

«Он не привык понимать ничего великого и живого, потому что слишком мелка и бездушна была его жизнь, мелки и бездушны были все отношения и дела, к которым он привык... он робеет, он бессильно отступает от всего, на что нужна широкая решимость и благородный риск, опять-таки потому, что жизнь приучила его только к бледной мелочности во всём... Без приобретения привычки к самобытовому участию в гражданских делах, без приобретения чувств гражданина ребёнок мужского пола, вырастая, делается существом мужского пола средних, а потом пожилых лет, но мужчиною он не становится, или, по крайней мере, не становится мужчиною благородного характера».

Почему же так контрастно распределились светотени в литературной характеристике мужчин и женщин господствующего класса старого русского общества? Почему луч света в тёмном царстве, как правило, являлся в образе женщины? И как долго, начиная от пушкинской Татьяны, пройдя через разные времена, через разные слои общества, оставалась в силе эта традиция? Почему в тот решительный момент, когда мужчина робел, терялся, женщина, выросшая в одной среде с ним, готова была самозабвенно отдаться своему чувству и пойти с героем своего романа

хоть на край света — только бы он протянул ей руку? Неужели сильная, настоящая любовь доступна только женскому сердцу?

Объяснение этой странной на первый взгляд загадки заключается в том, что во всяком несвободном обществе более бесправная — по сравнению с мужчиной — женщина связана со всеми социальными учреждениями существующего строя, с деловой жизнью своего общества, со всеми практическими производственными отношениями между людьми разных сословий, профессий и т. д. не непосредственно, а косвенно и именно через мужчину. Её жизнь, хотя и определённая общими для всех условиями, не вливается в мутные каналы общественных отношений людей дела, а как бы протекает в стороне от них, в стороне от дел, которые так и называются мужскими и в которых так быстро разменивается, обезличивается человек. Мужчина раньше и полнее чувствует на себе власть этой экономической машины. В ней его служебное подчинённое место, без которого ему вообще нет места на земле. Он часть её — винтик, колёсико, рычажок. Каждое движение его связано с её неумолимым ходом.

Женщина же, не втянутая прямо в организацию, призванная сохранять косяный уклад жизни, меньше осознаёт свою зависимость от существующего порядка вещей, хотя в конечном итоге она находится в более зависимом положении, чем мужчина. Предаваясь романтическим мечтам, куда влекут её естественные человеческие чувства, она до поры до времени живёт иллюзиями свободы, которые и делают самоотверженной и безоглядной её любовь. Ответить на такую любовь, рвущуюся ввысь, невозможно человеку со связанными крыльями или вовсе бескрылому. Она не доступна людям, увязшим в бесконечных условностях уродливого быта, парализующих всякое движение к свободе, и они невольно пугаются большой, настоящей любви, как тяжёлого испытания, как подвига.

Что смогут сделать бегущие от несильного для них счастья любви безвольные люди в тот решительный момент истории, когда придётся решать «вопрос о счастье и несчастья навеки»!

Все эти горькие упреки и суровые при-

говоры великих русских критиков относились не к отрицательному, а скорее к положительному герою, к людям типа Лаврецьких, Рудиных, Бельтовых, которые и думали и чувствовали благороднее, чем большинство людей их общества. Сами сознававшие себя «лишними», лучшие люди царства досуга с их благородными сомнениями и полнейшим бессилием в известный период времени не могли не вызывать к себе симпатий, и их право на эти симпатии не отрицалось самыми строгими судьями, в том числе и великими нашими предшественниками. Но время шло, и разочарованный «положительный» герой — общий тип которого, меняясь в разновидностях, господствовал два-три десятилетия в литературе, — обнаружил полную несостоятельность. Перейдя из своих законных тридцатых и сороковых годов в следующее десятилетие и явно вырождаясь в обломовых, люди этого типа исчерпали себя до конца и под влиянием требований нового времени вызвали резкую отрицательную реакцию. В литературу уже стучался другой герой — иного склада ума, образа жизни и мировоззрения.

Новый человек, как называли тогда этого героя, действительно всем своим существом был живым отрицанием «лишнего человека» и выражал в себе историческую необходимость в появлении типов положительных и деятельных. Пробуждённый к жизни подземными толчками крестьянской революции, этот тип, положительные признаки которого ещё только намечались, с трудом отвоёвывал себе место в художественной литературе. В той или иной форме, нередко в искажённом виде, вырисовывались отдельные черты нового героя, но полностью он так и не давался в руки писателей. Не малую роль в этом сыграло то обстоятельство, что прославленные писатели либерального толка приняли нового человека в штаны, и положительный человек тогдашнего общества из-под их пера выходил непривлекательным.

Но были и другие, гораздо более глубокие причины, которые мешали уже не безвольному, лишнему человеку, а его антиподу развить свои потенциальные силы и настолько ощутимо выработать и проявить свой характер в действии, чтобы стать до-

ступным для яркого воплощения в художественном образе.

Не было в литературе прошлого ни одного образа «нового человека», который, вызвав страстные отклики великих критиков, был бы признан ими художественно полноценным. Особый, повышенный интерес их к таким героям, дававшим острый повод для пропаганды революционно-демократических идей, выражал неудовлетворённую потребность в новых людях и глубокую тревожную надежду, что не сегодня—завтра он подымется во весь свой рост и поведёт за собой других.

В своей знаменитой статье «Когда же придёт настоящий день?» Добролюбов с поразительной глубиной и широтой поставил вопрос о возможности появления в русской действительности настоящего человека, способного на «живое дело». Упомянув как и Чернышевский, на новое подрастающее поколение, Добролюбов заключает свои рассуждения следующими словами:

«Когда придёт их черёд принятая за дело, они уже внесут в него ту энергию, последовательность и гармонию сердца и мысли, о которых мы едва могли приобрести теоретическое понятие.

Тогда и в литературе явится полный, резко и живо очерченный, образ русского Инсарова. И не долго нам ждать его: за это ручается то лихорадочное мучительное нетерпение, с которым мы ожидаем его появления в жизни. Он необходим для нас, без него вся наша жизнь идёт как-то не в зачёт, и каждый день ничего не значит сам по себе, а служит только каюном другого дня. Придёт же он наконец, этот день!..»

Потребность в положительном герое была так неотразимо сильна, атмосфера надежд и ожиданий так наэлектризована, мучительное нетерпение так лихорадочно, что мечта казалась порой почти свершившейся действительностью. Но как гора, которая кажется настолько близкой, что рукой подать, а до неё ещё итти и итти.— так и этот долгожданный герой был и близок и недосыгаем.

Великие предшественники наши всё время неутомимо приближали к себе будущее и призывали к жизни ещё не существовавшего, но, казалось, уже возможного героя.

Не потому ли ещё и сейчас можно услы-

шать мнение, будто литература XIX века не использовала всех своих возможностей и по существу не увидела в лице революционных демократов наиболее благодарных прототипов литературного героя? Впрочем, теперь уже такой взгляд является не толканием времени вперёд, а, наоборот, перенесением наших сегодняшних возможностей на предков. Подобное заблуждение чаще всего встречается у писателей, которые, обращаясь к вопросам теории литературы, не могут отрешиться от субъективного художнического чувства и оценивают своих предшественников на основе собственного опыта и метода.

Но историю нельзя ни исправлять, ни ухудшать. Когда целая эпоха в жизни народа уже отошла в прошлое и мы обращаемся к художественному отражению этой жизни, к её поэтическому самосознанию, то нам следует во всём, даже в белых пятнах этой картины, искать не случайные упущения, а объективную закономерность.

«Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло нам о нашем будущем» (Белинский), но при этом никогда нельзя забывать чёткого указания Ленина: «Исторические заслуги судятся не по тому, чего не дали исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а по тому, что они дали нового сравнительно с своими предшественниками»<sup>1</sup>.

Русская литература XIX века постепенно расширяла и углубляла «арену правды, арену реализма». Вырвавшись из дворянских гнёзд, она захватывала в поле своего зрения всё новые стороны общественного быта, всё более и более широкие круги трудового люда, открывая, как материки, огромные нетронутые пласты народной жизни. Она, наконец, почти вплотную подошла к нижайшим низам деревни и города и силой своего бесстрашного реализма глубоко перепахала почву родной земли для посевов и всходов новой жизни, которая ей была видна только в утопических мечтах. Она была самой правдивой, самой серьёзной, самой близкой к интересам трудящихся масс, самой смелой литературой в мире. Но как ни велики

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 2, стр. 166.

были её успехи в изображении и разъяснении простого русского человека, как ни светлы были её идеалы, с высоты которых она билась не на жизнь, а на смерть со всеми свинцовыми мерзостями, как ни богата эта литература многообразными привлекательными образами, — в своих настойчивых и мучительных поисках положительного героя-деятели она сталкивалась, можно сказать, с непреодолимыми препятствиями.

Положение это не могло существенно измениться и тогда, когда неотступный вопрос что делать? после долгих лет бесплодных сомнений был перенесён из этической сферы на практическую почву. Движимый уже не только голосом совести, но и могучей силой крестьянской резолюции, новый передовой человек не мог стать в литературе господствующим героем, потому что жизнь — как ни двинулась она вперёд — всё ещё не давала возможности человеку раскрыть и показать всего себя в практической деятельности.

Пожалуй, лучшим показателем того, какие препятствия стояли перед писателем на пути создания такого героя, является место, которое смог занять в большом художественном полотне самый сильный, самый удавшийся в литературе прошлого века образ революционера.

Рахметов в романе Чернышевского — не только эпизодическая фигура, но и вставная. Он, как объясняет сам автор, не является «ни главным, ни неглавным, вовсе никаким действующим лицом» в романе. Он не участвует в действии, то есть в движении самой жизни, так широко охваченной романом, остаётся «без всякого влияния и участия в ходе рассказа» и введён в него только для того, чтобы люди, подобные Вере Павловне, Лопухову и Кирсанову, не были приняты за героев, стоящих на вершине революционного сознания и революционной воли к борьбе; чтобы относительное достоинство обыкновенных, хороших людей не было воспринято, как высший идеал, и чтобы в меру возможности выразить этот идеал. Три главных героя романа — «обыкновенные порядочные люди нового поколения». Они — уже заметное явление в тогдашней жизни, хотя и таких людей ещё было немного, не более «одного на десять», большинство же публики

«ещё слишком много ниже этого типа». В отношении же Рахметова слово тип совсем не применимо.

Рахметов — явление исключительное, идеальное. Он принадлежит к числу «высших натур, за которыми не угнаться...» Он «особенный человек», — так и названа глава, посвящённая Рахметову. Это «экземпляр очень редкой породы». Он экстракт воли и разума, «тени в чаю», как говорит Чернышевский, «соль соли земли». В конечном итоге именно такие люди и являются «двигателями двигателей» истории, но, далеко опередив своё время, они не только не врастают в его быт, а всем своим образом жизни противостоят ему. Не удивительно, что образ Рахметова оказывал тем более сильное практическое влияние на революционную молодёжь, чем дальше отстояла она от того времени, когда жил Чернышевский и его герой, и чем больше возможностей проявить себя в действии открывалось для революционной воли и идеи. В своё же время люди, подобные Рахметову, лишённые широкого, открытого поля деятельности, должны были развиваться замкнуто, в чрезвычайно узком, тесном кругу себе подобных экземпляров очень редкой породы людей. И Чернышевскому за недостатком «арены реализма» для своего героя и авторской свободы слова приходилось прибегать к искуснейшим сложным приёмам, чтобы передать огромную потенциальную силу революционной страсти Рахметова. Но весь человек может сказаться только в условиях, при которых силы его души воплощаются в действии. Этого необходимого условия для полного развития каждого данного характера не могут возместить никакие другие обстоятельства. Поэтому-то Чернышевский, по собственному определению, показал только лёгкий абрис профиля Рахметова; в то же время о таких героях своего романа, как Лопухов, Кирсанов и Вера Павловна, он мог сказать: их я изображаю вполне.

Подвиг жизни Рахметова — своего рода лабораторный опыт революционной закалки; и много лет пройдёт, пока мы увидим, как закаляется сталь не в искусственной подготовке к будущим боям, не в самотренировке, а в горниле самой революции, в открытой активной борьбе, — и тогда боец передового отряда, как подлинный герой

исторических событий, закономерно станет и центральным героем романа.

Салтыков-Щедрин больше всех ратовал за положительного героя в литературе. Он не только жаждал его, как все властители дум русского общества, не только доказывал назревшую необходимость в нём, но и указывал, в какой среде его надо искать и нельзя не найти. Призывая писателей на «лоприще разработки народных типов», к сложной душе русского мужика, где зарыта тайна русской жизни, он так же активно боролся и за тип революционера и подхватывал, поддерживал каждое движение писателей к новому человеку из среды революционно настроенной молодёжи. В эту борьбу за деятельного положительного героя Салтыков-Щедрин вложил всю силу своего ума и темперамента, однако как художник обессмертил себя образами помпадуров и помпадурш, господ ташкентцев, пошехонцев и глуповцев, и нарицательными стали десятки заклеймённых великим сатириком имён во главе с гениальнейшим из его созданий Иудушкой Головлёвым.

Можно ли объяснить это противоречие как противоречие случайное, «роковое», — мол, самому страстному борцу за положительного героя в литературе слепая судьба вручила дар сатирика? Склад ума, конечно, многое определяет в деятельности человека, но образуется-то он не случайно. Нет глаз, способных по природным свойствам видеть только мрачное. Сатирический угол зрения — это идейная позиция, это отношение к окружающей действительности. Нет ничего удивительного в том, что художник с самым широким политическим кругозором и государственным умом в эпоху реакции избирает самое острое оружие критического реализма — сатиру, и именно в этой форме своей деятельности становится великим. И также нет ничего удивительного в том, что, добравшись в критике буржуазно-помещичьего строя до самых основ его, Салтыков-Щедрин всеми силами души тянулся к человеку будущего.

«Предведение, предчувствие» нового человека так же сильно жило в душе Щедрина, как и у Добролюбова. И так же, как у Добролюбова, животрепещущая мечта сталкивалась у Щедрина с поразительно трезвым сознанием тех неодолимых до поры до времени препятствий, которые ставила на пути к этой мечте жестокая действительность.

Это противоречие было напряжено до крайности. Щедрин мог с одинаковой силой на одной и той же странице доказывать и невозможность дальнейшего существования русской литературы «иначе, как под условием уяснения тех положительных типов русского человека, в отыскании которых потерпел такую громкую неудачу Гоголь», и невозможность создания полнокровного образа нового человека. Как будто — тупик. Но в нём-то и выражается тот факт, что разрешение этого противоречия может принести только революция, в нетерпеливом ожидании которой для передовых людей недоброго старого времени вся жизнь шла как-то не в зачёт и каждый день сам по себе ничего не значил.

Мучительное для художника, это противоречие не раздваивало сил революционного демократа, потому что каждое из этих казалось бы несовместимых положений в одинаковой мере было активной работой чувства и мысли, рвущихся в завтрашний день.

Мысли Щедрина, в которых он указывает две главные причины, затрудняющие для писателей его времени создание образа положительного человека из среды воспитывающей, представляют собой исключительный интерес.

«Автор, — говорит Щедрин, — желающий изобразить положительного русского человека, должен не только стоять на известной нравственной высоте, но и обладать достаточною суммою знаний, без помощи которых невозможно объяснить те особенности языка, приёмов и отношений, совокупность которых собственно и составляет живое лицо. Насколько незначителен внутренний запас человека отрицательного направления и насколько эта внутренняя бедность облегчает изучение его, настолько богат реальным содержанием внутренний мир нового человека и настолько делается менее доступным его изучение. Первое и самое обязательное условие для каждого писателя-художника — это стоять, по малой мере, на одном уровне с изображаемым лицом. Объяснение типа человека праздного легко достигается при помощи одной талантливости, но объяснение типа человека дела, человека профессии уже требует, кроме талантливости, ещё известной подготовки».

Такова первая причина, дающая ответ на вопрос, почему русские писатели, как «сре-

да наблюдающая оказала ещё слишком мало успехов в разъяснении положительного типа русского человека». Эта причина субъективная: они относятся к автору. Но есть ещё и другая причина — объективная:

«Не менее, ежели не более затруднений к уловлению типических черт представляет и та внешняя обстановка, среди которой действует новый человек. Эта обстановка почти не существует, или, лучше сказать, она до такой степени стеснена, что представляет собой только раздражающую и преисполненную всяких опасностей прищипку. Общество слишком неприязненно к новому типу, чтобы предоставить ему каковенбудь деятельное участие в жизни, оно слишком мало подготовлено к тому, чтобы допустить, что те жизненные отношения, которые созданы новым человеком, не только рациональны, но и вполне практичны. При таком настроении большинства новый человек делается невольным теоретиком, т. е. таким лицом, которое недостаток практической деятельности невольно возмещает теоретическими об ней рассуждениями. А так как искусство, имеющее предметом объяснение человеческого образа, ведает исключительно поступки, а не абстрактные взгляды, то понятно, какую ощутительную пустоту должно представить для него то фаталистическое условие, которое преградило или, по малой мере, затруднило для изучаемого субъекта возможность свободного внешнего проявления. За какие типические черты может ухватиться художник-наблюдатель, когда эти черты почти неприступны в своей абстрактности, когда для них немислима та свободная игра, которая могла бы служить им воплощением?»

Вряд ли можно более ясно и глубоко осветить сложнейшую эстетическую проблему!

Нельзя не обратить внимание на то, что наши великие предшественники, ведя острую политическую борьбу за положительного героя в литературе, ни в малейшей степени не позволяют себе игнорировать принципы художественного реализма и считают себя до конца связанными с ними.

Ведь Добролюбов тоже считал возможным появление полного, резко и живо очерченного образа передового человека лишь тогда, когда сама жизнь предоставит ему возможность избавиться

от одностороннего, то есть только теоретического развития, когда придёт его черёд приняться за дело, участие в котором сообщает мыслям и страстям человека их чувственную, пластическую форму.

Не чисто эстетические вкусы выдвигали эти высокие требования реализма, а интересы самой жизни, которым должна служить литература. Ведь положительный герой является положительным лишь в той мере, в какой он образом действия своих способен служить примером для подражания. Живым, ярким, воздействующим на массы читателей он становится поэтому лишь тогда, когда, поставленный в обычные для большинства людей его положения условия, совершает поступки, подказанные его перредовыми взглядами, и тем самым не только внушает свои убеждения другим, но и доказывает возможность благодарной деятельности в существующем быту.

Пока черёд этого дела не наступил, лучшие люди не могли вслед за Добролюбовым не признаваться себе, что «до сих пор нет для развитого и честного человека благодарной деятельности на Руси; вот отчего и вянем, и киснем, и пропадаем все мы»; что в этих условиях нельзя искать развитию и честному человеку интересов ни в служебной деятельности, ни в своём доме, ни в женщине, ни даже в науке; что есть только один достойный путь для него — путь, на котором «жизнь мысли и убеждения» превратится со временем в живое практическое дело, путь, исключаящий все другие, потому что «беспольны в практическом отношении все нападки на частные проявления зла без уничтожения самого корня его».

Но уничтожение самого корня зла произошло только через полвека.

Даже гениальные личности того времени, так много сделавшие для своего народа, испытывали постоянное чувство неудовлетворённости тем, что не могли приложить свои силы непосредственно к переустройству жизненного уклада и вынуждены были вести только литературную борьбу за будущее.

Чем острее чувствовали они необходимость преобразовывать жизнь делом, тем больше действовали словом. И чем глубже уходили в свою литературно-критиче-

скую, философскую, публицистическую деятельность, тем более томилась невозможностью практического построения новых форм жизни. Это большой вопрос, личная тема всей жизни и Белинского, и Добролюбова, и Чернышевского, и Щедрина. Они сами неоднократно подчёркивали в своих исповедях и в своих суждениях друг о друге это трагическое противоречие, отражавшее противоречия самой действительности.

По сути дела борьба за образ положительного и деятельного героя в досоциалистической литературе была лишь формой борьбы за те условия жизни, которые позволили бы ему появиться на свет божий. Это была одна из доступных в те времена форм борьбы за революцию, за свержение самодержавия, за «святое дело», открывающее человеку возможность внести в него ту энергию, последовательность и гармонию сердца и мысли, о которых до наступления «настоящего дня» едва можно приобрести теоретическое понятие. Когда человек завоевывает свои права, развязывает свои силы, тогда, как прямое следствие этого, появится полноценный образ положительного героя и в «зеркале жизни» — в литературе.

Проблема положительного героя, следовательно, упиралась не только в физические препятствия, которые писатель встречал в действиях цензуры, хотя она именно непосредственно ограничивала возможности художника, нередко кромсала его произведения, а иногда и просто вырывала перо из рук. Но сама-то цензура была лишь частью тех физических препятствий, тех многочисленных пут, которые связывали живого человека по рукам и ногам.

Вся борьба наших великих предшественников за положительного героя, вобравшая в себя столько надежд и разочарований, все мысли, высказанные ими по этому набольшему вопросу, восходят к нашему времени и словно обобщены в словах Ленина, сказанных в первый же год советской власти:

«Сила примера, которая не могла проявить себя в обществе капиталистическом, получит громадное значение в обществе, отменившем частную собственность на землю и на фабрики...»<sup>1</sup>

И еще:

«При капиталистическом способе произ-

водства значение отдельного примера, скажем, какой-либо производительной артели, неизбежно было до последней степени ограничено, и только мелкобуржуазная иллюзия могла мечтать об «исправлении» капитализма влиянием образцов добродетельных учреждений. После перехода политической власти в руки пролетариата, после экспроприации экспроприаторов дело меняется в корне и, — согласно тому, что многократно указывалось виднейшими социалистами, — сила примера впервые получает возможность оказать свое массовое действие»<sup>1</sup>.

Подчеркнём это слово впервые, которое ставит чёткую историческую границу между временами, когда сила положительного примера не могла себя проявить — и когда она приобрела громадное значение в обществе. И напомним читателю, что это положение о силе примера Ленин ставил в прямую связь с задачами нашего печатного слова.

Дело меняется в корне!

Меняется в корне с того момента, когда уничтожается самый корень зла.

Таким образом, в вопросе о положительном герое наша органическая связь с великой русской литературой XIX века раскрывается не как прямая форма преемственности, а как связь диалектически сложная и противоречивая, в которой именно перемена творческого метода обеспечивает сохранение и развитие лучших традиций.

До тех пор, пока расшатывание устоев российской тюрьмы народов было первым делом в борьбе за лучшее будущее, критический пафос литературы был основой её реализма. И естественно, что в этом направлении её революционная сила была значительно более действенной, чем в опытах создания образа положительного героя.

В свете ленинских положений о силе примера, каждое слово в приведённых выше замечательных мыслях Щедрина есть непредвиденная, негативная форма утверждения нашей советской литературной практики. Каждое нет в этом рассуждении со всеми его мотивировками превращается после социалистической революции в да. Стало возможным то, что было уже необходимым, но не реализованным в прошлом.

Литература не имеет своей самостоятель-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 27, стр. 179.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 27, стр. 231.

ной истории. Её история есть лишь особая форма отражения истории действительных общественных отношений. Но с этой предпосылкой мы можем сказать, что как сама действительность готовит почву для своего будущего, так критический реализм расчищал дорогу реализму социалистическому. Связь их нерасторжима. Она настолько необходима и крепка, что коммунистическая партия, которая была призвана свергнуть власть эксплуататоров, широко использовала из арсенала классической литературы сатирическое оружие, и до сих пор, строя коммунистическое общество, в борьбе с врагами пользуется убийственной мощью обличительных образов критического реализма.

Она, эта связь, настолько близка и жива ещё, что даже теперь, когда все дороги ведут к коммунизму и зримые черты его становятся всё более ясными, советский народ, отмечая 125-летие со дня рождения Щедрина, прямо называет этого корифея русской сатиры прошлого века нашим современником!

Но так как в самой действительности дело изменилось в корне, то и в литературе времена метода оказалась настолько значительной, что потребовала даже для такого, казалось бы исчерпывающего свой смысл понятия, как реализм, — разграничительных определений.

И критический и социалистический реализм устремлены в будущее. Но каждое из этих направлений потому и является подлинно реалистическим, что в соответствии с обстоятельствами времени находит свой главный предмет и свой метод там, где слово становится делом.

Реализм как творческий метод литературы и искусства тем больше приближается к своей полной мощности, чем более свободно и естественно способен он отразить основные двигательные силы реальной действительности.

Возможность говорить прямо, непосредственно о самом главном и решающем в жизни общества — это и есть подлинная творческая свобода. Для художника свобода эта немислима без общего освобождения труда от эксплуатации человека человеком.

Наши предшественники не только чувствовали, что в трудовой жизни народа за-

рыта «тайна русской жизни», но и философски глубоко осмыслили роль труда, как начала всех начал для человека. Герои романа «Что делать?» отдают себе ясный отчёт в том, что «жизнь имеет главным своим элементом труд, а потому главный элемент реальности — труд, и самый верный признак реальности — дельность». Они прекрасно понимали уже и то, что труд является коренной формой движения человека, «дающей основание и содержание всем другим формам: развлечению, отдыху, забаве, веселью» и что все другие формы движения человека «без предшествующего труда не имеют реальности».

До тех пор, пока труд является рабским, эксплуатируемым, он не становится предметом поэзии. Путь к свободному, ничем не ограниченному реализму открывается для литературы только тогда, когда народ становится хозяином своей судьбы, потому что только тогда главный элемент реальности — труд — может стать и действительно становится главным элементом и поэзии.

Само собой разумеется, что вопрос, занимавший Салтыкова-Щедрина, — какие причины мешают русским писателям создать положительный образ «человека дела, человека профессии», — перед нами не стоит. Правда, полную силу сохраняют для нас те высокие требования, которые предъявлял Щедрин к личности писателя. Более того, вопрос о нравственной высоте и практических знаниях, необходимых писателю сверх таланта, когда он переходит от изображения праздного лица к образу человека труда, — этот вопрос вырастает у нас в целую проблему нового типа писателя. Сама жизнь выдвигает её. Она стоит для нас чрезвычайно остро, гораздо острее, чем во времена Щедрина, потому что литература наша целиком перешла от изображения типов праздных людей к изображению типов людей дела.

Однако мало сказать, что теперь мы уже можем познавать человека, рассматривая его в художественной литературе, как деятеля. Самой жизнью вопрос этот продвинул ещё дальше и ставится категоричнее.

Можем ли мы теперь раскрыть внутренний мир человека, рассматривая его вне его общественной трудовой деятельности?

Существует ли сейчас способ «разъяснения» человека вне этого критерия?

Вся практика советской литературы, как в удачных, так и в неудачных её опытах, даёт определённый ответ на этот вопрос.

Нет, в социалистическом обществе писателю уже нельзя рассказать о своих героях ничего существенного, реального, не раскрыв значения их участия в социалистическом строительстве. Лишь голый труд стал формой свободного самовыражения личности, он становится и как выразитель духовных сил человека не только доступным, но и незаменимым.

Трудно представить себе советский роман, в котором душевный мир человека был бы рассмотрен в узко личном плане. Как ни мало ещё достигли мы в художественном воплощении исторически новой темы, но повесть или поэма, в которой практическая общественная деятельность героя не была бы её идейным центром, вызвала бы недоумение нашего читателя. Она неизбежно показалась бы теперь мелкой и пошлой. А ведь таких произведений немало было в большой досоциалистической литературе, причём нередко именно общественный индифферентизм героев этих произведений и выражал их бессильный протест против практической деятельности, которая господствовала в классовом обществе. Тускнела, изнывая от тоски в работе, которая не отвечала их устремлениям, они уходили душой из своей «явной» жизни в «тайную», из гражданской в частную. И только тайная была личной, явная же обезличивала людей, опустошала душу.

Так как силы человека предназначены главным образом для созидательного труда, то, переключённые на другие, не главные формы деятельности, они неизбежно искажают содержание этих интересов, ненормально развивая их за счёт несостоявшейся творческой жизни. Так возникали разнообразные виды отклонений от здорового развития человека, все странности и сдвиги в его образе жизни. Освещая русскую жизнь ряда десятилетий, Герцен очень убедительно объясняет чудачество многих хороших и одарённых русских людей, как прямое следствие социальной неустroенности, помешавшей им творчески реализовать себя и заставившей их в странностях, в отвлечённых растратить свою энергию.

Очевидно, что раскрыть внутренний мир такого человека, справедливо считающего

свою общественную жизнь потерянной, невозможно, оставаясь в пределах явной стороны его быта. Больше того—только вторгнувшись в его интимный мир, где всё же находят себе какой-то исход его силы, можно сказать что-либо действительно определяющее и этого человека, и условия его жизни.

Не потому ли любовь в течение веков была центром притяжения всех певцов вольности, что она, кроме своих собственных естественных сил, претворяла ещё в себе неудовлетворённое творческое свободолюбие человека? И можно ли считать случайностью, что в тридцатилетней литературе первого народа, освободившего свой труд от угнетения, любовный мотив уже не поглощает в себе великой страсти человека, которую мы называем счастьем борьбы, восторгом деланья.

Нам теперь не нужно, как это был вынужден в своё время Чернышевский, составлять мнение о своём современнике, наблюдая его в художественной литературе главным образом на *gendez-vous*, и обнаруживая в эти минуты его качества, предостерегать его: какой ты в любви, таким будешь и в революции!

Вслед за жизнью, советская литература познаёт человека непосредственно в самой революционной деятельности, в социалистическом строительстве.

Но если в прошлом художник изучал своего героя во всех его движениях, за исключением коренного, то теперь труд, став решающим фактором в познании человека, не только не вытесняет интереса ко всем другим его потребностям, а наоборот, вовлекает их в сферу своего влияния и сообщает им их истинную и значит — полноценную жизнь. Связь между трудом и другими формами движений человека существенно изменилась. Труд, как и всегда, даёт основание и содержание всем функциям человека, но теперь это содержание не превратно. С момента раскрепощения труда реакция на него из отрицательной превращается в положительную. Человек переходит от него к другим интересам не подавленный, не ущемлённый, а морально приподнятый. Он ищет здесь не исхода и не забвения, а возможности полно и многообразно проявить своё жизнелюбие, обретенное в общественной деятельности.

Человек, освобождённый от эксплуатации, все свои силы, растущие в творческой

деятельности, вносит претворёнными и в любовь к отдельному избранному человеку, и в отношение к природе, и в веселье, и в созерцательный покой — словом, в каждое движение мысли и сердца.

Нравственная устойчивость, приобретаемая свободным трудом, придаёт всем другим формам деятельности человека новую реальность. Она возвращает им их естественность, освобождает от «фантастической» болезненности, придаёт им красоту и силу здоровья, так как постоянно питает их живой водой из первоисточника жизни.

А эти многообразные формы деятельности, умножая душевное богатство человека, со своей стороны обильным потоком животворной энергии вливаются обратно в его большую гражданскую жизнь.

Внутренняя цельность, к которой всё ближе и ближе подходит активный строитель коммунизма, в том и заключается, что его частная и общественная жизнь, сохраняя свои отличительные особенности и протекая каждая в своём русле, в глубинном подводном течении не знает водораздела.

\* \* \*

Что же мы имеем в виду, когда говорим о труде, как о новом и главном предмете литературы социалистического реализма? Чего ждём от нового героя, являющегося человеком дела, человеком профессии?

Профессионально-делового опыта? Спёсоба производства ценностей?

Жизненное значение искусства может измеряться только образами, которые, будучи отражением действительности, обладают способностью обратно возвращаться в действительность реальной практической силой. Такой силой в искусстве являются деятельные силы души человека.

Само собой разумеется, что, занимаясь в первую очередь и в конечном итоге «объяснением человеческого образа», поэт рассматривает изучаемых им людей в реальных условиях их жизни. Поэтому, проходя с героями их путь, мы знакомимся с целым рядом фактов, предметов, явлений, которых могли и не знать раньше, что несомненно придаёт произведению познавательную ценность. Но ни одно из таких открытий в художественном произведении не может иметь самостоятельного значения и даже не имеет права на существование, если так или иначе не служит объяснению человеческого образа.

Эстетическая форма самосознания имеет свой предмет. Этим собственным и всеобъемлющим её предметом является душевный мир человека. Вне этого аспекта произведение, которое по намерению автора должно быть художественным, не может стать таковым, как бы ни была близка обществу затронутая в нём среда и тема. Вне этой родной своей стихии оно не может обрести заразительности, властвовать над людьми, войти в них действующей силой. В душу, говорил Гоголь, входит только то, что вырвалось из души. Поэтому художники являются участниками живой жизни, создателями только в том своём качестве, которое позволяет называть их инженерами человеческих душ, и только в той мере, в какой они оправдывают это определение.

Произведение, злободневное по своей теме и внешним признакам, быстро умирает, если в нём не выражен дух времени. Поэзия не знает ведомственной или профессиональной ограниченности. Художественное произведение не способно научить нас мастерству определённого, конкретного вида труда, но оно пробуждает чувства, которые должны помочь нам расцвести творчески всюду, где бы мы ни приложили свои силы. Человек любой профессии, будучи героем художественного произведения, обращён ко всему обществу мыслями и чувствами, связывающими людей самых различных творческих интересов.

«Неизвестная величина», над которой бьются поэты, — это резервы человеческого духа. В каких бы формах ни проявляла себя эта сила, она общепонятна. Она объединяет людей, разделённых пространством, временем, уровнем культуры, родом занятий. Образ Чапаева возбуждает к действию, воодушевляет и философа, и биолога, и астронома; а образ великого депутата Балтики приносит глубокое чувство радости и душевно оплодотворяет людей чапаевского типа. Чувство, которое объединило в дружбе «морскую душу» матроса с душой учёного-биолога, и есть то чувство, которым горит неугасимое пламя поэзии со времён эхилловского Прометея.

Но если в прошлом искусство и литература выражали главным образом стремление человека к свободе, к раскрепощению своих сил, то теперь, в социалистическом обществе, художник наблюдает

уже развитие раскрепощённых сил человека в процессе творческого освоения завоёванной свободы.

Мы беспрерывно совершенствуем своё искусство построения коммунистического общества. Цена советского человека определяется его вкладом в дело социалистического строительства, общегосударственным значением его практической деятельности.

Вопрос — что ты из себя представляешь? — превратился в вопрос — что ты делаешь, что умеешь делать? Но существует ли умение независимо от чувств и идей, от особенностей характера, от психики? Может ли дельность свободно развиваться как дельность коммунистическая при наличии пережитков капитализма в сознании? Может ли коллективистическая природа новых производственных и общественных отношений уживаться с какими бы то ни было проявлениями индивидуализма у человека дела?

И с другой стороны, могут ли красота нравственного здоровья и сила коммунистических идей, дающие человеку возможность понимать вещи в их истинном виде, не оплодотворять его во всех его деяниях?

Столкновение этих элементов, противоречия, образующие собой самый процесс развития человека, радости и страдания, порождаемые деятельностью человека и в свою очередь влияющие на эту деятельность, — вот что придаёт общественный интерес судьбе литературного героя.

Взаимозависимость нравственных качеств человека и его созидательных способностей делает для писателей самым важным процессом постоянного перехода потенциальных и действующих сил человека друг в друга. Только здесь, на границе, где скрещивается внутренняя и внешняя жизнь героев, образуется воздух искусства. Только в этой сфере улавливается вечно искомая художниками «неизвестная величина» — та скрытая теплота неуёмной энергии человека, которая и является жар-птицей поэзии.

В какие бы формы ни выливалось отношение человека к труду, к природе — в истоках своих оно является отношением человека к человеку, к обществу.

Мы отвергаем нравственные заветы, порождённые некогда беспомощностью и отчаянием порабощённых масс или лицемер-

ием порабощённых, и судим теперь о достоинствах человека по его общественно-полезной деятельности. Но познавая человека дела, человека профессии, мы не только не уклоняемся от особого предмета поэзии — душевных, нравственных сил человека, но больше того, впервые рассматриваем эти силы в их свободном развитии и в их применении к главному элементу жизни — к труду.

Нам понятно не только возбуждение, с которым Горький отвергает осточертевшие ему прописи идеалистической морали, но и положительное программное значение этого призыва к инженерам человеческих душ. «Чорт побори все пороки человека вместе с его добродетелями, — не этим он значителен и дорог мне. — Дорог он своей волей к жизни, своим чудовищным упрямством быть чем-то больше себя самого, вырваться из петель тугой сети исторического прошлого, подскокнуть выше своей головы...» — это значит, что пришла наконец пора, когда мы, искореняя пережитки прошлого, должны не только отбросить всякую мораль, которая не способна перебраться от себя мост к политике, но и утверждать, как требовал Горький же, новую мораль, возникающую на почве высокой оценки труда и уважения к трудящимся.

Коммунистическая партия — это ежедневно чувствуется всеми — одинаково взыскательно, бдительно и неутомимо борется за понимание и чувство наше, рассматривая идейный кругозор человека, его нравственное и физическое здоровье, как данные, совместно образующие его творческое могущество.

## 2

Читая Гушкина, герой романа Ажаева «Далеко от Москвы» Василий Максимович Батманов думал: «Неужели не найдутся люди, которые так же гениально опишут наши дни? Правнуки наши унаследуют коммунизм, построенный нами, и они должны понять нашу жизнь, полную беспрестанного действия и ответственности перед историей, бескорыстную, богатую в большом, хотя подчас и скудную в малом...»

Поэты отражают историю своего общества, героя своего времени, и никто, кроме современника, этой задачи выполнить не может. Исторические романы не колеблют власти этого закона.

Достаточно перечислить крупнейшие произведения советской литературы за тридцать лет, — а их немало, — чтобы увидеть, что правнукам нашим эта эпоха уже оставила огромное литературное наследство, по которому они очень ясно смогут понять нашу жизнь. И сколько бы литература будущего ни восполняла картину этих лет, — того, что сделано по горячим следам и живым воспоминаниям, ничто не заменит, не отодвинет на второй план. Историческая точка зрения, открываемая дистанцией времени, не может в поэзии погасить горячий взгляд и голос современника. Никакие исторические произведения, как бы они ни были прекрасны и нужны нам своими особыми преимуществами, не смогут сказать о минувших годах первого в мире социалистического государства того, что так живо запечатлелось в книгах А. Н. Толстого, Маяковского, Шолохова, Фурманова, Серафимовича, Фадеева, Тренёва, Гладкова, Н. Островского, Вс. Иванова, Федина и других видных советских писателей, которые с различных точек зрения отразили величайшую эпоху в жизни русского народа.

Художественная литература первой четверти советского века является неповторимым отражением своего времени. И именно потому, что она первородна, она войдёт в историю как ярчайшая страница эпохи возрождения нашей Родины. И именно в этой литературе наши потомки, наследники коммунизма, будут видеть и ощущать своё историческое, родословное начало.

Каждая великая эпоха имеет в поэзии своих достойных живых свидетелей. Дистанция времени нужна не им, а для их оценки. Время — единственный непогрешимый критик, по меткому слову Белинского. С его течением становится ясно, что выдержало его испытание. И тогда художники, выполнившие по суду времени свою миссию, независимо от соотношения масштаба их талантов с талантами их великих предшественников (таланты разных эпох так же трудно сравнивать, как и времена, их породившие), становятся с ними в один ряд. Они сделали для своего времени то, что предки их сделали для своего, и поэтому стоят в ряду тех, кто из поколения в поколение, как эстафету, передаёт друг другу перо, которым история народа пишется в живых картинах.

Общество никогда не уповает на писателей будущего, на писателей для своих внуков. Оно само хочет и должно видеть себя в зеркале поэзии. Оно само, вглядываясь в свои отражённые искусством черты, стремится глубже понять свою жизнь. Только выполняя это своё первое призвание, поэзия оказывается и ценным наследством для внуков и правнуков.

Поэтому, отдавая заслуженную дань истории, советская литература и дальше будет жить живой, свершающейся, текущей жизнью. Это и делает наша послевоенная, качественно новая литература.

Качественно новая!

Но разве могла она не свершить заметного скачка после того, как народ наш испытал, закалил и осознал свои силы в Великой Отечественной войне?

Разве могла она, не обновившись, ответить на вопрос, почему мы победили самую мощную реакционную силу мира — германский фашизм?

А в ней есть ответ на этот вопрос. С большей или меньшей поэтической силой и яркостью она освещает его каждым своим правдивым произведением.

Мы говорим, что общество никогда не уповает на писателей далёкого будущего. Но оно может предчувствовать, предугадывать нового, ещё не объявившегося поэта, когда новое слово становится для него необходимостью. Война ещё была в разгаре, когда Алексей Николаевич Толстой, художник редкой эпической мощи и богатейшей интуиции, при обсуждении его трилогии «Хождение по мукам» спросил: кто напишет «Войну и мир» нашего времени? И тут же, как бы давая ответ на самую глубокую свою думу, сказал: наверно, какой-нибудь пока не известный лейтенантик, сидящий сейчас где-то в окопах...

Создатель самой широкой картины Великой Октябрьской революции, ярчайший выразитель богатырской мощи русского народа и сам чудеснейший из его богатырей, А. Н. Толстой рассматривал свою трилогию как вступление к величественному эпосу Отечественной войны.

Но новые веяния легче, естественнее и органичнее всего сказываются в людях нового поколения, которые сами рождены этим новым, не так связаны с навыками предшествовавшего им периода, в своём эстетическом восприятии настоящего более

свободны, независимы от привычных ассоциаций, от груза прошлого.

Вот почему и возникла, как предчувствие и надежда, мысль о безвестном пока лейтенантике, который напишет «Войну и мир» нашего времени.

Если обратиться от поэтических предчувствий к реальному литературному процессу, то мы увидим, как эти ожидания осуществляются историей.

Ещё нет безвестного лейтенанта Великой Отечественной войны, который так скоро вырос бы в национального поэта, способного написать «Войну и мир» двадцатого века. Но разве не верно угадал А. Н. Толстой ту среду, из которой ворвётся в нашу литературу молодое поколение? Разве не из числа людей, обстрелянных на передовых позициях фронта и тыла, пришли в литературу новые имена, разве не их слово прозвучало как новое слово послевоенной прозы?

Достаточно назвать имена В. Некрасова, Э. Грина, А. Недогонова, В. Пановой, Э. Казакевича, Г. Николаевой, П. Вершигоры, С. Бабаевского, М. Бубеннова, Г. Гулиа, В. Попова, В. Ажаева, чтобы увидеть, как велик в нашей литературе удельный вес писателей, ещё так недавно вовсе в ней не существовавших. И разве не чувствуем мы, что, получив огромный толчок от возросших нравственных и умственных сил народа-победителя, литература наша находится только в начале своего нового разбега? Новые имена появляются всё чаще и чаще. Какой может быть другой более верный признак роста литературы!

Было бы очевидной ошибкой думать, что обновлением нашей литературы мы обязаны только новым именам.

У нас нет и не может быть морально-политического отчуждения отцов и детей. Конечно, без смены героев нет движения истории, но несомненные преимущества молодости совсем необязательно предполагают отставание людей поживших и не исключают своих преимуществ у зрелых людей, сумевших сохранить активность жизнедеятельных сил своих. Это в особенности видно там, где мы имеем дело с талантами и их своеобразием.

Мы сейчас одно за другим отмечаем пятидесятилетия писателей, с именами которых связана вся история советской лите-

ратуры. И здесь бросаются в глаза прекрасные примеры.

Разве «Молодая гвардия» Фадеева молада только юностью её героев, а не всем пафосом возрождённой молодости художника?

Разве не видели мы, как креп и хорошел талант Павленко, прекрасно поспевавшего за стремительным бегом времени и именно в нём сумевшего обрести ворапавское счастье?

Стоит отметить, что именно Павленко, писателю первого призыва, шедшему до последней минуты своей жизни в передовом отряде художников слова, особенно хорошо была видна твёрдость поступи молодых, особенно было понятно, как это прямо сказано им в одной из его статей, качественно новое содержание послевоенной литературы и та значительная роль, которую играют в ней новые имена.

Где же корни тех форм развития нашей жизни, которые позволяют улавливать и в её художественном отражении переход на новую ступень социалистической культуры?

Мы знаем, что первые ростки нового отношения к труду в очень отчётливой коммунистической форме возникли на заре нашей социалистической эры, когда советское общество ещё во всех отношениях носило отпечаток старого общества. Уже тогда, как указал Ленин, оценивая принципиальное значение субботников, возникло «...нечто совершенно новое, идущее вразрез со всеми старыми капиталистическими правилами, нечто более высокое, чем побуждающее капитализм социалистическое общество»<sup>1</sup>, уже тогда осуществлялось «...на деле нечто коммунистическое — не только социалистическое...»<sup>2</sup>.

И в самом воинствующем произведении, отразившем кипение жизни того времени, в романе Н. Островского «Как закалялась сталь», это нечто совершенно новое уже нашло своё яркое отражение. Комсомольская битва с природой на строительстве узкоколейной железной дороги, которая должна принести спасительное тепло замерзающему Киеву, эта созидательная битва в условиях незакончившейся ещё борьбы с контрреволюционными силами уже заключает в себе и стимулы и

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 30, стр. 263.

<sup>2</sup> Там же, стр. 264.

первородные формы коммунистического труда, с неиссякаемой силой его бескорыстного соревнования, его огромного пафоса.

Но именно потому, что нечто коммунистическое — не только социалистическое — возникает почти с первых дней после свержения властей капитала и, постепенно разрастаясь, начинает играть всё большую и большую роль во всём укладе и духе нашей жизни, можно с известного времени говорить о развитии коммунистического общества и на собственной своей основе и видеть те своеобразные конкретные формы, в которых советские люди осуществляют своё движение вперёд во всех областях общественной и личной жизни на героическом пути от нижней фазы коммунизма к высшей.

Послевоенная художественная литература наша, проникая в душевный мир сегодняшнего передового советского человека, всё более и более глубоко познаёт деятельные силы его души, так заметно увеличивающие отвагу, размах и настойчивость в его великих деяниях.

Всё чаще раскрываются перед нами картины одухотворённого труда. Всё шире и смелее становятся поиски формы, в которых литература стремится овладеть своей главной темой. Ряд произведений, нашедших широкий отклик у читателей, как по материалу так и по художественным средствам многообразно выражает черты нашего нового времени.

Если мы из их числа отбираем для подробного рассмотрения роман В. Ажаева «Далеко от Москвы», то это потому, что книга Ажаева совершает очень заметный сдвиг в развитии генеральной темы советской литературы. Она отличается не только от тех произведений, в которых труд и люди труда отражены с точки зрения художника-наблюдателя, но выделяется и среди тех уже не редких у нас книг, в которых социалистический труд поэтически осваивается не взглядом со стороны хотя бы и весьма чуткого и проникательного художника, а изнутри, из самых, так сказать, недр труда, на основе богатого личного опыта; отличается той степенью сближения литературы с действительностью, когда слово и дело, подойдя друг к другу вплотную, становятся продолжением одно другого.

## 3

Редко писатели начинают литературную жизнь подобно Ажаеву. Он пришёл сразу с крупным эпическим полотном, в котором резко и рельефно очерчен характер нашей общественной жизни, сильно выражен дух времени, чётко указано направление, по которому изо дня в день рвётся в будущее предельно напряжённая энергия строителей коммунизма и уверенно разрешаются самые острые противоречия.

Если, прочтя «Далеко от Москвы», вы захотите в одном слове выразить жизнь этой книги, её движение как одушевлённого существа, то вы скажете: вперёд! Сюжетно и идейно, мыслью и действием — всеми силами своими рвётся она вперёд, в будущее, к коммунизму. Возьмите из неё наугад любую страницу — и она скажет вам всё то же слово вперёд.

Ажаев вторгся в самую гущу деловой жизни советского народа. С конкретностью тревожного реализма он сумел показать нам, как советские люди, переделывая мир, переделывают самих себя. Труд не является здесь поводом, фоном или отправной идеей, — нет, он является здесь самим собой — главным элементом реальности.

Возможно и даже вероятно, что в романе Ажаева есть ряд «фактических» ошибок, технических недосмотров, противоречащих друг другу деталей, которые в отдельности бросаются в глаза тому или иному читателю. И тем не менее при чтении его не может даже возникнуть вопрос о достоверности изображённого, как не возникает у вас мысль о достоверности жизни, которой вы живёте. Огромный коллектив, состоящий из различных людей, строит в самый тяжёлый — первый — период Великой Отечественной войны, в чрезвычайно суровых природных условиях Дальнего Востока, многосоткилометровый нефтепровод, — и это строительство становится вашей целью и вашим делом в каждой своей практической задаче.

Как много открывается художнику в испытании людей трудом, если для него не закрыта политическая тенденция текущей жизни, если каждый текущий день он ощущает не только как этот, сегодняшний, неповторимый, не только как день данной недели, а как день своей эпохи, как арену битвы завтрашнего дня с вчерашним! Именно труд придаёт в романо

Ажаева своё содержание всем прочим формам движения человека. Именно событие народной жизни, сталкивающее людей, то есть эпическая первооснова романа определяет собой драматическое и лирическое его содержание.

(Такая характеристика романа Ажаева может показаться не критической. Она и должна казаться такой, пока мы отмечаем общие и принципиально важные качества его направления. Каковы же сильные и слабые стороны дарования Ажаева и какова их взаимосвязь — мы увидим, когда ближе подойдём к идеям и образам романа).

Главным героем нашей литературы стал народ. Но народ велик и необъятен. Как создать осязаемый образ этого «героя»? По какому композиционному принципу отбирать материал и соединять отобранное в цельный, художественно замкнутый в себе мир?

Опыт советской литературы в этом отношении ещё очень молод и уже очень значителен, и на основании его можно утверждать, что чаще всего социалистическое общество находит своё обобщённое отражение в образе трудового коллектива. Какое-то количество людей, связанных общим практически-определённым делом, являющимся их долей во всенародной деятельности, образует этот коллектив — будь то колхоз, завод, новая стройка, воинское соединение, экспедиция, институт. Конечно, никакой коллектив не замкнут в себе, и в правдивом изображении его деятельности он будет виден нам, как органическая часть ещё более широкого объединения, но подобное самоограничение естественно для художника, желающего создать образ народа. Оно как-то возникло само собой, было подсказано самой жизнью нашей, её действительными конструктивными формами.

Развитие литературы в этом направлении выражается в том, насколько глубоко взаимоотношения и взаимодействия героев произведения определяют их именно как социалистический коллектив, как один из отрядов строителей коммунизма.

Можно со всей определённою сказать, что в романе «Далеко от Москвы» главным героем является именно коллектив. В связях, соединяющих различных людей в нечто единое, целоустраиваемое, и заклю-

чается органическая жизнь романа. Коллектив существует здесь как сложный организм, в котором ни один орган не повторяет другого, но все зависимы друг от друга.

В «Далеко от Москвы» нет главного героя в привычном смысле этого слова. Содержание жизни нашего общества в начале войны раскрыто Ажаевым многолико. Батманов, Залкинд, Ковшов, Беридзе, Тяня Васильченко, Женя Козлова, Тополев, Либерман, Грубский, Рогов, Умара Магомет, Махов, Силин, Карпов, Ольга Родионова, Ефимов, Петя Гудкин, Генка — этими именами не исчерпывается список действующих лиц, без каждого из которых роман не был бы достаточно полон.

Но если даже остановиться на основных героях романа, на его главных богатырях, о которых сложилась у них народная сказка, — то позволяет ли кто-нибудь из них назвать роман его именем?

Казалось бы, таким лицом является Алексей Ковшов. Вот герой нашего времени, молодой человек, которого автор как будто хочет сделать центральной фигурой романа. Есть множество показателей этого намерения. Щедро отпущено место и время для раскрытия душевного мира Ковшова, его настроений и переживаний. Предметом общего внимания и сочувствия становятся события его личной жизни. Громадна его роль в судьбе других видных героев романа: Жени Козловой и Тополева. Наконец, явные традиционные признаки выделения фигуры Ковшова, как центральной, даны в самой композиции «Далеко от Москвы». Роман начинается Ковшовым и им кончается. А ведь получить главное место в экспозиции и в финале произведения — значит быть заметно выделенным.

Но тем не менее по мере развёртывания действия романа вы не можете воспринимать Ковшова как центрального героя. Он им и не является. Он занимает в романе своё естественное место видного члена коллектива, но несколько не более видного, чем другие главные герои, — и «ковшовская» завязка романа начинает казаться даже несколько растянутой и во всяком случае вовсе не обязательной. Вполне возможно было другое решение экспозиции — не менее, а может быть даже и более закономерное, как разгона для большого эпического повествования.

Может быть, главным героем романа является Беридзе? Талантливый инженер-новатор, автор проекта, определившего весь ход строительства и тем самым образ жизни тысяч людей, Беридзе, кроме того, является избранником главной героини романа — красавицы Тани Васильченко.

Или, может быть, Батманов? Умница Батманов, сильный волевой начальник строительства, крупнейший организатор? Ведь Батманову в самом деле принадлежит главная роль в нравственном и творческом развитии закалённого им коллектива.

Или Залкинд? Душа строительства, парт-орг Залкинд, действительно готовый оберегать и выращивать каждого советского человека, как садовник — облюбванное дерево?

Нет, ни один из этих героев не мог бы стать главным героем романа Ажаева. И даже взятые вместе они не могли бы определить названия романа, не могли бы своими именами охватить всё его содержание.

В «Далеко от Москвы» никто из них не существует как самодовлеющая личность, как центр идеи, как композиционный стержень или как судьба, к которой привязан автор.

Герои эти являются здесь главными постольку, поскольку они являются индивидуально наиболее яркими выразителями коллективного начала.

До какой степени коллектив является для Ажаева главным героем его романа и воспринимается им в целом как органически живущее существо, видно из того, что само понятие «коллектив» употребляется здесь как понятие одушевлённое.

Вот первое слово о нём: «Болезнь коллектива заключалась в его несоответствии обстановке войны. Люди знали: где-то, очень далеко от них, идёт война. Они знали, во имя чего она идёт, тревожились и волновались, жадно слушали радио, собирались у карты, обсуждая прочитанное и услышанное. Но они не знали самого главного: какое место в войне должен занять каждый из них. Жизнь на стройке продолжалась почти по мирному распорядку и мирным нормам».

Болезнь коллектива! — где в литературе встречали мы подобные слова?

А на последних страницах романа читаем: «...хороший строительный коллектив

как-то по-особенному к концу наливаются силами день ото дня... Это особый ритм роста». И Батманов уже мечтает и готов решительно настаивать, чтобы коллектив его после окончания строительства нефтепровода был на ходу, целиком переброшен на другую стройку, чтобы не разрушилась монолитная, изо дня в день наливающаяся сила этого организма.

Коллективу в романе Ажаева свойственны различные состояния. Он меняется нравственно, интеллектуально, физически. Здесь всегда чутко улавливается его тонус жизни, биение его пульса, его дыхание. Он живёт как большая семья, в неразрывном единстве всех движущих его противоречий.

«Дышит наша трасса, живёт и борется», — взволнованно говорит себе Батманов, слушая эту кипучую жизнь по селектору.

Как создавался новый коллектив из старого, то есть как он оздоравливался. креп и превратился наконец в мощную силу без замены и пополнения его кадров извне, а путём преобразования собственных своих сил, в жестокой схватке с силами природы и своими слабостями — это и составляет содержание романа.

«Болезнь» коллектива открывается нам, как отрицательная сторона положительного явления. Люди не могут себе представить, что строительство нефтепровода чуть ли не в самой отдалённой точке от фронта может быть чрезвычайно важным для государственной обороны. Обуреваемые порывом патристических чувств, они томятся своим, как им кажется, вынужденным безучастием в войне и не могут обрести душевного равновесия.

Батманову, Залкинду и их помощникам надо было сделать то, чего не смогли сделать прежние руководители — поднять коллектив до сознания того, что здесь, на дальневосточном строительстве нефтепровода, за тридевять земель от фронта, они защищают Родину трудовыми подвигами так же реально и непосредственно, как другие защищают её ратными подвигами.

Однако не так просто понять это всем своим существом, а не только рассудком. Лежать часами на льду в неудобном положении, копать мёрзлую землю, перевозить груз по труднейшим дорогам, пробивая шаг за шагом через снежные заносы, бураны или грязь весенней распутицы, — делать всё это не перед лицом смер-

тельного врага, а имея дело с какими-то трубами, и тем не менее каждую минуту в течение долгих месяцев ощущать в себе пафос всепоглощающей борьбы за Родину, — для этого нужно подняться на очень высокую ступень героизма.

Призывая в 1920 году рабочий класс совершить на трудовом фронте ещё большие чудеса, чем красноармейцы на фронте, — речь тогда, кстати, тоже шла о борьбе за топливо, — Ленин подчёркивал: «Неизмеримо труднее победа на фронте труда, самопожертвование в будничной, грязной обстановке, но во сто раз ценнее, чем пожертвование жизнью!» — и призывал рабочих стать Красной армией труда, сохранить и на этом бескровном фронте весь пролетарский энтузиазм.

В Великой Отечественной войне труженики тыла должны были «сделать ещё большие чудеса, чем красноармейцы на фронте», не после разгрома колчаков, денкиных и иностранных интервентов, а в самом разгаре битвы с полчищами фашистских извергов, когда непреодолимая тяга на фронт захватила каждого советского патриота.

В этом заключалась не только причина той «болезни», которая заметнее всего сказывалась на участках строительства, наиболее отдалённых от фронта и наименее очевидно обслуживающих его потребности, но также и возможность преодоления душевной неустроенности тружеников отдалённого тыла и необычайного подъёма их производительных сил.

Бессмертные сталинградцы считали, что за Волгой для них земли нет.

Общегосударственная широта взгляда помогла Батманову поднять своих людей до сознания, что для них нет земли за Адуном, что здесь и только здесь они могут защищать родную Москву от нависшей над ней смертельной опасности.

Коллектив строителей нефтепровода действительно стал «Красной армией труда», героическим, воинствующим отрядом, который с огромным энтузиазмом ринулся на свирепую природу и выполнил порученное ему дело, представлявшее собой «большое сражение со своей стратегией и тактикой, со своими трудностями и жертвами».

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения. т. 30, стр. 490.

Таким образом, Ажаев сумел в своём романе не только выразить пламенный патриотизм советских людей, но и показать развиги этого чувства.

В критике отмечалась прямая зависимость композиции «Далеко от Москвы» от хода стройки нефтепровода. Трасса в своём движении от Новинска к Тайсину определяет последовательное, поступательное движение и частей романа, и содержания глав.

Это верно, но лишь постольку, поскольку речь идёт о внешней стороне сюжета, о практических действиях героев. И эта особенность романа Ажаева составляет его реальную почву, его конкретную деловую основу, его физическую карту.

Сила же, определяющая глубокое подводное течение его видимой жизни, — Родина и её великое бедствие. Её судьба. О ней мало говорят и очень много думают.

Эта дума имеет свой образ, свой центр притяжения. Это — Москва. Это — Сталин.

Речь товарища Сталина 6 ноября 1941 года в романе Ажаева является не только историческим событием. Она довела до кульминации душевные конфликты и разрешила внутренние противоречия у многих героев романа, которые разны, каждый по своему, всем ходом своей жизни, были подготовлены к наиболее глубокому восприятию этой речи и к наиболее сильной реакции на неё. Речь товарища Сталина явилась для ряда героев «Далеко от Москвы» переломным моментом в их жизненной судьбе.

В самых различных остро современных высказываниях, поступках, конфликтах Ажаев показывает, как после этой речи отношения между героями романа поднялись на какую-то новую ступень. Душевная неуравновешенность людей, рвущихся на фронт, сменилась той определённой, которая, снимая бесплодное беспокойство раздвоенности, так возбуждает целеустремлённое плодотворное творческое беспокойство. Этот подъём чувств нашёл своё отражение в резко обострившихся взаимных требованиях, в углубившейся самокритике каждого в отдельности, в поступках героев.

Значение этого дня для разных людей выражено в словах парторга Залкинда: «Сегодня, мне кажется, люди должны быть не совсем обычными. Не то, что они вдруг

станут не теми, какими были всегда, — нет! Так предполагать — наивно. Они останутся теми же, но всё лучшее, что у них есть, должно показать себя».

... Несколько минут после заключительных слов речи — «Наше дело правое, — победа будет за нами!» — в рупоре бушевала буря аплодисментов. «И здесь — далеко от Москвы, среди глубокой ночи — три сотни людей, собравшихся в деревянном клубе на берегу Адуна, также неистово рукоплескали Сталину».

Вот где родилось название романа. Вот где о нём больше всего подумалось и нам при чтении, а затем с каждой следующей страницей и до самого конца становилась всё более ощутимой закономерность перенесения этих слов, с именем столицы, в название романа.

Далеко от Москвы — это значит далеко, но неотрывно от неё.

Далеко от Москвы, на необъятных просторах Родины — это значит, что близка она в душе, в мыслях.

Далеко от Москвы — это значит, что безгранична сфера её притяжения, сфера её влияния. Все тянутся к ней мечтой, надеждой и верой, но она сама приходит к каждому мудростью и волей общепонятного гения, вобравшего в себя всё, что великий советский народ может воплотить в своём первом сыне, и возвращающего народу его силы обогащёнными, собранными, направленными по главному руслу истории.

\* \*  
\*

Из многочисленных читательских отзывов, часто противоречивых в оценке отдельных образов, но всегда проникнутых личной заинтересованностью, явствует, что роман Ажаева идёт навстречу страстному стремлению советских людей осмыслить, уяснить себе гуманистическую природу своих великих дел, выработать свои волевые, идейные силы на той высоте, которую требуют от нас наши задачи. Из этих отзывов видно, что роман отвечает нравственным запросам активных социалистических деятелей, что одухотворённость труда, которой он проникнут, является силой, захватывающей собой даже людей, уже далеко опередивших ажаевских строителей нефтепровода по производительности своего труда, по технической культуре.

В романе Ажаева мы видим людей, работающих с крайним напряжением всех своих сил, в чрезвычайно суровых природных условиях, в условиях тяжёлого быта. Вся жизнь их подчинена одной практической задаче: построить нефтепровод в небывало короткий срок. Темп жизни, который продиктован этим сроком, подчиняет себе всех и каждого. Те, кто впереди, ведут за собой отстающих, подтягивают их к себе неустанно, властно.

«Вы сказали: время летит стремительно, — говорит Алексей Ковшов старому инженеру Тополеву, — жизнь наша похожа на бурный поток. Справедливо. И надо ли объяснять, почему это так? Но если это справедливо, то надо стремительность нашей эпохи принять безоговорочно. Надо персону свою подчинить этой стремительности, воспринимать её, как нормальную обстановку жизни».

Подчинить свою персону бурному потоку жизни!

Алексей Ковшов как бы шутя, но по существу серьёзно, открывает свой закон производительности труда активного строителя коммунизма: «Прямая пропорция: больше нагрузят — больше потянешь».

Человек для труда или труд для человека?

«Мы здесь — слуги трассы и существуем для неё, отнюдь не наоборот», — как бы прямо отвечает на этот вопрос один из ближайших помощников Батманова. А сам Батманов, пробирая неуживчивых снабженцев, преподаёт им следующий урок о личных и общественных отношениях сотрудников: «Можете не любить друг друга, испытывать антипатии и прочие драматические чувства, но на работе обязаны помогать друг другу, дружить и если полезно для дела, то и целоваться».

Наталкиваясь на подобные формулы, иной читатель может прийти к мысли, что философия романа не гуманная, что человек здесь полностью подчинён делу, подвластен бегу истории, которая сама себе цель.

Павленко назвал свой удивительно оригинальный, вдохновенный крымский роман «Счастьем». Личное счастье, которое каждый человек может обрести в творчески активной общественной жизни, — разве не в этом конечный смысл завоевания свободы?

Идея эта занимает огромное место и в романе Ажаева. Она возникает здесь и как чисто поэтическая идея, то есть как идея, проявляющаяся в непосредственных чувственных образах, и более всего как «поэзия убеждённости» (Чернышевский), столь близкая духу нашего времени; порой же она проявляется в поучительных сентенциях и морализировании, чем и объясняется разноценность различных мест романа. Но в общем слиянии многообразных мотивов своих идея эта звучит у Ажаева сильно, и именно она придаёт патриотической теме романа исторически-конкретную социалистическую содержательность.

Если можно сказать, что «Счастье» Павленко — это вдохновение советского народа, а «Далеко от Москвы» — его воля и что в этом ярко выраженном своеобразии эти произведения далеки друг от друга по атмосфере и колориту, — то несомненно, что идейно их сближает высокая точка зрения на роль социалистического труда для завоевания внутренней свободы человека.

Среди передовых советских людей в романе Ажаева нет, кажется, ни одного, который словом и делом не выразил бы своей неодолимой потребности быть нагруженным работой сверх всякой меры.

«Интереснее всего жить, когда работы сверх головы... чем больше с человека спрашивают, чем больше у него обязанностей, тем, значит, нужнее он коллективу», — эту мысль высказывает парторг строительства — добрый, тонкий и чуткий Залкинд.

«— Мне надо, чтобы череп трещал от забот», — говорит неугомонный Рогов, готовый каждую минуту взорваться изнутри, от переизбытка собственных сил.

Забот, которые ложились на плечи Алексея Ковшова в течение одного только дня, хватило бы, как сказано в романе, на всю жизнь праздного героя литературы XIX века. И они не уменьшаются, а растут с каждым часом, а он, Алексей Ковшов, чувствует возрастающую в его душе силу и радость. Именно в этой, насыщенной до предела заботами, творческой борьбе испытывает он полноту своей жизни. Попробуйте мысленно перенести Алексея Ковшова в условия жизни праздного героя XIX века — он сошёл бы там с ума.

Каждое время порождает своих героев. «Титаническая борьба за будущее» совет-

ского народа требует титанов, и они естественно появляются, как характерные и отличительные герои нашего времени. Для Ковшова темп неудержимо рвущейся вперёд жизни, по его собственным словам, — нормальная обстановка. В этом соответствии самосознания бытию — вся сила Ковшова и его товарищей. Если стремительный бег истории для передовых людей нашего общества есть нормальная обстановка, то необходимость подчинить свою персону этой стремительности, очевидно, перестаёт быть для них только необходимостью и становится также и потребностью. Суть дела именно в том, что для них не только обязательно отдавать все свои силы Родине, но интереснее всего жить, когда работ и забот по горло. И может ли не чувствовать этого интереса человек, отличающийся «чудовищным упрямством быть чем-то больше самого себя... подскочить выше своей головы...» Но такой человек, гордый, страстный, деятельный, такой человек, как господствующий герой своего времени — возможен только тогда, когда рушится вековая стена, отделявшая физический труд от умственного.

Советский передовой человек говорит себе: жизнь требует от меня очень многого. Но она же развязывает для этого все мои силы: бери всё, что тебе нужно; не бойся никакого взлёта твоей фантазии, если она — первый вариант плана. Наоборот, изгоняй из себя убогую скромность мещанина, обывателя. Презирай предельщиков, они кладут предел твоему и своему развитию. Презирай низкопоклонство обезличенных, потерявших себя людей, сгибающихся в три погибели до положения четвероногого перед всем иноземным только потому, что оно не своё. Выпрямляйся, подымайся во весь свой могучий рост. Ты подлинный властелин природы. Твори, дерзай, ищи!

«Вся левобережная трасса Беридзе и Карпова — что это такое? А способ развозки труб «на себя» Козшова и Махова? А премиальный ларёк Рогова и Кучиной? Или силинский бульдозер, подминающий тайгу? Или взрывной метод рытья траншей Кузьмы Кузьмича Тополева? А сварка труб в зимних условиях? А передвижка по льду стальных плетей длиной в километр? Товарищи дорогие, ведь всё это новаторство!»

В этих словах Батманова перечислены

решения целого ряда проблем, вставших перед строителями нефтепровода.

В романе все эти решения не перечислены только, а в процессе труда найдены и реализованы. Они здесь осуществляются, как многообразные формы самостоятельности советского коллектива, в условиях, когда путь к воссоединению умственных и физических сил перед человеком открыт.

Движение на этом пути идёт с двух концов. К уничтожению противоположности между физическим и умственным трудом стремятся обе стороны.

Понимание этого двухстороннего движения к полноценному труду, к синтезу всех деятельных сил человека очень сильно в романе Ажаева.

В лице Беридзе и Ковшова тип нового инженера воплощён характернее всего именно в этом качестве. Между этими деятелями и отживающим типом замкнутого кабинетного работника — целая пропасть. Конечно, и Беридзе и Ковшов с головой уходят в расчёты и чертежи, проводя бессонные ночи в своих кабинетах. Но этой работе их предшествует такая тесная связь со всеми реальными обстоятельствами дела — с природой, с коллективом, с изучением каждой пяди земли на пятисоткилометровом протяжении будущей трассы (лыжный поход!), — что последующая кабинетная работа над проектом является не чем иным, как обобщением опыта, то есть наивысшим творческим моментом, когда происходит слияние практики с теорией.

Если с одной стороны представители умственного труда (руководитель строительства Батманов, парторг Залкинд, инженеры Беридзе и Ковшов) вырастают в фигуры титанической мощи и не только не испытывают гнёта от, казалось бы, непосильной нагрузки, но наоборот, жаждут её увеличения, то с другой стороны им навстречу идёт передовой советский рабочий, стахановец, представитель физического труда, — но уже не в абсолютном, а в весьма относительном смысле этого слова.

В качестве частного примера этого встречного движения умственного и физического труда можно привести тот факт, что инженер Ковшов и шофёр Махов, каждый своим путём, самостоятельно пришли к одному и тому же новаторскому реше-

нию перевозки труб «на себя». Так сталкиваются идеи инженера-рабочего и рабочего-инженера.

Но нас здесь интересует не только чисто профессиональное творческое сближение работников умственного и физического труда, но главным образом сближение всего строя мыслей и чувств у стахановцев, руководящих партийных работников и лучших специалистов, сближение интересов и потребностей, которое в первую очередь сказывается в коммунистическом отношении к труду.

С исключительной яркостью и экспрессией жизнеощущение стахановца выражено Ажаевым в образе рабочего Умары Магомета.

Сварщик труб Умара Магомет — мастер своего дела, горячий патриот, страстная натура. Строительство нефтепровода за десять тысяч километров от его родной Казани, где живёт его невеста, — для него дело чести, дело славы, доблести и героизма, своё, кровное дело жизни. Он не только мастер. Он знает, что, сваривая трубы нефтепровода в секции, он соединяет не только трубу с трубой и не только Новинск с Тайсином, а фронт с тылом. Но и в самом процессе сваривания труб, то есть в самом процессе делания он испытывает огромное творческое удовлетворение потому, что мастерство его доведено до степени искусства. Он действительно бог огня, этот сварщик, его вулканическая энергия брызжет искрами радости. Трудовой пафос Умары Магомета можно сравнить только с упоением в бою. Подкапываясь под трубы во льду, чтобы сварить нижний полукруг стыка, он не чувствует своего ледяного ложа и, закончив очередную операцию, бежит к месту следующей сварки, точно делает перебежки, атакуя врага. Возбуждение Умары — это не взвинченный азарт штурмовщика (и не пустозвонная экзальтированная литературная романтика!), а подлинный трудовой энтузиазм, подлинный «восторг деланья», который приносит замечательному мастеру его умные, золотые руки.

А как умеет Умара Магомет торжествовать! Когда нефть уже была пущена в трубопровод и при этом присутствовали члены правительственной комиссии и строители, в одном месте внезапно разорвался стык и нефть хлынула в брешь. Умара

Магомет кинулся к месту, где из земли бил нефтяной фонтан.

«— Нефть! Нефть! Смотрите, нефть! — радостно восклицал Умара, зачерпывая в горсть маслянистую жидкость и жадно её нюхая.

На сварщика налетел рассерженный Беридзе: тут авария, а он, чужак, танцует. Но Умара протягивал главному инженеру выпачканные нефтью руки и продолжал кричать:

— Нефть! Нефть!

Беридзе взглянул на него внимательно и ничего больше не сказал».

Очевидно, нельзя было не отступить перед силой этого ликования, нельзя было уже ни с каким практическим соображением вторгнуться в этот священный восторг и сдерживать хлынувшее бурным потоком счастье.

Мы видим, какое огромное место в душевной жизни передового советского рабочего занимают его трудовые интересы и достижения. Сильнейшие эмоции его связаны с его общественной созидательной деятельностью.

Но может быть в ещё большей степени ощущаем мы, что труд стал для стахановцев первой потребностью жизни, в том угнетённом состоянии или гневном возмущении, которое охватывает их, когда какая-нибудь неразумная или злая сила лишает их возможности удовлетворить свою первую потребность.

Хмурые, раздражённые от бессмысленной траты времени, топчутся люди на отстающем участке горе-руководителя Ефимова.

«Мы не актив, а пассив», — горько жалуются комсомольцы на тот застой, к которому их привели прежние, негодные руководители.

Самым сильным выражением этого чувства являются слова, которые Умара Магомет бросает в лицо начальнику своего участка Мерзлякову, вконец разложившемуся человеку, парализовавшему энергию сотен подчинённых ему людей:

«...Нет, я буду кричать, а ты слушай!.. Собака жизнь у нас. Думаешь, жалуемся, что холодно? Нет, можем простить тебе, что холодно. Голодно? Тоже простим. Воды мало? Ладно. Что курить жалеешь дать? Пускай!.. Но ты тряпка сделал нас. Сила лишил! Работа отнял! Стройка провалил! Это не простим тебе!»

Новое отношение к труду ради Родины, придающее особое, современное содержание советскому патриотизму, — оно-то и вырвалось мученическим стоном из груди Умары Магомета, когда он оказался скованным по рукам и ногам. Ни холод, ни голод не могут заглушить этого нового социального инстинкта.

И разве Умара Магомет — фанатик труда, аскет, а не живой и до конца понятный человек, которому свойственны все здоровые человеческие влечения?!

Познавший высшую радость в трудовых коллективных подвигах, Умара Магомет несёт в себе постоянную мечту и о своём отдельном счастье. Он жаждет быть счастливым мужем и отцом. И не кто иной, как Умара Магомет, не чувствующий в работе ни холода, ни голода, восклицает со всей своей непосредственностью: «Уютный, тёплый жизнь хочу».

Сила чувств, с которой Умара Магомет способен любить женщину, детей и ценить уютную теплоту семейной жизни, проистекает из целомудрия и цельности этого самоотверженного труженика, «словно горящего таким же чистым огнём, какой шумит у него в руках».

Попробуйте после созидательного боя на Адуне не взять его на следующую стройку, попробуйте запереть его в золотой клетке личного счастья — и он вырвется из неё, как из тюрьмы.

Если мы утверждаем, что главным героем романа «Далеко от Москвы» является коллектив, то какую роль играет в нём личность, в самом широком смысле этого слова?

Для нас уже не звучит парадоксом утверждение, что именно индивидуализм есть тормоз для развития индивидуальности человека в социалистическом обществе. Индивидуализм — относительная сила при капиталистической анархии. В условиях этой мнимой, скованной классовыми перегородками, частнособственнической свободы способности человека развиваются и эксплуатируются, как и природа, хищнически. Ничего нет странного в том, что в обществе, проникнутом духом разобщения, люди, хотя и растут «самовольно», «самобытно», оказываются стандартными «средними индивидами», похожими друг на друга, как стёртые пятаки. Мелкобуржуазная стихия делает своего героя шаблонным

даже в самой его претензии быть оригинальным. Чем больше стремится воинствующий мещанин быть не таким, как другие, быть выделенным, своеобразным, тем больше становится он похожим на тех, от кого хотел бы отличаться. И может ли расцвести человек в духоте и мраке эгоцентризма? Как бесцветно однообразны все эти быстро, уже смолоду линяющие и вянувшие, но кажущиеся себе экзотически яркими «оригинальные» личности буржуазного общества. И как действительно яркие, оригинальные, своеобразные и полноценные индивидуальности, развивающиеся на основе раскрепощённого труда, в духе коллективизма.

Самодетельность свободного народа — единственная форма жизни, где не нивелируются, а, наоборот, максимально дифференцируются люди как личности, потому что свободно развивают свои неповторимые натуры. В трудовом социалистическом коллективе деятельность человека раскрывает его до корней. Здесь нельзя никакими классовыми привилегиями заменить действительные достоинства человека и поэтому нельзя долго казаться не тем, кто ты есть на самом деле. Здесь человек впервые действительно определяется тем, что он создаёт.

В коллективном творчестве люди дополняют друг друга, а не повторяют. Будь они одинаковы, они ничего не смогли бы дать друг другу. Именно разность, неповторимость склонностей, дарований, склада ума и характеров — при морально-политическом единстве — определяют богатство содержания жизни коллектива.

Однообразие — верный признак творческого застоя.

Поэтому-то здоровый творческий коллектив так боится какой бы то ни было обезлички в системе своего сотрудничества. Поэтому настоящий руководитель жаждет массового проявления в его коллективе личной инициативы, подхватывает и поддерживает всякую оригинальную мысль, развязывает критику и самокритику, боится автоматического подчинения ему его сотрудников, неосознанной дисциплины, всякого шаблона, боится поручить кому-нибудь неподходящую для его данных роль.

Чем более советский человек выражает в себе, в своих поступках, мыслях и чувствах дух коллективности, тем более становится он личностью.

Неповторимое же сказывается в том особом пути, которым каждый идёт из своего прошлого к своему будущему, от старого к новому.

Это движение, различное по путям и перепутьям, но единое по направлению, обильно питает общую для многих героев романа Ажаева тему, которую можно определить как развитие индивидуальности в борьбе с индивидуализмом.

Следовательно, говорить о коллективе конкретно — значит в конечном итоге говорить о личностях и в первую очередь о тех, которые больше, чем другие, определяют лицо данного коллектива и в судьбе своей воплощают наиболее значительные явления духовной жизни нашего общества.

## 4

«У нас, конечно, работа занимает главное место. Но если у человека, кроме неё, ничего нет — вряд ли его можно считать вполне человеком».

Любопытно, что эта мысль возникла в романе, где труд, казалось бы, целиком поглотил людей. Полно глубокого значения, что она принадлежит человеку, для которого социалистическое строительство, непрерывная созидательная работа изо дня в день, без отдыха, без всего, что необходимо, кроме неё, — единственно возможный и, кажется, самый притягательный образ жизни. Как благодетельно для Батманова это противоречие, гораздо более содержательное и сложное на деле, чем это кажется на словах, — противоречие, открывающее новые перспективы роста для человека, уже стоящего на очень высокой ступени нравственного и умственного развития.

Уже давно ощущалась необходимость и возможность появления в нашей литературе образа коммуниста-руководителя, глубоко раскрытого во всём богатстве своего содержания. Желанный герой этот появлялся в ряде произведений военной и послевоенной литературы, но чаще всего как эпизодическая фигура. Привлекая читателя отдельными чертами своими, он только усиливал потребность более близкого знакомства с ним. Предчувствие и ожидание такого героя уже готово было вылиться в требование, когда появился замечательный Воробьян из романа Павленко «Счастье».

Он сразу овладел нашими думами. Мы проникли в душевный мир незаурядного человека, были подняты на высоту его мирозерцания и взволнованы его счастьем. Пылливый и пылкий ум обновителя жизни, собирателя талантов, врага всякой показной, успокоившейся, ничего не творящей «деятельности» или деятельности ползучей, бескрылой,— этот Воропаев, увлекающий за собой людей в будущее, многое сказал нам.

В творческом порыве Воропаева — взбудораживающая, заразительная сила. Долго ли можно находиться в таком состоянии? Заключена ли в энергии Воропаева постоянно воспроизводящая себя сила?

Мы не можем подвергать этого сомнению, но не могли в этом и убедиться. Образ Воропаева до такой степени растворён в лирическом пафосе писателя, что грани между субъективным и объективным исчезают. В деятельности Воропаева претворены чувства поэта. В этом — сила Павленко, поскольку собственные поэтические идеи его глубоко современны и устремлены в будущее. Отсюда же и то, что мир, воспроизведённый Павленко, недостаточно объективизирован. Лирическое начало, глубокое и безусловно оригинальное, здесь явно господствует над эпическим. Вот почему рядом с Воропаевым так хотелось увидеть в литературе яркую фигуру руководящего деятеля-коммуниста не только как олицетворённое вдохновение советского народа, но как фигуру типичную и вместе с тем индивидуально выпуклую, с резко очерченным характером, фигуру, существующую самостоятельно, раздельно от личности автора, поскольку это возможно в художественном образе.

И вот явился Батманов.

Этот герой законно занимает первое место в большом коллективе, где немало людей хороших и разных.

Он принадлежит к числу тех ценнейших людей, которым партия и правительство доверяет наиболее важные и трудные участки борьбы. Батмановы — надёжные вожаки, учителя, командиры строительных полков и дивизий.

Куда бы вы ни послали Батманова — в пустыню, в тайгу, в заполярье,— он всколыхнёт всё вокруг себя, пробудит жизнь. Талантливый организатор, он сразу улавливает, с чего надо начинать неизведанное

ещё, новое дело, сразу умеет установить все необходимые связи с людьми и организациями незнакомого ему края, как человек, глубоко чувствующий гармоническую силу нашего строя, как подлинный хозяин совершенно новой социалистической формации.

Мы видим Батманова, когда он в присутствии парторга Залкина впервые знакомится с людьми, работающими на строительстве нефтепровода. Роман только начинается. Отношения ещё никак не определились. Люди незнакомые. Батманову неизвестно, какими отношениями они связаны со старым руководством, которое он и его помощники призваны заменить собой, а между тем ему необходимо «быстро разобраться в людях и решить их судьбу».

О скучных страницах в литературе, посвящённых собраниям, заседаниям и всякого рода специальным деловым разговорам, говорилось и писалось не мало. Но они действительно скучны лишь тогда, когда дело в них затмевает человека. Если же в этих страницах люди раскрываются как личности и даже решаются их судьбы, — тогда они читаются с захватывающим интересом, тогда они становятся самыми увлекательными моментами романа, повести, драмы.

Казалось бы, что интересного может быть в первом служебном знакомстве нового начальника строительства с плановиками, инженерами, хозяйственниками-администраторами, снабженцами?

Но вот Батманов принимает по очереди Гречкина, Филимонова, Ковшова, Рогова, Грубского, Тополева, Либермана — и каждое появление в кабинете нового лица, каждая встреча воспринимается нами не только с активным читательским интересом, но чуть ли не как личная встреча с Батмановым при очень важных для нас обстоятельствах.

Подлинная сущность этих людей раскрывается перед нами в свете пронизательного взгляда Батманова. Как коммунист политически вполне зрелый и человек большого жизненного опыта, он умеет так прямо, серьёзно и чётко ставить в упор перед человеком главный вопрос данного момента его жизни, что никто не может уйти от воздействия его умной воли и уклониться от гражданского поступка. И в той мере, в какой жизнь человека может зависеть

от первого серьёзного шага в трудных обстоятельствах, здесь действительно решается судьба многих людей, потерявших было точку опоры. Они выходят из кабинета Батманова совсем не в том состоянии, в каком вошли в него. Теперь лучшие из них смущены уже не тем, что вынуждены «прозябать» за тридевять земель от фронта, а творчески обеспокоены предстоящей им ролью в большой созидательной битве. Мысль о «дезертирстве», о бегстве с тылового фронта на войну или об отъезде на другое строительство вместе с бывшим начальником Сидоренко, ещё час назад так сильно владевшая ими, казавшаяся решённой и единственно возможной,—исчезла.

Сила воли Батманова и глубина его мысли измеряются силой его сочувствия Рогову, Филимонову, Ковшову, когда, разделяя их порыв и скрыто любуясь ими, он холодно, порой даже язвительно осаживает этих людей, стараясь переключить их воинствующий патриотический пафос на созидательный бой.

«— Неужели вы считаете себя единственным порядочным человеком в тылу?» — говорит Батманов, и в этом вопросе не только убийственная логика, обескураживающая кавалерийскую прыть Рогова, но и оттенок личной обиды.

Не чувствуя, какая горячая кровь течёт в жилах Батманова, сможем ли мы оценить по достоинству и не превратно понять его тон и поступок, когда, на просьбу Ковшова вернуть ему его рапорт, Батманов прячет рапорт в сейф со словами: «Значит, я оказываюсь самым злопамятным. Рапорт не отдам. У меня привычка: коллекционировать любопытные бумажки. Рапорт попадёт в эту коллекцию. Выберу момент, когда автору будет особенно неудобно признать своё художественное произведение — тогда уж вытащу его из коллекции и верну».

«Холодное воспитание» людей Батмановым проникнуто верой в них и в благодатную силу суровой школы. Как видим, в самой ядовитости слов Батманова заключена его вера, даже убеждение, что момент, когда «автору будет особенно неудобно признать своё художественное произведение», то есть момент, когда Ковшов больше, чем когда бы то ни было, почувствует полноту своей жизни здесь, на стройке, — обязательно настанет.

Партия дала Батманову право распоряжаться людьми на стройке по своему усмотрению. Этого требует война. И Батманов распоряжается ими властно, непреклонно. Но в его поведении нельзя отыскать и тени самоуправства. Все слова дельные, все дела осмысленные. Отсюда — при всей строгости — несомненно присущий Батманову такт. Такт, который вопреки тону Батманова сказывается в конкретности его деловых отношений с людьми, как с индивидуальностями. Умение Батманова чётко различать людей по их возможностям уже само по себе обуславливает гибкость в его отношениях с ними, как бы ни казались эти отношения на вид прямолинейны. Батманов знает, что неразумная власть — слепая и злая сила, всегда неплодотворная и часто дающая эффект прямо противоположный тому, которого она добивается. Владеть людьми, значит владеть их достоинствами. В понимании этой истины и заключается способность Батманова воздействовать на людей и покорять их.

Истинно советским содержанием полон короткий момент встречи Батманова с бывшим начальником строительства нефтепровода Сидоренко. Само положение, столкнувшее их с глазу на глаз в кабинете Батманова, который ещё вчера был кабинетом Сидоренко, трудно для обоих, психологически напряжённо и не то чтобы чревато последствиями, но насыщено скрытым драматизмом. Сидоренко уезжает, с ним собираются уехать некоторые его сотрудники, но далеко не всех намерен отпустить Батманов. Создаётся атмосфера неопределённости, дезориентирующая людей. Присутствие Сидоренко связывает Батманову руки.

И вот они молча стоят у окна. Ажаев усиливает настроение момента мрачной картиной природы. Адун помутнел и вздулся. Ветер прижимал к воде грязные лохматые тучи, сотрясал стёкла. Густые хлопья снега и бурые листья металась за окном. Пейзаж этот не выдуман Ажаевым, не пригнан к настроению по шаблонно-романтическому методу. Нет, это не та «погода», которую делает беллетрист для пушного эффекта. Это действительная погода данного периода времени. Но она увидана во-время, в момент, когда действую-

щие лица предрасположены воспринять её эмоционально.

«— Тебе надо уезжать немедленно. Не тужи больше,— тихо проговорил Батманов.— Хорошо бы сегодня подписать акт.

— Гонишь? Мешаю?

— Гонию. Мешаешь. Здорово мешаешь, Яков Тарасович,— признался Василий Максимович».

Мы всегда огрубляем то, что нам не легко сказать просто, или не говорим вовсе слов, которые горько выслушать. Другие пути к этим словам ведут в сторону от них.

Теперь, когда требование отчеканено и его ничем уже не снять, Батманов после тягостной паузы чувствует потребность объясниться с Сидоренко, в котором вызвал неприязнь. Искренно, откровенно, уже в дружеском тоне, где требование не отличишь от просьбы, Батманов объясняет, в какое трудное положение ставит его Сидоренко своим присутствием. В нескольких словах Батманов, видевший разрушенные немцами безлюдные города, бездомных людей, сумел передать не опалённому войной Сидоренко, какое огромное чувство ответственности перед Родиной он, Батманов, испытывает, и под влиянием этих слов Сидоренко сумел преодолеть обиду и жалость к себе — всё то, что так болезненно жгло в нём в эти дни, сумел перешагнуть через личное, потому что всей душой своей он — коммунист. Совершенно не представляя себе, как справится Батманов со своей задачей, он готов помочь ему самой формой своего ухода. Сейчас для него Батманов уже не только человек, вытеснивший его своей превосходящей творческой силой, а старший товарищ и воплощение партийной совести. Уехать, потеряв в глазах Батманова своё достоинство, потерять навсегда и самого Батманова, горько и обидно Якову Тарасовичу. Не зная, как быть, как сказать о себе, он вдруг находит лучший способ для этого. Он дарит Батманову свою старую записную книжечку: «Перелистай на досуге, найдёшь несколько слов о Сидоренко, не такой уж он никудышный человек».

Нужно очень дорожить мнением почти незнакомого человека, чтобы отдать ему свои дневниковые записи. Ведь в них весь жизненный путь Сидоренко, всё его сладкое прошлое.

О чём думал Батманов, перелистывая книжечку Сидоренко? Автор не посвящает нас в его мысли. Упоминание Турксиба и Днепрогэса лаконично, сдержанно. Но оно здесь так уместно по логике вещей и психологически так понятно, что история, незримая для читателя, не воспроизведённая, проносится — мы это ясно чувствуем — живыми видениями в сознании Батманова. Здесь — нерассказанное прошлое Батманова и Сидоренко и их судьбы. Здесь уловлены душевные тонкости новых человеческих отношений, тонкости, которые и сближают и отделиют передовых советских деятелей от отстающих.

Сближают и отделяют — в этом содержании промелькнувшей в глазах Батманова тёплой грусти, о которой сказано в кольце.

Батманов неизмеримо выше Сидоренко, но ведь и Сидоренко — заслуженный человек, многолетний опытный строитель, всю свою жизнь отдавший Родине, и сейчас, снятый с боевой, стратегически важной стройки, он направляется в Караганду руководить другим строительством. Но смена героев, как типов деятелей, в образах Батманова и Сидоренко — яркое свидетельство быстрого развития нашего общества, с каждым годом поднимающегося на новую ступень коммунистической культуры.

Хорошо знакомый нам, обжитый, естественный в развитии и поэтому выработавший в себе шаблонную характерность тип деятеля вытесняется советским государственным деятелем высшего типа, творчески беспокойным, никогда не успокаивающимся на достигнутом и поэтому гарантированным от штампа и вообще от всякого автоматизма в своей работе. Являясь носителем более высокой культуры советского патриотизма, он приносит с собой иной стиль работы и всё вокруг себя поднимает на высоту, с которой открывается самая дальняя перспектива.

Само собой разумеется, что задержавшиеся в своём развитии типы советских деятелей бывают очень разными по своим данным, по степени и причине отставания и по возможности преодолеть его. Но так или иначе они всё чаще сталкиваются с людьми, которые не терпят никакого застоя, и на разных ступенях общественной лестницы сверху донизу возникает много-

образный по содержанию, но единый по духу конфликт, нередко приводящий к смене героев.

Так Воропаевы занимают места Коротых и всей душой отвергают ненавистное им романенковское самодовольство. Так Батмановы оставляют далеко позади себя людей типа Сидоренко.

Почти в каждом актуальном произведении мы встречаем какую-нибудь разновидность такого столкновения.

Эта тема потому и господствует в послевоенной литературе, что её властно продиктовала сама действительность. Борьба нарождающегося с отживающим всегда идейно питала советскую литературу. Но новая, характерная для сороковых годов, сущность и форма этой борьбы была вызвана к жизни Великой Отечественной войной, которая дала мощный толчок развитию всех сил советского народа и потребовала обновления творческой энергии.

Не случайно первый в литературе и необычайно острый конфликт этого рода, приведший к смене героев,— конфликт между Горловым и Огневым («Фронт» А. Корнейчука) был подсказан драматургу партией, был открыт там, где скрещиваются все нити нашей жизни.

Пьеса нанесла первый удар всем и всяческим героям вчерашнего дня, отставшим от бега времени. Образ честного, заслуженного со времён гражданской войны, но самонадеянного командира, рецидившего, что можно жить на проценты от старого, омертвевшего капитала, был глубоко раскрыт драматургом и стал художественным центром серьёзной, даже суровой обличительной комедии.

В этом сказались и сила и относительная слабость «Фронта». Передовому герою Огневу ещё не удалось переключить на себя главное внимание зрителя. Новое ещё не стало здесь для нас достаточно близким, широко открытым и доступным во всём своём богатстве.

Дальнейшее развитие в литературе этой жизненно важной темы привело к заметному смещению центра тяжести. Произошёл чрезвычайно важный качественный скачок. Новый герой вышел на авансцену, зажил полной жизнью. Огневы оттеснили Горловых не только практически, но и как художественные образы. Теперь уже — и в этом победа литературы! — имена Воропаевых и Батмановых, а не Коротых и Сидоренко, становятся нарицательными.

Эта смена первоначальных героев сильно двинула тему вперёд. Поднятые передовым героем на высоту его мирозерцания, введённые в круг его интересов, мы с чувством глубокого волнения открываем для себя свой завтрашний день. Вместе с тем, хотя победитель резко рвёт с противником, чтобы развязать себе руки,— пути в будущее никому не заказаны, и чем необходимее и честнее была схватка, тем благодетельнее она в конечном итоге. и для «побеждённого», если только яд обиды не убьёт в нем гражданское чувство.

Сидоренко уезжает, вытесненный Батмановым, но под влиянием того же Батманова он в самый горький момент своего поражения в чём-то сдвинулся с места, сделал шаг вперёд от своего сознания к батмановскому.

А Батманов? Опять, как и в сцене знакомства с людьми, когда кажется, что масштаб его личности уже полностью сказан, в конце возникает новый усилитель его душевной энергии, потому что она неизменно устремлена в будущее. Именно так вырастает перед нами Батманов, когда, возвращаясь с вокзала после проводов бывшего начальника строительства, он перебивает слова Беридзе о том, что Сидоренко напоминает командира, который удрал, оставив своё войско в окружении, следующим требованием: «Мы хозяева строительства, и не стоит поддаваться дешёвому соблазну, всё сваливать на старое руководство. Тяжёлое, мол, наследство, и те де и те пе. Заведём честное правило: ни на кого не ссылаться — только на самих себя. Никого не винить — только самих себя. Будем считать так: это мы, такие-сякие дети, довели дело до ручки».

Творческая сила патриотизма Батманова ощутимо сказывается в том, что он не только умно учит своих сотрудников, но и сам, поучая других, каждый раз завоевывает новую позицию для себя.

Будучи отчётливо выраженным, ярким типом передового коммуниста сталинской школы, Батманов в своих взглядах, всегда строго партийных, самостоятелен, можно сказать даже оригинален. Самостоятельность и оригинальность его заключаются отнюдь не в причудливой непохожести на других людей его круга и, с другой стороны, не в той исключительности, которая присуща только великим людям, а в том, что господствующие в нашем обществе

идеи принялись и дустили глубокие корни в его особенной природе, претворились в его характере и стали во всех формах своих проявлений батмановскими.

Художественная сила этого образа в том и заключается, что большевистская деловитость и русский революционный размах нашли в нём не только типовое, но и ярко индивидуальное выражение. Батманова мы видим, слышим, ощущаем его неповторимую личность в том единстве духовного и физического, которое в живом человеке неразрывно.

Суровая и благотворная власть Батманова очень характерно раскрывается в его отношениях со снабженцем Либерманом — одной из весьма колоритных фигур романа. С первых же дней своего знакомства с сотрудниками Батманову стало ясно, что за шутка этот Либерман. Но и это сидоренковское наследство Батманов берёт на себя. Ему нечем заменить бывалого снабженца, и он вынужден пойти на обработку этого трудоёмкого объекта.

Либерман — ловкий «доставала», пронира, пройдоха. Прикажете — и правдой или кривдой дело будет сделано. Он раздобудет всё, что от него требуется, и скорее, чем кто-либо другой. «Я на снабжении зубы проел, жизнь на него затратил, и равен в своей области если не академику, то, во всяком случае, инженеру!»

Интересно, что пережитки частнособственнической психологии обнаруживают свою поразительную живучесть даже тогда, когда они не приносят никакой личной выгоды, и даже у людей, не преследующих корыстных целей.

Либерман честен. Да, честен, но в уродливом, в мелкособственническом смысле этого слова. Он ничего не возьмёт для себя незаконно, но что может он дать людям? Раздобыть, приобрести — это его стихия, тут у него широкий размах; но выпустить что-либо из своих рук, из своего склада — как жмётся, как скупится при этом Либерман! Довести вещи до человека, согреть, одеть, накормить строителей, болеть душой за их лишения и в постоянных заботах о людях обогащать свою инициативу — это несвойственно Либерману. Вещи и документы — вот что ревностно оберегает Либерман от не вызывающих у него доверия людей. Недоверие, разобщённость, ввешивание в него до мозга костей, мешают Либер-

ману обратить своё делячество в деятельность, делать то, для чего нужна вера в людей и любовь к ним.

Вот почему уголовно ненаказуемая, перестраховочная деятельность Либермана вызывает всё большее и большее возмущение и противодействие в социалистическом коллективе. Со всех сторон сыплются на него упрёки. Его укоряют за фальшь, за недосказанность, избобличают, выворачивают нанзнанку. «Почему вы не любите людей? — говорит Женя Козлова. — ...Души у вас нет».

Автор не боится столкнуть нас с Либерманом и в такие минуты его жизни, когда он вызывает жалость к себе и даже глубокое сочувствие. Мы видим этого шумного толстяка внезапно осунувшимся, убитым мыслью о судьбе жены и дочери, оставшихся в блокированном Ленинграде, о родственниках, погибших в руках гитлеровских палачей. Видим его и в момент приезда к нему жены, ставшей из молодой красивой женщины высохшей старухой, и дочурки с печальными глазами много пострадавшего человека, вид которых вызывает безысходную муку у Либермана, прорывающуюся словами: «Маменька родная! Маменька ты моя родная! Дайте же мне, мирному человеку, оружие, чтобы и я мог мстить извергам».

Объясняя, почему Либерман, с самого детства прошедший уродливую трудовую школу, так долго несёт на себе груз прошлого, и заставляя моментами смущённо отступить перед его горем таких антиподов Либермана, как Таня Васильченко и Филимонов, всегда относящихся к нему с явной антипатией, Ажаев атакует либермановщину, так сказать, по линии наибольшего сопротивления.

Да, Либерман хитрый человек, плут и скоморох, готовый осмеять всё, что для других дорого и свято, бездушный и в то же время несчастный, не знающий, что значит любить «дальних», и в то же время совсем не злой. Не враг, но и не помощник. Неуклюжий и очень подвижный, суматошный и тем не менее деловой, по-своему умелый, опытный, — словом, «трудный дядя».

В словах: «кладовщик вы, скопидом, а не снабженец» — с присущей Батманову идейной чёткостью в обобщениях выраже-

ны на конкретном частном случае два мира, две культуры, два строя жизни.

Снабженец! Сколько у нас ещё людей, в том числе и как будто передовых, которые всегда произносят это слово иронически, как нечто в самой основе своей сомнительное.

А как звучит оно в устах Батманова! Всея убийственно саркастической силой своего яда Батманов травит «бациллу буржуазной коммерции» в Либермане, но понятие снабженец в действительном, в социалистическом смысле этого слова для него в высшей степени благородное понятие. Он не только не видит в профессии снабженца какой-то второсортный труд, которым можно гнушаться, но, более того, требует от снабженца сознания огромной важности своей роли и чувства собственного достоинства. Третируя Либермана, Батманов борется за снабженца и против кладовщика. В этой, одной из многообразных в романе схваток нового со старым, очень интересно видеть, как сталкиваются в практической борьбе честные правила социалистического деятеля с «честностью» делеяги мелкобуржуазного пошиба.

Либерман не знает, где и как ему достать нехватящую тёплую одежду для рабочих. Он шлёт в министерство телеграмму за телеграммой. Батманов приводит снабженца в паническое состояние, когда, разорвав в клочья его очередную телеграмму, приказывает отдать в фонд Советской Армии половину из тех небольших запасов ватников и штанов, которые имеются на складе у Либермана, и вместе с тем требует — и не по-самодурски, а с конкретным руководством к действию — тепло одеть к зиме всех рабочих. Батманов требует от Либермана, строго соблюдая малые нормы рациона военного времени, давать рабочим сытный обед. Произвол? Но Батманов всегда знает, чего он требует.

Он знает, что будь у опытного делеяги Либермана хоть немного не мелко-тщеславной, а подлинной любви к делу, стимулируемой общественными интересами, Либерман сделал бы больше и лучше того, что делает сейчас.

Движимый интересами дела, он тычет Либермана носом всюду, где наглядно сказываются грехи его скопидомства, учит делом, учит и словом, иногда даже слишком словоохотливо и отвлечённо, как например,

в первом конфликте, когда Батманов, отчитывая Либермана, советует ему хранить в своей памяти следующее высказывание Л. Толстого: «...человек подобен дроби, где числитель — это то, что он действительно собой представляет, а знаменатель — то, что он о себе воображает. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь. Коли знаменатель — бесконечность, дробь равна нулю».

Батманов как бы говорит Либерману: считайте меня придиричивым, тираном, кем угодно, но знайте, что я вас из своих рук не выпущу, пока не сделаю человеком!

И Батманов действительно перетряс всё либермановское нутро. Заскорузлые привычки Либермана сдвинулись с места.

Прошло четверть века после Великой Октябрьской революции, и вот только во время войны с фашистами, в которой погибли и пострадали близкие Либермана, только в суровых трудовых испытаниях тыла, только в цепких руках Батманова Либерман начинает понемногу очищать свой нрав, надолго загаженный, испорченный проклятой частной собственностью, начинает понимать, что значит забота о «дальних», начинает по-новому развивать свои силы и верить в них.

Вера в свои силы! Развитие этого самочувствия от его индивидуалистической сущности к коллективистической — вот тема, которую Ажаев в своём романе разрабатывает во множестве очень характерных для нашего общества разновидностей этого процесса.

Среди лиц, пронизанных светом этой идеи, есть в романе одна фигура, замечательная сама по себе, но для нас вдвойне интересная, потому что она ещё более сближает нас с Батмановым. Это — Рогов. Живой Батманов может вступить во взаимоотношения только с такими же живыми, как он сам, пусть и не первостепенными, но жизненно убедительными героями романа. Как и Либерман, Рогов — человек, выхваченный из самой действительности. Но если в лице Либермана Батманов воспитывал чрезвычайно далёкого, чуждого себе человека, чуть ли не антагониста, то в столкновениях с Роговым Батмановым движут совсем другие чувства, и притом чувства, продиктованные не только интересами дела, но и субъективно ярко окрашенные.

Батманов — личность постоянно развивающаяся. Нам мало знакома биография

Батманова, характер которого мы так сильно ощущаем. Мы знаем, что Батманов был некогда паровозным кочегаром, и догадываемся, особенно в сцене с Сидоренко, какой путь прошёл этот кадровый пролетарий, ставший вожаком крупнейших строительных коллективов. Из немногих замечаний о его прошлом обращает на себя внимание тот, вспомнутый Залкиндом, факт, что ещё лет пять тому назад на бюро горкома о Батманове говорили, как о человеке, не очень-то жалующем критику, несколько пренебрегающем маленькими людьми и подавляющем их своим авторитетом и положением.

Всё это относится к прошлому Батманова. Но, значит, и Батманову предстояло в своё время совершить самое главное в развитии человека, переделываемого социалистической новью: понять всем существом своим, что человек силен не сам по себе, а как участник взаимопомощи, и что, следовательно, вера в свои силы у советского человека может расти и укрепляться только как у сотрудника, соратника, конкурента. Это сознание теперь пронизывает все мысли и чувства Батманова. Оно стало его мироощущением. Но в какой-то незлокачественной мере он ещё не так давно носил в себе то, что теперь увидел в Рогове. В этом-то и заключается психологическая основа чрезвычайно ревнивого отношения Батманова к Рогову.

Рогов — горячий парень, с быстрой, непосредственной реакцией, с цельной и чистой душой ребёнка. Огромный темперамент Рогова, не углублённый большой культурой, иногда захлёстывает его своей стихийностью. В борьбе за веру человека в свои силы — как члена коллектива, а не отдельной единицы или стоящей над коллективом личности, — мы видим в Рогове ту далеко не худшую разновидность индивидуализма, которую мы называем излившей самонадеянностью.

Рогова нельзя не полюбить сразу. И его действительно любят все окружающие его люди, и может быть больше других — Батманов. Даже некоторые анархические грешки этого бескорыстного и самоотверженного человека как будто можно простить ему. Но не такова атмосфера романа, чтобы в нём могла бы промелькнуть хотя бы тень благодушия. Не таков Батманов, который тем более пристрастен в своей критике

Рогова, чем более хочет приблизить его к себе и чем более узнаёт в нём свои былые повадки.

Ведь и сейчас ещё у Батманова нет-нет да проскользнёт в его подлинно-социалистическом методе руководства приём уже давно для него не характерный. Недаром парторг Залкинд говорит Батманову, когда тот, выхватив у рабочего заинтересовавшую его необычную лопату, принялась копать землю: «Ты не Пётр Первый, и времена теперь не те». Это перекликается со словами Батманова Рогову о Ваське Буслаеве: «Не модный ведь образец».

Быть может, замечание Залкинда Батманову даже не очень основательно, но ведь и грехи Рогова тоже относительны. Открытый, честный человек, верный товарищ, трогательный в своей страстной и целомудренной любви к Ольге Родионовой, пламенный патриот, самоотверженный труженник — с такого человека ещё взыскивается!

...Рогов действительно самовольно использовал грузовые машины соседнего участка, с которым он к тому же соревнуется, но ведь он сделал это глубоко убеждённый — и не без основания, — что у своих хозяев машины простояли бы без дела.

Рогов действительно позволил себе взять у нанайцев часть улова рыбы. Но ведь люди Рогова помогли вытащить из проруби огромную рыбину, с которой сами нанайцы никак не могли справиться и наверняка упустили бы. И ведь Рогов согласился взять часть добычи не для себя, а для своих людей, работающих не покладая рук и днём и ночью и постоянно недо-едающих.

Рогов в самом деле как-то пренебрежительно отозвался об инженерах, недооценив их роли и переоценивая свои возможности...

Таковы «преступления» Рогова, о которых Батманов напоминает ему в суровой отповеди.

Для Батманова важен каждый, хотя бы и незначительный проступок Рогова, каждое «как будто невзначай брошенное им словечко». Всё взвешивается, оценивается Батмановым с точки зрения морально-политических устоев социалистического общества.

Он не пропустит случая напомнить Рогову о его былых прегрешениях, пока видит

возможность их повторений, и придиричиво корит его за малейшее проявление индивидуализма.

Какая пропасть отделяет Батмановых от того типа командиров первых довоенных пятилеток, ярким воплощением которых был образ Гая в пьесе Н. Погодина «Мой друг». Поступки Рогова привели бы в восхищение Гая. Вспомните, как поучает Гай своего помощника: обмани, укради, сорви, на бога возьми — лишь бы выполнить задание и дать стране новое мощное предприятие. После разберёмся...

Либерман был бы кладом для Гая!

Как благословляет Батманов Рогова на трудовой подвиг, как сурово готовит для больших дел этого полюбившегося ему человека, как круто гнёт в свою сторону! Он осаживает и одёргивает его по-своему, побатмановски, с резкой, колющей глаза, обидной, иногда даже подавляющей критикой.

Но именно в беспощадной суровости Батманова и заключена его высокая претензия к человеку, та мера, которой он измеряет человеческое достоинство. Батманов верит в человека, и чем больше верит, тем более взыскателен и строг. Ведь отповедь, которую так тяжело было слушать Рогову, что он даже отшатывался от начальника, совпала с решением Батманова снова доверить Рогову самый трудный участок строительства. «Уничтожая», он требует. Острота и меткость его характеристик его не радует. Ему нужен ответ. И ответ действенный, практический.

Больше всего видим мы Батманова в борьбе со всякой помехой на пути развития творческих сил человека. К нему вполне применимо понятие «добрая злость», которым Павленко характеризует Воропаева.

Такова уж натура Батманова, что доброго слова не выжмешь из него. Если вы не видите на его лице улыбки, то не потому, что её нет в его душе, а потому, что он прячет её. Она стесняет его. Мы ещё не умеем, не научились говорить людям в лицо приятные вещи, думает Алексей Ковшов. Батманов не любит и боится похвал, они вызывают у него какое-то чувство неловкости и досады. Он боится всякого движения души, не являющегося усилием воли в творческой борьбе. Если мы редко видим Батманова чем-нибудь открыто довольным, то это потому, что он всегда озабочен ещё

не достигнутым, но необходимым. Сделанное—сделано. Оно не уйдёт от нас, и незачем останавливать себя хотя бы на одну минуту чувством удовлетворённости, когда нужно беспрерывно наращивать темпы. Батманов ведёт свой коллектив в стремительную атаку, и у него нет времени оглядываться на пройденное. Смотреть можно только вперёд. Постоянное творческое беспокойство всех и каждого — вот что могло бы «успокоить» Батманова. «Режь меня, не могу прощать им даже малейших упущений! Сейчас от них столько требуется!» — говорит он Залкинду.

Вспомним момент, когда Таня Васильченко и Коля Смирнов встречают санный поезд, в котором Батманов со своими ближайшими помощниками объезжает трассу. Таня со своей бригадой совершила воинственную героический трудовой подвиг. В невероятных тяжёлых условиях, чуть ли не замерзая, комсомольцы восстановили всю свою мучительно трудную и долгую работу по подвеске провода, уничтоженную в один день ураганом. У Тани отличное настроение. Ей так хотелось видеть Беридзе, Алексея, Тополева, Рогова и даже Батманова, которого она всё-таки немного боялась. «Все они казались ей родными и близкими, почти наравне с матерью». И действительно, все радостно обступили Таню.

Но вот:

«Выбрался из своего возка и Батманов, заинтересованный, по какому поводу остановка и почему шумят и хохочут его спутники. Он подошёл, увидел Таню и сразу огорошил её:

— Здравствуйте. Не рад вас видеть. Совершенно не рад.

— Что ж так, товарищ начальник? — смутилась девушка, не зная, в шутку или всерьёз принимать его слова.

— Здесь кончается ваш провод? Дальше связи ещё нет?

— Дальше пока нет, но до пролива осталось всего шестьдесят километров.

— А вы забыли наш договор? Мне нужен провод на участке пролива сразу же, как только я туда приеду. На черепахах вы его тащите, милая моя!..

Возмущённая Таня молчала. Улыбка сошла с её лица, она опустила голову, сдерживая резкий ответ, просившийся с

языка. Либерман за спиной начальника хватался за голову и бормотал:

— Маменька родная, такое обращение с нашей гордой Танечкой!

Беридзе вступился за девушку:

— Несправедливый выговор, Василий Максимович. В подвеске проводов Татьяна Петровна со своими людьми установила рекорд. Никакая машина за ними бы не угналась.

Батманов с усмешкой посмотрел на него:

— Адвокат и рыцарь вы, Георгий Давыдович!

Либерман громко засмеялся, чем привлёк внимание Батманова.

— А вы чему обрадовались? Как бы не пришлось прослезиться на пролив!е!

Алексей в стороне беседовал со Смирновым. Он придвинулся ближе к Тане, пытаясь её утешить:

— Ты зря так реагируешь на его слова. Помнишь, мы толковали о добрых начальниках, которые не говорят добрых слов даже тем, кого любят. Ответила бы ему шуткой, и всё.

— Да ну их, добрых начальников! Известно, как надо отвечать им! — сердито буркнула Таня.

Тополеву было искренно жаль девушку. Он затыкнулся понюшкой табаку, вытер усы красным платком и решительно подступился к Батманову.

— Зачем вы обидели её? — укоризненно спросил он. — И без того ведь ей нелегко. Подумайте, сколько мучений выпало на её долю, пока она добралась сюда с проводом... Все так хорошо её встретили, надо же было вам испортить настроение! Поругали бы меня, что ли, если уж захотелось поругаться!

Батманов с любопытством посмотрел на старика, потом на хмурого Беридзе, на Таню, которой Алексей что-то шептал на ухо, на Карпова и Рогова, стоявших поодаль, на Смирнова, спокойно встретившего его взгляд, на Либермана, сделавшего безучастное лицо. (Обращаем внимание читателя, как здесь в коротких, словно ремарки драматурга, определениях точно выражено состояние всех участников сцены. — А. Г.). Не ответив Тополеву, Батманов скомандовал:

— По коням! Нечего тут на морозе любезничать, ещё простудитесь!»

Батманов нанёс глубокую обиду самой

выдающейся труженице многотысячного коллектива, вызвал всеобщее возмущение и остался в этот момент морально изолированным среди ближайших своих людей. И разве лишь один Алексей Ковшов, вполне сочувствуя Тане, способен понять и «бесчувственного» Батманова.

Суровость Батманова вынуждена. Её требует дело. Оно диктует. Оно командует, оно принуждает. Провод должен быть протянут к сроку во что бы то ни стало, — как бы ни были сильны неблагоприятные объективные обстоятельства. Пусть стихийное бедствие разрушило всю работу комсомольского отряда Тани Васильченко и заставило его потерять время на восстановление провода, — разве это объяснение может отменить жизненную необходимость селекторной связи с проливом?!

Можно ли так разговаривать с «гордой Танечкой»?

Но разве не так разговаривает с другими сама Таня? Когда в ответ на её требования доставить ей нужные материалы, снабженец Федосов взывает к Ковшову: «— Взгляните, Алексей Николаевич, что требует ещё эта милая девушка. Просто страшно! И подавай ей всё сразу. Не учитывает ни очередности работ, ни наших возможностей. Дай — и точка!» — Таня восклицает: «— Не хочу учитывать возможности.»

Что-то характерно батмановское по духу и даже по форме звучит в этом властном требовании девушки. Да и в своём отряде Таня применяет и к себе и к подчинённым ей ребятам, по собственным её словам, «воспитание холодное — в прямом смысле и в переносном: то есть строгое. Они у меня, — говорит она, — почти привыкли умываться снегом, пить ледяную воду, спать без спальных мешков. Спортом заставляю заниматься. Нить и жаловаться не разрешаю».

Задолго до приведённой выше встречи Батманова с Таней у неё с товарищами шёл разговор о крутом нраве их начальника.

«— Я думал не раз: каким должно быть отношение руководителя к своим подчинённым? — сказал тогда Алексей. — Это обязательно надо решить для себя... Есть матери, которые только целуют и ласкают своих детей, потакая им во всём. А есть матери, которые строго к своим детям, на-

казывают их и целуют редко, главным образом, когда дети спят. Голосую за строгую мать! Она не только любит, но и воспитывает. У неё в отношении к детям проявляется не только сердце, но и разум. Её дети — это верные дети. И любят они свою строгую мать ничуть не меньше!..»

Эту мысль следует только дополнить, отталкиваясь от заключительных её слов. «Ничуть не меньше»? Нет — больше, сильнее, глубже. Иначе почему бы только таких детей мы назвали бы самыми верными. Если говорить не о жалком подобии любви, которое представляет собой смесь сентиментальности с грызнёй, а о любви настоящей, то надо сказать, что мы любим властных отцов, матерей, руководителей — если требовательность их не вздорна, а разумна — гораздо больше, чем таких, которые потакают и попустительствуют нашим слабостям, потому что в первых видим постоянную заботу о развитии наших сил, а вторые — либо равнодушны к нам, либо умилительно-дряблы.

Оправдывая Батманова, Алексей Ковшов бичует ласковый гуманизм утешителей и филантропов, рассматривающий человека как существо слабое, несчастное, вызывающее одно только сочувствие и соболезнование, — бичует с позиций подлинного гуманизма, обращённого не к слабым сторонам человека, а к его силе. Не пожалеть, а вытравить жалкое, оздоровить и усилить человека, не посочувствовать словом, а освободить делом — вот цель истинной, революционной человечности.

Исходным моментом гуманистических идей Ковшова является его сознание, что «мы живём и работаем в трудное время, в сложной обстановке». Именно эта сложность и трудность ожесточённой борьбы за счастье порождает в характерах наших лучших современников своеобразные противоречия, наглядно выраженные в таких странных на первый взгляд словосочетаниях, как «добрая злость», «суровая любовь», или предсмертная заповедь национального героя чехословацкого народа, незабываемого Юлиуса Фучика: «Люди, я любил вас! Будьте бдительны!»

«Голосую за строгую мать!» За «холодное» воспитание! — эти слова естественно звучат в романе Ажаева, сумевшего передать напряжённую атмосферу созидательной борьбы советского народа в жестокие

годы фашистского нашествия, когда героическая борьба миллионов и миллионов людей стала единственно возможным способом существования, когда между подвигом и преступлением нередко не оставалось промежуточных ступеней для поведения человека.

Батмановское воспитание противопоставлено в романе Ажаева не только жалостливой отзывчивости ласковых матерей. Это лишь тема рассуждений Алексея Ковшова. В романе нет человека, в образе которого была бы воплощена расслабленная безвольной любовью человечность, и следовательно не могло произойти конфликтной встречи «строгой» матери с «ласковой».

Форма отношений Батманова к людям нередко смущает совсем не женственную душу ласковой матери, а закалённого во всех боях коммунистической партии за четверть века, стойкого большевика Михаила Борисовича Залкинда.

Батманов и Залкинд — два высших авторитета во многотысячном коллективе. Два руководителя, глубоко понимающие и любящие друг друга. Какое единство, какая дружба и вместе с тем какой контраст. «Резкий, крутой, порой беспощадный», внушающий боязнь даже таким безупречным работникам, как Таня, душевно недоступный Батманов — и сердечнейший Залкинд, который нужен и Тополеву, и Алексею Ковшову, и даже Батманову в самые горькие минуты их жизни.

Во всём близкие и необходимые один другому, они ничем друг на друга не похожи. И умён Залкинд по-своему, совсем по-иному, чем Батманов. Как старый пропагандист, Залкинд прошёл свою школу, и в своём развитии совершил скачок от несколько абстрактного, обезличенного воспитания масс к глубокому пониманию значения и роли каждого отдельного человека, каждой отдельной личности. Его метод — убеждение. Он любит обобщать свои наблюдения, любит пофилософствовать. Тянется порой к отвлечённым рассуждениям и Батманов. Но во всех случаях Батманов диктует, умно, но диктует, а Залкинд вызывает к сердцу и уму своего сотрудника. У одного — повелительный гнев, сарказм, у другого — возмущение с ноткой обиды, претензия любящего отца или добродушная ироническая улыбка учи-

теля. Батманов подгоняет отстающих, подталкивает их вперёд; Залкинд тащит их за руку.

Один, в качестве руководителя, Залкинд делает меньше, чем один Батманов. Батмановский талант организатора, его несравненный по широте русский революционный размах, его большевистская деловитость, его наступательная энергия и государственный ум — в совокупности образуют фигуру более крупного масштаба, чем Залкинд. При всей своей чистоте и мудрости, при всей своей революционной активности и тоже очень высоком уровне государственного мышления, — Залкинд кажется нам удивительно на месте именно в роли ближайшего помощника начальника строительства. Но есть сфера чувств и отношений, которую Залкинд познал гораздо глубже, чем Батманов.

Дружеские столкновения Залкинда с Батмановым представляют собой скрещение в самокритике различных сторон, способов борьбы за полноценного человека.

Оба они преследуют одну и ту же конечную цель, и поэтому взаимно притягательная сила так чувствуется в их споре. И всё-таки это своего рода конфликт. Конфликт «отца» и «матери», думающих о том, как воспитать «верных детей».

Не подавляет ли Батманов людей своей крутостью?

Не портит ли кое-кого Залкинд своей мягкостью? Вот смысл взаимных претензий. Как лучше воспитать, научить, закалить? Оба требуют примеров, не принимая отвлечённых обвинений. Это конкретный разговор о судьбах человеческих.

Залкинду кажется, и не без основания, что в воспитательном методе Батманова есть какая-то односторонность. Залкинд не ставит вопроса об этой односторонности, но сопротивляется ей по велению своего чуждого сердца.

Действительно, в огромной силе воздействия Батманова на людей, в методе его воспитания есть своя слабая сторона.

Разумная похвала так же важна для развития человека, как и «дельная ругань». Взыскательность и поощрение составляют двуединство отрицания и утверждения, без которого не проходит ни один процесс творческой мысли человека, даже предоставленного самому себе. Что бы мы ни делали, мы беспрерывно сменяем в сво-

ём сознания по отношению к себе гнев на милость, муки — радостью, неудовлетворённость — довольством, самоотрицание — самоутверждением. Здоровое, растущее общество подхватывает естественные чувства творящего человека, и в момент, когда он побеждает или терпит поражение, во сто крат усиливает его реакцию на свой труд: оно либо укрепляет его веру в свои силы признанием его победы, либо стремится оздоровить его силы взыскательной критикой, если они использованы непродуктивно.

Многому научает человека горький опыт. Но если несчастье — хорошая школа, то счастье — университет. Эта пушкинская мысль советским людям понятна более, чем кому-либо на всём свете. Она ими доказана. Счастье, завоеванное социалистической революцией, оказалось для народов СССР таким великим университетом, какого ещё не знал мир. В кратчайший исторический срок раскрепощённый труд поднял нас на вершину современной материальной и духовной культуры. Именно свобода сделала нас сильными и умелыми.

Можно ли вырастить полноценного человека, лишив его в процессе развития моментов счастья или приглушая их? Можно ли воспитать жизнерадостного, гордого, свободного человека одной только борьбой с его недостатками?

М. Горький, борясь с принижением личности, придавал огромное значение заслуженному возвышению человека в его собственных глазах. Открывать в человеке его лучшие возможности и показать их ему — значит оросить благодатной влагой золотые зёрна его души. Мужественное воспитание людей, не боящихся никаких трудностей, в духе строжайшей дисциплины и бдительности более, чем всякое иное, предполагает и душевные праздники, награды, прославления достойных.

В своей речи по случаю XXXII годовщины Великой Октябрьской революции Г. М. Маленков подчеркнул и объединил обе стороны вопроса в их внутренней связи, когда говорил о жизненной для нас необходимости быть непримиримыми в борьбе с недостатками, с зазнайством, благодушным самоуспокоением и самолюбованием и о том, что в Советском Союзе честный труд высоко оценивается и охотно поощряется.

Вот этой охотности поощрения и вообще способности просто, сердечно выражать свои хорошие чувства к людям не хватает Батманову.

Ажаев хочет проникнуть в самую сердцевину своего героя. И в романе возникает вопрос о гнездящейся в недрах души человека связи его личной и общественной жизни.

Семья Батманова в романе незрима, отодвинута куда-то вдаль, но чем меньше она занимает места в образе жизни Батманова, в его быту, чем более эта тема ущемлена, с тем большей силой и необходимостью начинается она звучать в романе как мотив, позволяющий нам ещё глубже понять натуру этого человека.

Батманов на строительстве живёт один в просторном особняке, унаследованном от Сидоренко. Жена Батманова Анна Ивановна и сын Костя, болеющий туберкулёзом, в последнее время находились в Крыму, но Крым отрезан, и Батманов не знает, что с ними, где они.

Любит ли Батманов Анну и сына?.. Он вспоминает их с болью и тоской, которые тем острее, чем глубже он осознаёт, что не сумел по-настоящему сблизиться с самыми родными для себя существами.

Как жил Батманов в своём доме? Какие отношения складывались у него с Анной Ивановной, с Костей? Всё это для нас закрытая книга. В романе мы не видим их вместе и узнаём, что и раньше, до войны, жизнь их протекала в частых разлуках. Один только момент из прошлого бросает свет на характер их отношений. Как-то Анна Ивановна, ощутив серьёзную опасность отчуждения Василия Максимовича от неё и Кости, упростила мужа взять отпуск и пожить месяц на отдыхе, чтобы он снова привык к ним, сблизился, укрепила слабеющие связи. Василий Максимович согласился с Анной, уехал с семьёй на отдых, но, по собственному признанию, не выдержал и, не дождавшись конца месячного отпуска, вернулся на работу.

Вот и всё, что мы узнаём о семейной жизни Батмановых вплоть до момента, когда Василий Максимович получает письмо от одного из своих друзей с сообщением о смерти Кости. Анне Ивановне удалось вырваться из Крыма и вывезти больного

сына. Но мытарства и лишения при переезде под бомбёжкой окончательно подкосили силы мальчика, и спасти его не удалось. Анна — военный врач, работает в госпитале и туберкулёзном санатории, работает энергично, хорошо, «держится молодцом», но у неё не хватает сил написать Василию Максимовичу о гибели Кости. Она уговорила себя, что виновата перед мужем: он доверил ей сына, а она не сумела сбереечь его.

Жизнь нанесла жестокий удар Батманову в единственно уязвимое место этого сильного, закалённого, непоколебимого человека. Конечно, смерть Кости объясняется и некоторыми исключительными обстоятельствами, которых нельзя было предвидеть. Весьма вероятно, что в условиях нормальной, мирной жизни Анне Ивановне удалось бы выходить сына. Но если иметь в виду не исключительность этого трагического исхода — его могло и не быть, — а самую суть и характер отношений Батманова к жене и к сыну, то перед нами встаёт очень острый современный вопрос.

Тема «дом и мир», существовавшая для каждого уклада жизни, возникает и у нас, но совершенно по-иному.

С разных точек зрения, в различных формах, но всё глубже и острее, всё серьёзнее и серьёзнее разрабатывается она в нашей литературе. Лучшие советские писатели без ханжества, без лакировки, без боязни проговоречий ставят эти жизненно важные вопросы.

Что из себя представляет в традиционном смысле этого слова семья Воропаева, Батманова, Листопада («Кружилиха»)?

Воропаев сумел сложить свою песню. Но ведь и Воропаев, живущий пока без сына, оставленного им в Москве у знакомых, связанный разными сложными отношениями с Горевой, с Леной Журиной, — разве не приходит он к своему счастью трудным путём человека, испытывающего и восторг борьбы, и приступы одиночества, и самозабвенное творчество, и горькие мысли о своём Сергуньке, и тягу к своему очагу, и постоянное отталкивание от него на просторы общественной жизни?

Дом и мир, большая и малая семья, любовь и труд — тема эта как будто специально поставлена в романе Павленко. Она здесь раскрывается в неповторимых отно-

шениях, при своеобразном стечении обстоятельств, но при всём том отнюдь не как исключительный частный случай, не только как особая судьба Воропаева. Она подчёркивается, заостряется, буквально напирает на читателя, осмысливается философски, как проблема, имеющая большое общественное значение и всем своим сложным содержанием включённая в процесс нашего коммунистического развития.

А с какой глубиной и тонкостью, с какой светлой лирической грустью, с какой силой поэтической проникновенности раскрывается перед нами в своих новых соотношениях проблема «большой» и «малой» семьи в повести П. Павленко «Степное солнце»!

По-своему, с позиций «мягкой матери», односторонне, пассивно и страдательно, но как всегда искренно ставит вопрос о личном и общественном В. Панова в «Кружилье». В этом романе прозвучала глубоко затаённая печаль женщины (дневник Клавы), любовь которой ущемлена всем складом жизни и характера её «спутника».

Батманов растил людей в своей государственной деятельности, присматривался к каждому отдельно и каждым руководил, и только у себя дома он как-то не осознавал своей ответственности, не растил человека с такой кровной заинтересованностью, как в своём производственном коллективе. Не потому ли Батманов не выдержал даже короткого месячного срока тесной жизни с Анной и Костей и, по сути дела, сбежал от них в свой мир дела, что он не втянут в круг интересов, которыми живут его родные?

Но разве естественно, что жизнь членов одной семьи течёт параллельно, не сливаясь в нечто единое? А раз неестественно, то не может быть безущербно. Если человек не вырабатывает в себе всех тех глубоких чувств, которые ведомы одной только любви, то при этом увядает в его душе какая-то очень важная и мощная деятельная сила. Человек един и неделим. В нём нет каких-то отдельных сил для разных сфер его деятельности, разложенных где-то внутри него по полочкам.

История отношений Батманова с женой и сыном — это не просто ещё одна сторона жизни героя, так сказать личное в добавление к общественному. Нет, это страница из рассказа о Батманове в це-

лом. Это часть его существования, и следовательно она не может не влиять так или иначе на его отношение ко всем и ко всему. Батманов не любил в своей жизни так, как мог бы любить этот сильный и глубокий человек. Не то что у него не было для этого струн в душе. Но так случилось, что они не настроились на песенный лад любви.

Трудно питать любовь к человечеству, не любя человека. Любовь к «дальним» воплощается в любви к «ближним», и в ней черпает свою теплоту. «Недаром в самом деле во все времена почти у всех культурных народов любовь в широком смысле слова и любовь мужа к жене называется одинаково любовью». Эта мысль Чехова из его записной книжки углубляется другой записью писателя: «Желание служить общему благу должно непременно быть поребностью души, условием личного счастья, если же оно происходит не отсюда, а из теоретических или иных соображений, то оно не то».

Разумное и чувственное в здоровом человеке — не два разных начала, а нечто нераздельное. Ум и сердце не должны тянуть человека в разные стороны.

Если труд даёт содержание всем другим нашим движениям, то эти другие формы жизнедеятельности обладают силой обратного воздействия на основную функцию человека, и здесь первое место принадлежит любви.

«Любовь, — писал Маяковский, — это жизнь, это главное. От неё разворачиваются и стихи, и дела, и всё пр. Любовь это сердце всего. Если оно прекратит работу, всё остальное отмирает, делается лишним, ненужным. Но если сердце работает, оно не может не проявиться во всём...».

Личных, сердечных привязанностей — вот чего нехватает умному, страстному, могучему Батманову для того, чтобы стать ещё более могучим. Если бы эта богато одарённая натура познала счастье любви, как много ещё удивительного открылось бы ей в человеке и во всём мире! Как озарили бы его «холодное воспитание» улыбка, радость, поощрительный тон, и наряду с «убийственным» сарказмом — животворящий, добрый юмор, — словом всё то, что так зажато в сердце Батманова.

Не произвольно ли мы устанавливаем

глубоко скрытую внутреннюю связь между характером Батманова-деятеля и его несложившейся собственной песней? Действительно ли заключена эта идея в романе Ажаева?

Вспомним, когда произошёл «спор» Батманова с Залкиндром о методах воспитания людей. Он произошёл в тот трудный час жизни Батманова, когда он потерял сына.

Случайно ли в этой важнейшей встрече двух самых зрелых большевиков из числа героев романа автор ставит вплотную один к другому вопрос о методах воспитания людей с горькой исповедью Батманова?

Значение этого сопоставления подчёркивается Ажаевым ещё тем, что беседой Залкиндром с Батмановым он завершает первую часть романа. И перед тем, как приступить к чтению второй части, читатель уже может задуматься над личностью Батманова в целом, над характером и судьбой героя, а не только над отдельными его чертами.

Правда, два мотива, казалось бы сознательно поставленные рядом, здесь ещё не объединены подводным течением и соседствуют как два пункта повестки дня. С нашей точки зрения, Ажаев не нашёл в этой сцене той правды, которая делает глубокую идею художественно утверждённой.

До того, как Батманов открылся Залкиндрому, он чуть ли не всю ночь разговаривал с ним «о тактике преодоления трудностей, о методах хозяйственного и партийного руководства, о людях...» Но вот вопрос: изменился ли бы характер, тон этого самого по себе интересного «спора», если бы за ним не было того факта, что только сегодня Батманов узнал о смерти своего сына? Если бы мы не знали, что Костя умер, мы никогда не догадались бы по этому разговору, что Батманов находится в чрезвычайно угнетённом состоянии.

Но что сказать о второй, интимной части беседы Батманова с Залкиндром, которая почему-то даже внешне отделена от первой?

Чтобы поделиться своим горем, Батманов начинает с пространного рассуждения о том, что руководитель большого коллектива не смеет обнаружить перед людьми своей скорби. Конечно, присущее Батманову самообладание не могло не сказаться в его поведении. Сильный человек, он не станет даже в самую тяжкую минуту ве-

сти себя безвольно, целиком отдавшись во власть горя. Он думает вслух перед Залкиндромом, перед другом. Но тут-то и подстерегала автора опасность того нарушения правды, которое в искусстве, с его сильнейшим, по определению Л. Толстого, средством воздействия чуть-чуть, может превратить намерение автора в свою противоположность.

В форме рассуждения Батманова, в самом языке его речи в этот момент столько признаков рассудочности, логизирования и как бы стороннего наблюдения, столько аналитического холодка, что этот полнокровный человек почти перестаёт жить для нас. «Иной от гордости крепится. Другой не верит добросердечию людей». «И если у него (командира.— А. Г.) есть раны или душевные слабости какие-нибудь...» (следует параллель с Багратионом). «Имею ли я право обнаружить... свои раны или стонать от боли?.. Хорошо. Но если я не кричу и не жалуясь, как ребёнок или женщина, разве это значит, что мне не больно?»

«Ты не поможешь, знаю. Но «отнесись ко мне», как говорил Маяковский».

А затем, бичуя себя за своё отношение к семье, Батманов цитирует ещё и Щипачёва.

И наконец, такой вычурный образ: «Представь, у тебя заболела рука — ревматизм или ещё какая-то болезнь прицепилась, — ноет и ноет, прямо нет терпения. И ты ходишь по комнате, раскачиваешь её, сам не надеясь, что от этого боль утихнет.— Батманов прошёлся по комнате, натурально раскачивая руку.— У меня рука не болит, считай, что я раскачиваю перед тобой свою ноющую душу...» (?!)

Сколько этих «или», «если», «значит», сколько пояснительных акцентов, уточнений, метафор! Как подавляет здесь логика психологию, здравый смысл — душу.

Фальшь эта стала неизбежной, коль скоро Ажаев не нашёл тех простых слов, которыми всегда говорит горе. Такие слова могут быть только угаданы, открыты в самом себе, их нельзя сочинить.

Нельзя заменить их и экспрессией чисто внешнего, физического выражения душевной боли. Но такая подмена сама собой навязывается там, где поэтическое проникновение уступило место сочинительству.

«Батманов поднялся и взъерошил волосы».

«Батманов грузно опустился на стул, дерево затрещало под его тяжестью».

«Батманов резким, как удар, движением откинул волосы со лба...»

«...жадно припал к стакану с чаем».

Всё это не что иное, как та же раскачиваемая рука, которую предлагается считать за ноющую душу.

Понятно, что в состоянии душевного потрясения Батманов не мог спокойно сидеть на месте, — но мера!

«Страдания выражать надо так, как они выражаются в жизни, т. е. не ногами и не руками, а тоном, взглядом; не жестиком, а грацией».

Это тоже толстовское «чуть-чуть», но выраженное по-чеховски. И больше всего оно обнаруживает свою силу воздействия именно тогда, когда речь идёт о формах выявления сокровенных чувств.

С этой неудавшейся Ажаеву сценой нас примиряет только конец её, когда обессиленный Батманов после сердечных слов друга «встал и порывисто, неловко обнял Залкинда» и затем «быстрыми шагами ушёл в спальню и закрыл за собой дверь».

Но чем меньше удовлетворяет нас эта сцена в целом, тем с большей заинтересованностью обратимся мы к другому моменту романа, в котором мотивы личной и общественной жизни Батманова не просто сопоставлены — для размышлений и рассуждений, а выражены в поступках, неизбежно вытекающих один из другого.

Вспомним прерванный нами эпизод встречи Тани Васильченко с санным поездом Батманова. Эпизод этот имеет прекрасное продолжение, полное жизненной правды и силы. Скомандовав «по коням!», Батманов не повернулся спиной к глубоко оскорблённой им Тане. С минуту наблюдавший, как она с Колей Смирновым подымалась на крутой берег, он грубовато окликнул ее: «— Куда вы полезли, товарищ Васильченко? Вернитесь, поедете с нами. Забирайтесь-ка в мои сани!..»

Конечно, Батманов не мог ни переменить, ни сбавить тона, но теперь это уже только кажущееся командование. Теперь за этой грубоватостью чувствуется что-то всколыхнувшееся в глубине его души.

И вот Батманов и Таня едут, лёжа рядом в санях. Сквозь отверстие закры-

того возка проникает луч света, играющий на красивом лице девушки. Какое странное и неловкое положение после всего, что только что произошло между ними. «Нельзя разговаривать так официально и патетично, лёжа бок о бок с человеком, будь он хоть сам нарком», — как замечает Батманов в ответ на первую сухую реплику Тани. А с другой стороны, может ли Таня говорить иначе? И какой тон избрать самому Батманову? Как смело выбрал автор для своих героев это трудное положение, и как естественно и правдиво разрешается возникшее противоречие. Батманов тоже не без срывов находит нужный тон. В какой-то момент, полюбовавшись Таней, он проболтал несколько лишних, фривольных слов, но тут же, почувствовав неловкость, пожалел о них и затем поставил перед Таней важнейший в жизни человека вопрос, которого сам он не сумел для себя решить, — вопрос о любви, о выборе жизненного спутника, о семье. Интересно отметить, что именно после того, как Батманов совершил один из самых резких своих выпадов, смутивший лучших людей его окружения, он невольно втягивается в задушевный разговор с Таней, открывается ей до конца и доводит глубоко обиженную им девушку до такого сильного нового состояния, что она «...молча кусала губы, стараясь не расплакаться. И боялась: вот сейчас большой и сложный этот человек устыдится своей откровенности и опять скажет что-нибудь насмешливое и резкое». И здесь, именно здесь, — нельзя не подчеркнуть этого, — у Батманова, «всё чаще думающего о том, что называется личной жизнью», оформилась мысль, с которой мы начали разговор об этом действительно большом и сложном человеке: «У нас, конечно, работа занимает главное место. Но если у человека, кроме неё, ничего нет — вряд ли его можно считать вполне человеком».

Конечно, Батманов передумывает свою жизнь, движимый тяжёлой утратой. Смерть сына и боязнь потерять Анну, которая не пишет, взбудоражила, растравила его совесть, вызвала в его душе огромное возмущение чувств, какой-то новый кризис в его нравственном развитии. Да, он наказан, наказан сурово и не может ссылаться на роковую власть случая. Ведь сам же он задаётся вопросом: почему самое доро-

гое начинаешь ценить только после его утраты?

Но, с другой стороны, нам кажется, что Батманов, как личность, поднялся на такую высокую ступень развития, что не мог бы уже не почувствовать всестороннего отрицательного значения своей ущербной личной жизни и без постигшего его несчастья. Он, так сказать, был уже готов к глубочайшей самокритике. Он не мог уже дальше жить и работать, не думая всё чаще и чаще об отсутствии в его душе какой-то необходимой привязанности к отдельному лицу.

Батманов понял, какое огромное значение имеет любовь для всех форм жизнедеятельности человека. Эту мысль и процитируем мы в словах, сказанных им Тане: «Мне кажется, очень многое зависит от того, как сложится жизнь человека вначале, начнёт ли он с большой настоящей любви».

Батманов был бы гораздо меньше самого себя, если бы, придя к выводу, что очень многое зависит от того, как сложится жизнь человека вначале, он считал бы, что этим началом судьба человека уже предreshена и он обрекается на полноценность или ограниченность своего мироощущения. Пассивная философия чужда Батманову. Как сложится жизнь — очень важно, но на этом не может успокоиться его мысль.

Батманов приходит к убеждению, что он мог и должен был, не ослабляя своей напряжённой созидательной деятельности, строить и свою семью.

И эта мысль не делается в его устах только назиданием для других. Нет, для Батманова она — стимул к действию. Батманов усыновляет осиротевшего Генку и зовёт Анну к новой совместной жизни, к подлинному сближению. Он делает всё от него зависящее, чтобы воссоздать семью.

Чем больше завоёвываем мы в борьбе за полное торжество коммунизма элементов подлинной свободы, тем более и более стеснительным становится для советского человека всякая односторонность в развитии.

Батманову и быть вполне человеком. Ему бы только и жить. Глубоко таится у этого неутомимого деятеля поэтическая жажда разносторонней жизни, полной чистых и

сильных страстей. Всей душой тянется он к магии искусства и изредка даже пробует тайком свои силы в живописи. Не пройдёт мимо него незамеченной женская красота. Ему, покорителю стихии, пребывающему в «непрерывном движении», знакомо глубокое созерцательное наслаждение тончайшей игрой природы. В трудные минуты Батманов раскрывает томик «Евгения Онегина». Не судьба праздных героев, «транжиривших жизнь», привлекала его, но и не те строки, в которых поэт перебрасывал мост от своего времени к практическим делам самого Батманова:

Мосты чугунные чрез воды  
Шагнут широкою дугой,  
Раздвинем горы, под водой  
Пророем дерзостные своды...

И не отвлекая от своих забот и переживаний искал Батманов. Ему необходимо было вобрать в себя «взволнованное спокойствие» великого океана пушкинской поэзии, где мысли не гасят чувств и чувства не сжигают мыслей, где разум и сердце так безраздельно слиты воедино, что даже существование этих двух понятий становится излишним.

Душевного равновесия искал Батманов у любимейшего поэта, того счастливого душевного равновесия, которое является самым могучим творческим состоянием.

В конечном итоге душевные неустойчивости, подобные тем, которые испытывают Батмановы, если говорить об их социальных, а не индивидуальных причинах, в значительной мере существуют оттого, что социалистический быт подчинён задачам борьбы со смертельными врагами свободы и счастья человеческого.

Нравственное и умственное развитие передовых советских людей уже до такой степени обусловлено формами социалистического труда, так глубоко проникнуто духом коллективизма и действенной большевистской человечности, что не будь мы связаны с непрерывной самозащитной борьбой, требующей невероятных усилий, жертв и затрат, будь мы свободны для исключительно мирной созидательной деятельности, — мы уже и на сегодняшней ступени экономической зрелости коммунизма намного дальше двинулись бы вперёд во всех областях общественной и личной жизни.

## 5

С точки зрения полноты взаимодействия субъективных и объективных факторов, определяющих жизненный путь человека, одним из наиболее живых в романе Ажаева является образ Тополева.

Что нового в этом как будто давно знакомом типе? Ведь мы не раз встречали и в жизни и в литературе стариков, поучающих молодых людей на основе собственного горького опыта: «не повторяйте, мол, наших ошибок, не утрачивайте пыла молодости, пылливости ума» и т. д., и т. д.

Эта мораль уже стала тривиальной, и, несмотря на то, что во многих случаях бывает вполне искренней, почти всегда звучит, как ни к чему не обязывающая сентенция. Не имеем ли мы и здесь дело с очередным вариантом многовековой резонёрской мудрости? Ведь Тополев тоже отвечает себя и предостерегает от подобной участи Алексея Ковшова.

Но чем более похожим кажется вначале Тополев на всяческих своих давних предшественников, тем удивительнее скачок, отделивший его от них целой пропастью.

Новое в нём весьма и весьма значительно. Новое в том, что сделало эту старую привычную мораль, эту запоздавшую рефлексию на свою жизнь не запоздавшей и не рефлексией только, а толчком к практическим действиям, к подлинному омоложению.

Сама природа социалистического строя заключает в себе силу, уничтожающую духовную, творческую старость, потому что строй этот избавил человека от нравственного очерствения под гнѐмом утраченных иллюзий. Всеми своими притягательными силами жизнь наша подсказывает и смысл, и возможность, и направление пути для постоянного обновления творческих сил советского человека.

Такова социальная предпосылка для появления у нас судеб, подобных тополеводской.

Однако сила художественного образа заключается в том, что социальная, историческая закономерность его выражается и в закономерности данного примера, как отдельно взятого частного случая.

Мы заметили, что скачок, отделивший Тополева целой пропастью от его бесславных в прошлом предшественников, удивителен. Но во внутреннем развитии челове-

ка нет и не может быть ничего удивительного. Когда нам открывается скрытый процесс возмущения душевных сил развивающегося человека, то мы уже ждѐм, нетерпеливо ждѐм разрядки, скачка, понимаем его форму — настолько живѐм единой жизнью с героем. Кажущееся невероятным является тогда не только естественным, но и неизбежным; и мы не видим ничего странного в том, что человек, точно река, вышедшая из своих берегов, становится и шире и сильнее себя — прежнего и даже прокладывает себе новое русло.

Очень интересны и знаменательны некоторые особенности в поведении Тополева, отличающие его от былых скептиков именно в те моменты его жизни, когда он кажется совсем на них похожим.

Первое, в чём сказывается, что Тополев, отведав себя, возводит на себя напраслину, — это излишнее подчѐркивание им своей отжитости и своего равнодушия ко всему. «Хорошо, когда ты никому не нужен», — говорит Тополев, как бы противопоставляя себя окружающим. Таню даже передѐрнуло от слов Тополева, так противоестественна для неё эта «дикая, тоскливая идея». Но разве так говорят люди, которые действительно никому не нужны и которым на самом деле х о р о ш о — оттого, что они мертвы? Ведь чувствуется, что этой фразой Тополев не кончает разговор, а хотел бы его начать, чтобы абсурдность его клеветы на себя была отвергнута, но, конечно, не им самим. Отодвинутый вместе с Грубским на задний план новым начальником строительства, Тополев ничего не предпринял для того, чтобы уехать с Сидоренко, и ничего не сделал, чтобы остаться у Батманова. Он хочет, чтобы инициатива принадлежала не ему: посмотрим, насколько я им нужен. Свою обиду на самого себя Тополев переносит на других. Он не станет напрашиваться; наоборот, он всячески подчеркнѐт своё абсолютное безразличие. Но крайностью, дикостью своего поведения он выдаѐт себя с головой. «Меня теперь не замечают: устарел, — вырывается у него уже почти открытая жалоба, но она тут же наглухо закрывается: «Мне всё безразлично, голубушка. Заинтересован в бесшумной жизни... Поверь мне, Татьяночка».

Удивительно ли, что этому не может поверить Таня?

Пусть кто-нибудь другой скажет Топо-

леву, что он никому не нужен,—и мы увидим, как «хорошо» ему.

И потом, когда Тополев, пройдя уже весь круг испытаний, понял наконец, что только сам он может и должен сдвинуть с места «холодную окаменелость», в которую превратился, когда он сам пришёл к Алексею Ковшову и открылся ему в исповеди, мы опять-таки не сразу видим подлинного Тополева в его словах.

«— Не надо обо мне,— говорит он Алексею. — Из такого столетнего деда уже ничего путного не смастеришь. Я хочу только, чтобы мой печальный опыт послужил уроком для вас, человека, начинающего жить».

Каждое слово Тополева в этой фразе надо понимать в прямо противоположном смысле. Поэтому-то, когда Алексей, упрямо качнув головой, заявил: «...я буду касаться именно вас. Иначе от нашей беседы толку не будет» — и пошёл закрывать дверь, чтобы никто не мешал их разговору, Кузьма Кузьмич с нетерпением следил за ним.

В этом нетерпении и выражает себя то, что делает Тополева совершенно новым героем, а именно—возрождённая сила. Не Алексея наставляет Тополев на путь истины, а самого себя.

Не забудем, что Тополев явился к Алексею с проектом в кармане, с замечательным достижением инженерной новаторской мысли. Он уже принёс «свой пай в товарищество». Ему оставалось только протянуть руку дружбы, прорвать те психологические препоны, которые никогда не устоят перед напором основных страстей общественного человека.

Тополев ринулся в работу без каких бы то ни было тормозов провинившегося, вторгся как хозяин и стал в один ряд с «богатырями» Батмановым, Беридзе, Ковшовым. Но как бы глубоко ни проникли мы в затаённую жизнь ушедшего в себя Тополева вначале, и как бы сильно ни были заражены мы пафосом его деятельности после его выхода из тупика, — неразрывность этой жизни, действительность этого перелома не смогла бы стать для нас до конца понятной, если бы он так или иначе не отразился и в переменах личных отношений Тополева с окружающими его людьми.

Ещё до окончательной разрядки, наступившей в результате разговора с Алексеем

Ковшовым, Тополев должен был как-то вырваться из пут, державших его в плену старых отношений. Для этого нужен был Грубский. И Грубский явился во-время. В данном случае это «во-время» значит, что он явился в момент, когда присутствие его было совершенно невыносимо для Тополева. Именно поэтому встреча их не могла пройти для них обычно и должна была стать событием.

Вряд ли Грубский, явившийся к Тополеву с предложением отстаивать их старый негодный проект, мог чем-нибудь удивить Тополева. Грубский был в этот момент Грубским — и ничего неожиданного в его поведении для Тополева не было. А между тем — какая гневная реакция, какой взрыв негодования! Борясь с самим собой, побеждая в себе всё, что отчуждало его от Ковшовых, Беридзе и Батмановых, Тополев вдруг сталкивается с человеком, который опять пыгается затащить его назад в застойное болото чиновнического прозябания. Ярость, с которой Тополев гонит Грубского вон из своего дома, его страшный вид, его громовой голос — это сила выздоравливающего Тополева, уничтожающего последнюю возможность рецидива пережитой болезни. Это последний бросок на своё недавнее прошлое. Не будь этого прошлого, соединявшего Тополева с Грубским, он встретил бы подобное предложение спокойно, иронически или чисто деловым возражением. Разрыв же с Грубским произошёл у Тополева в момент его разрыва с самим собой, и эти события душевной жизни, вырвавшись наружу, определили характер поведения Тополева. Он на голову вырос в эту минуту. Неотразима сила, с которой этот старый человек рвёт последние нити тугой сети прошлого, попирает привычные интеллигентские обезличенные формы отношений, соглашательскую солидарность, всё, что сковывало и утихомиривало его могучую творческую натуру.

Порвать с Грубским — это значит для Тополева порвать с целым миром отношений, навыков, пережитков прошлого.

Грубский — человек, страшный своим самодовольством, успокоенностью, метафизическим складом ума. Он, кажется, единственный из первоначальных героев романа, у которого нет никаких личных привязанностей и вообще никаких лирических чувств. Вот человек, который никак не связан ду-

шевно с Родиной, с товарищами, с женщиной, с природой, с искусством. Конечно, ни один человек в мире не живёт вне всякой личной связи с другими людьми и без всякого отношения к природе и к искусству. Есть, вероятно, и у Грубского что-то своё. Но оно, видимо, так несущественно для него самого, так беспочвенно и бесплодно, что мы, не зная этой стороны его жизни, не ощущаем пробела в своём знакомстве с Грубским.

Грубский приговорён своей прозаичностью к пожизненному одиночеству. Он и борется один. Он, как это мы видим на заседании в кабинете секретаря краевого комитета партии, даже сесть рядом с другими (как и они с ним) не может. Его единственные союзники — иностранные «авторитеты», формальная логика, трижды перестрахованный здравый смысл, бездумное, безмятежное и бескрылое эпигонство.

Грубский работает, и работает по-своему честно, по-своему принципиально: он убеждён в своей правоте. Но что значит это «по-своему», когда речь идёт о честности? Понятия о честности у Грубского до сих пор не выходят за узкие рамки буржуазного права. Они бесконечно ограничены и по существу мертвы. По форме правильно, а по существу издевательство — вот самое точное определение этой бездушно-бюрократической порядочности. Грубским их честность нужна для самосохранения, а не для самоотверженности. Это безнравственная честность, потому что она служит человеку для того, чтобы он мог ею отбиться от общества, а не служить ему, оправдать себя буквой, а не делом.

Беридзе попадает в самую точку, когда, во время перепалки с Грубским, в ответ на требование своего «корректного» противника изгнать его от проявления эмоций, не идущих к делу, кричит:

«— Нет, мои эмоции идут к делу! И хорошо, если бы у вас тоже были эмоции, если бы вы тоже думали о судьбе нефтепровода и о судьбе родины!»

Здравый смысл без огня в сердце делает Грубского узким специалистом и тем самым — слабым в творчестве.

О Грубском говорят, что «инженер он знающий. Знает он, пожалуй, не меньше Беридзе. Разница между ними та, что Беридзе — новатор, Грубский — эпигон».

Но почему это так?

Скажут, дело в таланте. Беридзе, мол, щедро одарён самой природой, а Грубский — посредственность. И тут уж ничего не поделаешь.

Спору нет, Беридзе — незаурядное дарование. Но талант, если иметь в виду его природное, наследственное первоначало, не является предметом познания художественной литературы. За живое задевает нас нравственная сущность той творческой силы, которую мы называем словом талант. Что питает его? Что губит его? Какие необходимы для его расцвета чувства и идеи, которые общество может зарождать, воспитывать и развивать в человеке?

Патриотизм, как источник новаторства — и атрофия этого животворного чувства, как основной фактор, неизбежно толкающий человека в стоячее болото рутин и эпигонства, — вот точка зрения, с которой перед нами с каждым днём всё яснее и яснее становится проблема творческого развития человека.

Ажаев раскрыл и то и другое в той конкретной, чувственной форме, в которой только и могут быть воплощены общие законы жизни общества. Мы видим, как содержательно и реально по своему точному смыслу понятие патриотическая инициатива.

Беридзе становится тем сильнее, чем труднее обстоятельства. Силы его растут и делают его чем-то больше самого себя именно тогда, когда они нужны позарез, когда без них невозможно обойтись. Кому нужны? Государству. Родине.

Значит, не сама по себе живёт в нём новаторская мысль, инициатива, изобретательность.

Что мешало главному инженеру Грубскому найти такое решение возникшей перед ним технической проблемы, которое позволило бы построить нефтепровод в три раза быстрее, чем допускал его эпигонский проект? Что помешало ему переступить через предел достигнутых им знаний и превзойти собственную свою умелость?

Грубский привык к десяти томам своего убогого проекта, «как к жене». Сколько бы ни убеждал Грубский противника, да и самого себя в своей правоте, он защищает свой проект не как народную ценность, а как своё недвижимое имущество.

Если Грубский не может отказаться от

своего проекта, как от своей частной собственности, то Беридзе свой проект отнюдь не ощущает своим в этом смысле. Когда Беридзе узнаёт, что ещё до приезда на строительство его проект в основе своей уже существовал, как практическая идея, подсказанная самородком Карповым, он не ощутил разочарования из-за того, что как бы утрачивает авторский приоритет. Напрасно Таня в этот момент говорит ему: не бойтесь, не обкрадут вас. Беридзе обходит молчанием эти обидные слова, потому что мысли его направлены совсем в другую сторону: как же получилось, думает он, что, найдя верное решение важной проблемы, люди не осуществили его и, подчинившись воле Грубского, похоронили живое дело?

Беридзе свободен от всех соображений, которые могут направить его силы по непроизводительному, ложному пути, затормаживать, раздвигать. В этом и заключается огромное значение для творческого развития человека животворного советского патриотизма. Как мы уже знаем, Беридзе почувствовал ущемление «личных» интересов своих именно в том, что идея его не была осуществлена до него и без него.

Черта нового человека!

Лучшим доказательством того, что новаторство Беридзе и эгигонство Грубского имеют морально-политическое основание, является то противоречие, в которое попал стоящий между ними Тополев. Тополев находится в известный момент своей жизни между Беридзе и Грубским в том смысле, что ему, с одной стороны, близка смелая новаторская мысль (он по достоинству оценил идею Карпова), а с другой — не чужда и приятельская беспринципная «солидарность» с Грубским. И вот «интеллигентская лояльность» заставляет Тополева преградить себе путь в направлении, куда толкает его творческая мысль. Случилось ведь не так, что талант Тополева сам по себе не позволил ему присоединиться к Грубскому в оценке идеи Карпова, а наоборот, нравственная позиция, продиктованная пережитками буржуазной идеологии, заставила Тополева отказаться от самого себя, заглушить в себе голос независимой творческой мысли и бюрократически отписаться от плодотворной инициативы. А ведь подобные компромиссы, повторяясь, постепенно приглушают в душе человека всё

живое, молодое, пытлиное и, в конце концов, ведут его к тому страшному концу, которого так испугался и сумел избежать Тополев.

Возможно ли возвращение людей, подобных Грубскому, к обществу? Может ли оздоровить их суровая школа жизни, так мужественно отражённая в судьбах героев романа Ажаева?

Вот короткая сцена, в которой мы впервые после того, как надолго потеряли из виду Грубского, видим его на похоронах погибшего в героическом труде Тополева:

«Грубский в течение получаса стоял на коленях у гроба, потом поднялся, поцеловал старика в восковой лоб, и, когда направлялся уже к выходу, в клубе появился Георгий Давыдович.

Предубеждение против Грубского уступило место острой жалости, как только Беридзе увидел его. Он казался стариком — совершенно седой и сторбившийся. От волнения Грубский не мог говорить. Молчал и Беридзе.

— В такие минуты нельзя быть нечестным, неискренним и несерьёзным, — начал, наконец, Грубский. — Верьте мне, что я пришёл к вам с глубоким сознанием своих заблуждений. Прошедшие месяцы жизни были горьки... но справедливы. Я оказался человеком, утратившим своё место среди своих... Если бы вы знали, как страшно остаться одному! Я понял: только здесь я смогу и должен вернуть себе достоинство советского человека и советского инженера. Примите меня под начало к себе, товарищ Беридзе. Писарев и Батманов передают мою судьбу в ваши руки. Как вы решите, так и будет.

Беридзе молчал, Грубский прижал руку к покрасневшим глазам.

— Дайте мне самую трудную и чёрную работу...

Он оглянулся на гроб и с отчаянием воскликнул:

— Как я жалею, что не привелось нам больше поговорить! Ждал я встречи с ним... Мог ли я знать, что она будет такой скорбной?

Он поднял глаза на Беридзе. Тот в упор посмотрел на него, протянул руку:

— Я рад, что мы будем вместе. Походите по участку и сами решите, за какую работу вам лучше взяться».

Мы понимаем, что Грубскому ничего другого, если не считать бездеятельного прозябания и, так сказать, физического дожития своей жизни, не оставалось; но так или иначе, полное поражение, которое он потерпел в решающем испытании во время великой народной трагедии, отрезало ему возможность продолжать прежнюю жизнь.

Одного сознания, к которому пришёл Грубский, конечно, мало для обновления его жизни. Преодоление привычек потому и является делом долгих лет, что привычки могут быть вытеснены только привычками же.

Первый очень важный, хотя и не решающий шаг Грубский сделал. Он пришёл к Беридзе, пусть даже не отрешившись от своего ложного самолюбия, а подавив его. Он готов участвовать в реализации проекта своего противника и победителя. После выстраданного одиночества сама работа в непривычном для Грубского непосредственном общении с коллективом — это новый образ жизни, в котором ещё раз и окончательно будет испытана судьба этого человека. Рука помощи протянута ему, и если Грубский сумеет приобщиться душой к животворному патристическому чувству советского человека и обретёт пафос творческой борьбы, то катастрофа, превратившая его в старика, в конечном итоге омолодит и украсит его жизнь.

В нашей действительности всё больше и больше личные отношения испытываются отношениями общественными, гражданскими, можно сказать — государственными. Всё больше в субъективные отношения вторгаются объективные критерии. Взаимные требования обостряются историческими условиями борьбы. Конфликты не затухают, а наоборот, едва обнаружившись, обнажаются. Противоречия сталкиваются лоб в лоб, прямо, без обиняков. Так крепнет между отдельными людьми дружба или вражда в том общем пути советского народа к будущему, на котором дружба побеждает вражду:

«Нравится мне их дружба! — говорит Батманов об отношениях Тополева с Ковшовым. — Когда смотришь на них, невольно думаешь: такой дружбы ещё никогда не было. Старик и почти юноша... Что это — отношения ученика и учителя? Нет. Разве Алёша ученик Кузьмы Кузьмича? Скорее уж наоборот. Родственники они? Соседи

по квартире? Или партнёры по игре в шашки-шахматы? Не-ет! Тут дружба посильнее, поумнее... Они друзья потому, что сошлись во взглядах на будущее».

Дружба взыскательная, принципиальная сокрушила и отбросила беспринципную, взаимно амнистирующую и потому парализующую всякое развитие человека «дружбу», которую мы теперь не без презрения называем «приятельскими отношениями».

Действительно новое, то есть новая действительность, лежит в основе самых лучших и увлекательных страниц романа Ажаева.

Этим вызывает к себе живой интерес и развитие отношений между Алексеем Ковшовым и Женей Козловой. Вот ещё один замечательный пример благотворного влияния Алексея на близко соприкасающихся с ним людей. Начавшись по шаблону, который внесла в первые встречи Женя, отношения их, благодаря Алексею, приняли далеко не обычный характер и, в конце концов, стали исключительно глубокими и человеческими. Духовное развитие Жени, во многом обязанное чистоте и цельности Алексея, имеет тем более широкое общественное значение, что Женя — девушка не из ряда вон выходящая, как, например, Таня Васильченко, а самая обыкновенная, рядовая, каких большинство. Отношение Жени Козловой к жизни, к людям и к самой себе по характеру своему очень шаблонно. Вместе с тем её выход из мирка мелких чувств и мыслей на широкую дорогу происходит так естественно, так неотрывно от её горькой любви и так до конца понятно, что судьба этой девушки может действительно послужить примером для тысяч и тысяч ей подобных.

Алексей Ковшов, как и Батманов, принадлежит к числу людей, которых можно назвать душевно опрятными, что заметно сказывается в их отношениях к женщине, — а это одна из трудных и серьёзных проверок нашей человечности. Как и все смертные, они подвержены чувственным влечениям, и обстановка, случай могут потянуть их к женщине, на которую они не имеют прав. Но почти всегда в таких случаях они находят в себе силы и преодолевают минуты слабости. В основе этой сдержанности — не отказ от земных радостей во имя какого-то отвлечённого нравственного принципа, а бе-

режное отношение к своему и чужому счастью. Завет Чернышевского — «не отдавай поцелуя без любви», так запечатлевшийся Зое Космодемьянской, исходит из стремления сохранить неизменной, не притупленной всю силу чувств, которые приносит нам истинная любовь. В словах Батманова о значении большой любви, сказанных им Тане, тоже заключена охрана дорогого чувства, охрана его целостности и полноты.

Бережное отношение к настоящей любви определяет и поведение Ковшова в его встрече с Женей Козловой. Горячо любимая Алексеем жена его Зина далеко на фронте. Верный своей любви, Алексей не может ответить Жене Козловой на её любовь, которая с каждым днём становится всё сильнее и глубже, но вот наступила минута, когда в нём заговорила кровь и ему захотелось ласки.

Некоторое время спустя, в откровенной беседе с Беридзе, Ковшов так объяснил своё поведение:

«— Да. Когда мы с тобой вернулись из лыжного похода, выпала минута, и я под влиянием обстановки чуть не переступил грань просто дружеских отношений. Почувствовал себя одиноким, а она так славно меня встретила и так по-хорошему тянулась ко мне. На минуту пришла в голову мысль: ведь это же не затронет моей любви к Зине, если я обниму и приласкаю девушку. И сразу стало стыдно за эту мысль. Я почувствовал, что это именно испортит мне всё — и любовь, и всю жизнь, что я перестану быть самям собой...»

Алексей не ограничил, а защитил свою свободу. Он знает, что минутной слабостью не только надолго замутит свою чистую любовь к Зине, но и усилит горечь неразделённой любви Жени. И ему, и Жене эта не настоящая, не свободная близость нанесёт ущерб. Пусть в этот момент Женя не могла не почувствовать обиды, — в конце концов, в недоступности Алексея она видит не бесчувственность несимпатизирующего ей человека, а его сильную завидную любовь к Зине, любовь, которой так недостаёт и ей.

Весьма знаменательно для нашей, высоко поднявшейся над прошлым, жизни, что, даже не отвечая на любовь, прямые, цельные люди обогащают отвергнутых ими. Так подымается во весь рост, обретая силу

самостоятельности, Лена Журина, отвергнув Воропаевым и им же духовно обогащённая. То же самое происходит и с Женей Козловой под влиянием Алексея.

Мы уже видели, что у героев романа Ажаева слово неизбежно становится делом. Убеждения их неизменно превращаются в поступки. Моменты практической победы воли и разума и делают этих героев качественно новыми. Они оставляют позади себя многих людей, достоинства которых нельзя оспаривать. Ведь обыкновенные порядочные люди отличаются от непорядочных не тем, что им не присущи никакие слабости, отрицательные качества и поступки, а тем, что они, как говорили Белинский и Чернышевский, сознают свои недостатки, в то время как непорядочные их не замечают.

Конечно, эта разница не только принципиальная. В конечном итоге она сводится к тому, что у непорядочных людей их пороки, не вызывая никаких внутренних протестов и неприятных осадков, входят в привычку. Порядочные же люди, сознавая свои слабости и осуждая их, не могут опуститься. Но от этого ещё далеко до настоящей цельности.

Пожалуй, мысль, промелькнувшая у Ковшова: «...ведь это же не затронет моей любви к Зине, если я обниму и приласкаю девушку» — придёт в голову многим в подобных обстоятельствах. Но не чаще ли она покажется убедительным самооправданием, чем вызовет тот жгучий стыд, который сразу отрезвил Ковшова?

Нет больших и малых дел в борьбе человека за свою полноценность. Нет в наших повседневных отношениях случаев, о которых можно было бы сказать, что они с этической точки зрения не стоят внимания. Победа в маленьком — великая победа. Компромисс в маленьком — серьёзное поражение. С этого начинается и подъём и падение. С этого начинается человек.

Алексей Ковшов останавливает на себе внимание рядом привлекательных черт советского молодого человека из передового отряда новой интеллигенции. Однако надо сказать, что в образе этом есть какой-то сдвиг, лишаящий его определённости. Когда, прочтя роман, возвращаешься мыслью к его главным героям, то Алексей Ковшов среди них оказывается фигурой наименее чёткой. Да и в процессе чтения, хотя

автор и старается познакомить нас с Алексеем ближе, чем с кем бы то ни было другим из его героев, что-то мешает нам подойти к нему вплотную и вполне ощутить его личность, как живую реальность.

Внутренняя жизнь Алексея, хотя она и свидетельствует о его нравственном здоровье и цельности и, следовательно, о деятельных силах его души,— всё же поглощает его созидательную деятельность. Ковшов — чувствующий, тоскующий, предающийся лирическим воспоминаниям, заклоняет Ковшова-деятеля. И переживания его звучат в романе несколько навязчиво, и, пожалуй, уж слишком всплывают на поверхность. Открытая душа Алексея не потеряла бы своей прямоты и ясности, если бы сокровенные его чувства оставались действительно сокровенными и выразили бы себя с помощью того толстовского «чуть-чуть», которое не ослабляет, а усиливает впечатление.

Потеря чувства меры в раскрытии интимной жизни Алексея ощущается тем более, что ему отведена роль одного из трёх богатей. Правда, мы знаем, что Алексей трудится с упоением. И мы не только осведомлены об этом, но и видим Алексея за работой. Но именно эта главная сторона деятельности коммуниста не раскрывает нам, что представляет собой Алексей Ковшов как личность. Если каждый человек ценен теми особенностями своего умения, которые отличают его от других, если ими только и обмениваются, оплодотворяя друг друга, люди в коллективном труде, то какова роль Ковшова в руководящей группе строителей нефтепровода? Мы говорим сейчас не о тех взглядах, которые объединяют его с передовыми людьми, а о тех отличительных особенностях, которые делают это господствующее мировоззрение самобытно ковшовским.

Мы прекрасно знаем, какие разные характеры сошлись в лице Батманова, Залкинда, Тополева, Беридзе, Рогова, Грубского. Каждый из них — определённая краска в общем колорите созданной Ажаевым картины. Уберите одну из них — и остальные окажутся слабее оттенёнными.

А легко ли уловить в темпераменте Алексея, в его умении ту особую, только ему присущую форму жизнедеятельности, которая делает его участие в этом твор-

ческом содружестве столь важным и необходимым?

С этой точки зрения благородный, трудолюбивый Алексей неуловим.

Происходит это не только из-за чрезмерного крена в сторону интимно-лирических переживаний Алексея, но и потому, что характеристика этого героя и его характер не сливаются в единое целое.

Нам говорят, что после недолгих метаний Ковшова, равшегоса на фронт, он нашёл своё место в созидательном бою, и характер его быстро откристаллизовался. Говорят о таланте Ковшова, о том, что требовательность его к подчинённым часто выражается в крепко пробирающей насмешке, что строгость и прямота его доходят до резкости, до бестактности.

Но эти свойства личности Ковшова мы не видим в его непосредственных столкновениях с людьми. Чаще всего он кажется нам совсем иным. По отношению к Тополеву например, Алексей, который готов, как он сказал всердцах Залкинду, утопить старика в Адуне, в действительности обнаружил исключительный такт в то время, как Батманов и другие «подверстали Тополева к Грубскому». То же самое можно сказать и о подходе Ковшова к другим людям.

Принципиальность его не звучит резко, бестактно. В уме его нельзя уловить сатирической остроты. И трудно сказать, какое по своему характеру дарование проявляет себя в его самоотверженном труде.

Отвлечённо, условно говорится и о недостатках Алексея. Вот чрезвычайно показательная фраза (не то Тополева, не то самого автора), как бы обосновывающая игнорирование телесной формы, в которой проявляет себя личность Ковшова: «Что говорить о недостатках в манерах — это легко и быстро изживается. Более важен недостаток инженерной культуры».

Но ведь каковы бы ни были присущие человеку манеры, хороши ли, плохи ли они, быстро или медленно они изменяются, — во всех случаях они неотъемлемы от него, потому что являются органической и незаменимой формой его существования.

Вот слова Белинского, которые вполне уместно привести здесь:

«...Все его (человека.— А. Г.) сокровенные от нас действия, как результат, высказываются наруже в лице, взгляде, го-

лосе, даже манерах человека. А между тем, что такое лицо, глаза, голос, манеры? Ведь это всё — тело, внешность, следовательно всё преходящее, случайное, ничтожное, потому что ведь всё это — не чувство, не ум, не воля? — так, но ведь во всём этом мы видим и слышим и чувство, и ум, и волю. Всего случайнее в человеке его манеры, потому что они больше всего зависят от воспитания, образа жизни, от общества, в котором живёт человек; но почему же иногда и в грубых манерах мужика чувство ваше угадывает доброго человека, которому вы смело можете довериться, и в то же время изящные манеры светского человека заставляют вас иногда невольно остерегаться его? — Сколько на свете людей с душой, с чувством, но у каждого из них чувство имеет свой характер, свою особенность. Сколько на свете умных людей, и между тем у каждого из них свой ум. Это не значит, чтобы умы у людей были разные: в таком случае люди не могли бы понимать друг друга; но это значит, что у самого ума есть своя индивидуальность. В этом его ограниченность, и поэтому ум величайшего гения всегда неизмеримо ниже ума всего человечества; но в этом же и его действительность, его реальность. Ум без плоти, без физиономии, ум, не действующий на кровь и не принимающий на себя её действия, есть логическая мечта, мёртвый абстракт. Ум — это человек в теле или, лучше сказать, человек через тело, словом, личность... Посмотрите, сколько нравственных оттенков в человеческой природе: у одного ум едва заметен из-за сердца; а у другого сердце как будто поместилось в мозг; этот страшно умён и способен на дело, да ничего сделать не может, потому что нет у него воли; а у того страшная воля да слабая голова, и из его деятельности выходит или вздор, или зло. Перечесать этих оттенков так же невозможно, как перечесать различия физиономий: сколько людей, столько и лиц, и двух, совершенно схожих, найти ещё невозможнее, нежели найти два древесных листка, совершенно схожих между собой... Когда вы влюблены в женщину, не говорите, что вы оболщены прекрасными качествами её ума и сердца: иначе, когда вам укажут на другую, которой нравственные качества выше, вы обязаны будете перелюбиться и оставить

первый предмет своей любви для нового, как оставляют хорошую книгу для лучшей. Нельзя отрицать влияния нравственных качеств на чувство любви, но когда любят человека, любят его всего, не как идею, а как живую личность; любят в нём особенно то, чего не умеют ни определить, ни назвать. В самом деле, как бы определили и назвали вы, например, то неуловимое выражение, ту таинственную игру его физиономии, его голоса, словом, всё то, что составляет его особенность, что делает его непохожим на других и за что именно — поверьте мне — вы больше всего и любите его?»

Нам трудно себе представить того живого, действительного Ковшова, которым очевидно, любитесь Женя, когда смотрят на него, мечтает о нём. Мы не видим его и таким, каким он представляется, должно быть, в ежедневных молчаливых наблюдениях Тополеву.

Как живых, видим и слышим мы Батманова, Тополева, Либермана. Каждый читатель, разумеется, видит их по-своему, в зависимости от ассоциаций, которые вызывает данный образ из его личного жизненного опыта. Но для каждого они вполне определённы.

Слабая сторона образа Алексея Ковшова подчёркивается ещё тем, что она находится в противоречии с главной идеей развития этого героя, идеей, словно позаимствованной из рассуждения Белинского о ценности каждого человека, как неповторимой личности.

Ковшов молод, и естественно, что его развитие — это расширение связей, это углубление реализма в том именно смысле, что люди открываются ему. Ковшов часто вспоминает слова своего отца, что на свете много хороших людей, нужно только уметь видеть их и больше верить им.

В детстве Алексею «странно было думать, что где-то, скажем, на реке Волге или на реке Адуне, отдельно от него, Алексея Ковшова, кто-то существует, чем-то занят». Но вот он побывал в этих краях — и то нереальное, что мерещилось в умозрительных усилиях, забурило кипучей жизнью. «Адун — огромная русская река — представлялась теперь в живых, осязаемых картинах. Множество людей —

каждый со своим лицом, фигурой, голосом и умением — заселяли его».

Если бы образ Алексея Ковшова был для читателей так же физически ощутим, если бы его прекрасные душевные качества предстали перед нами более весомо и зримо воплощёнными в его «лице, фигуре, голосе и уменье», — тогда имя его стало бы нарицательным, каким уже стало имя Батманова.

## 6

«Какие прекрасные люди! Но это лучше из лучших. Не так уж часто встретишь их в жизни. Как хотелось бы побольше видеть их вокруг себя и самому быть таким, как они», — вот мысль, которую то и дело слышишь от читателей романа «Далеко от Москвы». Она вплотную подводит нас к вопросу о методе, которым написано это произведение.

Не идеализирует ли Ажаев нашей жизни?

Не подменяет ли действительное желательным?

Поставив этот вопрос, мы не можем пройти мимо статьи «Несколько мыслей о технологии нашего мастерства», в которой писательница В. Панова поделилась с читателем своими взглядами и недоумениями относительно требований, предъявляемых некоторыми критиками и многими редакторами к образам положительных героев. Привлекая эту статью, мы только с виду отвлечёмся от нашей темы. В действительности же «столкновение» азторов «Далеко от Москвы» и «Кружилихи», борьба их методов, мироощущений, взглядов есть самое очевидное и вместе с тем самое глубокое в нашей литературе столкновение по серьёзнейшему вопросу о сущности подлинного гуманизма.

На первый взгляд может показаться, что Панова ломится в открытые двери, когда она с робковой смелостью протестует против якобы господствующего у нас требования, чтобы положительные герои были «без сучка, без задоринки» и даже больше: «чтобы вообще у героев не было никаких недостатков, чтобы все как есть герои были стопроцентно положительные и стопроцентно гармонические»; Панова протестует против того, чтобы реальная жизнь нашего народа, «в поте лица, в трудах, в преодолении препятствий строящего комму-

низм», подменялась «ангельским хором, состоящим из одних сладчайших теноров».

Где же встретила Панова подобную концепцию? Не выведена ли она ею произвольно из плоских и пошлых претензий ещё не выродившихся у нас ханжей и аллилуйщиков, околелитературная возня которых не оказывает сколько-нибудь заметного влияния на действительный литературный процесс? Разве их бездумная болтовня, а не идейно глубокая, страстная и смелая критика, требующая от писателей прежде всего правды, определяет нашу литературную жизнь?

Не удивительно, что меч, занесённый над противником без головы, опустился впустую. Перенести свою критику «критики» на художественную литературу Панова не смогла. Она не назвала ни одного художественного произведения, в котором «решительно все герои» были бы носителями только «высочайших душевных качеств». Впрочем, может быть намёк на подобные произведения мы должны видеть в следующих словах Пановой: «Очень трудно писать... Знаешь: надо учиться у русских классиков. И знаешь: надо, подобно Борткевичу, искать новые резцы для нового материала».

Пишешь наощупь, мучительно отыскивая технологию, не принимая на веру даже самый удачный опыт товарищей. «Точь-в-точь, как у Бабаевского», «точь-в-точь, как у Ажаева», — это не критерий. Сам ищешь свой резец, сам его точишь».

Читатели, живо откликнувшиеся на статью Пановой, решительно отвели в сторону всё недействительное в ней и сосредоточили своё внимание на том, что действительно и по-настоящему волнует и их, и писательницу как предмет серьёзного разногласия. Поразительное чутьё и зрелость мысли, которые обнаружили читатели в этом, казалось бы узко-специальном, споре о «технологии мастерства», объясняется именно тем, что они смотрят на литературу широко, как на огромную нравственную силу, призванную помогать им жить и бороться, и, в частности, их горячей заинтересованностью в развитии выдающегося таланта Пановой.

После полемического перехлёстывания мысль Пановой входит в свою колею и тут выясняется, что писательница совершенно серьёзно ставит под сомнение воз-

возможность и необходимость создания в литературе образа человека, который был бы положительным героем в полном смысле слова, поскольку таких нет и не может быть в самой действительности (принятие этого положения неминуемо должно привести к непризнанию права на существование и безоговорочно отрицательного героя). Естественно, что при этом теряет под собой твёрдую почву и становится неустойчивым принцип, утверждающий необходимость определённого, недвусмысленного отношения писателя к воссоздаваемой им действительности. Так, как мы увидим, комплекс проблем, затронутых Пановой.

Читатель чувствует, что, мучительно решая для себя важнейшие проблемы социалистического реализма и отстаивая свою точку зрения, Панова имеет в виду не лак и патоку, которые требуют от писателей «некоторые критики и многие редакторы», а какие-то конкретные результаты живой художественной практики советской литературы. Поэтому в ответных письмах к Пановой сразу же возникло противопоставление громких имён Воропаева и Батманова — Листопаду и Данилову, имена которых не были подхвачены народом.

Позиция Пановой имеет своим основанием ту особенность её мировосприятия, в которой заключены и слабая, и сильнейшая стороны её таланта.

Панова умеет прислушиваться к биению человеческого сердца, как, может быть, никто другой из наших писателей. Она гнетётся к рядовым людям, и в обычной будничной обстановке изо дня в день текущей жизни чутко улавливает неповторимые и в то же время общепонятные характеры и тайны своих героев. Она умеет проникаться их настроением и охотнее всего пребывает в этой сфере. Настроение преобладает у неё над всеми другими состояниями ума и сердца человека. Своеобразный и тонкий художник, она без всяких признаков подражания сохраняет для нас пленительную чеховскую интонацию, всегда интимно обращённую к каждому отдельному человеку. Этого нам недоставало у других писателей, и именно это составляет ту особую и неотъемлемую силу Пановой, которая делает её произведения необходимыми для нас.

Свой угол зрения позволяет Пановой де-

лать литературные открытия, создавать правдивые образы рядовых людей, окружающих нас на каждом шагу, однако в литературе ещё не найденных и не разъяснённых.

Но эта очень важная сторона для наблюдения и изучения человека есть только одна сторона, с которой писателю открывается главным образом субъективный мир его героев. Если погрузиться в него, так сказать, безозвратно, то интереснейший внутренний аспект своей односторонностью приведёт писателя к тому, что вся жизнь будет восприниматься им как сосуществование отдельных частных жизней, пусть даже не антиобщественных, но сугубо личных.

В «Спутниках» этого не произошло. В этой повести, несомненно одной из самых замечательных в советской литературе, Пановой удивительно удалось сочетать, даже слить в одно целое интимную жизнь большинства героев с их общественной жизнью, как членов деятельного трудового коллектива. Кажется, что вы безотлучно пробыли в санитарном поезде дни и ночи, описанные в повести, и разделили с его работниками все их заботы и переживания. В то же время вы не чувствовали себя замкнутым в этой небольшой и тесной группе людей, каждого из которых так близко узнали. И в самом поезде, беспрерывно принимавшем всё новых и новых раненых, и из его окон открывался большой мир советской Родины, взволнованный, приведённый в небывалое движение войной.

Дав полную волю своей пыливости к личной жизни каждого отдельного человека, которую Панова чаще всего видит неустроенной, она сумела не только разделить своих героев в их сокровенных, обособленных чувствах, но и показала, что объединяет их как советских спутников и образует их коллективную силу. Собственное отношение Пановой к героям повести пробивается сквозь её стремление понять каждого из них изнутри как субъективную закономерность, в каждого перевоплотиться. В большинстве своём спутники из санитарного поезда были не только раскрыты, но и взвешены и оценены. И многие советские люди узнавали себя в героях этой повести далеко не безучастно. Одни — с удовлетворённым смущением, другие — с за-

таённой гордостью, третьи — со стыдом, но никто из читателей не оставался в роли постороннего наблюдателя. Прелестная, добродушно лукавая ирония, ирония любви и сочувствия, с которой Панова говорит о понятных и даже располагающих к себе человеческих слабостях, не приводит автора «Спутников» к благодушию, и когда дело касается свойств души антипатичного человеческого характера — тёплая ироническая улыбка сходит с лица писательницы, и интимно-доверительный тон уступает место обличительному. Сохраняя своё спокойствие и даже кажущееся невмешательство, Панова пускает в ход тонкие сатирические стрелы, ядовитое жало которых без шума, без свиста достигает цели.

Основное требование марксистской эстетики — активное, революционное отношение к действительности обращено к существу мировоззрения писателя, к духу его творчества и ни в коем случае не посягает на тон, манеру, колорит, интонацию, которые не могут быть предписаны ни одному художнику, так как целиком зависят от особой природы его ума, темперамента, характера.

Панова выразила в «Спутниках» своё отношение к героям повести так, как это свойственно её натуре, не ставя отметок по поведению, не делая заключений, не вынося приговоров.

В лице Юлии Дмитриевны и Супругова мы познакомились с явно положительной и явно отрицательной личностями. Но Панова добилась этой определённости, предоставив читателю полную самостоятельность и свободу суждений, не оказывая на него видимого давления.

Хирургическая сестра Юлия Дмитриевна — ценнейший работник. Без лишних слов делает она своё важное дело. Некрасивая лицом, обездоленная в личной жизни и носящая в себе неутолённую потребность в любви к отдельному, избранному человеку, эта серьёзная и достойнейшая женщина влюбляется в благообразного пошляка и себялюбца доктора Супругова. Да, героическая женщина, обладающая огромной силой воли, властная и гордая, полюбила недостойного её человека и в этом чувстве своём становится жалкой и смешной.

А с другой стороны, доктор Супругов,

больше всего на свете дорожащий своим покоем и удобствами, увязший в липкой тине эгоизма, — этот Супругов силой трагических обстоятельств оказывается втянутым в опасную операцию по спасению раненых и, захваченный пафосом коллективной борьбы, совершает подвиг, настоящий боевой подвиг, за который советских патриотов награждают почестями и славой. И нет двух Супруговых, а есть один, всегда и везде поразительно верный своей натуре, и так же, как и Юлия Дмитриевна, понятный в различных своих проявлениях, которые никак нельзя привести к общему знаменателю.

Супругов остался Супруговым. Первое зёрнышко боевого, революционного, коллективистского начала запало в его душу. Даст ли оно ростки? Или супруговская почва окажется бесплодной? Панова, как мы знаем, не склонна делать выводы. Она не заглядывает в судьбу своего героя, но до последнего движения не сводит с него критического взгляда.

В конце повести мы видим Юлию Дмитриевну и Супругова в поезде, когда они уезжают в отпуск. Ничего определённого не было сказано между ними, но всё как будто говорит о том, что они поняли друг друга и готовы соединить свои жизни. Невысказанное соглашение возникло как-то само собой и теперь, очутившись вдвоём в одном купе и разъезжаясь по домам, они уже не смогут уйти от объяснения. Но вот проходят минуты, часы и также само собой, без видимых причин, между Юлией Дмитриевной и Супруговым разверзается пропасть. Неуловимые, незаметные движения умерщвляют иллюзию, которую они же породили. Ничего, казалось бы, не произошло, не изменилось вовне, а внутри всё упало, рухнуло у Юлии Дмитриевны. Когда Супругов чествовательно, в положенный час собрался спать и повернулся спиной к Юлии Дмитриевне, сидевшей против него на своей койке, — всё кончилось. Прозаический жест с грубоватой реальностью завершил то, что свершалось без него незримо и невесомо.

Лучшие чеховские страницы невольно всплывают в памяти, когда прочитываешь историю взаимоотношений Юлии Дмитриевны с Супруговым, — так здесь всё тонко, правдиво, оригинально.

Возвеличена в наших глазах «обычно-

венная» женщина, сильная и смелая в труде — и робкая, беспомощная, когда ей чудится счастье жены и матери, которое так необходимо, недоступно и, может быть, вовсе не суждено ей. Когда Юлию Дмитриевну, некрасивую Юлию Дмитриевну, при её неожиданном приезде домой родные встречают радостным возгласом «Красавица наша!», даже тень иронической улыбки не промелькнёт на лице у читателя. Отношение его к Юлии Дмитриевне уже настолько прочно определено её личностью в целом, что этот трогательный в своём любовном заблуждении возглас воспринимается как голос самой истины.

И каким уродливым остаётся в нашей памяти благообразный, отягощённый чувством собственного достоинства Супругоз! Он не совершил ничего уязвимого, и никто не может предъявить Супругову никаких претензий, но ему не удалось уйти от себя, не удалось уйти и от суда читателей. Он унижен до своих истинных крохотных размеров и стоит перед нами «саморазоблачённый», в жалких духовных отрепьях, мешанин, имя которому уже не Супругов, а супруговщина.

Мы остановились на этих двух героях, чтобы показать, что отношение писателя к действительности, если оно активно движет его пером, даёт себя знать в художественном произведении, как владеющая читателем сила, независимо от того, в каком виде живёт в образе это отношение. Толчок мысли дан Пановой, толчок сильный и в то же время неощутимый.

Однако уже и в «Спутниках» появилась фигура, отношение к которой остаётся противоречивым, а у некоторых читателей даже прямо противоположным. До сих пор одни видят в Данилове всесторонний образ руководителя, в котором глубоко обобщены типические черты нашей действительности; другим он кажется бесцветным человеком; а третьи попросту обвиняют его в домогательском отношении к жене и признаются, что личность Данилова производит на них отталкивающее впечатление.

Уже в «Спутниках» встречались мотивы, из которых ничего не следует, как например убитое счастье Лены Огородниковой. Оно не объяснено, не обжито и возникает неожиданно, как роковой факт, неподлежащий рассмотрению. Чем руководствовалась Панова, когда, так интересно

рассказав о жизни и счастье Лены, вдруг сразила её непонятной изменой возлюбленного и оставила свою жертву без дальнейшего участия? Как раз то, что вызывает общественный интерес к частной жизни людей, здесь исчезло.

Уже в «Спутниках» бросилась в глаза характерная для Пановой особенность композиции повести: чередование портретов и характеристик, позволявшее даже главы называть именем героя, которому данная глава посвящена, то есть композиции, в известной мере predeterminedной восприятием общества, как сосуществования отдельных субъективно замкнутых в себе жизней, и не соответствующей действительности, в которой взаимоотношения и взаимодействия людей образуют такую густую сеть, что разорвать её для отдельного рассмотрения каждого человека невозможно.

(Заметим кстати, что в «Далеко от Москвы» единственный герой, который мог быть выделен и рассмотрен изолированно,— это Тополев, да и то лишь до той поры, пока он, оторвавшись от общества и погружённый в свой внутренний мир, действительно пребывал наедине с собой, как и названа соответствующая глава).

Однако в «Спутниках» эти тенденции у Пановой ещё были не очень заметны и не сыграли решающей роли для духа повести в целом. Но, развиваясь или даже оставаясь нетронутыми, они не могли не сказаться в дальнейшем, когда герои её нового романа уже не были так тесно сдвинуты на узкой площадке общей работы, как в санитарном поезде и, строго говоря, не были испытаны трудом, как члены производственного коллектива.

В «Кружилихе» уже стало гораздо более ощутимо, что у Пановой жизнь каждого человека представляет собой интимный мирок. Этот мирок не изолирован от большого мира, во многом от него зависит, но тем не менее как бы поглощает его. Проблема «дом и мир», всё глубже и шире понимаемая нашими поэтами, начинает звучать у Пановой слишком по-домашнему.

Панова, конечно, рассматривает человека не только изнутри, то есть как он думает, чувствует, но и со стороны. Однако этот взгляд со стороны часто выражает не отношение автора к своему герою, а разные

субъективные же восприятия его другими субъектами. Таким образом, каждый оказывается прав по-своему. Люди разные, разное живут, разное жили, получились разными и поэтому печалат и огорчают друг друга не по своей вине. Все в чём-то хороши и чем-то плохи. Одни более, другие менее привлекательны, но судить здесь некого. Тем более, что все их черты и отношения находятся в постоянном движении и изменении. Люди при этом нередко меняются местами и даже как будто судьбами.

«Сплошь и рядом получается,— говорит Панова,— что человек, только что исправивший ошибку своего товарища, сам впадает в ошибку, и его поправляют другие,— может быть, поправляет тот самый человек, которого он когда-то поправил...»

Вот как всё непостоянно и относительно в этом мире. Сегодня ты, а завтра я...

Само собой разумеется, что Панова говорит о постоянной взаимной критике и смене героев для доказательства того, что жизнь движется вперёд борьбой, противоречиями, столкновением характеров, а не ангельским хором. Но есть ли в этом движении закономерность, позволяющая человеку вмешаться в ход истории? Есть ли у нас прочные основания для того, чтоб разбираться в этих противоречиях и направлять волю, характер, сознание человека в коммунистическое завтра? Панова оставляет этот вопрос открытым. Уже через несколько строк после общих слов о борьбе, как о процессе всякого движения вперёд, она невольно возвращается к своей художнической мысли о неопределённости наших критериев и утверждает, что «точки зрения на то, какие свойства в том или ином человеке положительные, а какие отрицательные,— эти точки зрения не всегда одинаковы даже у людей с одинаковым миропониманием».

А раз нет объективных критериев, то стоит ли пытаться воспроизвести и осмыслить непостижимый круговорот жизни с обманчивой ясностью двухцветного плаката? Не лучше ли рассказать правду, пусть субъективную, но правду о внутренней жизни каждого отдельного человека, и пусть эти бережно сохранённые мирки будут донесены до читателя в полной неприкосновенности...

В «Кружилых» особенности, составляющие силу таланта Пановой, заметно обер-

нулись к нам и своей слабой стороной. Тезис о разности точек зрения на положительные и отрицательные свойства человека даже у людей с одинаковым миропониманием начинает вступать в свои незаконные художественные «права». Панова в значительной мере добила в «Кружилых» того результата, который призван защитить этот тезис как эстетический принцип: читатель, ищущий ответов на волнующие его вопросы, прочитав роман, остаётся в состоянии почти такой же неопределённости, в какой находился и до его прочтения, наблюдая подобную жизнь в своём быту без помощи художника. Да, он узнал в героях романа знакомых ему людей, некоторых даже узнал ближе, но он попрежнему предоставлен самому себе. К кому тянуться? От кого отталкиваться?

Что должны подумать о себе, прочитав «Кружилых», реальные Листопады и Уздечкины, Клавы и Нонны? Что должны сказать о них другие?

Сколько времени уже прошло с момента появления романа, а споры всё ещё продолжаются. Разногласия между критиками перенесли в спор между самой писательницей со своими читателями. Панова защищает Листопада от критического отношения к нему читателя, который никак не может почувствовать в этом герое широкого, передового человека и тем более полюбить его. Читатель защищает Клаву от попыток оправдать отношения Листопада к своей жене. Многие женщины оплакивают свою судьбу, прочитывая дневник Клавы, этой героической девушки, которая обрекла себя на одинокую безрадостную жизнь, выйдя замуж за Листопада,— а писательница, борясь с ею же произведённым воздействием, заявляет: «Я на стороне Листопада. Его ошибка в том, что он женился на женщине недалёкой и душевно пассивной, но, ошибившись, он после этого не дал этой женщине повиснуть гирей у него на ногах...»

Панова-художник оказывается явно не в ладу с Пановой-истолковательницей своих образов; и читатель сам отделяет первую от второй, чтобы разобраться во всём без помех, в то время как автор пытается примирить обе свои гипотезы. Так, борясь со схемой и стремясь к диалектической полноте образа, Панова всё же приходит иногда всего только к сложной ошибке.

Нам скажут: произведения Пановой возбуждают споры именно тем, что в них проглядывают живые противоречия нашей действительности. Данилов и его жена, Листопад и Клава, Листопад и Уздечкин, Уздечкин и Толька — всё это не выдуманные факты быта, и они одни уже вызывают множество мыслей.

Это верно. Искреннее, правдивое искусство всегда менее гладко и «благополучно», чем искусство схематичное. В нём мы встречаем трудные положения, которые не имеют места в произведениях, движимых одной только логикой.

Верно и то, что писатель не станет затрагивать острых вопросов, если они уже решены общественной практикой и, следовательно, потеряли свою остроту.

Но подымая проблему, волнующую общество именно потому, что она не решена ещё самой жизнью, писатель, как утверждал Добролюбов, даже не зная решения вопроса, но глубоко чувствуя гнёт непреодоленного противоречия и правдиво его вскрывая, тем самым уже подсказывает пути, на которых оно может быть изжито.

Панова как бы говорит нам: вот вам Данилов, какой он есть. Да, он хороший коммунист, преданный сын своего народа. И у этого честного, самоотверженного работника вот такой именно неприглядный семейный быт. Такая именно жена — серая, измученная, ограниченная, почти чужая ему женщина. Так сложилась его общественная жизнь, так сложилась жизнь в его доме. И то и другое — правда, и я вам её показываю. Судите, как хотите.

Правдоподобие самих фактов и вообще поведение героев Пановой всегда чрезвычайно убедительно. И о Данилове всё правда. Но вся ли правда здесь? Увидена ли она в своей перспективе, в движении? Могут ли существовать отношения Данилова с женой, как что-то наглухо изолированное от его общественной деятельности и нигде, ни в одной точке не соприкасающееся с его коммунистическим мирозерцанием?

В «Кружилихе» Панова по-своему поставила тот же вопрос о личной и общественной жизни человека, который встал перед Батмановым. Но если Батманов, действительно большой и сложный человек, в своём беспрестанном развитии почувствовал, что мироощущение его было бы глуб-

же, полнее, если бы его не миновала деятельная любовь к избранному человеку, то для Листопада, оказывается, наоборот, именно эта сила любви, которая должна возвысить и тебя, и твоего ближнего, была бы гирей на ногах.

Батманов двинулся вперёд, одолел ещё одно препятствие, чтобы завоевать внутреннюю свободу для полноценной жизни; Листопад же самодовольно топчется в тупике, воображая себя свободным.

Листопад — образ правдивый, и возражения вызывает не то, что он на голову ниже действительно передового советского человека, — такой герой нас тоже интересует. Печально, что Панова оправдала, утвердила то, что передовые люди, подобные Батманову, уже ощущают как препятствие для своего развития.

Печально то, что возник странный и редкий конфликт — конфликт между писателем и читателем. И что в этом конфликте именно талант берёт на себя чуждую ему миссию защищать старое от нового.

Печально, что читатель, ждущий помощи от художника, вынужден сам переосветить полученную картину и расставить в ней нужные акценты.

Так что же? Значит, всё осознать, всё объяснить, во всё вмешиваться, всё взвешивать и оценивать? Значит, всё-таки «точь-в-точь, как у Ажаева»?

Непонятно, почему Панова нашла нужным защищать своё право на творческую самостоятельность, право писателя самому искать свой «резец», самому его оттачивать. Никто не оспаривал этого права, без которого нет и не может быть искусства. Так мы не приобретем ни второго Ажаева, ни второго Бабаевского, но безусловно потеряем Панову. Да и кому нужны вторые?! Но всем, решительно всем дорог каждый художник с неповторимым голосом. Как ни различны отношения читателей к Пановой, кажется, нет таких, которые не ждали бы её новых произведений. Но даже самые ревностные почитатели таланта Пановой, боящиеся, как бы критика не вспугнула, не оборвала её голоса, — даже они хотели бы, чтобы этот проникновенный голос слышался не сам по себе, а сквозь гул эпохи, чтобы он звал людей за собой и вёл их вперёд, чтобы слово любимого писателя воссоздавало жизнь не просто как «объективную реальность», а в её революционном развитии.

При этом интерес следопыта вовсе не должен быть подавлен волей путеводаителя. А власть вожака отнюдь не исключает и у него постоянных поисков верных путей и вовсе не требует безапелляционного тона. Отношение писателя к изображаемой им жизни может быть выражено в глубоко скрытой форме и вовсе не как последнее слово последней инстанции.

Не отказываясь от покоряющей силы чеховской интонации, которая органически присуща Пановой, писательнице необходимо как можно глубже понять диалектику развития этой традиции в новых исторических условиях.

Чехова упрекали в объективизме, и в известной мере справедливо. Порой этот человечнейший из писателей действительно соскальзывал к идейно-расплывчатому гуманизму. Но несмотря на это — и даже вопреки этому — Чехов в конечном итоге был художником идейно-активным и целеустремлённым, всей душой рвущимся в будущее. Каким бы естественным, самодвижущимся потоком ни казалась воссозданная им жизнь, в ней всегда остро ощущается его любовь и ненависть. И не только в тоне повествования, в свете, который художник бросал на созданную им картину, не только в глубине её, — часть мечты и боль поэта вырывались наружу, и именно в самые трагические моменты жизни его героев.

Из русских классиков только Горькому дано было повести своего героя в бой за свободу. Но из догорьковских писателей Чехов особенно близок и понятен нам тем, что, перешагнув через господствовавшую в его время тему нравственного душеустройства, он больше всего болел за человека, как за существо, в котором гибнут могучие созидательные силы, заживо похороненные всем укладом жизни; он страдал за человека, как за несостоявшегося творца, гения. Это страдание и мечта о времени, когда русский человек вырвется на свободу и обретёт счастье в здоровом развитии всех своих деятельных сил, вырвали собой главную идею, двигавшую пером Чехова, и он не боялся иногда нажимать его, ставя нужные ему акценты.

Однако цель его была только «социализмом чувств», как называл Горький влечение души к светлому будущему. Не видя

конкретных, реальных путей для выхода из той жизни, которая окружала его, и считая огромное большинство рядовых людей, как плохих, так и хороших, жертвами не подчинённой им, огромной косной силы, Чехов мог, конечно, в своём сочувствии к человеку грешить объективизмом. Относительный чеховский объективизм исторически объясним. Естественно, что иногда он переходил свои «законные» границы.

Но теперь, когда мы стали хозяевами своей судьбы, когда, борясь с пережитками прошлого, миллионы людей уже способны подхватить честное батмановское правило: не прятаться за ширму объективных обстоятельств и во всех неполадках винить только самих себя, — теперь мы не можем и в литературе позволить себе тона, возлагающего ответственность за каждого из нас на самую жизнь, как на какое-то независимо от нашей воли складывающееся движение истории.

Теперь, когда нет больше гнетущих условий, порождавших вместе со всеми слабостями человека и терпимое отношение к ним, — всякая нотка пассивной сострадательной любви к людям, невольной клонящая писателя к объективизму, становится по сути своей античеховской. Теперь нести дальше подхваченную у великого писателя эстафету — значит показать, как реально осуществляется его неясная мечта, как раскрепощённый советский человек в своём стремительном движении вперёд во всех областях общественной и личной жизни действительно становится могучим творцом своего счастья, счастья ближних и дальних его спутников.

Острота исторического самосознания, дух коллективизма, пафос созидательной борьбы и взыскательность самокритики — вот действенные формы чувства нового, без усиления которого познавательный дар Пановой не обретёт преобразовательной силы.

Думать о человеке, о его судьбе — значит думать о его завтрашнем дне. Иначе чуткость и отзывчивость, доведённые даже до степени перевоплощения, неизбежно скатываются к утешительству, а утешительство — к практическому безучастию.

Такова в конечном итоге невольная роль благожелательности, обращённой не к сильным, а к слабым сторонам человека.

Законен вопрос, который возник у одной

фабричной работницы, внимательно следящей за советской литературой: почему у многих наших писателей герои даже в самых тяжёлых испытаниях, страдая от тяжких недугов, даже погибая, остаются моральными победителями и до конца сохраняют неугомонную страсть борьбы, а у Пановой люди не знают бедствий, выполняют и перевыполняют планы своих работ, — а всё какие-то несчастные.

Мы не собираемся навязывать Пановой тему счастья, как она проходит у Островского, Фадеева, Павленко или Ажаева. Сама тема эта есть завоевание художника, потому что в ней раскрывается счастье борьбы, счастье сильных. Её нельзя навязать. Но нельзя также навязывать людям и несчастье. По нашему мнению, Панова навязывает своим героям чувство одиночества или, вернее, навязывает читателю преимущественно одиноких людей и делает это именно потому, что воспринимает их жизнь не на «широкой арене реализма», как это может показаться с первого взгляда, а несколько узко и односторонне.

Нелегко, а порой и совсем не дано человеку сложить свою собственную песню. Индивидуальные отношения складываются в неисповедимых противоречиях. Неразделённая любовь будет встречаться и в будущем, гораздо более совершенном обществе, чем наше. А во многих других отношениях мы ещё далеко не достигли того, к чему стремимся и что несомненно сделает более счастливой жизнь каждого человека при коммунизме.

Но сколько же у нас людей гордых, сильных, жизнерадостных и не обречённых на одиночество! Как много мужчин и женщин, любовь которых не только не ущемлена тем, что страстная, революционно-творческая борьба как будто целиком поглотила их, а, наоборот, этому только и обязана своей постоянной новизной.

И как далеко в прошлое ушло всё, что охватывалось понятием «женская доля» и что, тем не менее, так нередко даёт себя знать в произведениях Пановой. Лена Журина («Счастье») и Женя Козлова («Далеко от Москвы») — это, собственно говоря, героини Пановой, это обыкновенные, простые девушки из числа тех рядовых людей, к которым так тянется писательница, но увиденные глазами художников, воспринимающих и воспроизводящих

жизнь в её стремительном движении в будущее и поэтому в первую очередь замечательных Воропаевых, Батмановых, Ковшовых, без соприкосновения с которыми не может быть ни Журинных, ни Козловых.

Сильная, яркая фигура передового человека — это не только удача отдельного образа, а нечто гораздо большее. Она в значительной мере определяет богатство содержания произведения в целом. В ней воплощается идеал автора. Она есть высокая точка зрения, с которой лучше всего видны и все другие герои.

Главные вопросы, затронутые Пановой в её статье о «технологах нашего мастерства» — это вопросы в первооснове своей идеологические. Возникающие из них проблемы художественной формы тоже касаются чего-то большего, чем технологические приёмы того или иного писателя. В конечном итоге они приводят нас к вопросу о методе, объединяющем всю советскую литературу и в то же время оставляющем полную свободу для развития неповторимых талантов.

Критика уже отметила некоторые ошибочные тенденции в творчестве Пановой, мешающие ей подыматься до больших художественных обобщений, выразить пафос творческой борьбы советских людей и тем самым развивать свой незаурядный талант. Обратили на себя внимание и неизменность её художественных средств, грозящих выработаться в собственный штамп, эскизность в обрисовке характеров, дробность композиции. Писательнице брошен упрек в отказе от поэтического новаторства, без которого нельзя выразить новое в нашей жизни, осветить её завтрашний день.

Причины этого «отказа», конечно, не могут быть объяснены в отрыве от мирозерцания художника. Мы никогда не ощутили бы таланта Пановой, если бы отличительные особенности формы её произведений не отвечали их содержанию. Для выражения тех настроений, которые в них преобладают, эта форма не случайна.

Панова знает, что и писателю надо, подобно Борткевичу, «искать новые резы для нового материала». И мучительно ищет их, а между тем слабые стороны её художественных средств с каждым новым произведением становятся заметнее. Значит, есть какая-то причина, которая возвращает Панову к отработанному уже ею «резу».

Развитие художественного таланта, пожалуй, ещё больше, чем развитие всякого другого мастерства, связано с развитием личности художника в целом, как общественного лица. И в этом отношении для каждого писателя, перед которым остро встаёт вопрос о его дальнейшей деятельности, важно осознать ясно, что же для него именно является тем главным и решающим, что помогло бы ему «стать чем-то больше самого себя» Как конкретно, применительно к его индивидуальным данным и в данной стадии его развития, относится к нему общее положение Ленина о нашей культуре, представляющей собой «...развитие лучших образцов, традиций, результатов существующей культуры с точки зрения миросозерцания марксизма и условий жизни и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры»<sup>1</sup>.

По нашему мнению, для Пановой главное звено, овладев которым она сможет вытащить всю цепь искомым ею художественных средств для воспроизведения жизни в её революционной динамике,— это большевистское возмужание гуманизма. Для Пановой идейно обогатить, усилить свою непосредственную художественную человечность, оплодотворить её с точки зрения миросозерцания марксизма и условий жизни и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры — значило бы подняться на ступень, с которой открывается дальняя перспектива, и тогда притягательная сила будущего привела бы в движение многие, ещё не разбуженные силы её таланта. Тогда, не искажая природного тембра её голоса, а претворяя его, эти силы влились бы в него волевыми, страстными нотами обновителя жизни и многократно усилили бы его интимное камерное звучание гражданским пафосом.

«Не понимаю... — пишет Панова, — как можно писать роман или повесть на современном материале, обходясь малым количеством действующих лиц. Жизнь наша устроена так, что человек в своей деятельности тесно соприкасается со многими людьми, непосредственно на него влияющими, и удаляя эти влияния, неизбежно удалишь из книги коллективистский, общественный дух нашей жизни».

Под этими словами охотно подпишутся все читатели, включая тех, которые выска-

зали свои серьёзные претензии к Пановой. Надо лишь подчеркнуть, что большое количество персонажей само по себе ещё не исключает возможности их раздельного, обособленного существования и преобладания камерного звучания над оркестровым, хоровым.

Всё дело именно в тесных связях, взаимовлияниях героев, как действующих лиц, в коллективистском, общественном духе нашей жизни.

Конечно, слияние субъективного и объективного начала в художественном произведении, личного и общественного, морального и политического, внутреннего мира отдельных людей с историей их времени, с конфликтами, определяющими и особый путь каждого из них и их совместное движение к коммунизму,— самое трудное для писателя. Но ведь в этом и заключается полнота реализма. Такого рода диалектическое сцепление событий, характеров, взглядов, интересов, целиком определяемое тенденцией исторического развития советского народа, требует постоянных поисков новых форм, способных без упрощения сложной и противоречивой в своих проявлениях жизни выявить эту тенденцию.

Если Панова сделает в этом направлении шаг вперёд от того приподнятого войной общественного самосознания, которое продиктовало ей её лучшую повесть «Спутники», то она, перед лицом новых задач, неминуемо почувствует ограниченную силу и дробной композиции и беглой, незавершённой обрисовки характеров,— вообще всяких импрессионистических отклонений от реализма, которые оставляют нас с эскизами без картины, с комнатами без здания.

Тогда по-новому встанет перед писательницей и самый нетехнологический из затронутых ею вопросов о технологии литературного мастерства — вопрос о положительном герое.

С точки зрения приведённого нами выше рассуждения Белинского об ограниченности каждой отдельной личности своим опытом и природными данными, Павел Корчагин ничем не отличается от любого человека, и живи он хоть тысячу лет, непрерывно развиваясь,— его отделяла бы ещё от «совершенства» бесконечность. А как герой своего времени, как участник той борьбы, которая показана в романе «Как закаля-

<sup>1</sup> «Ленинский сборник», т. XXXV, стр. 148.

лась сталь», — он является положительным в полном смысле этого слова.

Что же, образ Корчагина делается от этого односторонним, неполнокровным, лишённым перспектив для развития? Может быть, и его следовало бы оживить некоторыми отрицательными чертами? Объективистская «диалектика» неизбежно уткнётся в этот тупик.

Между тем знаменательно, что Павел Корчагин, этот самый безупречный герой советской литературы оказался и самым живучим. Целая эпоха в жизни не одного уже поколения молодёжи нового общества прошла под знаком этого «идеального» героя. Испытание временем более чем достаточное, да и не видно, чтобы сила этого примера начинала угасать. Дело Корчагина ещё далеко не кончено. Оно растёт и ширится с каждым днём.

Схема в литературном образе появляется там, где нет характера, где пропадает личность, независимо от того, имеем ли мы дело с положительным или отрицательным героем, или с человеком, стоящим где-то между ними, — какова бы ни была пропорция его положительных и отрицательных черт.

Примером такой действительно бесплотной, ангельской фигуры в романе Ажаева является прекрасный во всех отношениях директор завода Терехов. И объясняется это именно тем, что Терехов не живёт в романе своей жизнью. Он не привлёк к себе внимание писателя как личность, в самой себе содержащая необходимость её участия в романе. Терехов понадобился Ажаеву лишь как антитезис к образу горюководителя Ефимова, как экспонат для размышлений Залкинда о разной судьбе двух некогда многообещавших комсомольцев, из которых один остановился в развитии, а другой расцвёл.

И герой мстит автору за навязанную ему служебную роль «исполняющего обязанности человека». Терехов так и не акклиматизировался в напряжённой атмосфере романа и остаётся в нём инородным телом, если только можно употребить это слово для бестелесного героя.

Если живое дерево со всем своеобразием его формы, с его ветвями, плодами, со светом, играющим в его листьях, и тенью, падающей от него на землю, с соками земли, проникающими в самую его сердце-

вину, — если такое дерево срубить, обстругать как мачту, чтобы на нём не осталось ни сучка, ни задоринки, — то такой «безупречный» образ конечно никого к себе не привлекает.

Но ведь и искусственно сконструированная ёлка с перекладинами, на которых вы развесите чёртиков и ангелочков, тоже не превратится в живой образ.

Значит, разговор о схематизме в художественной литературе просто не имеет никакого отношения к вопросу о качествах героя, как нравственной личности. Живая натура, индивидуальность — этого не постигает схема, вследствие чего она и является схемой.

Образ человека, действующего сообразно своему характеру и обстоятельствам, никогда не оставит у нас чувства неполноты знакомства с ним потому, что, видите ли, нам не открылись какие-то его слабые стороны, которые должны же быть и у него по теории вероятности.

Что образы таких людей, отнюдь не абсолютно гармоничных, но передовых, вовсе не идеальных, но тем не менее прекрасных, могут быть образами живых, земных деятелей, а не сладенькими тенорами «ангельского хора», — это доказала советская литература в лучших своих произведениях. А смогла она доказать это только потому, что прообразы этих героев увидела в самой действительности.

Правомерно ли выдвижение в литературе на первый план героев, представляющих боевой авангард советского социалистического общества?

Герои нашего времени — подлинные герои социалистического труда — завоевывают для себя в литературе такое же видное место, какое занимают и в жизни.

Научное обоснование закономерности крупного плана в литературе для образов лучших людей нашего общества заключено в сталинской трактовке типичного, согласно которой типичными явлениями в жизни являются не те, которые, хотя и преобладают количественно, уже идут на убыль, отживают, а те, пусть ещё и пребывающие в меньшинстве, которые нарождаются, побеждают, которым принадлежит будущее.

Понять это положение в свете приводившегося уже нами утверждения Ленина, что только при социализме становится реаль-

ной сила положительного примера — значит добраться до первоосновы метода социалистического реализма.

Отсюда прямой путь к правильному решению вопроса об «идеализации».

Если герой — «чудесный тезис», без поправок, которые вносит в идеалы каждого человека действительность, то он не живой человек и, следовательно, не пример. Не выйдя из действительности, он не может и войти в неё. Такой выхолощенный образ обычно и бывает результатом бесплодных попыток идеализации и лакировки действительности.

Но если будущее выражено в настоящем, то есть в показе лучших людей советского народа, выхваченных из самой жизни, тогда жизнь героев — реальный пример, обладающий огромной, не поддающейся никакому учёту, заразительной силой, тогда они вполне отвечают и понятию о типическом в сталинском смысле этого слова.

С этой точки зрения метод Ажаева себя оправдал.

Выводя на первый план своих любимых героев, Ажаев не лакирует действительности смягчением условий их жизни и борьбы, не прикрашивает вызванного войной тяжёлого быта ложью или умолчанием, а наоборот, обнажённо рисует его неприглядную правду. «Чудовищное упрямство» этих героев в их стремлении «быть чем-то больше себя самих» не могло бы быть выражено, если бы объекты приложения их сил не были показаны в романе в полной мере своей трудоёмкости. И люди меняющиеся, тормозящие тоже показаны во всей силе своей сопротивляемости. Значит, богатырская сила ведущих героев романа не декларируется, а испытана на деле.

Сколько суровой правды, которой не думаешь, в том, например, что автор не пощадил старика Тоголева — и возрождённый герой его, ринувшись в самую быструю мощную потоку жизни, вскоре гибнет от оказавшихся непосильными для его здоровья физических испытаний. Можно оспаривать необходимость и закономерность в романе этого трагического случая, но нельзя не видеть, что здесь не только желательное не подменяет собой действительное, но, наоборот, действительное неумолимо подавляет желательное.

Не видим мы «нас возвышающего об-

мана» и в том, что некоторые герои романа Ажаева заметно изменились за такой сравнительно короткий срок, как один год. Иной год стоит десятка лет обычного человеческого опыта. А это был напряжённейший год эпохи, в которой и до войны «целые столетия страна уплотняла в несколько пятилеток».

Сокращение трёхлетнего срока строительства на один год — это и сокращение срока самовыявления людей. Чем быстрее и напряжённее их работа, тем теснее связи, тем резче обозначаются противоречия и тем быстрее в конечном итоге свершается сближение. Скорость, с которой человек переделывает природу, — это скорость, с которой он движется в своё будущее.

Ажаев очень многое подсказывает, всё время подталкивает вперёд события и героев, быстро и энергично идёт к цели. Там, где он нетерпеливо опережает жизнь, не считаясь, так сказать, с «сопротивлением материала», у него возникают провалы.

Но как бы ни чувствовалась в романе сила давления желательного, она в лучших образах романа, определивших огромный успех книги, не подавляет действительного, живого, а сливается с ним.

Пусть «Далеко от Москвы» — это роман кульминаций; пусть «концы и начала», о которых говорит Батманов при первом знакомстве с работниками строительства, здесь максимально притянуты друг к другу, — пусть всё это так. Но разве, пройдя с героями романа весь их путь, вы не чувствуете, что Зайкинд имел все основания сказать: «Сколько событий и перемен... Как изменились люди!»

В этом ощущении читателя сказывается не только огромная действенная энергия, которой насыщена жизнь героев романа, но и их постоянная, непотухающая в борьбе работа мысли.

Если в жизни народов бывают времена, когда, по словам Плеханова, публицистика врывается в художественную литературу и чувствует себя там хозяином, то в наше время смысл этого явления становится особенно значительным, потому что с момента освобождения труда от эксплуатации человека человеком обратное воздействие сознания на бытие заметно усиливается.

Естественно, что огромная умственная

работа, проделываемая нашим обществом, не может не наложить отпечатка и на характер нашей художественной литературы, и в первую очередь — романа, как формы, дающей наибольший простор для мыслей. В той мере, в тех формах, в каких активная самокритическая мысль вторглась в самую жизнь, она является неизбежной, желательной, сильной стороной литературы.

Но стоит только критической мысли оторваться от дела, от борьбы, которой она вызвана, и «поэзия убежденности» становится просто убеждением, а само по себе убеждение, не рожденное ходом действия, в художественной литературе невольно обращается в разглагольствованье. И если мы будем говорить о художественных качествах публицистически страстных, интеллектуальных страниц нашей воинствующей литературы, то это значит, что будем судить о ней не только по глубине и ясности её мыслей, но обязательно и по тому, насколько закономерны их появление и их форма в данный момент, в данном месте, в устах данного героя или автора, насколько они отражают опыт жизни, воспроизведённый писателем, и необходимы как части целого. В этом и заключается художественность.

Лениным была высказана мысль, в которой заключено глубокое понимание единства человеческой природы: «Недостатки у человека являются как бы продолжением его достоинств. Но если достоинства продолжают больше, чем надо, обнаруживаются не тогда, когда надо, и не там, где надо, то они являются недостатками»<sup>1</sup>.

Роман Ажаева в этом отношении является чрезвычайно показательным. Природа его недостатков, как отрицательной стороны положительного явления, бросается в глаза. До поры до времени захваченные пафосом романа, мы проходим мимо них, но в третьей книге «Далеко от Москвы» они становятся ощутимыми. События в этой последней части всё нарастают и нарастают, темп повествования убыстряется, всё устремлено к завершению как отдельных линий сюжета, так и композиции романа в целом. Казалось бы, и интерес читателя должен возрастать с каждой страницей, — но мы уже не захвачены этим быстрым течением так глубоко

и сильно, как раньше, когда внутреннее напряжение романа не выключалось из его внешней динамики, не падало, не терялось.

Правда, и в третьей книге есть немало страниц, которых не вырвешь из живой ткани романа — мы уже говорили о них, — но они перемежаются здесь с множеством других, кровно с ними не связанных и продиктованных автору не столько воображением его, сколько соображениями.

Почему это произошло?

Основная причина заключается в том, что самое главное в жизни героев романа Ажаева открылось нам раньше, чем завершилось событие, являющееся сюжетной основой романа. Кульминационные моменты их духовного развития позади, а строительство нефтепровода ещё не закончено. И мы понимаем, какие затруднения испытывал автор в поисках места, где лучше всего было бы поставить последнюю точку.

Конечно, и последний этап строительства, ещё более напряжённый, чем предыдущие, в действительности не мог не породить новых противоречий и, следовательно, продолжал воспитывать, закалять, переделывать людей. «Каждый прожитый час вмещал столько впечатлений и требовал от них таких физических и умственных усилий, что следовало бы считать сутки за неделю», — говорит Ажаев об этом периоде. Но по сути дела это уже отписка. Наступление строителей нефтепровода на остров Тайсин — поверхностный очерк. Хотя в нём и мелькают ещё имена знакомых нам героев, но в памяти остаются только машины, подминающие под себя гигантские лиственницы девственной тайги, испуганные стада кабанов да медведи, бегущие из своих берлог. «Взятие» Тайсина — крупнейшая победа Рогова, руководившего этим боем, но к нашему знакомству с этим человеком она ничего не прибавила. Здесь, как и в некоторых других местах, трудовые подвиги как бы заслоняют своих героев. Писателю, уже успешному высказаться по всем жизненно важным для него вопросам, волей-неволей пришлось завершить рассказ о битве советских людей с неприступной природой — беглой хроникой.

Вместе с новыми местами действия в романе появляется новый материал, новые герои, новые мотивы. Таков, например,

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 33, стр. 146.

уголовно-политический мотив, связанный с деятельностью японского шпиона и диверсанта Кондрина и терроризированного им Серёгина.

Чем ближе подходит повествование к концу, тем меньше может оно вбирать в себя новый, ещё не освоенный, не обжитый материал, неизбежный в экспозиции, и тем больше оно должно «собственными силами развивать своё собственное содержание». Именно такая «эксплуатация» накопленного позволяет художнику к концу произведения доводить до высшей точки напряжения и интерес читателя.

Чувствуя, что эпическое, драматическое и лирическое начала романа утрачивают свою глубокую внутреннюю связь, Ажаев ищет способов сцепить разнородный, уже непокорный ему, стремящийся в разные стороны материал и так или иначе свести новых героев со старыми.

Что из этого получается?

Ковшов, Беридзе, Таня Васильченко и Тополев сталкиваются лицом к лицу с арестованным Кондриным в общей каюте катера. Их застаёт шторм. Судёнышко, на бортах которого не было металлической обшивки, трещит от напора льдов и вот-вот переломится надвое.

Как встречают угрозу смерти гордые, сильные, чистые люди, и как—чёрный человек Кондрин? Ажаев не может удержаться от этого контраста. Но это именно противопоставление, а не живое противоречие. Здесь не поведение героев излучает из себя идею автора, а, наоборот, предвзятая идея целиком определяет поведение героев.

Чёрный человек с тоскливым недоумением смотрит, как легко, как свободно дышат его враги в атмосфере любви и дружбы, которую не может омрачить тень смерти.

Наконец он говорит им зло и убеждённо:

«— ...Ничего такого хорошего в жизни не бывает. Каждому дорога своя шкура, и все боятся смерти. Ведь и вам не хочется тонуть-то! Сейчас вы любезные друзья-товарищи потому, что надеетесь на спасение. А если придёт час, перегрызётеся из-за спасательного круга».

«— Никто из нас не собирается грызть друг друга, — вспыхивает Таня Васильченко. — Наоборот, рады будем подать друг другу руку помощи! Плохо ваше дело, если

вы так думаете. Значит, вы способны отнять у товарища спасательный круг».

Всё, что происходило в каюте до этих фраз, было специально подогнано к тому, чтобы они были произнесены, а всё, что происходит после них, является совершенно точной, буквально как в лекциях с диапозитивами, их иллюстрацией.

Катер терпит аварию. Надо бросаться в воду. И вот мы действительно видим, как, согласно предначертанию, положительные герои самозабвенно подают друг другу руку помощи и до конца никто из них не думает о своём брэнном теле, даже Беридзе, не умеющий плавать. А Кондрин с перекошенным от ужаса лицом, со спасательным кругом набрасывается на Таню, чтобы стащить с неё для себя... второй спасательный круг!

Так переходит за пределы естественных своих границ мысль о тёмных и светлых душах. С одной стороны—окарикатуренная, доведенная до абсурда голая зоология. С другой—нравственная сила человека, начисто освобождённого от инстинкта самосохранения.

Бесспорно, что такие люди, как Беридзе и Ковшов, в любых испытаниях поведут себя мужественно, достойно, а кондрины в решительный час сразу обнаружат свой зоологический индивидуализм. Но каждая из этих сторон будет жить и действовать соответственно своей природе и для утверждения своих сил, а не для оттенения противоположной.

Разве могли бы в реальной действительности так поразить Таню и тоном и смыслом слова Кондрина, который известен ей как шпион, диверсант и убийца?! Разве могла бы она быть оскорблена в своих лучших чувствах его взглядом на человека и, полная нравственного возмущения, сделать изумляющий её вывод, что этот закоренелый преступник способен отнять у товарища спасательный круг?! Не смешно ли говорить «плохо ваше дело, если вы так думаете» человеку, который вот-вот должен предстать перед военно-полевым судом и быть расстрелян за тягчайшие и подлейшие преступления перед Родиной? Да и Кондрин, дрожащий за свою шкуру безостановочной дрожью, — стал ли бы он в таком состоянии, перед лицом смерти, вдаваться в обсуждение моральных качеств своих спутников?

Здесь Ажаеву явно не удалось, как в лучших местах романа, соблюсти принцип: «всё, что нужно автору, но ничего, что не нужно героям». И правда, прозвучавшая не там, где надо, не тогда, когда надо, и не так, как надо, — стала фальшью.

К сожалению, недостатки наши, продолжаясь больше чем надо, не становятся достоинствами. Идея противопоставления Кондрина прекрасным людям, раз соблазнив автора, уже не покидает его, и через несколько страниц мы наталкиваемся на её продолжение. В тот самый момент, когда, отдав почести умершему Тополеву, ему воздвигают памятник с надписью: «Отдал жизнь за Советскую Родину», — в этот самый момент привозят труп Кондрина (бежавшего диверсанта убил нивх), и Батманов восклицает: «— Похороните в тайге. Могилу сровнять, чтоб и следа не осталось».

В таких произвольных сближениях чужеродных явлений нет решительно никакой поэтической идеи. В них нет нравственного урока. Это не две возможные судьбы одного и того же человека или двух людей, стоящих хотя и далеко друг от друга, но в одном ряду, живущих по одним законам, измеряемым одной мерой. Прекрасен контрастный свет, который бросают друг на друга враги в борьбе, но суд чести существует только для людей одного лагеря, находящихся в постоянных нравственных соприкосновениях. Только такие трения высекают искру.

Кондрин — чужеродное тело. Он отбрасывается, уничтожается как инфекция, проникающая в здоровый организм. Зачем же тянуть его в морально-политическую атмосферу романа, куда он не может войти?

Грубский у гроба Тополева — вот законный мотив, вот истинный урок жизни, вот поэтическая мысль.

«Идейное» противопоставление похорон Тополева и Кондрина и нравственная стычка с Кондриным Тани Васильченко — скорее оскорбляют положительных героев, чем возвышают их. Если следовать формальной логике этого контраста, — а другой в нём нет, — то она, при всей своей претензии на глубокомыслие, приведёт нас к весьма плоскому и неуклюжему выводу, что между патриотами и предателями существует большая разница.

Любопытно, что и другие отрицательные

герои Ажаева из враждебного лагеря, все эти хмары, константины, мерзляковы не находят себе места в романе. Как и Кондрин, они оказываются фигурами не столько вписанными в полотно Ажаева, сколько приписанными к нему.

Понятно, что на важную стройку у самой границы нашего государства, да ещё во время войны, могут пробираться отдельные враги. Несомненно, что в той действительности, которую воспроизвёл Ажаев, они были. И всё-таки, повторяем, в романе им нет места. Как враждебная сила, действующая исподволь, они мало занимают автора. (В этом плане Кондрин фигура слабая: «закоренелый преступник», он так жалок и ничтожен, что не вызывает даже тревоги). Автору не до них.

Законом, дающим фактам и лицам, хотя бы и почерпнутым из самой жизни, право на существование в художественном произведении, является его идея. Само собой разумеется, что под идеей мы здесь разумеем не тезис, который иллюстрируется соответствующими сценами, а то живое чувство, которое побудило художника взяться за перо. Не случайно Белинский, имея в виду художественную идею, так часто заменял это понятие словом *чувство*.

Любое событие в жизни общества, а тем более события такого масштаба, как великие стройки, вмещает в себе необъятное количество фактов, явлений, лиц. Писатель заблудился бы в сложном, запутанном лабиринте, если бы у него не было путеводной звезды.

Сколько бы писателей ни использовало для своих произведений однородный жизненный материал, даже одно и то же событие, отбор и освещение фактов будет у них разным, потому что каждому из них будет руководить его идея, каждому объективная действительность откроется с его точки зрения.

Можно себе представить события, положенные в основу романа «Далеко от Москвы», в таком разрезе, когда и действия врагов потребуют для себя первого плана и даже потянут нас в их подполье, в их зарубежные связи и т. д. Но это будет совсем другая задача, которая повлечёт за собой иные средства выражения.

Понимание целостности произведения как единства формы и содержания, об-

условленного задачей писателя, даёт нам в руки чёткий художественный критерий и позволяет говорить о сильных и слабых сторонах произведения, как явления искусства, согласно пушкинскому требованию судить писателя по законам, которые он сам над собой поставил.

Главная идея романа Ажаева — животворная сила советского патриотизма. Раскрывается эта идея освобождения и расцвета личности в социалистическом труде, как мы уже указывали, на многообразных примерах развития индивидуальности в борьбе с индивидуализмом. Пафос романа — в его морально-политической интонации.

Таковы слово и голос Ажаева. Такова кровавая, выстраданная, жизненно необходимая Ажаеву тема его романа. Той или иной своей стороной она выражена в делах, думах и судьбах Батманова, Залжинда, Беридзе, Ковшова, Умары Магомета, Махова, Силина, Тани Васильченко, Тополева, Карпова, Жени Козловой, Рогова, Грубского, Либермана, Ефимова.

Через этих героев автор исчерпывающе высказался.

Что же касается Кондрина и других, то они бродят, словно неприкаянные, где-то в стороне романа, на его окраинах не только как отщепенцы своего народа, но и как литературные образы именно потому, что законы, которые поставил автор над своими героями, — не про них.

Однако строгий отбор материала не ограничивается только отказом писателя от всего, что ни прямо, ни косвенно не питает его главную идею. Необходимо отказываться от многого, что хотя и созвучно духу произведения и согласуется с его идеологией, но не является в нём обязательным.

Применительно к роману «Далеко от Москвы» это замечание относится главным образом к рассуждениям. Молодому писателю, так много сказавшему своим первым произведением, захотелось высказаться в нём по всем важнейшим вопросам жизни нашего общества. Отношение к Родине, к труду, к любви, к семье, к дружбе, к воспитанию, к смерти, к природе, к литературе и т. д., и т. д. Читателя захватывают те мысли в этих спорах и рассуждениях, которые вызваны глубокими причинами, рождены испытаниями. Но в лучшем случае

автор может рассчитывать на благосклонное равнодушие читателя к тем рассуждениям, для которых выскивается повод. Разве, к примеру, разговор о литературе, в котором автор полемически критикует любителей нетронутой человеком экзотической девственной природы и призывает писателей к показу вторжения советского человека в эту вековечную глушь, — разве это и ему подобные отвлечения не ослабляют набранных темпов саморазвития романа? Не вызванные столкновением интересов, действием романа, они всплывают на поверхность, как «мысль, взвешенная в эмоциональной пустоте». Роман Ажаева всем своим содержанием защищает эту программу, и подобные дидактические добавления звучат как заключительная фраза докладчика: «Это моё мнение, и я с ним вполне согласен».

Что-то нарочитое чувствуется и в принципиально правильных, но слишком посторонних рассуждениях героев романа о том, как надо составить отчёт правительству о победе строителей нефтепровода. Батманову хотелось бы дать в отчёте представление о людях, чтобы души их не пропали в «словесно-цифровом скрежетании». Но, как прямо сказано в романе, Батманов прекрасно понимал, что его сотрудники никак не смогут написать такого отчёта, какого он требует от них. Уже из одного этого видно, что здесь имеет место не столько живое дело, сколько повод для рассуждений, какими бы оговорками ни пытался автор оправдать этот повод практически. И действительно, не батмановская, а авторская цель, которой служит всё это рассуждение, вскоре выдаёт себя: Алексей, которому поручено написать доклад, помучившись, приходит к выводу, что «только искусство с его волшебными средствами способно в музыке, в красках, художественным словом повторить ушедшие в прошлое яркие картины жизни...»

Нельзя прочесть эти строки без некоторого чувства смущения.

Да, замечательный роман Ажаева выполнил именно ту задачу, которую никакими докладами не заменишь. Он действительно дал всему народу тот отчёт о строителях нефтепровода, отчёт, о котором мечтают Батманов и Ковшов.

Но зачем же автору напрашиваться на этот вывод?

И удобно ли при таком повороте мысли говорить о «волшебных средствах искусства»?

Но те слабости романа, которые правильнее было бы называть не недостатками, а излишками, вызывают только чувство досады. Ведь они могли быть устранены с помощью несложных операций, одними только ножницами. Чувство же неудовлетворённой потребности вызывается у читателя теми недостатками, которые сказываются в неполноте художественных образов.

Мы ощущаем в романе не только его лишние страницы, но и недостающие.

Как углубилась бы тема романа Ажаева, если бы в нём нашла своё выражение большая, страстная любовь. Любовь, которая озарила бы своим золотым лучом интеллектуальную природу романа, влила бы в его «поэзию убеждённости» свою непостижимую песню.

Эта любовь названа в романе. Имя её — Беридзе — Таня. Названа, указана та самая, казалось бы настоящая любовь, которая, по словам Батманова, имеет значение для всей жизни человека.

Но нам не открылся её всегда новый, всегда удивительный мир. Читатель не смог приобщиться к чувству, которое для всякой живой души не только в действительной жизни, но и в поэзии обладает такой пленительной силой.

Ажаев словно побаивается щепетильной сферы интимных чувств.

Так «случилось», что мы не видим Батманова с Анной, Ковшова с Зиной, Умару Магомета с его невестой — все разлучены войной. Разлучены фактически и работающие на одном строительстве Рогов с Ольгой и Беридзе с Таней.

В этой разлуке всех без исключения пар повинна, нам кажется, не только война. В известной мере здесь сказывается и произвол автора. Не случайно прудовые гражданские отношения героев романа неизбежно приводят их к очным ставкам, а их частная жизнь выражается главным образом в заочных отношениях. Если в деловых отношениях мы видим, как сближаются или отчуждаются люди изо дня в день, и улавливаем немало характерных и тонких деталей этого процесса, то в выражении интимных чувств они упрощены, обеднены романтической экзальтацией, тяготеющей к крайностям.

Слишком резко и, мы сказали бы, примитивно обозначено то, что хотелось бы постигнуть, как жизнь чувства.

Не находя на своей палитре тончайших оттенков, способных передать трудно уловимые движения сокровенного чувства, автор избегает в этой сфере обыкновенного, повседневного, вернее, не надеется открыть необыкновенное в «буднях» любви, и почти всюду, где ему надо говорить «про это», — как художник, ищет спасения в событиях, которые ставят любящих в исключительные положения.

Зина, которой так верен Алексей Ковшов, «гибнет» на фронте, выполняя опасное поручение в тылу у противника, и мы видим, как Алексей, потеряв голову от горя, бежит в чащу. Ветви кустарника цепляются за его руки, плечи. Огромная дикая кошка уже приготовилась для прыжка и растерзала бы его, если бы не меткий выстрел Карпова, который незаметно следовал за обезумевшим Ковшовым, очевидно понимая, что без дикого зверя эта драма не будет достаточно полна. Вскоре после «случайного» спасения Ковшова оказывается, что жива и Зина. «Зина вернулась» — так неловко и названа соответствующая глава романа.

Дело, конечно, не в том, что потрясение Ковшова было вызвано неверными сведениями. Подобные ошибки случались во время войны. Но ни переживания Алексея, ни сочувствие и поддержка коллектива, когда трасса от края до края вместе с Ковшовым слушает письмо о гибели Зины, не могут возместить жизни чувства любви в его движении.

К исключительным обстоятельствам прибегает Ажаев и для того, чтобы завершить линию отношений Беридзе с Таней. До этого мы были свидетелями одного резкого, грубоватого порыва Беридзе и охватившей его после этого случая робости, которую он испытывал при каждой встрече с Таней. Робость — верный признак любви. Она тем сильнее, чем сильнее любовь. И больше всего её испытывают цельные, сильные и смелые люди, которые во всех других отношениях полны веры в свои силы и всегда активны.

Но за этой робостью таится беспокойный мир сложных, постоянно сменяющихся ощущений. Без проникновения в этот мир

робость сама по себе окажется для нас лишь ощутительной пустотой.

Именно потому, что линия отношений Беридзе и Тани не имеет развития и на всём своём протяжении рвётся, утрачивая даже пунктирный след, её нельзя естественно завершить в конце романа, и приходится прибегнуть к помощи резкого поворота событий.

Таня тоже «гибнет». И мы видим Беридзе отчаявшегося, онемевшего, потерявшего смысл жизни. Но и Таня, как и Зина, оказывается жива. (Эти «чрезвычайные случайности и случайные чрезвычайности» следуют одно за другим!) И только теперь, почти на смертном одре, Таня обращается к Беридзе, как к своему. «Со стоном она открыла глаза, увидела Беридзе и рванулась к нему. — Жив... Жив!.. Георгий... Как я счастлива... Не дай теперь мне умереть, — шептала Таня, в каком-то иступлении, лаская лицо Беридзе пылающими руками».

Художественной достоверности, то есть той глубокой правды, благодаря которой мы в одном и единственно возможном решающем движении чувствуем всё, что его породило, всё, что в нём накопилось, — здесь нет. Слова Тани не легко произнести. И слишком легко их найти. Они подсказаны автору разумом, а не сердцем. Одно слабое движение, одна улыбка обессиленной Тани, одна слеза в глазах её, обращённых с надеждой к Беридзе, сказали бы нам о её счастье гораздо больше, чем эти трезвые, хотя и произнесённые в иступлении слова.

На очень высоких нотах почти всегда теряется тембр голоса.

Правда, в исключительных обстоятельствах порой проверяется сила любви, но только в естественных условиях звучит её музыка, которую должны же были слышать в себе столь одарённые натуры, как Беридзе и Таня.

Не потому ли образ Тани Васильченко, такой новый и многообещающий, когда она, придя на лыжах из дальнего участка строительства, появляется в управлении как «гостья с повадками хозяйки», — в дальнейшем далеко не полностью удовлетворяет повышенный интерес к ней читателя.

Полемический задор автора, а не душевная сила его героя слышится в словах Беридзе к Ковшову:

«— Тебе, наверно, тоже приходилось слышать рассуждения досужих людей: «Эти, теперешние, не умеют по-человечески любить»... Мы только не умираем из-за любви! Мы горы переворачиваем из-за неё! Мы сильнее, и лучше, и чище становимся из-за любви!»

Та же мысль без восклицательных знаков в устах Батманова была сильной и глубокой. Здесь же — поверхностная, без подводного течения, декларативно крикливая, она заглушает своё собственное содержание и обращает истину в фальшь.

Отношение к любви не может заменить отношения к любимому существу, то есть самой любви.

Эта подмена моментами подводит Ажаева даже там, где ему удалось передать жизнь чувства любви. Отношения Жени Козловой к Алексею не могут не волновать нас. Но вот в момент, когда Женя увидела Алексея, потрясённого горем, и прониклась к нему невыразимой жалостью, Ажаев пишет:

«Жалость, как и всякое другое человеческое чувство, многогранна. Иногда она равна презрению. Часто унижает того, кому адресована. Но жалость любящего человека, обращённая к любимому, — великое и могучее чувство. Охваченная таким чувством, Женя кинулась к Алексею...»

Непонятно, как мог автор остановить биение любящего сердца, чтобы вставить свой дидактический анализ чувства жалости! Это холодное поучение невольно напоминает нам невероятно рассудочный, аналитический стиль исповеди Батманова перед Залкиндом в конце первой книги.

Мы затрагиваем вопрос, имеющий отношение не только к образам Беридзе и Тани, но ко всему произведению в целом. Многие читатели не могли не обратить внимания на то, что общественные отношения героев «Далеко от Москвы» выражены сложнее, глубже, правдивее, чем частные.

Вскользь это было отмечено и критикой.

Нам хотелось поставить вопрос об этой эстетической особенности романа в тесную связь с идейной борьбой Ажаева за полноценного человека, за «человека вполне». Поняв значение любви для всей жизни человека так глубоко, как это понимали великие поэты, не трудно понять и то, какое огромное значение имеет для

полноты художественного выражения этой идеи сама поэзия любви.

С этой точки зрения сильные и слабые стороны Ажаева выступают как противоречия, разрешение которых необходимо для дальнейшего развития писателя.

Сердце и разум, стремление обрести их нарушенное равновесие — эта проблема Батманова, очевидно, не может не беспокоить и самого Ажаева. Есть в ней для писателя что-то своё, личное.

Несомненно, что новаторская сила романа была бы значительно более устойчивой, если бы он по-своему претворил в себе глубокую проникновенность классической русской литературы, которая была властительницей дум не только потому, что всеми силами приближала будущее, но и потому, что умела проникать в тончайшие извилины мысли человека и улавливать сокровенные движения его внутреннего мира.

Утончённая культура психологического анализа в прошлом была, конечно, результатом глубокого самосозерцания писателя, неутомимого наблюдения его над самим собой, вполне естественного для времени, когда поэзия была призвана отразить в себе все муки, надежды, сомнения пленённого человека, безысходно метавшегося в поисках свободы.

Советская литература не знает скрупулёзного, изощрённого психологического анализа. Однако, если героя нашего времени характеризует прежде всего борьба, действие, то это вовсе не значит, что постоянный, глубоко скрытый процесс душевного созревания сил человека для него утрачивает своё значение.

О роли, которая играет для художника способность к самоуглублению, Чернышевский писал:

«Законы человеческого действия, игру страстей, сцепление событий, слияние обстоятельств и отношений мы можем изучать, внимательно наблюдая других людей; но всё знание, приобретаемое этим путём, не будет иметь ни глубины, ни точности, если мы не изучим сокровеннейших законов психической жизни, игра которых открыта перед нами только в нашем (собственном) самосознании. Кто не изучил человека в самом себе, никогда не достигнет глубокого знания людей».

Изучение «тайны жизни человеческого духа в самом себе», подчёркивает Черны-

шевский, драгоценно не только тем, что даёт возможность писателю писать «картины внутренних движений человеческой мысли», но ещё больше тем, что даёт «прочную основу для изучения человеческой жизни вообще, для разгадывания характеров и пружин действия, борьбы страстей и впечатлений».

Для молодых писателей, которые всё чаще и чаще приходят со своим словом из самой гущи народной жизни, которые много видели, пережили и передумали, очень остро ощущают советскую новь и пишут свои первые книги чуть ли не со стихийным порывом, — большое значение имеет развитие той самой сокровенной стороны таланта, в котором Чернышевский видел прочную основу для изучения человеческой жизни вообще.

Роман Ажаева сталкивает нас с этой проблемой именно потому, что прорвавшаяся в него бурным потоком широкая, многоликая жизнь советского народа является вместе с тем выражением субъективной, личной темы автора. Но там, где большая правда жизни говорит о себе не с чужого голоса и горит неподдельным пафосом страданного убеждения, — там она становится так близка и дорога нам, что сама же порождает потребность ещё большего сближения с ней.

Узнав героев романа Ажаева в важнейшие и интереснейшие моменты их жизни, читатель уже не может удовлетвориться этим и хочет, чтобы их нравственные силы открывались его взору не только тогда, когда они уже обнаруживаются в действиях и суждениях, как результаты внутренней жизни, но и в таинственном процессе зарождения и развития мыслей и чувств во всеми трудно уловимыми переходами и ассоциациями этого процесса.

«Далеко от Москвы» — открытая книга для критики. Всё в ней резко, отчётливо, броско. И сильные, и слабые стороны. Поэтому и суждение о её достоинствах и недостатках неизбежно становится также контрастным. Но если мы теперь, познакомившись детально с её содержанием, отделимся от этой широкой картины созидательного боя и бросим на неё общий взгляд, то увидим, как за исчезающими подробностями встаёт то главное в романе «Далеко от Москвы», что определило вид-

нейшее место, которое он занял в послевоенной советской прозе.

В чём же, в конечном итоге, выражается эта заразительная сила книги Ажаева? В том ли, что мы не можем не залюбоваться людьми, охваченными в самых тяжёлых испытаниях «восторгом деланья», бросившимися в атаку на непреступную природу самозабвенно, с размахом смелой новаторской мысли, с благородным, полным глубокого чувства ответственности риском, с презрением ко всякого рода нормам, авторитетам, предрассудкам и пережиткам прошлого, мешающим выполнить в один год то, для чего косная эпигонская мысль требовала трёх лет? В том ли, что мы настолько были вовлечены в трудовую жизнь героев, что душой и, кажется, даже телом своим прожили их жизнь? Нет, в любви, соучастии и в слиянии ещё не называется животворная сила патристического романа Ажаева. А заключается она в чувстве, которое мы уносим с собой, «освобождаясь» от этого замкнутого в себе, отражённого мира, возвращаясь из него в свой реальный мир, в текущую действительность, в собственный свой, многообразный и у каждого чем-то отличный быт.

Чувство это может быть выражено в двух словах: хочется работать.

Хочется работать смелее, напряжённее прежнего, бороться, побеждая трудности по пути наибольшего сопротивления, — вот что чувствуешь, оставляя книгу Ажаева. Она вызывает прилив сил, активизирует творческую энергию у множества людей, как бы ни были различны их возможности и дороб-

ги и независимо от того, впереди или позади строителей нефтепровода стоят они в своём умении строить новую жизнь. И именно в этом лучшее доказательство того, что труд уже завоёван как предмет поэзии.

Наша литература находится на подступах к великим стройкам коммунизма. Хорошо чувствуя своё главное направление, она мобилизует силы для предстоящих ей подвигов. Всеми взорами своими она уже обращена туда, где взойдёт солнце завтрашнего дня. Там, на берегах Волги и Амударьи, Дона и Днепра, в грандиозных сражениях с вековыми стихиями свершится новое движение советских людей вперёд, во всех областях общественной и личной жизни.

Но как бы далеко герои этого ещё не рождённого эпоса ни оставили позади себя ажаевских богатырей, битва на Адуне, выигранная нашей литературой, сохранит для дальнейших побед значение решающего штурма.

Много есть в нашей послевоенной прозе произведений, которые в различных, весьма важных отношениях — но не в самом главном! — стоят выше романа «Далеко от Москвы». И все они своими лучшими сторонами участвуют в становлении социалистической поэтики труда. Но именно этот роман является сейчас ключевой позицией на важнейшем, трудовом фронте советской литературы. От него идёт прямая дорога поэзии к великим стройкам коммунизма.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Н. Онуфриев.** Изучение литературного наследства Белинского.— **А. Тарасенков.** Судьба рабочего поэта.— **Е. Городецкая.** На краю земли.— **С. Смирнов.** «Почему?» — **А. Турков.** Об одной типичной ошибке.— **Я. Фрид.** Ворцы народной Италии.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Б. Леонтьев.** Могучее движение наших дней.— Полковник **М. Толчёнов.** Американская политика агрессии и предательства.— **Вал. Зорин.** Идеи, которых не упрятать за решётку.— **Д. Лебедев.** Русские первооткрыватели.— Доктор медицинских наук **С. Касаткин.** Основоположник научной анатомии.

## Литература и искусство

### Изучение литературного наследства Белинского

Обычно в сборниках «Литературное наследство» наибольшую ценность представляют публикации новых документов, обнаруженных в архивах. В томах, посвящённых Белинскому, напечатано немало вновь найденных материалов, мимо которых отныне не сможет пройти ни один исследователь творчества великого критика. Интересны эти публикации и для широкого круга читателей, изучающих историю литературы.

В 55, 56 и 57-м томах «Литературного наследства» напечатаны тексты статей и рецензий, принадлежащих перу Белинского и ранее не известных. Здесь опубликованы вновь найденные письма критика и выдержки из писем различных лиц к Белинскому, также нигде раньше не печатавшихся. Все эти материалы значительно обогащают наши знания о Белинском, помогают уточнить многие факты из его биографии.

«Литературное наследство», т. 55. В. Г. Белинский, I, главный редактор П. Лебедев-Полянский, М. 1948.

«Литературное наследство», т. 56. В. Г. Белинский, II, главный редактор А. Еголин, М. 1950.

«Литературное наследство», т. 57. В. Г. Белинский, III, главный редактор А. Еголин, М. 1951.

Вновь публикуемые статьи и рецензии извлечены из таких изданий, как «Молва», «Литературная газета», «Отечественные записки», «Современник», где все они были напечатаны без подписи. В связи с этим особое значение приобретает вопрос об аргументации, при помощи которой доказывается, что перепечатанные ныне в «Литературном наследстве» работы действительно принадлежат Белинскому. К сожалению, в ряде случаев публикаторы применяют настолько малоубедительные доказательства авторства Белинского, что возникает сомнение: не допущена ли в этом деле ненужная поспешность? Не лучше ли было бы редакции «Литературного наследства» прежде, чем приписать перу Белинского ту или иную статью или рецензию, предварительно более тщательно проверить все данные, относящиеся к публикуемому материалу? Пока, как видно, редакция «Литературного наследства» помещает сообщения об установлении авторства Белинского без достаточной проверки их справедливости. В 57-м томе, например, в разделе «Трибуна» развернулась целая дискуссия по вопросу о принадлежности Белинскому ряда рецензий, недавно отне-

сённых разными публикаторами (в том числе и публикаторами «Литературного наследства») к наследию критика. Довольно убедительно здесь устанавливается ошибочность рассуждений некоторых исследователей текста Белинского.

Об одной рецензии, приписанной Л. Ланским Белинскому, редакции «Литературного наследства» даже пришлось напечатать новую статью, в которой она признала ошибочность метода, применённого Л. Ланским, и заявила, что рецензия, найденная Л. Ланским, не может принадлежать Белинскому. Почему же редакция не разобралась в статье Л. Ланского ещё до публикации её? Ведь речь идёт не о пустяках, а о серьёзном деле. В той рецензии, которую Л. Ланский приписал Белинскому, равнодушно говорилось о дискуссии среди учёных по вопросу о происхождении «Слова о полку Игореве». Комментируя эту заметку, Л. Ланский заявил, что Белинский якобы не был уверен в русском происхождении этого памятника и поэтому так спокойно говорил в рецензии о спорах по этому вопросу.

Между тем Белинский никогда не сомневался в русском происхождении памятника. Таким образом, лишь исказив точку зрения Белинского на «Слово», можно было утверждать авторство Белинского по отношению к данной рецензии.

Другим примером легкомысленного отношения редакции «Литературного наследства» к публикуемым материалам является напечатанная в 55-м томе заметка из «Отечественных записок» об издании И. Эйнерлингом карамзинской «Истории государства Российского». В заметке говорится, что труд Карамзина «снискивает себе более и более похвалы в публике». Публикуя эту заметку, Ю. Масанов считает её принадлежащей перу Белинского, ибо, как он пишет в комментариях, «История государства Российского» Н. М. Карамзина пользовалась особыми симпатиями Белинского». Характеристика отношения Белинского к историческому труду Карамзина, в котором прославлялся монархический принцип, искажает взгляды критика.

В действительности исторический труд Карамзина не пользовался симпатиями Белинского. Работа Карамзина, — писал Белинский в одной из статей цикла «Сочинения Александра Пушкина», — «не есть

история России: это скорее история Московского государства, ошибочно принятого историком за какой-то высший идеал всякого государства». Критик положительно отзывался о работе Карамзина лишь в том смысле, что эта работа была в своё время первым опытом подобного рода. Идейное же содержание книги Карамзина осуждалось Белинским в формах, доступных в подцензурной статье. В связи с этим естественно возникает сомнение в том, что Белинский был автором заметки, содержащей противоположные взгляды на книгу Карамзина.

Наличие подобного рода фактов заставляет насторожённо относиться к ряду публикаций, сделанных в «Литературном наследстве».

Публикация писем более обдуманна, но и здесь, к сожалению, не обошлось без ошибок.

Среди писем, воспоминаний и выдержек из печатных статей почему-то опубликованы в 56-м томе вздорные и злобные измышления врагов Белинского. Например, некий Барановский в письме к одному из своих знакомых наговорил много всякого рода гнусностей и о Белинском, и о Крылове, а редакция «Литературного наследства» не только считает возможным обнародовать эти измышления, но ещё и отмечает в комментариях их меткость и остроумие.

В этом же томе неизвестно зачем публикуются полные злобы выпады против Белинского К. Аксакова, П. Плетнёва. Тут же напечатаны сетования какого-то монархиста на судьбу журнала «Современник», перешедшего в руки Некрасова и Белинского. Подробно воспроизводятся клеветнические вымыслы реакционера Де-Пуле о взаимоотношениях Белинского и Кольцова. Не к чему было А. Дубовикову в своей ценной публикации нового, неизвестного текста статьи Белинского «Парижские тайны» воспроизводить пафосные замечания немецкого критика Липперта о Белинском.

Стремление вводить подобного рода материал в обиход научного изучения Белинского ничем не оправдано. Оно может быть воспринято лишь как дань буржуазному объективизму. Научную ценность представляет не коллекция высказываний реакционеров о Белинском, а те действительно важные сообщения, которые печат-

тают М. Малова, М. Алексеев, Л. Ланский, Р. Карлина, приводящие в своих обзорах неизвестные отзывы о Белинском передовой русской и зарубежной интеллигенции.

М. Малова публикует два письма И. А. Гончарова с характеристиками Белинского. Эти письма дополняют высказывания Гончарова о Белинском, известные из его статьи «Заметки о личности Белинского». Гончаров в этих письмах блестяще осмеял горе-теоретиков, пустивших в обиход глупую выдумку о Белинском как недоучке.

Сравнивая этих пасквильянтов с Белинским, Гончаров писал, что у них «сottoй доли не было его знаний», не говоря уже о публицистической страстности и живом интересе Белинского к острым вопросам современности. Как пишет Гончаров, Белинский не усидел бы... «ни в академии, ни на кафедре, ни даже у себя в кабинете, если бы туда не врвалась к нему свежая струя текущей жизни и шумная толпа симпатичных ему людей. Он жил участь, за пером и в живых схватках с противниками...»

М. Алексеев сообщает ценные данные о переводе на немецкий язык и перепечатке ещё при жизни критика его статей о Пушкине в славянском журнале «Летописи славянской литературы, искусства и науки», выпускавшемся в Лейпциге на немецком языке, а также об издании этих статей тогда же отдельной книгой.

Л. Ланский в своей статье «Отзывы о Белинском в «La revue indépendante» приводит первые отзывы радикальной французской печати 40-х годов прошлого столетия о работах Белинского.

В статье Р. Карлиной «Белинский и японская литература» убедительно показано влияние идей Белинского, Добролюбова и Чернышевского на литературные воззрения и творчество японского писателя Фатабатэй Симэй (Хасэгава Тацуносукэ), основоположника реалистического направления в японской литературе.

Обращают на себя внимание ценные материалы и соображения, содержащиеся в статьях Г. Черёмина «К истории текста четырёх статей Белинского о народной поэзии», А. Дубовикова «Новое о статье Белинского «Парижские тайны», Л. Ланского «К критике первопечатных текстов» сочинений Белинского».

Г. Черёмин выдвинул в своей статье очень важный вопрос о необходимости при издании сочинений Белинского устранить искажения, внесённые в работы критика различными редакторами. Разбирая рукописные и печатные варианты статей Белинского о народной поэзии, Г. Черёмин установил, что редакторы Краевский, Кетчер, Венгеров, не считаясь с волей автора, искажали его статьи, выхолащивали из них острое социальное содержание и придавали им либеральный оттенок, вовсе не свойственный Белинскому.

Институт русской литературы Академии наук СССР, на который возложена подготовка первого советского полного собрания сочинений Белинского, должен тщательно разобратся при подготовке текста сочинений в истории публикации этих текстов. Сочинения Белинского надо издать по проверенным текстам, с учётом последнего авторского варианта, без тех искажений, которые вносились в работы критика цензурой и различными редакторами.

А. Дубовиков обнаружил в одном из номеров немецкой «Газеты для эlegantного мира» (за август 1844 года) перевод статьи Белинского «Парижские тайны». Оказалось, что этот перевод гораздо полнее известного нам текста и был сделан, как видно, или с рукописи, или же с корректурного оттиска, не прошедшего через цензуру. Найденный немецкий перевод помогает восстановить статью «Парижские тайны» в её подлинном виде. В вычеркнутых цензурой абзацах статьи Белинского содержатся ценнейшие высказывания Белинского о французской революции 1830 года и о роли буржуазии. Белинский писал, например: «человек-собственник одержим злым гением стяжательства. Вся его жизнь — это непрерывная азартная игра... Ажютаж, оппозиция в палате, подкуп избирателей, покровительство эфемерной власти, от которой зависит раздача выгодных должностей — всё это зелёный стол, на который он ставит свой капитал. Неутолимая жажда собственности, ненасытный волчий голод по золоту составляет единственный пафос в жизни богачей, которые всегда хотят стать ещё богаче... Отсюда можно сделать заключение о нравственном уровне общества. Там всё продажно, от голоса до срести, там нет никакой другой веры, кроме веры во власть денег».

Белинский даёт здесь характеристику капиталистического общества, не утратившую своего значения и в наши дни.

Большой интерес представляют статьи «К вопросу о политическом завещании Белинского» Д. Заславского (т. 55) и «Письмо Белинского к Гоголю» К. Богасвской (т. 56). В этих статьях воспроизведена историческая и литературная обстановка, в которой было написано знаменитое письмо критика к Гоголю, рассказывается о нелегальном распространении этого письма, о многочисленных его списках. При изучении различных вариантов письма К. Богасвская пришла к выводу, что наиболее полным и свободным от ошибок переписчиков является список, обнаруженный в 1947 году в фондах Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Текст этот публикуется в том же томе «Литературного наследства».

В рецензируемых томах помещено несколько обзоров и описаний литературного наследия Белинского, дающих большой фактический материал для изучения жизни и деятельности критика. В томе 55-м напечатано описание книг библиотеки Белинского, в томе 56-м помещён критико-библиографический обзор изданий его писем, в 57-м — очерк «Памятные места в Москве и Ленинграде, связанные с Белинским», библиографический указатель сочинений Белинского и литературы о нём; здесь же напечатана статья Р. Заборовой об ошибках, вкрапившихся в описание рукописей Белинского.

В томах «Литературного наследства», посвящённых Белинскому, опубликован также ряд статей и заметок, касающихся как его биографии, так и отдельных его работ (статья М. Полякова — «Студенческие годы Белинского», публикация М. Барановской — «Из воспоминаний Н. В. Беклемищева о Мочалове и Белинском» и др.). Как правило, в этих статьях также приводятся ранее не известные или мало известные материалы о Белинском.

Но в «Литературном наследстве» есть и другого рода материалы. В томе 55-м напечатан цикл статей обзорного характера, в которых даётся характеристика различных сторон деятельности Белинского. В этих статьях есть ценные выводы и заключения по затрагиваемым вопросам. Однако в целом они в теоретическом отно-

шении значительно ниже той части «Литературного наследства», где публикуются исследования, основанные на новых архивных материалах. Более того, нужно отметить, что в ряде статей наличествуют перепевы взглядов на Белинского, рождённых ещё в недрах буржуазной историографии и давно раскритикованных в нашей печати.

А. Лаврецкий в статье «О мировом значении критики Белинского» поставил себе цель — показать величие теоретической мысли Белинского в сравнении с идеалистической зарубежной эстетикой того времени. В известной степени автор успешно справился с этой задачей, показывая, как теория реализма, разработанная Белинским, опередила тогда западноевропейскую критику. Однако А. Лаврецкому не удалось дать подлинную картину мирового значения взглядов Белинского, поскольку он допустил ошибки в определении сущности эстетических взглядов Белинского. Так, например, А. Лаврецкий видит заслугу Белинского не в том, что он способствовал укреплению связи литературы с освободительным, антикрепостническим движением, а лишь в распространении идей гуманизма и просветительства. А. Лаврецкий пишет о Белинском: «Ему Россия в громадной мере обязана тем, что литература стала в ней такой просветительной и гуманизирующей силой, как ни в одной другой стране».

А. Лаврецкий считает, что эстетические взгляды критика были неизменными и не зависели якобы от его общественных, философских взглядов. «Пережитые Белинским духовные кризисы, — пишет А. Лаврецкий, — никогда не могли заставить его хоть сколько-нибудь отступить от реалистической идеи в искусстве». А. Лаврецкий забывает, что наиболее глубокие литературные выводы Белинского находятся в прямой связи с его революционными идеями. Белинский прошёл сложный путь развития, и он не сразу выступил вполне сложившимся критиком-революционером. Не секрет, что его литературные взгляды в 30-х и в 40-х годах — не одно и то же.

Ошибочный вывод А. Лаврецкого о неизменности эстетических взглядов Белинского в разные периоды его жизни повторяет М. Азадовский в статье «Белинский и русская народная поэзия».

Автор справедливо критикует неверную точку зрения, широко распространённую в буржуазной историографии, согласно которой Белинский будто бы недооценивал роль народного творчества. Однако М. Азадовскому не удалось правильно раскрыть концепцию Белинского по этому вопросу. Высказывания критика о фольклоре представлены в его статье в хаотическом виде, без должной, правильной оценки.

М. Азадовский считает, что взгляды Белинского на народное творчество были в своей основе изложены им ещё в статье «Литературные мечтания». Однако в статье «Литературные мечтания» развёрнутой системы взглядов критика на фольклор мы не найдём. Система взглядов на фольклор сложилась у Белинского не в 30-х годах, а позднее. В 30-е годы, в пору так называемого абстрактного героизма, Белинский мало внимания уделял конкретным явлениям народной поэзии и не смог пойти дальше самых общих определений её роли в общественной жизни. При этом он больше говорит о том, в чём отличие фольклора от литературы, нежели о том, что сближает его с ней. В 40-х годах он иначе подошёл к оценке народной поэзии. Для зрелого Белинского народная поэзия — уже не абстрактная категория, а конкретный материал, в котором он видит картину русской жизни, выражение «исполнительской силы», таящейся в русском народе, «широкий размёт богатырской души» народа, залог его великого будущего. Но Белинский допускал и в этот период в оценке фольклора ошибки. Например, он явно недооценивал сказки Пушкина, усматривая в них результат ложного стремления к народности и не считая народное творчество одним из истоков творчества поэта. М. Азадовский отмечает этот факт отрицательного отношения Белинского к сказкам Пушкина, но, вместо указания на его ошибочность, почему-то ограничивается лишь пересказом взглядов критика.

Сущность принципа народности у Белинского не в том, что критик разграничивает понятия «народность» и «национальность», — как пишет М. Азадовский. Подобное разграничение имело у него место в ранние годы; позднее он осознал ошибочность такого противопоставления, чего не замечает М. Азадовский.

В «Литературных мечтаниях» Белинский считает цветом нации «общество», дворянство. Эту ошибку он позднее исправляет и, например, в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» он пишет уже иначе: «Хороша была бы французская нация, если бы о ней стали судить по развратному дворянству времён Людовика XV-го! Этот пример указывает, что меньшинство скорее может выражать собою более дурные, нежели хорошие стороны национальности народа... Это видим мы и в современной нам Франции в лице *bourgeoisie*». По М. Азадовскому же получается, что Белинский неизменно высоко ценил дворянство, отводил ему в истории ведущую роль, а в народе видел силу «охранительную», «консервативную».

Так незаметно Белинский превращён в статье М. Азадовского из демократа в дюжинного либерала.

В статьях П. Беркова «Белинский и классицизм», Л. Гинзбург «Белинский в борьбе с романтическим идеализмом» поставлены очень важные вопросы об отношении Белинского к литературным течениям XVIII и начала XIX века.

П. Берков отмечает восторженное отношение Белинского к античному искусству, в котором он видел отражение республиканских демократических идей той эпохи, а также «неприятель великого критика к французскому и русскому классицизму», неприятель, объясняющийся тем, что критик обнаружил во французском классицизме и у его русских подражателей дух аристократизма. После этой правильной характеристики взглядов Белинского автор делает попытку доказать, что якобы в 40-е годы критик пересмотрел свою точку зрения и пришёл к выводу об исторической закономерности и необходимости появления классицизма. П. Берков утверждает, что будто бы Белинский в 40-е годы стал связывать классицизм с идеями французской революции, а подражание французскому классицизму в России объяснял необходимостью приобщения нашей литературы к европейской культуре.

В действительности же Белинский рассматривал классицизм в его конкретной, исторической форме и поэтому сумел вскрыть классовую сущность классицизма, как эстетики, отвечающей вкусам и интересам господствующих классов. Вопреки

мнению П. Беркова, он не изменил до конца жизни эту точку зрения. Хорошо понимая идеологическую природу эстетики французского классицизма, Белинский естественно давал ему отрицательную оценку, что, однако, не мешало ему видеть и элементы реализма в этом течении.

Не может не вызвать самые резкие возражения статья Л. Гинзбург, в которой поставлен вопрос об отношении Белинского к романтизму. Л. Гинзбург рассматривает романтизм как единое течение — «романтический идеализм», которое в русских условиях попеременно меняло свои функции: то оно являлось антиреволюционным (эпоха декабризма), то революционным (30-е годы), то вновь становилось антиреволюционным (40-е годы). Эти изменения функций романтизма Л. Гинзбург связывает с настроениями дворянской интеллигенции. Что же касается политического лица интеллигенции, то, по мнению Л. Гинзбург, никакого идеологического расслоения в её среде в годы николаевской реакции не было, и она будто бы была тогда настроена революционно. «В 30-х... годах для дворянской интеллигенции характерен вынужденный отказ от политической активности, но отнюдь ещё не характерно добродетельство в поддержке охранительных начал», — пишет автор. Политическое размежевание среди интеллигенции Л. Гинзбург относит к 40-м годам. Несостоятельность подобных утверждений очевидна.

Ошибочное понимание романтизма как «единого потока» привело автора статьи к ряду других ошибок.

Л. Гинзбург считает, что Белинский в 40-х годах вообще отрицательно относился к романтизму. Однако Белинский не всякий романтизм исключает из литературы, ибо, как он писал, «романтизм есть вечная потребность духовной природы человека». Романтике Жуковского критик противопоставляет романтику пушкинской поэзии, имеющей свои истоки в реальной русской жизни и органически слитой с реализмом. Известно также, что Белинский высоко ценил романтические произведения Лермонтова, с их культом свободы и сильного характера человека. Следова-

но, Белинский вёл борьбу не вообще с романтизмом, как утверждает Л. Гинзбург, но лишь с реакционным романтизмом.

Для Белинского и литература и критика были политической трибуной. Свои взгляды он вырабатывал и защищал в борьбе с реакционным лагерем. Только учитывая эту замечательную особенность критика, можно правильно объяснить то или иное его решение. К сожалению, в названных выше статьях Белинский представлен скорее кабинетным мыслителем, сухим теоретиком, оторванным от жизни, нежели страстным трибуном, каким он был в действительности.

В «Литературном наследстве» опубликована статья И. Сергиевского «Борьба за наследие Белинского», в которой автор даёт интересный, хотя и краткий обзор борьбы вокруг наследия Белинского между реакционным, либеральным лагерем — с одной стороны, и прогрессивной печатью — с другой. Содержательна статья Н. Мордовченко «Белинский в борьбе за натуральную школу».

Даже краткий обзор содержания теоретических статей, помещённых в «Литературном наследстве», показывает, что в них наличествует пестрота исходных методологических принципов, разногласия в трактовке важнейших вопросов наследия Белинского, допущены ошибки в истолковании взглядов великого критика. Думается, что причиной этого явилась неорганизованность в работе редакции «Литературного наследства», отсутствие должного критического отношения редакции к публикуемым работам, ограничение состава сотрудников издания узким кругом лиц, неумение организовать широкое предварительное обсуждение намеченных к печати материалов.

Что же касается общей оценки рецензируемых томов «Литературного наследства», то следует сказать, что в той части, где публикуются новые материалы о Белинском и исследования, основанные на этих материалах, эти тома представляют несомненно большую научную ценность.

**Н. ОНУФРИЕВ.**

## Судьба рабочего поэта

В сознании и памяти народа живёт немало песен и стихов, сложенных совсем не известными авторами. Их имена не вошли в историю литературы, их творчество полузабыто, книги их не переиздаются. Но кто же из русских людей не знает песни «Из-за острова на стрежень», которую почти семьдесят лет назад сложил безвестный Д. Н. Садовников; кого оставляли равнодушными слова песни забытого поэта Д. А. Клеменца о горькой доле, которая довела доброго молодца до Сибири, который «стороны родной лишился за крестьянский люд честной»; кто не певал или по крайней мере не слышал удивительных в своей горькой правде строчек поэта-самоучки П. Г. Горохова:

Измученный, истерзанный  
Работой трудовой,  
Идёт, как тень заgrabная,  
Наш брат мастеровой.

Эта песня, созданная в 1900 году, с такой силой выразила муки и страдания подневольного труда, что вполне достойна войти в хрестоматию русской поэзии. Рассказ о том, как измывается купец над рабочим, трудящимся человеком завершается строками, которые ударяют по сердцам поистине с «пронзительной» силой:

Придёшь в семью домашнюю,  
Заплачешь, как дитя.  
О, братцы, жить ведь хочется,  
А жить никак нельзя.

Жить никак нельзя! В этой фразе — такой сугубо житейской, такой подчёркнуто прозаичной — заключена неизбывная горечь, ни с чем не сравнимые страдания и ненависть к капиталистическому строю.

Автор этой песни никогда не выступал на широком литературном поприще, не выпустил ни одной книжки стихов, имя его известно лишь узкому кругу специалистов. На такое забвение, на такой бойкот обрекал писателей из народа режим буржуазной цензуры и буржуазного литературоведения.

До наших дней дожил один из многих поэтов-самоучек глухой поры самодержавия — Иван Абрамович Назаров, суздальский рабочий, силою своей энергии и непреклонного рабочего духа сумевший отстоять себя, отстоять свою жизнь и творчество от той рабской действительности, которая вся была направлена вразрез с благородными устремлениями рабочего человека. И как естественно, что именно этот поэт написал такие простые и проникновенные строчки о Сталине:

Вот он идёт по панели,  
Вдаль устремивши свой взгляд,  
В серой обычной шинели,  
Словно солдат.

Ласковый, добрый, сердечный,  
Вудто отец дорогой...  
Всё на нём просто. Конечно —  
Сам человек он простой.

(«Сталин»)

Стихи эти написаны И. А. Назаровым двадцать четыре года назад — в 1927 году. Просто странно, что они до сих пор не вошли в хрестоматии, даже не упомянуты в статьях и исследованиях, посвящённых образу вождя в художественной литературе. А какими простыми средствами, употреблёнными без всякой нарочитости, только потому, что иначе и не скажешь, добился И. А. Назаров художественного впечатления! Пожалуй, можно сказать, что обычное слово конечно сыграло здесь первенствующую роль. Попробуйте заменить это слово любым другим — и вы сразу почувствуете, как обеднел эмоциональный подтекст стихотворения, как уменьшилось его художественное обаяние. Значит, та словесная форма, которую избрал в данном случае поэт, — единственно возможная. А это говорит о том, что незатейливость и простота его художественных средств — понятие весьма условное, и за этой простотой стоит большая и упорная работа автора над словом.

Задуманность и искренность чувства, обнаруженные поэтом в этом маленьком стихотворении о Сталине, несомненны. Но особенно понятны в своих истоках они становятся тогда, когда познакомишься с биографией автора. Свои первые стихи Назаров написал в 1898 году — в том самом славном историческом году, когда из недр рабочего класса выдвинулась и сложилась партия Ленина — Сталина. Удивительное, но совсем не случайное совпадение!

Иван Назаров. Стихи и песни. Вступительная статья Эм. Казаневича. Редактор А. Фатьянов. Владимирское областное издательство, 1951.

Молодой поэт говорил:

Исходил я мест немало,  
Всюду ропот, стон,  
Всё во власти капитала —  
Сила и закон.

А народом управляет  
Грозный царь да штык..  
Ты когда ж, рабочий, будешь  
На земле велик?..

(«Встреча»)

Для того, чтобы не только получить ответ на этот вопрос, но и увидеть воплощение своей мечты, И. А. Назарову пришлось прожить большую, трудную жизнь. На своём собственном опыте он испытал, что такое капитализм, что такое прибавочная стоимость и эксплуатация. Выражаясь словами Горького, Назаров мог бы утверждать, что законы политэкономии он познал на собственной шкуре.

«Поэтическая деятельность Назарова, — пишет в своём предисловии Эм. Казакевич, — не могла не обратиться на себя внимания царских властей. Он был уволен с фабрики, поставлен под надзор полиции. «Владимирская газета», в которой активно сотрудничали Назаров и другие писатели из рабочих, была закрыта.

Но поэт продолжал свою работу и борьбу. Он не только писал стихи сам, но и организовывал издание произведений поэтов из народа, группировал их вокруг себя, редактировал сборники стихов начинающих рабочих поэтов, на собранные с трудом гроши издавал журналы и альманахи.

В альманахах и журналах, которые упоминает здесь Эм. Казакевич («Пробуждение» и др.), И. А. Назаров публиковал и свои и чужие стихи и рассказы. Многие из них были слабы с литературной точки зрения. Но примечательна была уже сама эта тяга к свету, к культуре, к знаниям, которые проявились в Назарове с такой незаурядной силой в глухие годы реакции, когда русскому рабочему было трудно не только писать стихи, но даже просто думать.

И. А. Назаров славил героиню 1905 года, так ярко выразившуюся в деяниях ивановских ткачей и рабочих близлежащих городов (Шуя, Суздаль и др.). Он сам принадлежал к этой рабочей семье и с полным правом говорил:

Мы без страха, без боязни  
Шли на пытки, шли на казни,  
На кровавый эшафот;

Мы из рук не выпускали  
Наше знамя, мы шагали  
Дальше, дальше, всё вперёд.

(«Из песен о свободе»)

Он писал о нужде и горе рабочего люда, он радостно приветствовал Великий Октябрь — ведь это было кровное дело его и ему подобных трудовых людей. Революция для И. А. Назарова — это песня, это свет, это счастье. Как же иначе и быть могло:

Я не пан, не дворянин,  
Я простой рабочий.  
Мой отец был селянин  
И весь род мой прочий.

Рано горе я узнал,  
С злой нуждой сдружился,  
Часто, бедный, голодал,  
На гроши учился.

А теперь в моей стране  
Сам народ — хозяин,  
С нами горя больше нет,  
Мы нужды не знаем, —

писал И. А. Назаров в 1922 году.

Поэт, начавший свою сознательную жизнь задолго до революции 1905 года, сумел откликнуться и на события Хасана, и на Великую Отечественную войну, и воспеть послевоенный труд советских людей, и найти гневные строки, направленные против современных происков Уолл-стрита, и сказать своё достойное слово в защиту мира во всём мире.

В маленькой, скромно изданной книжке стихов И. А. Назарова отразилась целая историческая эпоха, отразилась, конечно, не всеобъемлюще, а лишь в своих главных, определяющих чертах. Но, право, в самом этом факте чувствуется настоящее, неподдельное величие. Глубоким стариком написаны прочувствованные строчки о родной советской власти:

И живу, как все, счастливо  
Я, согретый ею..  
На детей своих люблюсь,  
Сердцем молодёю.  
Вышли в люди, чего прежде  
Им бы не добиться,  
Как же мне детьми такими,  
Милый, не гордиться?..

Жить, работать и бороться  
За страну свободы  
В молодые, золотые  
Сталинские годы!

(«Другу»)

Долгий век прожит И. А. Назаровым, прожит с чистой душой и открытым сердцем — и это придаёт его скромной стихотворной книжке неувыдаемую прелесть и благородство.

Далеко вперёд ушла советская поэзия с той поры, когда зачинал свои песни Назаров и другие рабочие поэты, не дожившие до наших дней, но шедшие той же, что и он, дорогой. Невиданное богатство тем и образов развернулось перед совет-

скими поэтами нашего времени. Им, шагнущим во главе с Маяковским в будущее, довелось сказать новое слово в истории поэтического развития человечества. Но гордо оглядывая всё завоёванное новым поколением, не будем забывать зачинателей и провозвестников этого нового, к немногочисленной семье которых принадлежит скромный семидесятирёхлетний суздальский поэт И. А. Назаров.

А. ТАРАСЕНКОВ.

★

### На краю земли

В глухой алтайской деревушке Тыже развёртывается действие повести Н. Дубова. Тыжа затерялась в дремучей тайге за высокими горами. Районный центр — далеко. Даже ближайшая школа-семилетка — в пяти километрах. И тем не менее эта деревушка тесно связана с большой жизнью советского государства.

В окрестностях Тыжи работает геолого-разведочная экспедиция. В самой деревушке люди — старики, молодёжь, пионеры — их воля, энергия находятся в постоянном движении, в состоянии всё возрастающей творческой активности. Построили в соседних Колтубах электростанцию — и сразу возникает идея провести от неё «линию жизни» в маленькую Тыжу. Удалось это первое совместное предприятие — тут же у старого охотника Захара Васильевича зарождается план организовать общими силами маральник (питомник для оленей). А кузнец Фёдор Елизарович уже поговаривает о том, что хорошо бы вообще слить оба колхоза в один...

Тыжа — не просто посёлок в 21 двор. Это живой маленький коллектив. Очевидно, желая дать нам почувствовать это возможно полнее, автор выводит в своей сравнительно небольшой повести много действующих лиц. Характеристики их подчас эскизные, но им нельзя отказать в меткости.

Только мельком, кое-где появляется в повести счетовод Березин, но как прекрасен открывающийся перед нами внутренний мир этого простого советского человека! Мы видим его благородную преданность колхозу, его большую умную любовь к сы-

ну, высокое представление об обязанностях сына в будущем и стремление достойно подготовить мальчика к этому будущему.

Кандидат геологических наук Михаил Александрович Рузов, или дядя Миша, как его называют дети, показан не только как энергичный, наблюдательный, образованный разведчик недр, но и как чуткий педагог. Наряду с качествами, которые дала ему профессия, мы ясно различаем в нём черты недавнего комсомольца, которому приходилось быть вожатым у пионеров.

В обаятельном образе Антона Горелова автор показал комсомольца, который всегда и везде помнит о своих общественных задачах и энергично добывается их осуществления. Антон подкупает своей живостью, непосредственностью, молодым задором.

В центре повести — дети. Конфликт между группой пионеров, возглавляемой Генькой Фроловым, и группой «диких» во главе с Васькой Щербатым — одна из основных сюжетных линий произведения. Генька Фролов — выразительный образ пионера, темпераментного, живого, упорного, рассудительного. Он храбр, сметлив, чуток. Все эти черты выступают не как механический набор положительных качеств, а живо и полно реализуются в поведении героя.

Главарь «диких» Васька Щербатый проходит трудный путь. Это самолюбивый, угрюмый, властный мальчик, требующий умелого и чуткого подхода. Его конфликт с группой пионеров, этапы развития этого конфликта показаны жизненно, убедительно. Васька и его компания перестраиваются не сразу, не легко. Постепенно приобщаясь к общественно-полезной работе, убеждаются

Н. Дубов. «На краю земли». Повесть. Ответственный редактор И. Кротова. Детгиз, М.—Л. 1951.

«Новый мир», № 9.

на деле в правоте пионеров, обезоруженные их неизменно внимательным говарищеским отношением, они теряют вкус к бессмысленному озорству, вовлекаются в жизнь коллектива.

Сильное впечатление оставляет картина снежного бурана, застигнувшего детей в пути. В эти минуты происходит окончательное примирение Васьки и Геньки, сознающих свою ответственность старших и наиболее сильных. Мужественный облик советских ребят, их самоотверженная готовность к взаимопомощи обрисованы в этой сцене с большой искренностью и выразительностью.

Деятельность юных героев повести тесно переплетается с жизнью всей деревни и колхоза. Коммунисты и беспартийные, комсомольцы и пионеры, колхозники, работники электростанции и школы — осуществляют каждое новое мероприятие совместными усилиями.

Спаянность старого и молодого поколения, особенно естественная в таких уголках, как Тыжа, — эта черта советского времени правильно отражена в повести.

Книга насыщена познавательным материалом, удачно введённым в повествование. Автор — хороший рассказчик, он умеет ярко описывать природу.

И всё же повесть «На краю земли» оставляет у читателя чувство некоторой неудовлетворённости. Бросается в глаза отсутствие цельности в композиции произведения. Первые десять глав, занимающие почти треть книги, посвящены встрече пионеров с геологом и описанию похода под его руководством. И вдруг, когда читатель уже утвердился в мысли, что он — в центре событий, составляющих основу сюжета книги, геолог бесследно исчезает. О работе экспедиции и её результатах больше не упоминается. Повествование распадается на множество отдельных зарисовок, частью интересных, а частью сделанных весьма бледно и поверхностно. Таковы выступление школьного кружка самодеятельности, военная игра пионеров, приём в комсомол и некоторые другие сцены. Подчас эти зарисовки производят впечатление непритязательно смонтированных, разрозненных заметок, а не звеньев цельного художественного произведения.

Не стоило бы так придирчиво указывать молодому писателю на композиционные неполадки его произведения, если бы они не

были тесно связаны с недостатками в раскрытии самой темы. Ведь геолог, конечно, не случайно очутился в окрестностях Тыжи. У него были товарищи. Ребята, которым его деятельность вначале показалась подозрительной, поймали его в момент, когда он передавал своей группе сигналы при помощи зеркальца. Исследования экспедиции дали, надо полагать, практические результаты, были связаны с промышленными планами, сыграли какую-то роль в жизни района, двинули вперёд его дальнейшее развитие. В повести эта сторона дела обойдена молчанием.

Поставив перед собой задачу показать преобразования, меняющие лицо Тыжи, автор не додумал до конца, каковы же движущие силы этих перемен, не оценил решающего значения для будущего Тыжи такого факта, как близкое соседство крупного индустриального строительства. Избавительница, лекции, радио, электрическое освещение, красочно описанные в повести, — явления обычные и для довоенной советской деревни. И пусть на краю земли они по понятным причинам входят в быт с запозданием, всё же не они характеризуют перемены, внесённые послевоенной сталинской пятилеткой в жизнь окраин и глухих углов страны. Недаром только по случайным признакам мы узнаём, что действие повести происходит после Великой Отечественной войны.

Невольно мысль обращается к «Дальним странам» А. Гайдара, благотворное влияние которого несомненно чувствуется в повести Н. Дубова. Вокруг безымянного разъезда № 216 разыгрываются события первой пятилетки. В разгаре — борьба за колхоз. На глинах, обследованных геологической экспедицией, строится мощный алюминиевый завод. Совершаются невиданные перемены, творятся неслыханные дела. Не входя в подробности, не пытаюсь дать сколько-нибудь развёрнутое изображение этих процессов, А. Гайдар, однако, с большой силой даёт почувствовать их бурное дыхание, смело помещает своих юных героев на перекрёсток линий основных исторических сил, бросает их в клокочущий водоворот событий. При этом дети остаются детьми, со всеми свойственными их возрасту чертами. Атмосфера великих дел, к которой Аркадий Гайдар с таким искусством приобщает своих читателей, — вот

масштаб для оценок, источник глубокого воспитательного воздействия, освобождающий от необходимости прибегать к нравоучениям. В этом методе — один из важнейших гайдаровских примеров нашим детским писателям, которым, заметим кстати, они не всегда следуют. Смещение реальных пропорций — нередкое явление в детской литературе. Большие исторические события обедняются, преподносятся в уменьшённых масштабах, а юным героям приписываются зрелость характера и безошибочность действий, которые совершенно не соответству-

ют их возможностям и воспринимаются как нечто весьма условное.

Николай Дубов рассказал об интересных явлениях, происходящих на краю советской земли, показал чудесных советских ребят, хороших советских людей разных поколений. Познавательная и воспитательная ценность произведения бесспорна. Однако она была бы несравненно значительнее, если бы большие исторические события послевоенной пятилетки не остались за пределами повести.

Е. ГОРОДЕЦКАЯ.

★

### „Почему?“

Детский писатель Борис Житков познакомил нас с мальчиком, прозванным «почемучкой» за то, что он беспрестанно осаждал взрослых вопросами. Эти бесконечные «почему?» вполне уместны в устах ребёнка, жадно познающего окружающий мир. Но когда взрослый читатель невольно превращается в недоумевающего «почемучку», читая повесть, написанную для взрослых и помещённую на страницах «взрослого» журнала, — возникает большое и важное «почему?», настоятельно требующее ответа.

Л. Карелин — молодой, начинающий писатель, и в первой своей повести он поставил перед собой хорошую и нужную задачу — на фоне жизни небольшого уральского городка показать деятельность работников советской прокуратуры, стоящих на страже социалистической законности. Однако верный замысел автора не получил яркого, а главное, правдивого художественного воплощения в произведении. Именно поэтому читатель повести всё время спотыкается о бесчисленные, то и дело возникающие у него недоуменные «почему?», на которые автор явно не в состоянии ответить.

Главный герой повести, младший советник юстиции Сергей Трофимов, окончивший после войны юридический институт, приезжает в город Ключевой, куда он назначен на должность районного прокурора. В центре его внимания сразу же оказы-

вается разбирающееся в народном суде дело шофёра местного химического комбината Кости Лукина, который в пьяном виде ударил свою жену. И вместе с этим первым делом прокурора Трофимова целый ряд неразрешённых «почему?» возникает у читателя.

Костя Лукин — отличный водитель, прекрасный механик, исследователь родного края, сын кадрового уральского рабочего, выходец из хорошей советской семьи, человек, тесно связанный с комсомольским коллективом молодых рабочих химического комбината. Два года он счастливо жил с женой и вдруг... «точно кто подменил его». И вот Лукин попал на скамью подсудимых по обвинению в оскорблении своей жены.

Спору нет — случай возмутительный, и грубость Лукина достойна всяческого осуждения. Но почему это осуждение должен произнести обязательно народный суд? Разве не было никаких других средств для разрешения этого конфликта?

Семья Лукина и его жены Тани были издавна дружны между собою. Это семьи старых рабочих, коренных уральцев, с крепкими, хорошими устоями, с высокими моральными принципами. Обычно в таких семьях сильно развито чувство долга перед родителями, женой, детьми, строго охраняется честь семьи, неуклонно блюдётся кодекс семейной морали, и нарушитель этого кодекса встречает дружный отпор и подвергается серьёзному воздействию со стороны всех своих близких.

И невольно кажется сомнительным, чтобы семьи Лукиных и Зотовых решились

Л. Карелин. «Младший советник юстиции», повесть. Журнал «Знамя» № 5 за 1951 год. Главный редактор В. Кожевников.

сразу вынести дело в народный суд, не попытавшись сначала силами своего общего семейного коллектива разобраться во всём и направить на путь истины совершившего позорный поступок молодого человека.

А товарищи Лукина — молодые рабочие химического комбината? Почему они только отрядили делегацию в прокуратуру «с требованием устроить над Лукиным что-то вроде показательного процесса» и совсем забыли, что в их руках находится такое мощное средство общественного воздействия, как товарищеский суд? Именно в товарищеском суде рабочих комбината уместнее всего было бы рассмотрение дела Лукина — человека в прошлом ничем не опороченного, хорошего рабочего, передового производственника.

Но так или иначе, волею ли героев повести или по вине её автора Л. Кареллина, делом Кости Лукина занимается народный суд. И читатель, отбросив свои первые «почему?», надеется с помощью районного прокурора Трофимова получить ответ на свой главный вопрос: «Почему Лукин совершил антиморальный проступок?»

Этот ответ после окончания следствия Трофимов даёт во всеуслышание на суде. Оказывается, Костя Лукин оскорбил свою жену потому, что... он находился под дурным влиянием своего непосредственного начальника — руководителя жилищного строительства комбината Глушаева — жулика и проходимца, который втягивал подчинённого в ночные попойки и внушал ему домостроевские взгляды на отношения мужа и жены.

Нет, подобное объяснение уж никак не удовлетворит читателя. Как же мог передовой молодой рабочий Лукин, выросший в честной рабочей семье, воспитанный в здоровом рабочем коллективе, так легко поддаться аморальному влиянию Глушаева? Ведь Лукин предстаёт перед нами вполне взрослым и отнюдь не бесхарактерным человеком. Да и вообще так ли легко наша молодёжь поддается чуждым влияниям? Разве так просто разрушить в её сознании те высокие моральные принципы, которые годами воспитывают в ней партия большевиков и советское государство?

Напрасно читатель будет искать в биографии или в характере Лукина объяснения причин странного влияния Глушаева.

В повести их нет. Остаётся предположить, что здесь действует какой-то личный магнетизм жулика и проходимца.

Но оставим дело Лукина. Ведь у прокурора Трофимова, вероятно, нашлись в Ключевом и другие дела. Да, нашлись. В частности, Трофимов усиленно занимается расследованием обнаружившегося хищения двух тонн овощей из соседнего колхоза.

На этот раз перед нами дело, явно требующее вмешательства прокуратуры. И Трофимов с помощью следователя Громова успешно доводит его до конца. Главным виновником тут оказывается... тот же Глушаев. Это он при пособничестве колхозного бухгалтера и завмага сельпо тёмной дождливой ночью, спрятав лицо под капюшоном плаща, получил у огородника по подложной расписке две тонны овощей и увёз их на машине, которой управлял... тот же Костя Лукин.

И опять новые «почему?» вырастают перед читателем. Значит, хороший, но заблудший парень Костя Лукин — вовсе не хороший? Значит, он соучастник уголовного преступления, совершённого Глушаевым? Значит, сейчас прокурор Трофимов и поступит с ним так, как полагается поступить с преступником?

Однако прокурор Трофимов к удивлению читателя декларирует полную невиновность Кости Лукина. Оказывается, Лукин был введён в заблуждение Глушаевым, который-де сказал ему, что «овощи куплены комбинатом». Всё обошлось благополучно, злодей Глушаев попал, как ему и положено, за решётку, а Костя Лукин опять становится вполне хорошим парнем.

И всё же «почемучка»-читатель не унижается. Ему обидно, что хороший малый Костя Лукин оказался таким недогадливым, просто-таки недалёким человеком. Почему в самом деле Лукину не показалось подозрительным, что за овощами в колхоз выезжает сам начальник жилищного строительства комбината, да ещё в дождливую тёмную ночь? И отвезти ведь овощи из колхоза пришлось, вероятно, не на комбинатскую базу, а куда-нибудь в другое место, где Глушаеву было бы легче ими распорядиться. Ничего этого «простодушный» Костя Лукин не заметил, полностью отдавшись магнетическому влиянию Глушаева. И что особенно удивитель-

но — странное «простодушие» шофёра не навело прокурора Трофимова ни на какие размышления.

Но, быть может, прокурору Трофимову больше повезло с другими делами? Увы, мы просто не знаем, какие ещё уголовные или гражданские дела пришлось решать младшему советнику юстиции. Во всяком случае эти дела остались за пределами произведения, если не считать нескольких описанных автором мимолётных бесед Трофимова с посетителями прокуратуры.

Правда, Трофимов вмешивается в порочную практику жилищного строительства на комбинате. Прямого отношения к задачам прокуратуры эти вопросы не имеют, но нам кажется естественным, что, стоя на страже государственных интересов и, как каждый советский человек, принимая близко к сердцу интересы общенародного дела, прокурор не мог остаться в стороне, заметив где-то антигосударственную тенденцию.

Вдохновителем этой антигосударственной практики в жилищном строительстве является тот же вездесущий Глушаев. На этот раз под его влиянием находится многоопытный хозяйственник, директор комбината коммунист Швецов. «Околдованный» Глушаевым, Швецов поддерживает его в стремлении противопоставлять комбинат городу и строить дома для рабочих на непригодной болотистой территории около комбината, вместо того, чтобы застраивать подходящие для жилья городские окраины. Трофимов стремится пресечь эту, по сути вредительскую, практику Глушаева и в конце концов добивается своего. После разоблачения махинации с овощами и ареста Глушаева вопрос о жилищном строительстве комбината рассматривается на бюро райкома ВКП(б). Принимается решение увязать планы жилищного строительства комбината с планами города. Швецов признаёт свою ошибку и сразу же после заседания, по совету Трофимова, садится за рассмотрение поступивших в прокуратуру жалоб рабочих комбината, о которых, как выясняется, он до этого не имел представления. Надо ли доказывать, что это звучит довольно наивно?

Итак, во всех трёх главных делах, которыми в повести приходится заниматься прокурору Трофимову, нити ведут к одному и тому же человеку — к Глушаеву. Глу-

шаев — это поистине злой гений районного масштаба. Он развратитель молодёжи, энтузиаст расхититель социалистической собственности, он сознательный вредитель жилищного строительства...

Новые «почему»? Почему же подобный человек продолжительное время остаётся не разоблачённым и открыто ведёт свою вредную работу? Ведь если десятки заявлений и жалоб рабочих оказались в прокуратуре, значит такие же жалобы поступали и в дирекцию комбината, и в горсовет, и в райисполком, и в районный комитет партии. Значит работники всех этих учреждений и организаций клали письма рабочих под сукно и взирали сквозь пальцы на вредоносную деятельность Глушаева. Что же это за город, где возможны такие вещи? Да в Советском ли Союзе происходит всё это?

Представим себе на миг, что могло бы случиться, если бы младший советник юстиции Трофимов не появился в городе Ключевом. Роковая роль Глушаева в деле Кости Лукина осталась бы нераскрытой, ибо, как явствует из описания первого расследования дела в суде, предшественник Трофимова, прокурор Михайлов, собирался подойти к этому делу чисто формально, не вникая в его существо. Фикт хищения овощей навсегда остался бы неизвестным, так как следователь Громов не сумел без помощи Трофимова распутать клубок махинаций в колхозе и склонен был поверить тому, что овощи испортились. Михайлов же, судя по тому, как он описан автором, не смог бы направить Громова на верный путь. Наконец, не будь Трофимова, Глушаев преспокойно продолжал бы строить дома на болоте, ибо до того все мириться с этим, хотя, казалось бы, каждому здравомыслящему человеку с первого взгляда должна быть ясна порочность и искусственность противопоставления комбината городу и нелепость глушаевских методов строительства.

Словом, видно, плохо бы пришлось Ключевскому району, если бы не появился в нём добрый молодец, славный богатырь... то бишь младший советник юстиции Трофимов.

Здесь мы подошли к той, главной, по нашему мнению, ошибке, которую совершил в своей повести Л. Карелин и которая иногда бывает в той или иной мере свой-

стенна и другим неопытным молодым авторам. Рисуя образ своего главного положительного героя и будучи не в силах выделить его среди других героев яркими, запоминающимися чертами характера, лучшими и в то же время типичными для советского человека качествами, органически раскрывающимися в действии, — иной молодой писатель прибегает к порочному приёму. Он начинает оглуплять и компрометировать остальных героев произведения, чтобы на фоне этих «принижённых» людей его основной герой показался читателю человеком исключительным и замечательным. И получается, как в повести Л. Карелина, — где целый коллектив советских людей, многочисленные партийные и советские работники, широкая общественность представлены близорукими, слепыми и глухими перед лицом одного мошенника и проходимца, хотя на самом деле в жизни этого не могло бы быть и подобный Глушаев уже давно оказался бы исторгнутым за пределы советского общества. Автор нарочно закрывает глаза, затыкает рты своим героям только для того, чтобы главный герой мог совершить свои блистательные «подвиги». Так возникает совершенно чуждая литературе социалистического реализма схема: герой-одиночка, обладающий особыми качествами, и бледная, бессильная без него «толпа» — окружающий его коллектив.

Именно по такой порочной схеме построена повесть Л. Карелина. Автор «Младшего советника юстиции» не подумал о том, что, принижая коллектив хороших советских людей, он невольно принижает и своего главного героя. Ведь мало чести, скажем, быть самым умным среди дураков или самым зорким в толпе слепцов.

Принизив весь коллектив героев повести в целом с единственным намерением возвысить прокурора Трофимова, Л. Карелин следует своему методу и в частности, усиленно оглупляя отдельных людей, с которыми сталкивается главный герой. Предшественника Трофимова, прокурора Михайлова, автор заставляет проявлять казённо-бюрократическое, формальное отношение к людям, хотя впоследствии, забыв о своей характеристике, он устами парторга колхоза имени Сталина, Антонова, отзывается о Михайлове, как о многоопытном человеке,

связанном в своей практической работе с народом. «Ведь какой опыт у человека! — восторженно говорит Антонов. — По любому вопросу посоветует», — и немного дальше замечает: «Он ведь там у нас всех знает...» Как расхочется эта характеристика с поведением Михайлова на суде, с его возражениями в ответ на прописные истины, которые докторальным тоном преподносит ему, едва познакомившись с ним, Трофимов! Кстати, тон Трофимова в этом первом разговоре с Михайловым вызывает досаду читателя. Кто дал ему право так свысока, поучая, разговаривать с человеком, который значительно старше его по возрасту и по опыту работы? Стремясь подчеркнуть превосходство своего главного героя над Михайловым, автор не заметил, как лишил Трофимова скромности, чувства такта, простой вежливости в разговоре с малознакомым и старшим человеком, к тому же естественно огорчённым своей отставкой.

Подобно Михайлову, оглуплён и директор комбината коммунист Швецов, у которого, по словам секретаря райкома партии Рошина, за плечами «десяток огромных строек, большой опыт, глубокие знания». Как мог такой человек проглядеть деятельность Глушаева, работавшего бок о бок с ним, и даже поддаться его влиянию? Это опять-таки сделано только для того, чтобы Трофимов мог единолично разоблачить Глушаева и затем услышать от Швецова похвалу себе: «Я всё про то, что я кругом не прав, а вы правы уже в том, что я проглядел этого Глушаева, а вы вот — его разглядели. Ведь что меня убивает: районные работники смотрят дальше и шире, чем директор союзного предприятия!»

Ту же фразу, впрочем, могут сказать прокурору и секретарь райкома партии Рошин и председатель горсовета Чуклинов, подобно Шцевову проглядевшие Глушаева. И проглядели они его только потому, что автору это нужно «для сюжета», для того, чтобы «разглядел» Глушаева один Трофимов, поистине самый зоркий среди слепых.

Всем этим не исчерпываются исключительные заслуги перед обществом, которые приписывает своему герою Л. Карелин. Благодаря Трофимову Таня Лукина вновь обретает мужа (Трофимов просто

привозит его к ней на машине). Благодаря Трофимову извлекается на свет проект реконструкции города Ключевого, составленный бывшим директором комбината Беловым и после его смерти скрытый от общественности его женой и дочерью, которые, оказывается, боялись, что этот проект попадёт к Глушаеву. Благодаря Трофимову внук пенсионерки Забелиной, забывший было о существовании своей бабушки, вновь начинает слать ей письма. Словом, всё лучшее в жизни города Ключевого связано почему-то только с именем Трофимова, так же, как всё худшее — с именем одного Глушаева.

Много и других всевозможных «почему?» возникает у читателя на протяжении повести. Почему, например, хитрый и ловкий Глушаев так глупо ведёт себя на суде? Почему Швецов, возвратившись после месячного пребывания в Москве, вместо того, чтобы первым делом побывать у себя на комбинате, едет осматривать подлежащий озеленению пустырь перед детским садом? Почему следователь Громов, гроза угловников, известный под кличкой «Гром с ясного неба», не смог распутать сравнительно простого дела с хищением овощей до тех пор, пока ему не пришёл на помощь Трофимов? Здесь не стоит приводить десятки подобных вопросов, ответа на которых в повести нет. Не касаемся мы и отношений между Трофимовым и Мариной Беловой. Эта личная линия повести не

играет в ней решающей роли и, к сожалению, почти ничего не прибавляет к облику главного героя.

И, наконец, последнее и самое крупное «почему?». Почему повесть «Младший советник юстиции» оказалась столь далёкой от правды жизни? В чём корень тех ошибок, которые допустил молодой и, судя по некоторым страницам, не лишённый способностей автор?

Видимо, беда здесь в том, что писатель плохо знает нашу жизнь, наших людей. Его собственный опыт оказался недостаточным, он не смог или не сумел накопить такого запаса наблюдений, чтобы из него свободно и непринуждённо черпать материал для создания полнокровного произведения с правдивыми конфликтами, жизненными ситуациями, убедительными образами героев. Молодой автор попытался восполнить эту нехватку своего жизненного опыта надуманными литературными построениями, вольно или невольно попробовал обмануть читателя «сочинительством».

Но незнание писателем жизни — это та литературная болезнь, которую нельзя скрыть. Читатель разглядит её признаки, в какие бы литературные одёжки ни рядил автор своё сочинение. И бесконечные «почему?», возникающие при чтении такого «сочинения», служат верным диагнозом этой опасной болезни.

С. СМЕРНОВ.

★

## Об одной типичной ошибке

Хотя, казалось бы, обзор альманаха надо начинать с разбора наиболее значительных произведений, опубликованных в нём, обратимся сначала к материалу, который, ни в коей мере не являясь «гвоздём» альманаха, однако показателен для общего направления его.

Речь идёт о статье «Наш край в творчестве саратовских художников».

На первой же странице в этой статье сказано: «Внимание саратовских художников привлекает промышленность, сельское

хозяйство, водный транспорт, природа родного края и люди — творцы новой жизни».

Люди здесь явно на втором плане. И если это впечатление может показаться субъективным, то стоит перевернуть страницу, чтобы узнать, что «в творчестве А. Бородина и В. Полимдестова тема саратовской газовой промышленности (подчёркнуто везде мной. — А. Т.) нашла другое, не менее интересное решение».

А несколькими строчками ниже сообщается:

«В зимнем пейзаже, создавая образ бескрайних просторов Саратовской области, художник заметил самое глав-

«Литературный Саратов». Альманах Саратовского отделения ССП. Книги 12 (1950) и 13 (1951). Ответственный редактор Г. Бородин.

ное в нашей жизни. На этих просторах появилась большая газовая промышленность. В зимнем пейзаже мы видим газовые вышки.

Эти формулировки — не описки или «неловкие выражения», — они свидетельствуют о серьёзной ошибке, допущенной не только автором статьи — В. Завьяловой, но и многими участниками альманаха «Литературный Саратов» и всей его редакцией.

Горький, говоря, что основным героем своих произведений советские писатели должны избрать труд, предусмотрительно добавлял: «т. е. человека, организуемого процессами труда, который у нас вооружён всей мощью современной техники, человека, в свою очередь организующего труд более лёгким, продуктивным, возводя его на ступень искусства».

Человек остаётся главным героем художественной литературы, живописи и других искусств, он — а не газовая или какая-либо иная промышленность — должен привлекать главное внимание писателя и художника. Сама тема труда приобрела сейчас такое значение потому, что наш сегодняшний социалистический труд стал могучим средством выявления лучшего, что заложено в человеке. И главное в нашей жизни — то, что хочется увидеть и на картинах и в книгах, — это своеобразный облик советского человека, коммунистическое мироощущение человека Сталинского века.

Вот тут и приходится предъявить редакции альманаха «Литературный Саратов» серьёзные претензии.

В 12-й и 13-й книгах альманаха напечатаны рассказы Г. Соловьёва «Верный путь», два неопределённых по жанру прозаических произведения Г. Боровикова «На отдыхе» и «Рождение реки», два очерка, записки агронома, стихи многих поэтов. Но при всём своём внешнем многообразии большинство этих произведений не оставляет в памяти живых черт наших современников, не передаёт с присущей подлинному искусству конкретностью и яркостью склада их характеров.

Произведения Г. Боровикова посвящены тому, что сейчас привлекает внимание миллионов людей к волжским берегам — созданию лесополос в голой степи, грандиозным стройкам коммунизма.

Вот «дорожные зарисовки» (по определе-

нию автора) — «На отдыхе». Два приятеля, проводя летний отдых за рыбной ловлей, знакомятся с молодым лесоводом и со старым бакенщиком, в жизни которого предстоит интереснейшие перемены: на Волге собираются ввести круглогодичную навигацию.

Читатель с интересом прочёл бы о том, как бакенщик, бывший в прежние времена зимой «не у дел», будет чувствовать себя в новых условиях; о том, чем полна душа недавнего москвича, оказавшегося «воспитателем» крохотных дубков, затерянных среди голой степи.

А у Г. Боровикова в центре «зарисовок» оказался до обидного нелепый любовный сюжет. К лесоводу Косте Вяткину должна приехать из Москвы жена, но она почему-то задерживается. Тем временем Костя, по наблюдению «отпускников», проводит много времени с одной из своих сотрудниц — Галей. Художник Павел Борисович уверяет, что они поженятся, и заявляет, что станет его в таком случае меньше уважать. Однако всё «благополучно» обходится: выясняется, что жена Кости заболела в пути; узнав об этом, Вяткин рассказывает о случившемся Гале, и она вызывается съездить за больной. «— Я теперь о Косте лучшего мнения стал, — не переставал радоваться Павел Борисович».

Не приходится удивляться, что этот, основанный на мещанских подозрениях Павла Борисовича, сюжет никак не может автору зримо показать своих героев. И Костя, и Галя до конца остаются схематичными фигурами, а у Павла Борисовича найдётся немало «протокишлов» в предшествующей литературе.

В другом своём произведении — «Рождение реки» Г. Боровиков совершает как раз ту ошибку, о которой мы говорили в начале статьи.

Тут, действительно, темой является «газовая промышленность»... то бишь геологическая экспедиция, исследующая возможность переброски части воды могучих сибирских рек в Каспий. Что же касается людей, работающих над этой проблемой, то ни один из них не запомнится читателю.

Г. Боровиков ограничивается чрезвычайно общей характеристикой своих героев и подчас отводит им заведомо служебную роль — рассказывать или слушать эпизоды

из истории исследования Каспия, приводить геологические справки и т. п.

Всё произведение состоит из незначительных, разрозненных эпизодов. Читатель не видит, как в трудных условиях проявляются лучшие черты советских людей, и когда автор пишет об одной участнице экспедиции: «она почувствовала, что каждый человек стал ей близким, дорогим», — то это отнюдь не является логическим выводом из предыдущего повествования.

Думается, что неудача автора является результатом не только малой требовательности его самого и всей редакции альманаха к художественной форме, но и тем, что у него отсутствует должная ясность в решении темы труда.

Схематичен рассказ Г. Соловьёва «Верный путь». Сюжет этого рассказа успел уже стать шаблоном: человек едет отдыхать, но, попадая в колхоз или ещё куда-либо, где ощущается недостаток как раз в людях его специальности, меняет свои планы и проводит отпуск за работой.

Если первоначально эта ситуация давала авторам возможность показать кровную заинтересованность советского человека во всём, что происходит вокруг, и его готовность прийти на помощь согражданам, то, будучи многократно повторённой, она начинает обретать «типичность» другого толка: и кадров-де нехватает, и люди не отдыхают.

Схематичность замысла ведёт за собой обеднение духовного облика героев. Они изображены стандартно, причём характеристика, которую автор даёт тому или иному герою, мало соответствует словам и поступкам последнего; и зачастую изображение подменяется авторской оценкой.

Так, например, описывая первую встречу героя рассказа с сестрой его боевого товарища, автор заставляет их обменяться несколькими триennialными фразами и неожиданно заключает:

«Порошин подумал, что Анна не просто красивая девушка. В ней так и сквозили ум, душевное спокойствие».

А увидев секретаря партийной организации, Порошин «угадал в Кузнецове придиричивого, беспокойного, кое в чём даже надоедливого человека, но безусловно хорошей, честной души».

В очерке «Колхозный лесовод» В. Ястребову не удалось реалистически показать

интереснейшую фигуру лесовода. Соро написан его портрет, да и характеристика, которую ему дают односельчане, — «беспокойный дедок» — уже успела, кочуя из одного произведения в другое, потерять выразительность. А ведь образ человека, который, по свидетельству очеркиста, ещё до революции знал кое-что из трудов Докучаева, мог бы стать очень интересным.

Вот очерк С. Розанова «Путь к девону». Герой очерка, Ширяев, вскоре после окончания гражданской войны приходит на буровую, увлекается работой и вскоре становится буровым мастером. Затем, «со свойственной его натуре страстностью, увлётся партийной работой», окончил комвуз и стал звёздующим отделом агитации и пропаганды одного из райкомов Баку.

«Как ни интересна, жива и многообещающая была работа в райкоме, — пишет далее автор, — но Ширяев постоянно вспоминал о буровой. Он всё чаще стал бывать у буровиков. Здесь всё было привычнее и своя работа видней, ощутимей на каждый час дня. А разве можно с чем сравнить борьбу с неожиданностями в работе, встречающимися впервые в жизни?.. Привычка с детства руками ощущать результаты своего труда звала Ширяева в производство».

И затем, сообщив, что Ширяев в годы Великой Отечественной войны вернулся на буровую, автор восклицает:

«Вот это была настоящая работа!»

Думается, что ломать копыта в защиту партийной работы не нужно; нелепость противопоставления её «настоящему» труду настолько очевидна, что диву даёшься, как это могло появиться в печати.

Нужнее напомнить, что и герой рассказа Г. Соловьёва «Верный путь», являясь морским офицером, тоже, по словам автора, особо ценит такой труд, результат которого «можно было бы увидеть, потратить».

Эта склонность к «вещественности» происходит, как нам кажется, всё из того же подхода писателей к теме труда, как к изображению производственного процесса, но не человека.

А отсутствие подлинного проникновения в душу героя, в данном случае — Ширяева, не заменишь фразами о «молодом, задорном сердце» мастера, о его словах, кото-

рые «всегда заинтересовывали, увлекали, звали действовать», о том, что «постоянный рост знаний ему был необходим, как воздух» и т. д., и т. п.

Не порадовали в новых книгах альманаха и стихи. Совершенно стандартны и по замыслу и по исполнению стихи В. Тимохина «Сыновья», «Стихи о Волге» М. Толмачёва и Н. Долгополовой. И бегло переданные размышления старого рыбака о счастливой судьбе своих сыновей, и прекрасный рифмованный обзор прошлого, настоящего и будущего великой русской реки — не тронут читательские сердца.

Поэма Н. Королькова «Путь к миру» рассказывает о судьбе ребёнка, осиротевшего в годы войны. Его приютила воинская часть, а затем передала жителям деревни, из которой, как оказалось впоследствии, немцы угнали всех детей.

В поэме на столь острую тему автор обнаружил очень плохое знакомство с жизненным материалом.

Деревня, куда отвозят мальчика Ваню, уже давно освобождена, но колхозники полбрежнему прячутся в лесу, «особой песенкой на дудке камышевой» оповещая друг друга об отсутствии поблизости врага. И только с приездом их земляка, привезшего Ваню, они, наконец, празднуют своё освобождение и решают вернуться в село и приступить к восстановлению хозяйства.

Всё это изложено чудовищными по своей бесвкусице стихами:

Ты ползал по груди, ница сосцы (?)  
напрасно  
У мёртвой матери своей.

А в луже плавал твой любимый мячик.

Ты ничего не понимал,  
Мой мальчик!  
.....

Ты мил солдатам был.  
Кто нес тебе цветок,  
А кто патрон пустой совал радушно:  
— Ванюша, жив? Ну, на-ю вот, сынок,  
Побалуй-ка патрончиком, Ванюша.

Отдельные строфы и отрывки поэмы звучат почти пародийно:

Остался позади хаос огней,  
Затих вдали колёс чугунный говор,  
Среди лугов, среди родных полей,  
Среди лесов передвигался повар.

Неточный глагол «передвигался», неожиданно выскакивающее в довольно торжественно звучащем контексте слово «повар» (речь идёт о полковом поваре, отвозившем ребёнка в свою деревню) придают стихам комическое звучание.

Стоит заметить, что и в других опубликованных в альманахе стихах часто встречаются языковые и стилистические погрешности.

У Б. Озерного рыбаки «до вечера не слазили с волны», «игри во звёзды плавают, как дети».

В стихах молодого поэта Н. Палькина «речка говорливая с размаху вверх бросает звонкий плеск волны», «вбрана простуженные крики падают в обветренный гранит».

В. Резников склоняет в стихах несклоняемое слово «янки» («И колесо истории назад ни янкам, ни другим (?) не повернуть»).

В 12-й книге альманаха опубликована большая статья Г. Малинина «Литературные места Саратовской области». Она представляет собой, как сообщается тут же, отрывки из книги, подготовленной автором к печати.

Вряд ли целесообразна была перепечатка в альманахе части этой книги, содержащей сведения о том, в каких именно домах города бывал, например, Чернышевский, о дневниковых записях — «очень коротких, сухих» (по словам самого Г. Малинина), которые сделал во время своего двухдневного пребывания в Саратове Жуковский, и т. д. Всё это, бесспорно, интересно, но в специально-краеведческом издании.

Неудачен раздел, посвящённый пребыванию в Саратове Маяковского. Здесь автор некритично приводит сомнительные высказывания Каменского о Горьком. Абзацем ниже цитируется известный рассказ Маяковского о том, как возник образ «Облака в штанах», рассказ, оканчивающийся словами: «Облако в штанах» понадобилось мне для названия целой поэмы».

«При издании в 1915 году этой поэмы цензура зачеркнула её название, и поэма вышла под первоначальным названием «Тринадцатый апостол», — добавляет Г. Малинин, хотя каждому школьнику известно, что всё было как раз наоборот!

Наиболее интересной и живой среди критических материалов двух книг альманаха

является статья О. Ильина «Стихи Б. Озерного».

Правда, создаётся впечатление, что автор порой делает ненужные реверансы, опасаясь, как бы его не сочли ниспровергателем всего творчества Б. Озерного. В таких случаях он говорит, что «в публицистических стихах поэт иногда умеет находить точные и яркие образы», или что «также стихи, как «Март» и в некоторой мере «Родная степь», бесспорно являются творческой удачей Озерного». Но О. Ильин ничего не делает, чтобы подтвердить и иллюстрировать сказанное. Трудно согласиться с оценкой, данной критиком стихотворению «Плотогоны», опубликованному в 12-й книге альманаха. О. Ильин утверждает: «Высокой поэтичности Озерный достигает в стихотворении «Плотогоны», где он в мягких, но энергичных тонах» рассказывает о труде плотогонов. На самом же деле здесь волнующие дела советских людей у поэта благополучно соседствуют с гитарно-романсовыми переборами:

И всегда,  
Только лязжет прохлада,  
Только звёзды качнутся слегка,  
Собирается вместе бригада  
Посидеть у костра-камелька.

В заключение хочется снова обратиться к статье В. Завьяловой («Наш край в

творчестве саратовских художников»). Она показательна для альманаха и ещё в одном смысле: авторам, избравшим важную тему, явно прощаются художественные недочёты. В статье В. Завьяловой ощущается именно такое отношение к художникам: «Оставляя в стороне недостатки живописи и рисунка, следует сказать, что в решении темы Климашкин добился определённого успеха». Подобные оценки в статье В. Завьяловой не редкость; часто автор сначала восторгается картиной, а затем роняет два-три слова, из которых явствует, что в той же картине есть серьёзные недостатки.

Чрезвычайно характерна оценка, даваемая В. Завьяловой работе Е. Иванова: «Как много сказано в этом произведении! Но всё в нём ещё слишком эскизно».

Серьёзные недостатки 12-й и 13-й книг альманаха порождены, очевидно, тем, что редакция не работает над уяснением и устранением недостатков в произведениях, посвящённых важным темам современности, а предпочитает «оставлять в стороне недостатки живописи и рисунка». Поэтому в альманахе нередко появляются произведения, в которых многое «ещё слишком эскизно».

А. ТУРКОВ.



## Борцы народной Италии

Итальянский журнал «Ринашита» («Возрождение»), издающийся под редакцией Пальмиро Тольятти, в ряде статей призывает прогрессивных итальянских писателей стремиться, не отказываясь от разоблачения лагеря реакции, к созданию «галереи положительных героев», воплощающих в себе мир новых чувств, «нового отношения к жизни, смерти, любви, обществу, природе». Журнал призывает писателей стремиться к «поэтическому изображению новой морали человека-коммуниста, которая отчётливо проявляется в психологии и поведении миллионов людей во всём мире». Писатель должен быть «инженером человеческих душ», воспевающим новых

людей, критикующим их недостатки, воспитывающим современников.

Между тем, отмечает «Ринашита», даже некоторые прогрессивные итальянские писатели проявляют пристрастие к «эстетике любования «отрицательным» персонажем»; натуралисты создают произведения, заражающие читателей пессимизмом, тоской, неверием в силы человека; вместо того, чтобы стать «инженерами», писатели удовлетворяются ролью «разрушителей». Формалисты сочиняют книги не для того, чтобы реалистически отражать действительность, а чтобы «убежать от самих себя, перенестись в своём воображении в другую страну и говорить на каком-то чужом языке, не похожем на наш бесценный язык», — пишет с негодованием «Ринашита». Журнал отмечает, что мелочный натурализм, пессимизм, любование отрицательными яв-

Рената Виганб. «Товарищ Аньезе». Перевод с итальянского А. Богемской. Редактор В. Топер. Издательство иностранной литературы, М. 1951.

лениями, формализм и космополитические настроения характерны для буржуазной итальянской литературы и являются последствиями её оторванности от народа, его жизни, его устремлений, — оторванности, особенно возросшей в годы господства фашизма. «Ринашита» призывает прогрессивных писателей создавать литературу реалистическую, близкую народу, враждебную космополитизму, декадентству: только так можно отстоять независимость итальянской литературы, культуры и отразить идеологическую агрессию американского империализма против Италии.

В Италии во время господства Муссолини, в условиях фашистского террора, не могла родиться та большая традиция антифашистской, подлинно демократической, реалистической литературы, какая была создана во Франции А. Барбюсом, Ромэн Ролланом, Жан-Ришар Блоком. Поэтому развитие прогрессивной реалистической литературы в Италии сейчас происходит значительно медленнее, чем во Франции. Но сопротивление гитлеровским оккупантам в годы второй мировой войны и нынешнее сопротивление итальянских трудящихся американским «холодным» интервентам и помогающим им предателям в Италии, как и во Франции, почва для формирования правдивой литературы, близкой и нужной свободолюбивому народу, помогающей ему отстаивать национальную независимость.

Произведением такой литературы является книга Ренаты Вигано «Товарищ Аньезе» — книга о новых людях, героях Сопротивления, высоко оценённая трудящимися и передовой интеллигенцией Италии. Коммунистка Рената Вигано, как и многие прогрессивные итальянские писатели, участвовала в антифашистской борьбе, в сопротивлении гитлеровским оккупантам. В 1944—1945 гг. она руководила Красным Крестом партизанских отрядов, действовавших в центральной Италии. В своей книге Р. Вигано рассказала о жизни и борьбе партизан, в рядах которых она боролась за освобождение родины. Итальянская критика характеризует книгу Р. Вигано как автобиографическую; правильнее было бы назвать её летописью деятельности партизанского отряда. В ней изображены подлинные факты и реальные люди. Вместе с тем образы книги не являются фото-

графиями — в них поэтически отражены свободолюбие простых людей Италии и их ненависть к врагам родины.

Писательница показывает, как самые обыкновенные люди, не желая смириться перед угнетателями, становятся героями. Несколько десятков крестьян и интеллигентов, возглавляемых коммунистами, действуют в невероятно трудных условиях, в одном из самых отсталых районов Италии, скрываясь в полузатопленной низине от фашистов и предателей. Они держат в страхе гитлеровские войска, наносят им удар за ударом. Образы бесстрашных патриотов — неукротимого командира отряда, адвоката, опытного подпольного работника — коммуниста, пятидесятилетней Аньезе, Клинто, Тома, Отчаянного и других партизан противостоят, как воплощение справедливости, человечности, достоинства, — бесчеловечным и тупым гитлеровцам, людям-автоматам с каменными сердцами. В центре книги — реалистический, полный естественности и подлинного величия образ Аньезе, крестьянки, восстающей против несправедливой войны и против тех, кому эта война нужна, — против фашистов.

Аньезе стирает бельё с утра до вечера, чтобы прокормить своего больного мужа. В её дом врываются гитлеровцы, уводят её мужа, и он умирает в теплушке, на пути в концлагерь. Чувства горя и ненависти переполняют сердце молчаливой женщины, и они питают её энергию, когда товарищи мужа, коммунисты предлагают Аньезе — в прошлом такой далёкой от политики — помогать партизанам. Аньезе становится матерью партизанского отряда, кормит «ребят», заботится о них, отдавая им любовь своего большого сердца, и молча льёт слёзы о погибших в бою. «Грузная, больная, почти старуха», «самая смелая из всех», она выполняет опасные поручения, совершает утомительные поездки на велосипеде, неся службу связи и отвозя продукты и боеприпасы для «ребят». Она работает не покладая рук, — так же, как тогда, когда была прачкой. Она работает для того, чтобы покончить с войной. Когда гитлеровцы убивают патриотов, когда английские самолёты преступно бомбят партизан и мирные селения, Аньезе повторяет, как девиз: «Будь проклята война. и все, кто её хотел!»

Аньезе поняла, «что такое партия, преданность партии; и что можно пойти на смерть ради того, чтобы сбылась мечта, прекрасная, сокровенная...» Коммунисты «работают для других, хотя могли бы не работать, они идут на смерть, хотя могли бы... жить спокойно до самой старости... Вот что такое партия! За неё и жизнь отдать не жаль!»

Много партизан погибает, но Аньезе знает: «Нет, нам не придёт конец... Нас слишком много. Чем больше погибает наших, тем больше к нам приходит людей».

В образе Аньезе, в пути, пройденном этой малограмотной женщиной, отражён тот большой путь политического воспитания, который прошли крестьяне Италии. Далёкие раньше от политики, они, участвуя в борьбе за независимость своей родины, многое поняли и узнали, научились отличать своих настоящих друзей от мнимых, научились защищать свои права. Ныне они вместе с рабочим классом и всеми трудящимися встают единым фронтом против поджигателей новой войны.

Большое место в книге Р. Вигано занимает разоблачение мнимых «друзей» итальянского народа. Английские «союзники» топтались на месте в то время, когда Советская Армия продвигалась вперёд на сорок, на пятьдесят километров в день. Английские самолёты систематически расстреливали партизанские лодки (хотя партизаны, спасая сбитых немцами английских лётчиков, пересылали с ними английскому

командованию точные данные о районе действия партизанских отрядов). Английская пехота так же предательски расстреляла из пулемётов партизан, которые вели неравный бой с эсэсовцами, пытаясь перейти через линию фронта, в расположение английских войск. Р. Вигано исторически точно изображает стратегию и тактику англичан в Италии как стратегию и тактику ослабления и разгрома партизанского движения.

В начале этого года, когда американский гаулейтер в Европе генерал Эйзенхауэр разъезжал по маршаллизованным странам, Р. Вигано обратилась к нему с письмом. Напомнив о том, что во время войны подчинённые Эйзенхауэру войска «продвигались по Италии медленно-медленно», Р. Вигано саркастически писала: «Теперь вы более проворны... Сегодня вы в одной столице, завтра — в другой... Ведь вы коммерсант... скупщик пушечного мяса... представитель торговцев оружием...»

В заключение следует отметить, что недоумение читателя вызывает концовка книги Р. Вигано: Аньезе неожиданно и совершенно случайно погибает. В оригинале книга названа: «Аньезе идёт на смерть», — таким образом подчёркнута тема жертвенности, которой нет в образе Аньезе. Аньезе борется за жизнь. Так именно хочется назвать эту книгу.

Я. ФРИД.

★

### Политика и наука

#### Могучее движение наших дней

Летом текущего года 16 американских конгрессменов посетили Западную Европу. Целью визита было изучение настроений европейцев, их отношения к Америке. По возвращении в США «исследователи» весьма неохотно делились своими впечатлениями. Но некоторые замечания главы делегации Ричардса проникли в печать.

А. Л. Орлов. «Борьба народов мира за мир». Редактор И. Динерштейн. Госполитиздат, М. 1951.

В. Чепраков. «Борьба за мир — кровное дело всех народов». Редактор И. Динерштейн. Госполитиздат, М. 1951.

Оказывается, очередная «инспекционная» поездка очень разочаровала конгрессменов. По мнению Ричардса, в Европе «не только у рабочих и крестьян, но также у мелких и средних собственников», в частности в Англии и в Скандинавских странах, наблюдается «недоверие и даже враждебность к американской политике». В Италии и во Франции «живые силы нации — рабочие, крестьяне и интеллигенция — поддерживают коммунистические партии», что показали последние выборы. Но из этих именно слов и набираются, в случае войны, солдаты...

Это лишь одно из многих подобных сообщений. Американская пресса с тревогой пишет о том, что значительная часть населения Западной Европы «крайне ненадежна». Имеется при этом в виду ненадежность именно «в случае войны», которую готовит американская военная клика, войны агрессивной, завоевательной. Ненависть европейцев к такой войне, их стремление к миру — вот что беспокоит правящие круги США. Тревога и страх перед растущим и крепнущим всенародным движением сторонников мира проскальзывают и в осторожных высказываниях Эйзенхауэра, главнокомандующего вооруженными силами Атлантического блока, и в докладах американского верховного комиссара в Германии Макклоя, и в сообщениях, идущих из Азии.

Разумеется, официальная американо-английская пропаганда пытается утверждать, что движение сторонников мира — это коммунистическое движение, что в нём участвуют лишь сторонники коммунизма. Но и сами пропагандисты агрессии знают, что это ложь. Достаточно сопоставить две цифры, приводимые в книге А. Л. Орлова «Борьба народов мира за мир», — 18 миллионов членов коммунистических партий во всём мире (без СССР) и 500 миллионов подписей под Стокгольмским Воззванием, — чтобы стало очевидно, какие широкие массы участвуют в этом движении.

Полицейские меры, предпринимаемые против друзей мира, говорят о признании правящими кругами капиталистических стран силы этого движения, его растущего влияния и значения. Ведь только за последнее время в Италии, Франции, Западной Германии изданы законы, прямо направленные против сторонников мира. Лейбористское правительство Англии побоялось допустить проведение Второго всемирного конгресса сторонников мира в Шеффилде. Правительство США, нарушив свои обязательства перед Организацией Объединённых Наций, имеющей на свою беду местопривыканием Нью-Йорк, отказало в визах делегации Всемирного Совета Мира, направлявшейся не к Трумэну, а в Совет Безопасности. Так велик страх империалистов перед самым наименованием «сторонники мира».

Движение сторонников мира — это огромная международная сила. Оно призвано осуществить самую благородную, самую

светлую задачу, которая так ясно и ярко сформулирована в исторических словах товарища Сталина: «Мир будет сохранён и упрочен, если народы возьмут дело сохранения мира в свои руки и будут отстаивать его до конца. Война может стать неизбежной, если поджигателям войны удастся опутать ложью народные массы, обмануть их и вовлечь их в новую мировую войну»<sup>1</sup>.

Движение сторонников мира подрывает одну из важнейших частей американского плана подготовки агрессивной войны. Ведь этот план предусматривает не только изготовление пушек, снарядов, танков и самолётов. Он намечает подготовку людских резервов, многомиллионных армий. Вот почему американские конгрессмены так обеспокоены настроениями людей, из числа которых «вербуются солдаты».

При этом агрессоры беспокоятся явно не о том, сумеют ли их офицеры обучить этих солдат владеть оружием. Сторонники мира — не пацифисты; овладеть оружием многие из них не откажутся. «Опасность» состоит в том, что они откажутся употребить это оружие именно так, как этого хотелось бы империалистам США и Англии. Торжественная клятва народных вождей стран Западной Европы, гласящая, что их народ никогда не будет воевать против своего друга и освободителя — советского народа, выразила мысли и чувства миллионов людей.

Во главе великой армии друзей мира всюду выступает рабочий класс и его боевой авангард — коммунистические партии. Сила движения за мир состоит в том, что цели его близки и понятны самым широким массам трудящихся. Борьба за мир сплачивает вокруг рабочего класса самые различные слои населения, взрослых и молодёжь, женщин и мужчин, людей разных политических взглядов и религиозных верований.

В содержательной брошюре В. Чепракова «Борьба за мир — кровное дело всех народов» хорошо показано, каким образом борьба за мир сливается с борьбой за самые жизненные интересы народов. Автор пишет: «В капиталистических странах, которым угрожает полное подчинение американскому империализму, ком-

<sup>1</sup> И. В. Сталин. Беседа с корреспондентом «Правды». Госполитиздат, 1951, стр. 14.

мунистические партии считают своим долгом слить воедино борьбу за мир с борьбой за национальную независимость. Они неустанно разоблачают антинациональный, предательский характер политики буржуазных правительств, превратившихся в прямых приказчиков агрессивного американского империализма. Компартии ведут борьбу за объединение и сплочение всех демократических сил своих стран, всех подлинных патриотов вокруг лозунгов уничтожения постыдной кабалы, выражающейся в рабском подчинении американским монополиям, и требуют возвращения на рельсы самостоятельной внешней и внутренней политики, отвечающей национальным интересам народов».

В книге А. Л. Орлова особенно подчёркнута массовость движения сторонников мира. Оно стало подлинно всенародным. В Италии, например, существует около 30 тысяч комитетов защиты мира. 17 миллионов итальянцев подписали Стокгольмское Воззвание. Широко известны примеры героического поведения французских сторонников мира в борьбе против американской оккупации Франции, против агрессивных приготовлений Атлантического блока. В книге уделено большое место движению в защиту мира в Англии и в Соединённых Штатах.

А. Л. Орлов правильно подчёркивает одну немаловажную черту движения сторонников мира в Америке, отмечая, что три миллиона подписей под Стокгольмским Возванием собраны в США в условиях жестокого террора и запугивания. В США существует параллельно много разрозненных центров борьбы за мир, не связанных между собой. Это не может не затруднять объединение сторонников мира. При этом цифры, характеризующие успехи этого движения в США, недостаточно отражают подлинное стремление подавляющего большинства американских трудящихся к миру, к сотрудничеству с советским народом. Агрессивная политика правящих кругов США не имеет поддержки в массах американского народа.

В книге рассказывается о движении сторонников мира в Канаде, в странах Латинской Америки, в Западной Германии, Австрии, в Скандинавских странах. Очень интересны данные о борьбе японских трудящихся за мир в тяжёлых условиях аме-

риканской оккупации и возрождения реакционных порядков в Японии. В Индии и на Ближнем Востоке, во франкистской Испании и в колониях Чёрной Африки простые люди страстно желают мира, ненавидят поджигателей новой мировой войны. Важную роль в объединении трудящихся разных стран для активной и действенной борьбы за мир играют массовые демократические организации: Всемирная федерация профсоюзов, Международная демократическая федерация женщин, Всемирная федерация демократической молодёжи. Работе этих организаций посвящена в книге особая глава.

Работа А. Л. Орлова носит, к сожалению, в основном справочный характер. Она представляет собой сводку важнейших событий за последние годы, содержит факты и цифры, которые необходимо знать массовикам-агитаторам, пропагандистам. Но книге не хватает простоты и увлекательности изложения. А разве подвиги защитников мира, которым приходится бороться в условиях фашистских полицейских преследований, не могли увлечь самого автора? Разве героизм Раймонды Дьен и сотен других борцов за мир в капиталистических странах Западной Европы и Америки не даёт материала для живого и яркого публицистического произведения? Сила масс, их вера в правоту и непобедимость того дела, которое они защищают, их смелость и самоотверженность перед лицом кровавого террора реакционеров,— вот что должно составлять содержание популярных книг, посвящённых самому массовому движению современности — движению сторонников мира.

Книга А. Л. Орлова написана равнодушно и холодно. Её язык тяжёл и однообразен, а зачастую грешит смысловыми и стилистическими несообразностями. Приведём только два примера. В очень ответственном месте книги, где приводятся высказывания В. И. Ленина об американском империализме, А. Л. Орлов пишет: «Угрозу миру американского империализма неоднократно подчёркивал В. И. Ленин» (стр. 251). Что это за «мир американского империализма»? Надо же владеть элементарным умением расставлять слова в фразе, чтобы она не выглядела двусмысленной! В другом месте, на стр. 50, находим такое: «Английские лейбористские лидеры... были инициаторами

враждебных СССР договоров, пактов, группировок: Северо-атлантического договора, западного союза, северо-атлантической группировки, военного союза с реваншистским правительством Западной Германии».

Выходит, по Орлову, что Северо-атлантический союз — это одно, а «северо-атлантическая группировка» — это ещё что-то в том же роде, но совершенно другое. На самом деле это лишь различные наименования одного и того же агрессивного союза. Что же касается политики ремилиитаризации Западной Германии, проводимой лейбористскими лидерами, то, если уж быть точным, она не приобрела формы «военного союза».

В книге А. Л. Орлова уделено мало места анализу явлений. Наш вдумчивый читатель, естественно, хотел бы поразмыслить над вопросами о реальной силе движения сторонников мира, о действительно существующей возможности предотвращения войны. А. Л. Орлов опрашивает свою задачу последовательным изложением событий нашего времени. Он, правда, рассказывает и о коренных изменениях в международной обстановке, и о борьбе Советского Союза за мир, и в особенности об этапах развёртывания движения сторонников мира, но взаимосвязь этих явлений недостаточно подчёркивается в книге.

Советский читатель хочет получить ответ на самый важный, волнующий каждого человека вопрос: почему в наше время движение миллионов людей в защиту мира располагает реальными шансами на победу? Ведь и раньше, накануне первой и накануне второй мировых войн, миллионы людей не хотели войны.

Опыт двух кровопролитных войн не забыт народами. Но не только это мешает агрессорам в третий раз обмануть народы и бросить их в новую войну. Главная особенность нашей эпохи состоит в том, что ныне существует могучий лагерь мира и демократии, возглавляемый Советским Союзом. Само существование этого лагеря, его непрерывно растущая сила воодушевляют сотни миллионов друзей мира в капиталистических странах, убеждают их в том, что борьба за мир не напрасна, что она должна увенчаться успехом. Советский Союз и страны новой демократии «стали помехой в осуществлении империалистических планов борьбы за мировое господ-

ство», — говорилось в декларации Информационного совещания представителей некоторых компартий<sup>1</sup>.

Работа В. Чепракова, несмотря на её небольшой объём, значительно серьёзней и глубже освещает важнейшие вопросы международной политики. В. Чепраков уделяет много места роли СССР, его внешней политике в успехе всего дела борьбы народов за мир. Автор, в частности, пишет: «Войну можно предотвратить, и в этом помогут два важнейших фактора:

1. Наличие миролюбивых держав во главе с могущественным Советским Союзом и сил сторонников мира во всём мире, способных сорвать преступные планы поджигателей войны.

2. Возможность мирного сосуществования двух различных социальных систем: социализма и капитализма».

Автор развивает далее эти положения, популярно разъясняя, почему в нашу эпоху появилась реальная возможность сорвать планы агрессоров.

Движение сторонников мира и его быстрые успехи говорят о провале главной задачи пропагандистов новой войны — задачи воспитания ненависти к СССР, к социализму и коммунизму, ко всем народам, вырвавшимся из орбиты империализма. Люди, подписавшие Стокгольмское Воззвание о запрещении атомного оружия, люди, подписывающие ныне Воззвание Всемирного Совета Мира с призывом заключить Пакт Мира между пятью великими державами, несомненно разбираются в современной политической обстановке. Они понимают, что Советский Союз, Китайская Народная республика, страны народной демократии стремятся к миру, страстно желают мира, ничем не грозят другим странам. Угроза войны исходит от тех, кто упорно отказывается от Пакта Мира.

Империалистам тем труднее развязать новую мировую войну, чем сильнее лагерь демократии и социализма, возглавляемый Советским Союзом. Им было неизмеримо легче скрывать свои захватнические, завоевательные намерения в прошлом, когда они вели войну против других, таких же

<sup>1</sup> «Информационное совещание представителей некоторых компартий в Польше в конце сентября 1947 года». Госполитиздат, 1948, стр. 6.

империалистических государств. Тогда можно было изображать агрессивную империалистическую войну, как войну за «благородные» цели.

Теперь действия друзей мира, в рядах которых первое место занимают рабочие всех стран, встречают тем большую поддержку народных масс, что они ставят задачей предотвращение войны явно преступной, явно несправедливой, направленной в первую очередь против великой страны победившего социализма. Вот почему распространение правды о Советском Союзе, о его миролюбивой политике неотделимо от пропаганды идей мира. Пусть прязные лжецы из империалистического лагеря пытаются изобразить эту связь, как «доказательство» того, что движение сторонников мира является лишь движением «друзей СССР»,

а его активисты — это «агенты Москвы» и потому подлежат преследованиям и гонениям. Это мало помогает врагам мира. Правда о Советском Союзе, поддержка сторонниками мира миролюбивой внешней политики СССР подрывают самые основы пропаганды поджигателей войны, пытающихся оправдать свои приготовления, свою программу перевооружения только дикими измышлениями об «агрессивности» СССР.

Книги А. Орлова и В. Чепракова взаимно дополняют одна другую. Всё же хотелось бы, чтобы в изданиях, предназначенных для широкого читателя, информационный материал сочетался с серьёзным теоретическим анализом современной международной обстановки, с простотой и ясностью изложения.

Б. ЛЕОНТЬЕВ.

★

### Американская политика агрессии и предательства

В Соединённых Штатах Америки выпущены десятки книг о войне на Тихом океане. Однако искать в них правдивого описания событий и анализа действительных причин, породивших столкновение американских и японских вооружённых сил, — напрасный труд. Авторы этих фальсифицированных книг, искажая историческую правду, действуют по одному и тому же рецепту: Соединённые Штаты Америки, мол, всячески стремились устранить опасность возникновения военных действий на Дальнем Востоке, а коварная Япония вероломно начала войну. Словом, эти авторы пытаются изобразить разбойничий американский империализм непорочным агнцем, на которого внезапно напал кровавый японский волк.

Есть ли необходимость доказывать, что подобная концепция так же далека от истины, как небо от земли. Ещё в 1917 году В. И. Ленин указывал, что «...японский капитализм и американский одинаково разбойны»<sup>1</sup>. Но до последнего времени у нас не было опубликовано серьёзных трудов, подробно рассматривающих позорную роль, которую сыграли американские импе-

риалисты в развязывании войны на Дальнем Востоке. Этот пробел восполняет книга Б. Родова.

Автор поставил перед собой задачу — вскрыть причины и корни войны на Тихом океане, как составной части второй мировой войны. Он показывает, что война возникла в результате того, что правящие круги как США, так и Японии стремились к господству в Азии и Тихоокеанском бассейне. В то же время США проводили политику сговора и «умиротворения» в отношении японских захватчиков. Эта политика преследовала цель направить японскую агрессию против Советского Союза.

Рассматривая японо-американские отношения в предвоенный период, Б. Родов приходит к совершенно правильному выводу: «Поощряя фашистскую Германию и империалистическую Японию к антисоветской войне, США стремились вызвать столкновение между фашистской Германией и Японией, с одной стороны, и Советским Союзом, с другой. США стремились повернуть экспансию германского и японского империализма против СССР, победить своих конкурентов — Германию, Японию, решить войну в свою пользу и укрепить тем самым общее положение капитализма».

Политика «умиротворения» империали-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 25, стр. 22.

Б. Родов. «Роль США и Японии в подготовке и развязывании войны на Тихом океане. 1938—1941 гг.». Редактор Н. Алентьева. Госполитиздат, М. 1951.

стической Японии и сговора с ней, как показывает автор, в значительной степени определялась тесными связями, давно установившимися между американскими и японскими монополиями. Можно без преувеличения сказать, что только благодаря американскому экспорту стратегического сырья и прежде всего экспорту железа, стали и нефти, империалистическая Япония смогла накопить достаточные запасы, чтобы начать войну на Тихом океане. Автор приводит в связи с этим интересные данные.

Оказывается, что за восемь лет — с 1933 по 1940 год включительно, — США поставили Японии свыше 10 миллионов тонн железного и стального лома, что составляет 53 процента общего экспорта лома из США за указанный период. В канун войны, в 1941 году, отправка из США в Японию военно-стратегических материалов не только не прекратилась, но по некоторым видам даже увеличилась.

Больше того, уже после возникновения войны между США и Японией американские монополии продолжали снабжать Японию нефтью. Таким образом, горючим, добытым руками американских рабочих, заправлялись японские самолёты и танки, которые вели огонь по американским солдатам! Вот что на деле означает «патриотизм» королей доллара, по указке которых правящие круги США развернули сейчас бешеную травлю американских коммунистов и всех прогрессивных элементов, обвиняя истинных защитников интересов народа в «подрывной» деятельности.

В изобилии снабжая Японию военными материалами, американские поджигатели войны рисовали себе такую заманчивую картину. Фашистская Германия с запада, а империалистическая Япония с востока начинают военные действия против Советского Союза. В результате этого как СССР, так и империалистические соперники США — Германия и Япония — будут сильно ослаблены, и тогда американские претенденты на мировое господство смогут беспрепятственно осуществить свои захватнические планы.

Правящие круги Японии также были заинтересованы в сговоре с США. Американская политика отступления перед японской агрессией в Китае и Индо-Китае весьма устраивала японских милитаристов, меч-

тавших об установлении своего монопольного контроля в бассейне Тихого океана. Эта политика поощрения агрессии облегчала также японским империалистам подготовку к экспансии против СССР. Среди правящей клики Японии были сторонники как северного, так и южного вариантов агрессии. Расхождения между ними заключались лишь в том, где нанести первый удар. И те и другие были согласны, что главное и решающее направление агрессии — северное, то есть против СССР, в то время как южное направление — вспомогательное.

На протяжении многих месяцев длились переговоры между представителями США и Японии. Б. Родов посвящает им целую главу. Вскрывая сущность этих переговоров, он пишет: «Стремясь затягиванием переговоров выиграть время, необходимое для подготовки акций крупного масштаба, зондируя и шантажируя друг друга, скрывая от общественного мнения свои подлинные реакционные планы и цели, как японские, так и американские правящие круги стремились осуществить свой вариант «дальневосточного Мюнхена».

Несмотря на усилия обеих сторон, сговор, как известно, не состоялся. Почему? К сожалению, Б. Родов — автор в целом обстоятельной, со знанием дела написанной книги — не даёт прямого и ясного ответа на этот крайне важный вопрос. Вместо этого он прибегает к ничего не объясняющим читателю формулировкам: «Этот коварный план не осуществился по причинам, не зависевшим от американских мюнхенцев»; «дальневосточный Мюнхен» не состоялся по причинам, не зависевшим от его инициаторов и организаторов...» «И если этот антисоветский план был сорван, то отнюдь не по недостатку рвения со стороны японских и американских архитекторов, а по причинам, от них не зависевшим»; «...по не зависевшим от японских и американских правящих кругов причинам «дальневосточный Мюнхен» не удался»; «...это случилось по не зависевшим от них обстоятельствам».

А каковы же всё-таки эти причины, мешавшие сговору двух империалистических хищников? Б. Родов даёт несколько различных толкований. В одном месте он заявляет: «...токийская правящая клика не считала свои военные силы достаточными

для нанесения удара по Советскому Союзу...». В другом он говорит, что «...расхождения были велики, и события развивались таким образом, что они затрудняли японским и американским империалистам заключить сделку между собой». Автор утверждает, что американские и японские империалисты «...разошлись в цене, в условиях, на каких предполагалось осуществить «дальневосточный Мюнхен». Наконец, далее говорится, что Япония временно воздержалась от нападения на СССР, «...стремясь максимально обеспечить себя ресурсами, имеющимися в странах бассейна Тихого океана».

Конечно, все эти причины в той или иной степени способствовали провалу японо-американских переговоров, срыву соглашения агрессоров. Но, на наш взгляд, они имели лишь второстепенное значение. Главное же и основное, что воспрепятствовало возникновению войны против СССР на Дальнем Востоке,— это, во-первых, великая мощь Советского Союза, которую наша страна наглядно продемонстрировала в единоборстве с объединёнными силами фашистской Германии и её сателлитов, и, во-вторых, мудрая сталинская внешняя политика.

Б. Родов говорит, правда, об этом, но как-то вскользь, мимоходом, ограничиваясь общими фразами. Автору следовало бы более подробно осветить внешнюю политику СССР в тот период, показать, каким образом мудрая сталинская политика сорвала планы мировой реакции создать единый фронт против страны социализма и привела, помимо воли правящих кругов США и Англии, к созданию антигитлеровской коалиции.

В книге Б. Родова встречается немало недостаточно чётких формулировок, которые могут ввести в заблуждение неусушённого читателя. Так, автор утверждает, что «французское правительство, находившееся в этот момент в Бордо, было бесстрашно что-либо предпринять» против империалистической Японии, захватившей Индо-Китай. И дальше: «Повидимому, французские власти в Индо-Китае сделали представления в Лондон и Вашингтон, прося о помощи, но оттуда, судя по печати, не было дано каких-либо обещаний». У читателя может сложиться впечатление, что предательская клика, оказавшаяся в то

время у власти во Франции, и колониальная администрация Индо-Китая действительно пытались противодействовать японской агрессии. На самом же деле они охотно пошли навстречу наглým требованиям японских захватчиков.

Б. Родов совершенно правильно отмечает, что подготовка японских империалистов к захвату Индо-Китая была «заранее известна правительству США, которое, однако, не предприняло мер, могущих предотвратить очередной акт агрессии Японии». Но вслед за этим автор пишет: «В тот же день было опубликовано заявление Уэллеса, в котором нашло отражение беспокойство правящих кругов Соединённых Штатов Америки по поводу вторжения японских войск в Южный Индо-Китай и создавшейся, таким образом, угрожающей ситуации для Филиппин». Непонятно, почему вдруг появилось это «беспокойство»?

Характеризуя обстановку, создавшуюся к 1940 году в ходе второй мировой войны, автор упоминает об угрозе «...вторжения гитлеровских полчищ в Великобританию». Между тем в действительности такой угрозы вообще не существовало. В другом месте Б. Родов пишет про гитлеровскую Германию: «...закончив «молниеносную» войну на континенте Европы...» Следовало, очевидно, сказать «в Западной Европе», так как значительная часть территории Советского Союза также находится на европейском континенте.

Очень жаль, что редактор не только не помог автору избежать этих и подобных им досадных оговорок, но даже не устранил многочисленные стилистические погрешности, имеющиеся в этой интересной и полезной книге.

Следует отметить, что хотя Б. Родов рассматривает события более чем десятилетней давности и разоблачает экспансионистские планы американских империалистов в 1938—1941 годах, его труд достаточно злободневен и несомненно поможет советским читателям более глубоко уяснить сущность той агрессивной и провокационной политики, которую проводят сейчас в странах Азии заокеанские претенденты на мировое господство. Ведь в настоящее время, как и в предвоенные годы, американские империалисты стремятся направить японскую агрессию (правда, под своим не-

посредственным руководством!) против Советского Союза, против великого китайского народа и национально-освободительного движения в странах Азии.

В этих целях правящие круги США восстанавливают в Японии военную промышленность, создают под видом полиции войсковые формирования, освобождают военных преступников и поощряют деятельность фашистских организаций. По указке из Вашингтона оккупационные власти

США и японская реакция превращают Японию в американскую колонию, в плацдарм для развязывания военных авантюр, в орудие порабощения народов Азии. Американские империалисты широко используют Японию как базу для преступной интервенции в Корею, для агрессии против Китайской народной республики и других азиатских стран.

*Полковник М. ТОЛЧЁНОВ.*

★

## Идеи, которых не упрятать за решётку

Нельзя без глубокого волнения читать новую книгу Юджина Денниса, в которой нашла отражение героическая борьба коммунистов Соединённых Штатов против наступления реакции на жизненные права и свободы американского народа. В книге собраны речи, заявления, открытые письма генерального секретаря американской компартии за период с 1947 по 1950 год.

Сегодня, когда Юджин Деннис вместе с шестью другими замечательными сынами американского рабочего класса брошен в мрачные темницы трумэнговской Америки, с особой силой звучат его слова: «Моя личная свобода, конечно, дорога мне. Но свобода всего американского народа мне ещё дороже. Наступило время, когда не только я один, но и миллионы американцев, мобилизуя широкое общественное мнение на активное выступление, могут защитить свободу, лишь ведя решительную борьбу против узурпации власти профашистскими элементами».

Отправив в тюрьму руководителей американской компартии, развернув по всей стране подлинную «охоту за красными», правители Америки тщетно надеются заключить в тюрьму и заковать в цепи великие идеи марксизма-ленинизма. Никто, никакое правительство, говорит Деннис, не может остановить поступательный ход истории. Никто, никакое правитель-

ство не может остановить движения народов по пути прогресса. Никто, никакое правительство не может убить идею или заточить в тюрьму убеждения и принципы. «Марксистско-ленинское учение, которого мы твёрдо придерживаемся, составляет часть нашей жизни и руководит всей нашей деятельностью. Принципы, величайшими знаменосцами которых в нашу эпоху являются Ленин и Сталин, уже привели к освобождению свыше 800 миллионов человек во всём мире. Мы знаем, что эти принципы побудят и американский рабочий класс, стоящий во главе всех угнетённых в США и руководимый своим авангардом — коммунистической партией, идти вперёд через борьбу — к победе. Дело, которое мы отстаиваем, — дело социализма — победит в Соединённых Штатах, так же как оно уже победило в Советском Союзе, как оно побеждает в странах народной демократии и в новом Китае».

Американский империализм, взявший курс на новую войну, усиленными темпами проводит фашизацию политической жизни Соединённых Штатов, стремясь запугать и разгромить прогрессивные силы, стоящие на пути осуществления его агрессивных планов. В статьях и выступлениях Юджина Денниса последних лет много места уделяется фашистской опасности, грозящей американскому народу. Деннис даёт исключительно интересный анализ современной политической обстановки в Соединённых Штатах. Применив марксистско-ленинский диалектический метод, он ярко и по-новому вскрывает причины процесса фашизации, происходящего в США. Фашизация, начавшаяся прежде всего вследствие взятых монополистами курса на войну,

„Ideas they cannot jail“. By Eugene Dennis, General Secretary Communist Party of the United States. Introduction by William Z. Foster. New York, 1950. (Юджин Деннис, генеральный секретарь коммунистической партии США. «Идеи, которых не упрятать за решётку». Предисловие Вильяма Фостера. Нью-Йорк, 1950).

сама, в свою очередь, стала теперь главным орудием внутренней политики, которым Уолл-стрит пользуется для облегчения и ускорения своих приготовлений к третьей мировой войне. Американская реакция тщательно маскирует фашизацию страны псевдодемократической фразеологией, на все лады превознося пресловутую «американскую демократию», всячески подчёркивая, что в США сохраняются буржуазно-демократические институты. Однако, как это убедительно показано в работах Юджина Денниса, тот факт, что американский империализм, в отличие от империализма германского, считает нужным сохранять для маскировки эти институты, — дела не меняет.

История учит, что развитие фашизма и установление фашистской диктатуры не происходит во всех странах одинаково. Формы и методы фашистской диктатуры в разных странах также отличаются друг от друга. Они зависят от различий в соотношении классовых сил, от национальных традиций и роли монополий в экономике этих стран. Однако, несмотря на наличие отдельных специфических черт, характеризующих развитие фашизма в той или иной стране, имеются также общие черты, присущие фашизму всегда и всюду. Так, наступление и победа фашизма всегда сопровождается усиленной подготовкой к империалистической войне, особенно к антисоветскому крестовому походу. Захват власти фашизмом всегда предшествует усилению капиталистической реакции, направленной на подавление и разгром профсоюзов, на запрещение компартий, на беспощадное угнетение всех национальных меньшинств. Именно это и имеет место сегодня в Соединённых Штатах Америки, властители которых взяли курс на войну и фашизм.

«Почему угроза фашизма в Соединённых Штатах растёт именно теперь? Какие обстоятельства заставляют монополистический капитал и прежде всего его наиболее крайние агрессивные круги становиться на путь фашизма?» — ставит вопрос Деннис.

Во-первых, причиной этого, по словам автора книги, является обострение и углубление общего кризиса капитализма. Американские монополии в результате второй мировой войны ещё более разбухли, нажив новые миллиарды на крови и страданиях миллионов людей. В то же время позиции

мирового капитализма сильно ослабли. Такие фашистские и империалистические государства, как Германия, Япония и Италия, потерпели разгром. Англия и Франция оказались низведёнными на положение второразрядных держав. Неизмеримо возросли силы лагеря мира и демократии. Американские монополии встретились после войны с весьма неблагоприятными условиями. Внутренний американский рынок вследствие ухудшения положения трудящихся сократился, капиталистический сектор всего остального мира сузился. «Выход» из этого положения монополисты видят в агрессивной программе экспансии и интервенции. Они стараются поддержать и реставрировать капитализм в Европе и Азии под гегемонией США. Они готовятся к новой войне, чтобы установить своё господство над миром. Ясно, что осуществление такой ультрареакционной программы не может проводиться без фашизации внутренней жизни, без попыток подавить сопротивление американского народа авантюристическим планам Уолл-стрита.

Другим обстоятельством является страх американских монополий перед экономическим кризисом в США. Сялясь предотвратить или отсрочить наступление кризиса, монополии перестраивают всю экономику страны на военный лад, подчиняя её принципу «пушки вместо масла» и стремясь найти выход из неразрешимых противоречий капитализма на путях войны.

Третьим обстоятельством является процесс концентрации и централизации капитала, происходящий в США в небывалых размерах и приведший к невиданному усилению эксплуатации трудящихся.

Вследствие всего этого внутренние противоречия американского монополистического капитализма до крайности обострились. Наступил момент, когда господство трестов над экономикой и политикой страны не только несовместимо с сохранением мира, свободы и безопасности для американского народа, но и сделалось невыносимым для трудящихся.

Напуганный ростом прогрессивных сил и усилением их сопротивления антинародной политике монополий, а также растущим влиянием коммунистов, американский монополистический капитал всё больше обращается к фашистским методам управления страной.

Вскрыв корни фашистской опасности в США, Деннис показывает, в чём конкретно эта опасность проявляется. Он говорит о том, что, следуя примеру Гитлера, американские тресты, начав своё наступление, подняли флаг антикоммунизма, что является одним из признаков фашистского характера этого наступления. Американская реакция свирепствует во-всю. В состав правящих кругов Америки включены самые реакционные элементы финансового капитала, отъявленные империалисты и поджигатели войны. Представители военщины получили влияние на все стороны общественной жизни США. В стране составляются списки так называемых «подрывных элементов», проводится «проверка лояльности», арестовываются и заключаются в тюрьмы лучшие сыны американского народа. Власти начали применять нацистский метод чрезвычайных декретов. Приказом президента в США введено «чрезвычайное положение». Бесчинствуют фашистские банды вроде Ку-Клукс-Клана, «Американского легиона» и других.

Каков же итог? — спрашивает Деннис. Можно ли говорить о победе фашизма в Соединённых Штатах? И отвечает: нет. Уолл-стрит с его ставкой на фашизм и войну ещё не достиг своей цели. Фашизм ещё не победил. Больше того, победа фашизма в Соединённых Штатах, как и третья мировая война, вовсе не являются неизбежными. А отсюда вывод: главная неотложная задача прогрессивной Америки — борьба против наступления реакции на демократические права американского народа, борьба с поджигателями новой войны.

«Блиц-поход», который готовит американская реакция против американского народа, — пишет Юджин Деннис, — может и должен быть сорван. Он должен быть сорван именно теперь, пока ещё есть время действовать. «Борьба за мир, борьба народа за обуздание уолл-стритовских поджигателей войны — борьба, в которой рабочий класс должен играть не только крупную, но и руководящую роль, — это и есть центральная задача, стоящая сейчас перед американским народом».

Ю. Деннис в своих выступлениях и статьях неоднократно подчёркивает, что борьба за мир, за срыв агрессивных планов американского империализма является од-

новременно и борьбой против фашизма, ибо фашизм и война — нераздельны. В настоящее время, говорит он, мир и борьба во имя него благоприятствуют и способствуют социальному прогрессу и противодействуют профашистской реакции. Чем прочнее будет мир, тем лучше для американского народа и тем хуже для его врагов — Уолл-стрита и трестов.

Через все выступления мужественного сына американского рабочего класса проходит непоколебимая уверенность в превосходстве сил лагеря мира и демократии над лагерем поджигателей войны, вера в победу сил мира над мрачными силами войны. «Никакой закон не запрещает верить в то, что миролюбивые народы мира, объединившись, окажутся достаточно сильными, чтобы обеспечить торжество своей воли к миру, — заявил Деннис в своей замечательной защитительной речи во время позорного судилища на Фоли-сквер. — Мы, руководители американских коммунистов, в это верим. Мы верим в то, что Советский Союз является сейчас мощным и нерушимым оплотом мира — более мощным и влиятельным, чем он был даже в момент своей военной победы над странами оси во второй мировой войне. Мы верим, что страны народной демократии и Китайская народная республика создают ещё больший перевес сил против поджигателей империалистических войн. Мы верим, что сотни миллионов людей в Европе, Азии, Африке и Америке объединятся для спасения мира».

Читая сборник речей и статей Ю. Денниса, видишь, в чём источник замечательного оптимизма американских коммунистов, помогающего им в невероятно трудных условиях ожесточённых преследований и террора вести свою героическую борьбу. Этот оптимизм, эта вера в свои силы характерны для коммунистов всех стран. Именно эта вера, звучащая в гневных словах Георгия Димитрова, заставляла бледнеть от страха его фашистских судей в Лейпциге. Эта вера водила пером Юлиуса Фучика в мрачных казематах нацистского застенка, эта вера вдохновляла и вдохновляет миллионы лучших сынов всех народов на самоотверженную борьбу за счастье человечества. Её источник — великие идеи Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина.

«Марксистско-ленинская наука, — пишет Деннис, — учит нас, что капитализм отжил свой век. Мы знаем, что будущее, что движение вперёд представляет наш класс, рабочий класс Америки... Народы видят, что в первой половине XX столетия социализм оказался способным превзойти достижения капитализма в области науки, техники и культуры в период его расцвета. Народы видят, что Сталин символизирует собой потенциальную мощь человечества, способность рабочего класса вести за собой народы, покорять природу, намечать и добиваться безграничных новых успехов для человечества, для дела мира и прогресса».

Сознание правоты своего дела, уверенность в его конечном успехе даёт коммунистам Соединённых Штатов, так же как и коммунистам других стран, силу и мужество для борьбы. С момента выхода последней книги Ю. Денниса американская реакция усилила своё наступление. Ожесточённым преследованиям подвергаются коммунисты и борцы за мир. Незиданный размах принял антиегипетский террор. Американская реакция делает всё, чтобы запугать прогрессивных американцев, расстроить их ряды. Однако эти планы реакционеров терпят крах. Арест руководителей компартии привёл не к ослаблению, а к

значительному усилению движения сторонников мира. Осознав всю глубину опасности, грозящей американскому народу, лучшие люди Америки полны решимости дать отпор наступающему фашизму. Этот совершенно неожиданный для реакционеров оборот событий — одно из интереснейших явлений в послевоенной Америке. Оно свидетельствует о растущей сознательности американского рабочего класса, о тех громадных силах, которые таятся в его недрах.

Какая непоколебимая уверенность в будущем звучит в словах Юджина Денниса: «Мы, американские коммунисты, останемся на своём посту. Мы будем существовать, пока будет существовать американский рабочий класс. Несмотря на любые репрессии против нашей партии... сотни тысяч американских рабочих и прогрессивно настроенных людей научатся быть американскими коммунистами. Они пройдут школу борьбы простого народа против американских трестов и империалистов... Мы, коммунисты, знаем, что человеческое общество движется и что оно движется в направлении демократического развития и социального прогресса... Для нас, американских коммунистов, будущее — это глава, которую нужно не прочитать, а написать».

Вал. ЗОРИН.

★

## Русские первооткрыватели

В своём отклике на смерть Н. М. Пржевальского А. П. Чехов писал: «Пржевальского, Миклуху-Маклая и Ливингстона знает каждый школьник, и не даром, по тем путям, где проходили они, народы составляют о них легенды». Писатель отмечал, что «такие люди, как Пржевальский, дороги особенно тем, что смысл их жизни, подвиги, дела и нравственная физиономия доступны пониманию даже ребёнка». Вот почему жизнь и деятельность выдающихся русских «первооткрывателей» и исследователей новых земель представляет благодарный материал для воспитания советской молодёжи.

В своей книге академик Л. С. Берг нарисовал поучительную и захватывающую

картину русских путешествий и открытий в холодных водах Арктики и Антарктики, в необъятных просторах Тихого океана, рассказал об исследовании учёными малодоступных горных и пустынных местностей Средней и Центральной Азии.

Читатель знакомится с путешествиями А. Никитина, С. Дежнева, В. Атласова, А. Чирикова, В. Головнина, Ф. Беллинсгаузена, М. Лазарева, П. Семёнова-Тянь-Шанского, Н. Миклухо-Маклая и Н. Пржевальского. Каждый из них внёс крупный вклад в историю мировых географических открытий.

Широко известно имя русского купца А. Никитина, совершившего в 1466—1472 годах замечательное путешествие в Индию. Его записки «Хождение за три моря» представляют первое в мире достаточно достоверное описание этой страны, о которой

Л. С. Берг. «Великие русские путешественники». Ответственный редактор Л. Джалалбекова. Датгиз, М.—Л. 1950.

в те далёкие времена ходили самые фантастические слухи.

За три года, проведённые в Индии, Никитин посетил ряд мест, где до него не был ни один из европейцев. В «Хожении» даны зарисовки природы Индии с её палящим солнцем, тропическими ливнями; описание городов с их населением, хозяйством, бытом и управлением. Показная пышность султанского двора не помешала Никитину разглядеть тяжёлую жизнь и нищету населения: «Земля весьма многолюдна, сельские люди очень бедны, а бояре богаты и роскошны».

Записки Никитина, проникнутые демократизмом, выгодно отличаются от большинства сочинений западноевропейских путешественников, посещавших восточные страны.

Глубокий патриотизм звучит в словах Никитина, вспоминающего свою родину: «Русскую землю бог да сохранит... На этом свете нет страны подобной ей, хотя вельможки русской земли несправедливы. Но да устроится русская земля и будет в ней справедливость».

В мастерском изложении Л. С. Берга рассказ о Никитине будет чрезвычайно интересен для юного читателя.

Удачен рассказ о виднейшем мореплавателе первой половины XVIII века А. И. Чирикове. До последнего времени этому путешественнику была посвящена только одна специальная научно-популярная работа, написанная В. А. Дивиним.

Особенно значительна роль Чирикова в организации и осуществлении Великой Северной экспедиции 1733—1743 годов. Он командовал одним из двух пакетботов (командиром второго был Беринг), которые летом 1741 года направили свой путь на восток по неведомым просторам Тихого океана в поисках северо-западного побережья Америки. Во время плавания корабли потеряли друг друга, и Чириков, проискав Беринга три дня, бесстрашно повёл свой пакетбот к намеченной цели.

Ночь с 15 на 16 июля 1741 года надо считать одной из очень крупных дат в истории географических открытий. «В два часа пополудни впереди себя увидели землю, на которой горы высокие... и одну признаваем мы подлинною Америкою». Этими скупыми словами отметил Чириков в судовом журнале открытие им (раньше

Беринга) американского побережья. Глубоко прав был М. В. Ломоносов, отметивший, что Чириков «был главным и прошёл далее (Беринга.— Д. Л.), что надобно для чести нашей».

А. И. Чириковым были открыты и нанесены на карту значительные пространства американского побережья от мыса Спенсера до Аляски. Проведённая советскими исследователями детальная проверка записей в судовом журнале пакетбота «Св. Павел» подтвердила изумительную точность наблюдений Чирикова.

Истощившиеся запасы пресной воды заставили Чирикова принять решение о возвращении на Камчатку. С каждым днём возрастали трудности плавания. На корабле появилась цынга, подходили к концу запасы пищи. Однако мужество и дисциплина экипажа не ослабевали. Русскими мореходами было открыто ещё несколько островов Алеутской гряды. Чириков, прикованный тяжёлой болезнью к койке, продолжал вести судовую журнал и давал указания своему штурману Елагину, едва державшемуся на ногах. Цынга уносила одну жертву за другой. Но пакетбот неуклонно держал путь на родину и, наконец, вошёл в Авачинскую бухту, откуда началось плавание. Описание этого исключительного по искусству и мужеству путешествия читается с неослабевающим интересом.

Весьма своевременно включение в книгу рассказа об открытии экспедицией Беллинсгаузена—Лазарева (1819—1821 год) Антарктиды. Как известно, в последние годы империалистическими государствами были предприняты шаги к отстранению СССР от участия в международном управлении Антарктикой. Были сделаны и неудачные попытки оспорить приоритет открытия русскими этого материка. Это вызвало протест советской общественности, а затем и официальный меморандум советского правительства, подчеркнувший исторические права СССР на Антарктиду.

Наибольшее место в книге справедливо уделено Н. М. Пржевальскому. Л. С. Берг сумел ярко показать деятельность одного из наиболее выдающихся путешественников всех времён, его исключительную любовь к родине, храбрость и выносливость в борьбе с суровыми природными условиями,

беззаветную преданность своему делу и огромный вклад, внесённый им в науку.

Книга Л. С. Берга написана простым и образным языком, вполне доступным для юного читателя. Наряду с описанием работы экспедиций она содержит конкретный географический материал, имеющий большое познавательное значение. Усвоению этого материала помогают хорошо выполненные иллюстрации и наглядные карты.

Следует сделать лишь несколько частных замечаний. Говоря о путешествии С. Дежнева, надо было бы подчеркнуть ту роль, которую сыграл в этом историческом плавании Федот Алексеев Попов, бывший вторым главным участником похода. Попов также прошёл пролив и даже достиг Камчатки. Его большие заслуги в этом путешествии отмечал ещё М. В. Ломоносов.

Не совсем точно утверждение автора, что В. Атласов сообщил первые сведения о Японии. Некоторые данные о ней приводятся в более ранних русских официальных документах XVII века. В. Атласов, доставив в Петербург «полоненника Узакинского государства», оказавшегося японцем, лишь содействовал значительному расши-

рению материалов об этой стране, имевшихся в России.

Правильно подчеркнуто, что П. П. Семёнов вопреки мнению Гумбольдта доказал отсутствие проявлений вулканизма в Тянь-Шане. Но без короткой характеристики Гумбольдта как учёного для юного читателя не будет понятно то обстоятельство, что П. П. Семёнов опроверг мнение одного из крупнейших зарубежных географов XIX века.

В книге приведены портреты путешественников, которым посвящены отдельные очерки, в том числе А. Никитина, С. Дежнева, В. Атласова и А. Чирикова. Между тем хорошо известно, что никаких достоверных изображений их не сохранилось. Мы считаем неправильным помещение таких «портретов» без соответствующей оговорки, хотя бы в предисловии.

В целом книга Л. С. Берга — крупнейшего историка русской географической науки — бесспорно представит интерес не только для школьников, но и для массового взрослого читателя и может быть использована в качестве пособия учителями и пропагандистами.

Д. ЛЕБЕДЕВ.

★

## Основоположник научной анатомии

Андрей Везалий, выдающийся итальянский учёный XVI века, принадлежал к прогрессивным деятелям эпохи Возрождения, сменившей длительный период средневековья.

По словам великого русского физиолога И. П. Павлова, научная работа Везалия началась в условиях глубокого мрака и трудно вообразимой сейчас путаницы, царивших в представлениях о деятельности животного и человеческого организма.

Смелый мыслитель и новатор, Везалий справедливо считается основоположником современной анатомии человека.

В настоящее время Академия наук СССР в серии «Классики науки» начала

**Андрей Везалий. «О строении человеческого тела». Том первый. Перевод с латинского действительного члена Академии медицинских наук СССР В. Н. Терновского и члена-корреспондента Академии наук СССР С. П. Шестакова. Редакция В. Н. Терновского. Послесловие академика И. П. Павлова. Академия наук СССР, 1950.**

издание знаменитого трактата Везалия «О строении человеческого тела». Трактат этот, изданный в Базеле в 1543 году, впервые печатается на русском языке. Первый перевод трактата Везалия на русский язык был сделан ещё в 1658 году Елифанном Славинецким, намного опередившим учёных других европейских стран, но, к сожалению, этот перевод не сохранился.

В эпоху, когда жил и творил Везалий, анатомия, как и другие науки, почти не развивалась, закованная в цепи религии и схоластики. Церковь окружила смерть человека ореолом мистической таинственности и наложила строгий запрет на попытки вскрывать человеческие трупы.

Врачи древнего мира и раннего средневековья, стремясь ответить на запросы медицинской практики, принуждены были изучать строение тела животных и получать эти данные путём переноса на человека.

Во времена Везалия вершиной анатомических знаний была анатомия Галена, знаменитого врача античного Рима. Гален собрал все сведения о строении человеческого тела, которыми располагала тогда наука, и дополнил их своими наблюдениями над строением тела собаки, свиньи, обезьяны и т. д. Гален указывал, что человеческий организм во многом сходен с организмами животных. В описании скелета человека он также использовал данные из анатомии животных.

Многочисленные ошибки галеновской анатомии зависели прежде всего от непосредственного перенесения на человека наблюдений, сделанных над животными. Ошибки усугублялись ещё более в связи с неправомерностью методики исследования, дававшей лишь самое поверхностное представление о строении и функциях животного организма. Особенно резко эти недостатки выступают в учении о сосудистой системе. Учение о крови и кровообращении изложено Галеном поистине фантастически.

Везалий бесстрашно вступил в борьбу с теориями, которые на протяжении многих столетий господствовали над умами людей. Впервые в истории науки он начал систематическое изучение строения человека, смело анатомируя трупы, что считалось безбожным делом и каралось как тяжкое преступление. По словам И. П. Павлова, Везалий создал «первую анатомию человека в новейшей истории человечества, не повторяющую только указания и мнения древних авторитетов, а опирающуюся на работу своего свободного исследующего ума». Везалию наука обязана и разработкой метода препарирования трупов.

Выдающийся русский хирург Н. И. Пирогов говорил, что анатомические факты для врача — то же, что карта для путешественника. Везалий и создал такую карту, дав в руки врачей первую анатомию человеческого тела.

Разработанный им метод открыл неисчерпаемые возможности для дальнейших анатомических исследований. Современные научные взгляды на строение тела человека и животных представляют уточнённую разработку того, что было установлено Везалием.

Трактат Везалия «De humani corporis

fabrica» состоит из семи книг. В них дано описание скелета человека, излагается учение о соединениях костей и мускулов, рассказано о периферических нервах. Последние три книги отведены изложению анатомии органов пищеварения, сердца, мозга и органов чувств.

В труде Везалия собран огромный фактический материал. Это по существу энциклопедия анатомических знаний, причём многие мысли учёного переключаются с идеями нашего времени.

Везалий подчёркивает общность происхождения и развития человека и животных, но в то же время отмечает специфические особенности, присущие только человеческому организму. Здесь уже намечается зарождение сравнительно-анатомического эволюционного направления, нашедшего своё блестящее развитие в трудах советского учёного В. Н. Тонкова.

Молодые советские врачи, работая над своими диссертациями, часто вынуждены обращаться к трудам Везалия. Однако до сих пор им приходилось пользоваться или высказываниями отдельных авторов по поводу сочинений Везалия, или неполными переводами его трактата на иностранные языки, или разбирать мало доступный латинский текст подлинника. Теперь к их услугам будет полный, снабжённый комментариями русский перевод.

Исключительная заслуга принадлежит здесь проф. В. Н. Терновскому, который в течение двадцати лет работал над переводом этого значительнейшего документа из истории анатомии, написанного на латинском языке позднего средневековья, затруднительном, по мнению специалистов, даже для современников Везалия. В. Н. Терновский сумел сохранить дух и стиль самого Везалия и его эпохи. Отрадно отметить, что вышедший первый том не только точно передаёт содержание оригинала, но и воспроизводит старинные гравюры, которыми иллюстрировал труд Везалия Стефан Калькар, ученик знаменитого итальянского художника Тициана.

Работа Везалия способствовала распространению материалистических взглядов на природу человека и сыграла значительную роль в развитии материалистических идей в естествознании.

Разумеется, было бы ошибочным думать, что всё изложенное Везалием соответству-

ет современному состоянию науки. В труде Везалия много неверных положений, неточных списаний; неправильно освещён ряд вопросов, особенно касающихся функций тех или иных органов. Однако это несколько не умаляет исключительно больших заслуг Везалия в истории развития медицинской науки.

Труд Везалия не только представляет интерес для врачей, биологов и историков

естествознания — он имеет также воспитательное значение. Пример жизни и деятельности выдающегося учёного далёкого прошлого зовёт к непреклонной борьбе со всякими проявлениями реакции и мракобесия, к беззаветному служению передовой прогрессивной науке.

*Доктор медицинских наук*  
**С. КАСАТКИН.**



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Июль — август 1951 года

★

## ГОСПОЛИТИЗАТ

**В. И. Ленин.** Две тактики социал-демократии в демократической революции. 128 стр. Цена 2 р.

**В. И. Ленин.** О лозунге Соединённых Штатов Европы. — Военная программа пролетарской революции. 24 стр. Цена 40 к.

**В. И. Ленин.** Письмо к американским рабочим. 20 стр. Цена 20 к.

**В. И. Ленин.** Что делать? 196 стр. Цена 3 р.

**И. Сталин.** Анархизм или социализм? 62 стр. Цена 1 р.

**И. Сталин.** Временное революционное правительство и социал-демократия. 20 стр. Цена 25 к.

**И. Сталин.** Год великого перелома. 16 стр. Цена 20 к.

**И. Сталин.** К вопросам аграрной политики в СССР. 32 стр. Цена 30 к.

**И. Сталин.** Об основах ленинизма. — К вопросам ленинизма. 160 стр. Цена 2 р.

**И. Сталин.** О социал-демократическом уклоне в нашей партии. 104 стр. Цена 1 р. 20 к.

**И. Сталин.** О трёх основных лозунгах партии по крестьянскому вопросу. 16 стр. Цена 20 к.

**И. Сталин.** Против опошления лозунга самокритики. 16 стр. Цена 15 к.

**Б. Бурков.** Морально-политическое единство советского общества. 56 стр. Цена 55 к.

**Т. И. Губарев.** О стирании классовых граней между рабочим классом и крестьянством в СССР. 152 стр. Цена 2 р.

**Д. Е. Мельников.** Борьба за единую, независимую, демократическую, миролюбивую Германию. 296 стр. Цена 5 р.

**В. Орлов.** РСФСР — первая в семье равных. 72 стр. Цена 70 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**С. Бытовой.** Дорога к счастью. Очерки. 240 стр. Цена 4 р. 50 к.

**П. Вершигора.** Люди с чистой совестью. 644 стр. Цена 18 р.

**В. Воеводин.** Повесть о Пушкине. 252 стр. Цена 6 р. 50 к.

**Матэ Залка.** Избранное. 422 стр. Цена 9 р. 50 к.

**И. Мележ.** Товарищи. Рассказы. Перевод с белорусского. 200 стр. Цена 3 р. 50 к.

**Н. Никитин.** Северная Аврора. Роман. 476 стр. Цена 9 р. 50 к.

**Г. Николаева.** Жатва. Роман. 536 стр. Цена 12 р.

**Б. Ромашов.** Пьесы. 390 стр. Цена 8 р.

**Н. Рыленков.** Великая Росстань. Повесть. 240 стр. Цена 6 р.

**В. Тевескелян.** Жизнь начинается снова. Роман. Перевод с армянского. 488 стр. Цена 10 р.

## ГОСЛИТИЗАТ

**М. Горький.** Сказки об Италии. 152 стр. Цена 2 р. 25 к.

**П. А. Грабовский.** Избранные произведения. Перевод с украинского. 356 стр. Цена 7 р. 50 к.

**Николай Грибачёв.** Стихотворения и поэмы. 324 стр. Цена 10 р.

**А. Г. Дементьев.** Очерки по истории русской журналистики 1840—1850 гг. 504 стр. Цена 9 р. 50 к.

**Е. А. Долматовский.** Стихи. Песни. Поэмы. 316 стр. Цена 9 р.

**А. Л. Дымшиц.** Мартин Андерсен-Нексе. Критико-биографический очерк. 172 стр. Цена 2 р. 50 к.

**М. М. Коцюбинский.** Собрание сочинений в трёх томах. Перевод с украинского. Том 3. Статьи. Избранные письма. 432 стр. Цена 10 р.

**М. М. Коцюбинский.** Смех и другие рассказы. 168 стр. Цена 2 р.

**Панас Мирный.** Собрание сочинений в четырёх томах. Перевод с украинского. Том 4. Рассказы. 439 стр. Цена 10 р.

**Поэты мира в борьбе за мир.** Сборник стихотворений. 736 стр. Цена 18 р.

**Э. Л. Самуйленок.** Избранное. Перевод с белорусского. 536 стр. Цена 9 р. 50 к.

**С. Д. Скляренко.** Путь на Киев. Роман. Авторизованный перевод с украинского. 591 стр. Цена 11 р. 50 к.

**К. М. Станюкович.** Морские рассказы. 215 стр. Цена 2 р. 75 к.

**Н. Г. Чернышевский.** Что делать? Роман. 480 стр. Цена 8 р. 25 к.

**А. П. Чехов.** Рассказы. 480 стр. Цена 8 р.

**В. Р. Щербина.** А. Н. Толстой. Критико-биографический очерк. 168 стр. Цена 4 р. 50 к.

**Степан Щипачёв.** Стихи. 256 стр. Цена 5 р. 50 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Николай Вирта.** Вечерний звон. Роман. Том I. У истоков совершенного. 612 стр. Цена 13 р. Том II. Предвестники урагана. 460 стр. Цена 10 р.

**В. Виткович.** Путешествие по Советскому Узбекистану. 334 стр. Цена 12 р.

**И. и Л. Крупениковы.** Вассилий Робертвич Вильямс (1863—1939). 574 стр. Цена 10 р.

**А. Ференчук.** В родной семье. Рассказы. 224 стр. Цена 4 р. 50 к.

**А. Фокин.** Светлые просторы. Стихи. 112 стр. Цена 3 р.

### ДЕТГИЗ

**Е. Благинина.** Вот какая мама. 16 стр. Цена 1 р.

**Л. Воронкова.** Снег идёт. 64 стр. Цена 1 р. 90 к.

**И. А. Гончаров.** Обыкновенная история. Редакция текста, примечания и послесловие А. Груздева. 360 стр. Цена 1 р. 90 к.

**Жан Грива.** Рассказы об Испании. Перевод с латышского. 48 стр. Цена 50 к.

**А. Григулис.** Третья бригада. Повесть. Перевод с латышского Л. Блюмфельд. 128 стр. Цена 4 р. 80 к.

**В. Гюго.** Гаврош. Перевод с французского и обработка для детей Н. Касаткиной. 48 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Ю. Доброленская.** На солнечный простор. Повесть. 256 стр. Цена 5 р. 60 к.

**Б. Житков.** Храбрый утёнок. 16 стр. Цена 70 к.

**П. Журба.** Александр Матросов. Повесть. Переработанное издание. 244 стр. Цена 4 р. 20 к.

**Иван крестьянский сын и чудо-юдо.** Русская народная сказка. Обработка М. Булатова. 22 стр. Цена 2 р. 90 к.

**С. Клементьев.** Механические помощники. 184 стр. Цена 5 р. 30 к.

**П. Павленко.** Степное солнце. Повесть. 96 стр. Цена 3 р. 20 к.

**Б. Ляпунов.** Рассказы об атмосфере. 96 стр. Цена 2 р. 15 к.

**М. Прилежайва.** Юность Маши Строговой. Повесть. Переработанное издание. 240 стр. Цена 8 р. 20 к.

**М. Раскова.** Записки штурмана. 224 стр. Цена 4 р.

**Русские богатыри.** Былины. Обработка для детей И. Карнауковой. 132 стр. Цена 2 р. 65 к.

**А. Серафимович.** Рассказы. С предисловием А. Котова. 184 стр. Цена 3 р. 20 к.

**В. Смирнов.** Встреча. Рассказ. 64 стр. Цена 2 р. 50 к.

**Е. Тараховская.** Стихи. 64 стр. Цена 2 р. 30 к.

**Л. Н. Толстой.** Басни и рассказы. 32 стр. Цена 80 к.

**Б. Чалый.** Всюду есть товарищи у нас! Стихи, баллады, поэмы. Перевод с украинского. 96 стр. Цена 4 р. 30 к.

**Е. Чарушин.** Большие и маленькие. Рассказы. 24 стр. Цена 2 р. 30 к.

**Чешские народные сказки.** 104 стр. Цена 3 р.

**А. Шманкевич.** Хорошее море. Рассказы. 96 стр. Цена 3 р.

### ГЕОГРАФИЗ

**Заповедники СССР.** Том II. 388 стр. Цена 11 р. 25 к.

**Н. И. Михайлов.** Сибирь. 285 стр. Цена 6 р. 50 к.

**К. Осипов.** С. И. Челюскин. 35 стр. Цена 60 к.

**Н. А. Отарова.** Тбилиси. 72 стр. Цена 1 р. 20 к.

### ГОСКУЛЬТПРОСВЕТИЗДАТ

**Е. Балабанович.** А. С. Макаренко. Очерк жизни и творчества. 256 стр. Цена 10 р.

**В. И. Гаврилов.** Разностороннее развитие общественного хозяйства колхозов. 48 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Звенья.** № 9. Сборник материалов и документов. 658 стр. Цена 35 р.

**Кружки технических и прикладных знаний в клубе.** Сборник материалов. 54 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Д. А. Левин.** Библиографирование произведений классиков марксизма-ленинизма в рекомендательных указателях. 32 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Н. Б. Медведева.** А. М. Горький и детская литература. 36 стр. Цена 50 к.

**Одноактные пьесы.** Сборник. 112 стр. Цена 2 р. 50 к.

**Ю. М. Покровский.** Россия — родина электротехники. 40 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Е. В. Ратькова.** Библиотечное дело в европейских странах народной демократии. 30 стр. Цена 1 р. 40 к.

**И. Смирнов.** Ленин и Сталин о культуре и культурной революции. 72 стр. Цена 1 р. 20 к.

**В. Г. Соколов.** Происхождение и реакционная сущность религиозных обрядов. 56 стр. Цена 1 р. 25 к.

**П. И. Чайковский и С. И. Танеев.** Письма. 558 стр. Цена 35 р.

### ГОСЛЕСБУМИЗДАТ

**В борьбе с засухой** (Опыт работы лесозащитных станций). 60 стр. Цена 1 р. 70 к.

**Н. А. Казанский.** Памятка леснику и объездчику. 100 стр. Цена 3 р. 90 к.

**Е. В. Лобанова.** Как работает электропильщик Н. Н. Кривцов, лауреат Сталинской премии. 34 стр. Цена 1 р.

## ГОСПЛАНИЗДАТ

Г. М. Бененсон. Планирование потребления лесоматериалов. 101 стр. Цена 3 р.

Е. Л. Маневич. Заработная плата и её формы в промышленности СССР. 210 стр. Цена 6 р. 50 к.

С. И. Шаров. Вопросы экономики и планирования коммунального хозяйства. 182 стр. Цена 5 р.

## ГОСТОПТЕХИЗДАТ

Г. Н. Газиев, И. И. Корганов. Эксплуатация нефтяных месторождений. 370 стр. Цена 18 р.

В. М. Муравьев. Эксплуатация нефтяных скважин. Второе, исправленное и дополненное издание. 300 стр. Цена 10 р.

С. М. Кулиев. Гравийные фильтры и опыт их применения на нефтяных промыслах. 112 стр. Цена 4 р. 50 к.

В. В. Сныткин. Техника замеров уровней в скважинах эхолотом. 90 стр. Цена 3 р. 50 к.

Р. И. Шищенко. Гидравлика глинистых растворов. 136 стр. Цена 7 р. 50 к.

## ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Вопросы диалектического материализма. 390 стр. Цена 16 р.

Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. Том VI. 921 стр. Цена 25 р.

Б. Д. Греков. Полиция. Опыт изучения общественных отношений в Польше XV—XVII вв. 317 стр. Цена 19 р.

С. В. Крачков. Цветное зрение. 175 стр. Цена 10 р.

М. В. Нечкина. Восстание 14 декабря 1825 г. 202 стр. Цена 12 р.

А. И. Пономарев. Основы химического анализа минералов и горных пород. 334 стр. Цена 19 р.

А. А. Сидоров. Древнерусская книжная гравюра. 393 стр. Цена 28 р.

Е. В. Тарле. Жерминаль и Прерияль. 311 стр. Цена 20 р.

М. М. Шейнман. Ватикан во второй мировой войне. 352 стр. Цена 20 р.

## ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР

Вопросы истории русской педагогики. Выпуск 33. 216 стр. Цена 11 р.

А. И. Воскресенская. Работа в первом классе. 155 стр. Цена 5 р. 45 к.

Ежегодник педагогических чтений 1949—1950 г. Книга I. 270 стр. Цена 8 р. Книга II. 256 стр. Цена 7 р. 40 к.

Н. И. Корпиенко. Применение учебных коллекций на уроках химии. 24 стр. Цена 50 к.

А. А. Маркосян. Работы И. П. Павлова по кровообращению. 36 стр. Цена 60 к.

Е. Я. Пастун. В школе и дома. 44 стр. Цена 1 р.

Рисование в детском саду. 40 стр. Цена 1 р.

## ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Марк Гейн. Японский дневник. Сокращённый перевод с английского. 558 стр. Цена 13 р. 65 к.

Дж. Б. Коэн. Военная экономика Японии. Сокращённый перевод с английского. 386 стр. Цена 19 р. 80 к.

Под солнцем свободной Монголии. Повести и рассказы. Перевод с монгольского. 260 стр. Цена 7 р. 50 к.

Уильям З. Фостер. Закат мирового капитализма. Перевод с английского. 252 стр. Цена 8 р. 35 к.

Ч. Ч. Хайд. Международное право, его понимание и применение Соединёнными Штатами Америки. Том II. Перевод с английского. 532 стр. Цена 32 р.

## «ИСКУССТВО»

А. Амасович. Александров-Серг. 22 стр. Цена 60 к.

Ф. Гоцук, Ф. Рогинская. Учебное пособие по рисованию для самодеятельных художников. 279 стр. Цена 15 р.

Н. Костелин. Белинский — театральный критик. 253 стр. Цена 12 р.

Латышская драматургия. Сборник пьес. 468 стр. Цена 21 р.

А. Мариенгоф. Рождение поэта. Пьеса. 104 стр. Цена 2 р. 25 к.

Б. Ромашов. Знатная фамилия. Пьеса. 107 стр. Цена 3 р.

А. Суров. Рассвет над Москвой. Пьеса. 119 стр. Цена 3 р. 25 к.

Украинская советская драматургия. Сборник пьес. 381 стр. Цена 12 р. 50 к.

Б. Филиппов. Творческие встречи. Очерки о деятельности Центрального дома работников искусств СССР. 165 стр. Цена 12 р. 50 к.

В. Шекспир. Виндзорские насмешницы. 115 стр. Цена 3 р. 25 к.

## МАШГИЗ

Д. А. Асонов. Термическая обработка деталей автомобиля. Издание 2-е, исправленное и дополненное. 352 стр. Цена 16 р. 80 к.

А. М. Бахрах. Из истории оптического приборостроения. Очерки. Том I. 222 стр. Цена 11 р. 55 к.

И. С. Воропаев. Комплексная механизация малого литейного цеха. 67 стр. Цена 2 р. 85 к.

Ю. М. Галкин. Анализ развития электромобилей и перспективы их применения в СССР. 40 стр. Цена 1 р. 50 к.

Р. К. Дума. Зажимные приспособления с использованием гидропластмасс. 98 стр. Цена 3 р. 90 к.

П. К. Конаков. Теория подобия и её применение в паровой теплотехнике. 216 стр. Цена 11 р.

**Е. И. Курицкий.** Охрана труда на машиностроительном заводе. 171 стр. Цена 5 р. 40 к.

**А. С. Ложичевский, М. Е. Ершов.** Проектирование и изготовление металлических ферм. 243 стр. Цена 12 р. 45 к.

**Я. Э. Малаховский и Ю. Б. Иванов.** Автомобильные сцепления. 110 стр. Цена 4 р. 35 к.

**Ю. С. Назым.** Токарь-карусельщик Николай Бутенко и его последователи. 40 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Я. Д. Ринский.** Автоматизация газовой резки. 96 стр. Цена 2 р. 75 к.

**В. Ф. Рис.** Центробежные компрессорные машины. 248 стр. Цена 18 р. 40 к.

**Русские учёные-металловеды.** Жизнь, деятельность и избранные труды. 504 стр. Цена 25 р.

**С. Ф. Цехмистренко.** Поточная сборка точных электроизмерительных инструментов. 56 стр. Цена 1 р. 70 к.

**А. В. Шадрин.** Автоматическая сварка паровозных котлов. 63 стр. Цена 2 р. 50 к.

**В. А. Шадричев.** Ремонт отечественных автомобилей. 432 стр. Цена 20 р. 40 к.

### МЕДГИЗ

**А. А. Атабек.** Несахарный диабет. 60 стр. Цена 2 р.

**К. П. Гаврилов.** Особенности развития и патологии детей периода новорождённости. 272 стр. Цена 11 р. 50 к.

**Н. Н. Гринчар, И. И. Берлин.** Ранняя диагностика туберкулёза лёгких. 232 стр. Цена 8 р. 50 к.

**И. А. Кассирский.** Очерки рациональной химиотерапии. 420 стр. Цена 18 р. 80 к.

**Б. Д. Клейбс, С. Л. Коган.** Профилактика повреждений глаз у детей. 16 стр. Цена 30 к.

**Н. С. Назарова.** Детская одежда и оборудование для яслей и домов ребёнка. 144 стр. Цена 6 р. 55 к.

**Л. И. Смирнов.** Гистогенез, гистология и топография опухолей мозга. Часть I. 476 стр. Цена 27 р. 30 к.

### «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

**Ал. Алтаев, Л. Ямщикова.** Чайковский в Москве. 304 стр. Цена 9 р.

**Г. Николаева.** Жатва. Роман. 533 стр. Цена 12 р.

**О произведениях классиков марксизма-ленинизма.** Сборник статей. Выпуск III. Под общей редакцией проф. Г. С. Васецкого. 462 стр. Цена 9 р.

**Ответы на вопросы трудящихся.** Сборник. Выпуск XI. 66 стр. Цена 1 р. 25 к. Выпуск XII. 66 стр. Цена 1 р. 25 к.

**П. Сергеев, А. Суслов.** Возделывание многолетних трав на семена. 95 стр. Цена 1 р. 75 к.

### МУЗГИЗ

**В. Богданов-Березовский.** Иван Ершов. 76 стр. Цена 3 р. 30 к.

**В. Ендржиевский, Э. Осипов, М. Д. Михайлов.** 56 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Л. Кулаковский.** О русском народном многоголосии. 118 стр. Цена 4 р. 95 к.

**Т. Ливанова.** Педагогическая деятельность русских композиторов-классиков. 100 стр. Цена 2 р. 40 к.

### ПРОФИЗДАТ

**Л. Бакашова, Н. Рытников.** Всемирная федерация профсоюзов. 126 стр. Цена 2 р. 10 к.

**А. Бакулин, В. Коротков.** Комиссия заработной платы заюкома. Из опыта работы профсоюзной организации Горьковского автомобильного завода имени Молотова. 70 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Слово горняка Доябасса.** Рассказы о работе по графику один цикл в сутки. 172 стр. Цена 5 р.

**Советы социального страхования на предприятиях.** (Из опыта работы). 96 стр. Цена 1 р. 20 к.

### СЕЛЬХОЗГИЗ

**Е. В. Вульф.** Флора Крыма. Злаки. Том I, выпуск 4. 156 стр. Цена 7 р. 70 к.

**Кулат Бобокалонов.** Выращивание высоких урожаев хлопка. 40 стр. Цена 65 к.

**Н. А. Иванова.** Защита плодового сада от вредных насекомых. 96 стр. Цена 1 р. 55 к.

**Я. Р. Коваленко.** Применение биологических и химиотерапевтических препаратов в ветеринарии. 248 стр. Цена 5 р. 80 к.

**М. П. Попова, В. П. Соболева.** Вредители и болезни плодово-ягодных культур. 264 стр. Цена 4 р. 25 к.

**А. Л. Спиридонов.** Волоснабжение животноводческих ферм. 168 стр. Цена 2 р. 80 к.

**А. Л. Скоморохов.** Профилактика и ликвидация заразных болезней животных. 368 стр. Цена 8 р. 95 к.

**Труды Всесоюзного института защиты растений.** Выпуск 3. 236 стр. Цена 7 р. 80 к.

**Д. М. Чубынин.** Мой опыт растениеводства в Заполярье. 32 стр. Цена 50 к.

**А. Н. Шапошников.** Холмогорский скот. 288 стр. Цена 6 р. 75 к.

### «СОВЕТСКАЯ НАУКА»

**В. В. Алёхин.** Растительность СССР (в основных зонах). 512 стр. Цена 15 р. 50 к.

**Г. П. Дементьев, Р. Н. Мекленбурцев, А. М. Судилова, Е. П. Спангенберг.** Птицы Советского Союза, том II. 480 стр. Цена 26 р.

**Г. А. Шмидт.** Эмбриология животных, часть I. 356 стр. Цена 14 р.

## УЧПЕДГИЗ

Вопросы мичуринской биологии. Сборник статей. Выпуск 2. 496 стр. Цена 11 р.

И. М. Духовный. Очерки по педагогике. 431 стр. Цена 10 р. 75 к.

Из опыта работы учителя литературы. Сборник статей. Под редакцией Н. А. Глаголева. 374 стр. Цена 8 р. 50 к.

М. И. Калинин. Статьи и речи о коммунистическом воспитании. 1925—1945 гг. 206 стр. Цена 4 р. 70 к.

## ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

З. М. Черниловский. Государственный строй Китайской народной республики. 96 стр. Цена 1 р. 20 к.

К. С. Юдельсон. Проблема доказывания в советском гражданском процессе. 296 стр. Цена 11 р. 30 к.

## КРЫМИЗДАТ

И. Василенко. Волшебная шкатулка. Повесть. 220 стр. Цена 7 р.

В. Евсеев. Новаторы. Очерки о стахановцах. 18 стр. Цена 50 к.

К. Костина. Культура сливы. 108 стр. Цена 2 р. 25 к.

М. Лозовой. Малышам. Стихи. 20 стр. Цена 1 р. 50 к.

М. Маркин. Способы ускоренного размножения винограда. 52 стр. Цена 7 р. 25 к.

Н. Носов. Весёлая семейка. Повесть. 96 стр. Цена 3 р. 50 к.

Е. Поповкин. Семья Рубанюк. 2 книги. 670 стр. Цена 18 р.

КУЙБЫШЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Н. Н. Ельчанинова. Агротехника суданской пшавы. 21 стр. Цена 35 к.

С. Т. Аксаков. Детские годы Багрова внука. 335 стр. Цена 9 р. 70 к.

Е. Шановалов. Волжские сказы. 79 стр. Цена 1 р. 85 к.

НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

А. Голенкова. Маленькие тайны. Очерки. 64 стр. Цена 1 р. 65 к.

Н. Жуковский. За рентабельную работу МТС. 80 стр. Цена 1 р. 20 к.

Агния Кузнецова. Твой дом. Повесть. 144 стр. Цена 4 р. 85 к.

Н. Я. Савельев. Пётр Козьмич Фролов. 144 стр. Цена 2 р. 90 к.

Салчак Тока. Слово арата. Повесть. Авторизованный перевод с тувинского. 120 стр. Цена 4 р. 20 к.

Ф. Сидоров. Опыт комбайнера Алексея Анистратова. 48 стр. Цена 70 к.



Главный редактор А. Т. Твардовский  
Редколлегия: М. С. Бубеннов, В. П. Катаев,  
С. С. Смирнов, А. К. Тарасенков, К. А. Федин, М. А. Шолохов

Редакция: Москва, 6. Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес)  
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К-5-06-96

Сдано в набор 24/VII-51 г.

Подписано к печати 18/VIII-51 г.

А 07048.

Объём 16 п. л.

Тираж 104.000

Заказ № 1447.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова-Степанова.

Цена 9 руб.